ВСЕВОЛОД ИВАНОВ —
ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

Всеволод Иванов

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Издание второе, дополненное

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1975

8 Р 2
В 84

Всеволод Иванов — замечательный советский писатель, один из зачинателей послеоктябрьской литературы, человек яркий и незаурядный. Как и всякий сборник воспоминаний, настоящий сборник не претендует на всестороннее освещение его жизни, творчества и общественной деятельности. Он преследует цель более скромную: донести до читателей своеобразие его личности, показать великого труженика и блистательного мастера.

Среди тех, кто вспоминает о Вс. Иванове, — люди, знавшие его в годы, когда он только начинал писать и не был известен, а также те, с кем он встречался, работал, дружил, когда уже завоевал признание, стал подлинным классиком советской литературы.

Среди авторов книги читатель найдет имена К. Федина и В. Шкловского, В. Каверина и М. Слонимского, С. Сартакова и Л. Мартынова, Е. Полонской и В. Ходасевич, Л. Никулина и Л. Славина, А. Крона и Д. Самойлова, Л. Кудреватых и М. Прилежаевой, Г. Цирулиса и других. Всех авторов сборника роднит единая мысль: Всеволод Иванов — выдающееся литературное явление, необычный талант, необыкновенный человек.

СОСТАВИТЕЛЬ Т. В. ИВАНОВА

На фронтисписе Вс. Иванов. Портрет работы П. Кончаловского

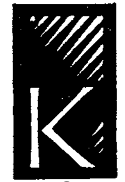
В $\frac{70302-351}{083(02)-75}$ 72—75

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Сборник этот впервые вышел в 1970 году. Сейчас он переиздается дополненным.

Воспоминания далеко не однородны, как по охвату жизни Всеволода Иванова, так и по своему объему, манере письма. Большинство вспоминающих начинают свое повествование с момента первой встречи с Всеволодом Ивановым и доводят рассказ до последних лет его жизни. Поэтому в начале и конце книги помещены обобщающие статьи, а остальной материал располагается по приблизительной хронологии первой встречи вспоминающего с Всеволодом Ивановым или же по последовательности описываемых событий.

ВСЕВОЛОД



Веселых дней моих
Звенящая пена, —
Буды! ..

Вс. Иванов. «Рассказы о себе»

Как всегда — прибежали, сказали:

— Сегодня утром.

Удивительное дело: знаешь, ждешь, видишь роковую неизбежность. Чуть не поминутно возвращаешься к мысли: наверно, скоро, очень скоро, может быть — нынче. А прибегут, скажут: сегодня утром — и ударит как молнией.

Всеволод Иванов умер.

Ушел добрый знакомец? Нет. Близкий товарищ? Нет. Больше. Дорогой друг? Еще больше.

Ушла часть твоей жизни. Оторвана часть твоего сердца.

Что-то напомнившее момент, когда сказали — умер Горький. Тогда горе было сыновним. Сейчас не назвать его иначе, как братним. Умер брат. И невольно вспоминаешь об уходе отца. К кому другому, к кому из многих других, а ко Всеволоду чувство Горького было не менее отцовского.

Об этом говорено немало, скажется еще и еще, сказал лучше всех сам Всеволод. Это — история. И это наша жизнь. Неповторимая, изумительная...

Сижу, перебираю старые, едва ли уже не старинные книги Всеволода Иванова. В пестрых, бесхитростных бумажных обложках. Сколько их разлеталось в те ранние годы революции, гражданской войны по городам и весям страны — не счесть. Черные, зеленые, красные, серые, с картинками, в рамочках, шрифтовые, рисованные, строгие, аляповатые — кто их не издавал и где они не появлялись, от Дальнего Востока до Петрограда-Петербурга, от Москвы до Урала, от севера

до юга. И далеко, далеко по чужбинам, как первый крик новорожденного, — голос первенца советского искусства прозы.

Слово «первый» не выходит из ума, когда, просмотрев одну книгу, откладывая ее, берусь за другую. Всеволод Иванов был первым прозаиком на восходе нашей литературы — первым в ее молодости, первым в ее надеждах.

Огненно-оранжевая обложка. Прямые буквы — «Партизаны. Повесть. Петроград. «Космист». 1921». В конце повести помечено: «13/I 1921 г. Омск». На титуле — наскоро кинутая пером надпись, странно единящая с четкостью витиеватость, и внизу задорно просвечивает юношеское счастье в таких обычных словах: «От автора».

Автор привез написанную в Сибири повесть. Привез Горькому и под наблюдающим глазом его оканчивал работу над ней в Петрограде. Первую встречу мою со Всеволодом в кабинете у Горького на Кронверкском проспекте в 1921 году не позабыть.

— Вот познакомьтесь, — сказал тогда Горький, поворачивая меня ко Всеволоду. — Тоже писатель... Из Сибири. Да-с.

И потом, с Горьким вместе, я слушаю рассказы о колчаковщине, о партизанах, о жестоком двухлетии, пережитом Сибирью, и мы дивимся рассказчику — человеку, одетому в изношенное обмундирование, в обмотках на худых ногах и с таким измученным лицом, будто он прошел весь путь из-под Омска в пешем строю.

Он стал признанным поэтом партизан после первой повести о них. И, может быть, нигде позже так могуче, как в партизанских повестях, не проявилась особенность необычайного его таланта. В повестях пенилась нещадная правда быта с неудержным полетом воображения, и слово, которое поэту являлось будто чудом, многоцветно озаряло пену. Книги его — кипучая брага.

Всеволод Иванов раньше всего — фантаст. Тут его зерно, его «изюминка» (чтобы вспомнить слово Льва Толстого). Но рядом с буйностью воображения, с игрою мечты, с одухотворением природы в книгах Всеволода живет тонкое знание человека с его муками исканий и беспредельной радостью находок, открытий, побед. Он

заставлял петь камни, оживать ароматы, зацветать ветры. Для него не было «неживой природы». Тем более не бывало для него неживых людей. Даже мертвые зовут в его книгах к жизни, как звали к жизни и завоеваниям его убитые партизаны.

Любимые слова Всеволода — радость, вечность, ветер.

Он был неутомимым путешественником по землям, проходчиком, охотником до нового, неоткрытого в мире, неизведанного в человеке.

Таким я узнал его в 1921 году, таким утратил его в 1963-м. Все наши десятилетия безустального марша по жизни мы шагали с ним в ногу. И я не помню, чтобы в любую, даже самую тяжкую, годину после любой встречи с ним мне не становилось бы легче.

Еще недавно он совершил путешествие по любимой своей Сибири, по легендарным ее рекам, среди былинных ее людей, — путешествие на плоту, которое впору было бы двадцатилетнему смельчаку и выдумщику.

И он написал об испытанном счастье своем прекрасную поэму в прозе, заново оживив в ней молодые свои, цветные ветра, певучие камни, сладостные ароматы земли и воспев новых людей новой Сибири, отцами которых были его партизаны.

Он назвал свою песнь так: «Хмель, или Навстречу осенним птицам».

Для него нынче отцвел его хмель, отлетели его птицы.

Но для нас хмель его не перестанет цвести, птицы его не перестанут манить нас к полету.

Спасибо тебе, Всеволод!

17 августа 1963

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Две опасности есть у человека, который начинает писать воспоминания. Первая — писать, вставляя себя сегодняшнего. Тогда получается, что ты всегда все знал. Ты как будто в прошлом читал уже газеты теперешнего дня. В толпе видал главных. Знал ошибки времени и знал главную дорогу.

Когда человек так пишет, то он не видит ничего, потому что он не видит истории, усилий, которые человечество тратит на каждый свой день.

Вторая опасность — вспоминая, остаться только в прошлом.

Бегать по прошлому так, как бегает собака по проволоке, на которую надета ее собачья цепь.

Тогда человек вспоминает всегда одно и то же: вспоминает мелкое. Вытаптывая траву прошлого, он привязан к нему. Он лишен будущего.

Надо писать о прошлом, не вставляя себя сегодняшнего в прошлое, но видя прошлое из сегодняшнего дня.

Но прошлое — это молодость. Почти всегда вспоминают молодость, и вспоминают влюбленно.

Не хочу сейчас, вспоминая о друге своем, замечательном писателе Всеволоде Вячеславовиче Иванове, сразу обращаться к книгам, к справкам. Такой способ может привести к накладыванию ошибок на ошибки. Мы свидетели прошлого, и мы должны давать современникам собственные свои показания, не подслушивая, что сказали другие. Мы должны признаваться и в своем неведении главного, и в том, что мы любим свое прошлое.

Вероятно, был 1921 год.

Я недавно, нет, я только что вернулся с врангелевского фронта. Был я там недолго, видал Днепр, который тогда был границей между красными и белыми.

Эта река тогда была очень широка и очень пустынна, как при Гоголе.

Ходил в разведку, минировал мосты, разряжал авиационные бомбы, взорвался и был ранен множественным слепым ранением; вернулся в Петроград; Петербург уже прошел; Ленинград еще не был назван. Большой город с пустой, холодной рекой, с пустыми, выбитыми мостовыми. Люди ушли на фронты, а были такие, которые убежали из этого города.

Кажется, была осень. Теплая осень. Над городом стояло еще горячее солнце.

Я пришел к Горькому, к Алексею Максимовичу.

Был он тогда высок, еще не сед, голубоглаз, строен; покашливал, но был крепок.

Был насторожен: он еще не верил, что то солнце, которое поднялось над пустым Петербургом, будет солнцем нового Ленинграда, и в то же время он верил.

Революции он очень радовался. В феврале говорил, что он физически счастлив, когда ходит по городу и не задевает за городовых: как будто сняты те тумбочки, которые всем мешали ездить.

Он себе представлял ступени революции более пологими, более легкими. Он думал, что буржуазия будет укрощена, но как-то использована, что старая интеллигенция сыграет бо́льшую роль, чем она сыграла.

И в то же время был очарован тем, что видел.

Он посещал мир в его минуты роковые, был на пиру истории, как бы беседовал с ней. Он ждал новых людей.

Кабинет Алексея Максимовича был неширок и довольно длинен, у стены стояла невысокая книжная полка с книгами, как будто случайная. Алексей Максимович сидел за столом в длинном китайском халате; главное в халате было то, что он был теплый — стеганый.

Алексей Максимович верил, что вот сейчас придет замечательный человек — самый главный, самый нужный — и он поможет ему занять его будущее место.

Он сидел у двери истории, считал, что не он войдет в эту дверь. Он не считал себя самым главным, хотя

знал себе цену, но знал еще больше цену России и ее возможностям.

Вот он войдет сейчас, человек будущего, и надо сделать так, чтобы он был счастлив, чтобы он прожил легче и, как бы сказать, побыстрее — не в смысле сроков, а в смысле быстроты познания.

Меня он тогда называл Виктором, он тогда любил меня за неожиданность поступков, быстроту работы, может быть, за смелость. Он очень любил Бабеля — тихо говорящего, медленно и тщательно работавшего, не торопящегося в момент землетрясения, умеющего в минуты самые напряженные видеть человека.

Он очень любил Михаила Михайловича Зощенко — темнолицего, темнорукого, видящего в жизни смешное, потому что для Зощенко люди как бы не стоили времени, в котором они живут.

Зощенко не смеялся над временем, он смеялся, огорчаясь над тем, что человек живет в великое время, а больше всего озабочен водопроводом и канализацией и копейками. Человек за мусором не видит леса. И это очень смешно.

Он учил мещанина смеяться над самим собой, отделяться этим смехом от мещанства.

Было просторно, тихо. И все было в планах. Горький все время создавал новые организации, которые должны были перевести все книги на свете, а для этого нужно было учить переводчиков и организовать писателей. Но тут возникали споры о новом гуманизме и споры о том, что такое литература, и люди начинали учиться друг у друга, создавали студии, и в большом доме, выходящем на три улицы — на Мойку, Невский и на Морскую, — появились молодые люди, которые называли себя «Серапионовыми братьями».

Раз я пришел к Горькому. Был на мне костюм, сшитый из зеленого армейского сукна, и брезентовые туфли; был я молод и уже лысоват.

Насколько я помню, перед Алексеем Максимовичем лежала нетолстая книжка. В ней был напечатан рассказ, который назывался «Книга». Содержание рассказа было такое: несколько молодых рабочих случайно достали Библию и стали ее читать как книгу, обычную книгу с приключениями и характерами. Их интересовала судьба царя Давида, и войны, и похищение жен-

щин. Они читали книгу долго. Один из них носил толстую книгу за ремнем, они бросали книгу на кровать, потом опять к ней возвращались.

Новое по-новому перечитывало старое, потому что новому все нужно.

Как назывался журнальчик, я не помню, думаю, что найду.

Под рассказом была подпись: «Всеволод Иванов».

Горький показал мне рассказ и сказал очень серьезно:

— Я так не начинал.

Рассказ был замечательный.

Прошло больше сорока лет. Я сейчас помню, как в рассказе приходит полиция, думая накрыть нелегальное собрание и печатание прокламаций. Пристав видит, что рабочие парни читают Библию, и по полицейскому нюху понимает, что это не сектанты. Полицейский настороженно и почтительно показывает на Библию и враждебно спрашивает парня:

— Откуда у тебя сие?

Всеволод жил тогда, как мне кажется, где-то недалеко от Невского, почти рядом с Михайловским манежем, там, где сейчас спортивный зал.

Горький дал мне денег и попросил отнести Всеволоду.

Деньги тогда были непрочные, как цветы; вернее, они сжимались, как грибы на горячей сковороде: их надо было скорее передать, чтобы человек успел хотя бы поесть.

Алексей Максимович описал мне наружность Всеволода, сказал, что у него солдатские ботинки, горелые обмотки, короткая шинель и сам он как опаленный, борода у него довольно длинная, но недавно выросшая и сосульками, и брови — как будто он их поджег на костре.

Я взял деньги и пошел их передавать.

На Невском проспекте, недалеко от Гостиного двора, на другой стороне Невского, вижу плотного и как будто обгорелого красноармейца. На темно-рыжих волосах надета какая-то рыжая шапка. Я остановил его и говорю:

— Вы Всеволод Иванов?

— Да, — отвечает красноармеец. — А что?

— Горький хорошо умеет описывать.

Я ему передал деньги тут же, на улице.

У Алексея Максимовича был тогда в Доме ученых человек по фамилии Роде. Этот Роде когда-то держал загородный сад, который так и назывался «Вилла Роде». Человек этот — очень быстрый, очень толстый — был великим доставалой и неутомимым мистификатором.

Мистифицировал он деловитостью.

Скажет ему Алексей Максимович, что для Дома ученых нужны веревки.

Тот переспросит, для какой упаковки, и сразу записывает техническое название веревок и их номера.

Это приводило Горького в восторг. Он вообще любил словарную точность.

Роде получил задание одеть Всеволода. Получил Всеволод крепкие ботинки — две пары, достал деньги и купил большую шкуру белого медведя — такие шкуры клали в дореволюционное время на полу в богатых домах. Были шкуры очень тяжелы, но пол выдерживал; их мало кто покупал после революции, потому что для воротников они не годились.

Но Всеволод скроил из медведя себе полушубок, достал скорняка, который скрепил эти тяжелые пласты меха.

Обычный человек такую шубу носить бы не мог, но Всеволод был крепыш.

Пришел Всеволод в Дом искусств к «Серапионам». Там были люди разные: был пятнадцатилетний Владимир Познер, родившийся во Франции в семье русских эмигрантов; он стал потом коммунистом, писателем-прозаиком, бедовал в Алжире, был подорван бомбой на своей парижской квартире (бомбу ему подбросили оасовцы).

Тогда это был мальчик, очень талантливый в стихах.

Был Зощенко. Зощенко писал рассказы «Рыбья самка», «Рассказы Назара Ильича Синебрюхова» — это цикл приключений неудачника.

Был там Лев Лунц, который написал и подписал один то, что называлось манифестом «Серапионов». Манифест этот много ругали, он попал в большую историю литературы, но автору было тогда шестна-

дцать лет. Сейчас Лунц давно умер. Это был очень талантливый человек. В то время он уже знал испанский язык, писал драмы, которые имели успех, писал пьесу «Обезьяны идут» — это была как бы пьеса о будущих фашистах, врагах всего живого, которые наступают на нас. В конце пьесы с обезьянами сражались все, и даже мертвые вставали, чтобы их прогнать.

Был у нас тогда Константин Федин — молодой, голубоглазый, уже умеющий строить рассказы. Более взрослый, чем остальные. Был Николай Никитин с хорошим рассказом «Кол» и черноглазый Михаил Слонимский; Слонимский уже до революции работал в газете, собирал материал по биографии Горького, собирал интересно, хорошо. Алексей Максимович хмуро, но довольно смеялся, что Миша ходит вокруг него и сверкает черными глазами, как галка, и уносит куски биографии.

Черные глаза Миши были действительно галочьи. Хорошие глаза. Птицам приходится хорошо видеть.

Была еще Елизавета Полонская — поэтесса с хорошими и мужественными стихами; еще не пришел, но заслуживает упоминания — как бы для предварительного представления — Николай Тихонов. Он явился чуть позже, в длинной красноармейской шинели, с рассказами о лошадях и прекрасными солдатскими балладами, не киплинговскими, а русскими, солдатскими.

Был Вениамин Каверин — романтик, он, вероятно, и нашел слово «Серапионы». Тогда писал он условные, очень изобретательные рассказы. Было их много, каверинских выдумок. Не напечатал он и половины из них; это была пена молодого вдохновения.

Горький интересовался «Серапионами». Впоследствии «Серапионовых братьев» ругали и даже раз назвали «скорпионовыми братьями».

Обижались больше всего на Зощенко.

Михаил Зощенко — сатирик, он, по моему мнению, учил людей презирать обывателя, чтобы покидать прошлое без сожаления.

Сатириком быть трудно. Люди обижаются на него, как на электрическую лампочку после новой проводки в дом, где горел керосин: оказывается, что потолок закопчен.

Пришел Всеволод Иванов так, как приходит солдат из гвардейской части в новую часть.

Сел около холодной печи, открыл тетрадку и прочел первую строку. Начиналось это так: «В Сибири пальмы не растут...»

Рассказы Всеволода Иванова производили впечатление, как будто в реку бросил солдат ручную гранату и рыбы всплыли на поверхность, удивленно блестя белыми брюхами. Даже те, которые не были оглушены, сильно бились от изумления.

Так появился писатель.

Был у него большой жизненный опыт. Знал он сибирские леса, потерянные в этих лесах железные дороги, маленькие группы людей, ищущие свои тропинки в жизни; были у него литературные знакомства, совсем другие, чем у нас, свои навыки, своя река Иртыш и фантастические рассказы об отце-казаке, который, изучив арабский язык, поступил в Лазаревский институт восточных языков для того, чтобы удивить деревню студенческим мундиром.

Какой-то из русских крупных писателей говорил:

— Россия — страна уездная.

Россия — страна неисчерпаемая. Я по ней не так много ездил, но видал сибирских казаков, тех самых, из среды которых вышел Всеволод Иванов.

Видел людей, едущих в ряд на конях. Кони сами по себе, люди сами по себе, люди о конях не думают. Конь — это дополнительные четыре ноги, они вроде усовершенствованной обуви. Кони о людях тоже не думают. Люди думают и о своем разговаривают, а кони перенюхиваются внизу, не спеша и не ощущая всадника, а кругом степь и в степи нарезанные леса, выбежавшие из дальней тайги, но не захватившие степи целиком. Такие леса зовут — колки.

Бегут реки, бесконечно большие, бегут из чужих стран поперек материка.

У каждого человека, едущего на коне, кроме коня есть мечта, а мечта у него идет поперек земли.

Хотел Всеволодов отец попасть в Индию, и Всеволод хотел туда уехать.

Тут человек в дороге легок, в любви неутомим, в мыслях смел.

Революция научила Всеволода говорить правду и о новом и о старом. Он видел гражданскую войну в Сибири, бои, которые разделяли деревни, станицы и семьи.

Есть блистательный рассказ Всеволода Иванова «Дитё».

Рассказов о том, как грубые люди воспитывают ребенка, в литературе довольно много: у Брет-Гарта есть, например, рассказ «Счастье Ревущего стана». Но «Дитё» — рассказ особенный.

Казаки вытеснены белыми на границу Монголии. Живут трудно. Обижают население. Убили белого офицера и его жену, переодетую в мужское платье. Нашли у убитых ребенка, воспитывают его с нежностью. Для того чтобы выкормить ребенка, достали казашку, кормящую мать. Но у матери есть собственный ребенок, и она кормит двоих. Мужчинам показалось, что мать недокармливает их ребенка. И они недолго думая забросили ее ребенка в степь, чтобы у их дитяти молока было больше.

Что здесь сталкивается? Люди любят чужого ребенка, рожденного от врага-белогвардейца. Это добрые люди, понимающие, кого надо и кого не надо ненавидеть.

Но чужого ребенка, рожденного от казашки, они не считают своим. Они правильно уточняют классовое чувство, но не могут преодолеть чувства «это мое, а это чужое». Они и очень добрые, и очень злые. Старое в них существует неоправданным; это и есть сущность рассказа, конфликт которого очень горек.

Мы строим будущее, стоя по колено в грязи. И об этом рассказал в своих книгах Всеволод: и в «Смерти Сапеги», и в рассказе «Гришка маленький», и в «Жизни Смокотинина», и в рассказе «Как создаются курганы».

Страшно бывает иногда, но надо жить для завтрашнего дня. Приходится создавать курганы не только для того, чтобы живым было просторнее, а для того, чтобы смерти не замутили наших рек.

Вот так всегда. Уходят люди, а ты с ними недоговорил, и им написать письмо нельзя. Но надо понимать путь человека как преодоление препятствий.

Когда одного великого физика спросили, что самое главное, что больше всего помогает в создании новой теории, он ответил:

— Трудности.

В препятствиях, в том, что вопрос не решается сразу, лежит необходимость создания новых формулировок, зерно новых открытий.

Трудности растят и литературу.

Когда мы были молоды, когда Всеволод Иванов был «Серапионов брат», то «Серапионы» говорили друг другу при встрече: «Здравствуй, брат, писать трудно».

Они напоминали себе об этой трудности.

Писать очень трудно, и большим писателям труднее, а не легче, чем малым. Так вот, понимаешь трудности большого человека и его успехи обычно позднее. И написать ему о том, что ты его понял, уже нельзя.

Я пишу воспоминания, как письмо, которое не дойдет.

Я начал рассказывать вам про Всеволода Иванова в тогдашнем Петрограде. Мы узнавали его не сразу.

Через много лет, уже в Казахстане, я удивился тому, что Всеволод говорил, хотя не очень хорошо, по-казахски.

Количество знаний Всеволода было изумительно и разнообразно. Зощенко иногда спрашивал его: «Скажи прямо, какой университет ты кончил, Всеволод?» Этот университет был разрозненный и некомплектный. Такая была потом у Всеволода библиотека.

Как-то я спросил у Джамбула: что такое хорошая песня? Старик ответил мне через переводчика, что хорошая песня переходит через Казахстан со скоростью бега хорошего коня. Споют песню в одном месте, послушают ее, и слушатели разъедутся, запомнят ее, потому что она хороша. Приехав, споют они песню у себя, и песня пойдет дальше. И так она за несколько дней дойдет от жаркого Чимкента до холодного края Казахстана, до Сибири, до тех мест на Иртыше, где родился Всеволод.

Первые вещи Всеволода пробегали по нашей стране с изумительной скоростью.

Он как-то прочел у «Серапионов» «Бронепоезд 14-69». Если не изменяет мне память, «Бронепоезд» был напечатан в газете «Жизнь искусства», вероятно

не целиком, но я помню, как выглядели полосы с «Бронепоездом». Потом были отдельные издания.

Скоро появилась книга «Голубые пески».

Всеволод начался, как весна в Казахстане. Только что стояли пески и засохшие деревья тамариска и саксаул был похож на деревья ада Данте, и вдруг — весна, зеленые деревья, и на траве разноцветными кругами цветут тюльпаны, желтые, синие, красные, и так они разнообразны, как будто кто-нибудь придумал, как сделать из степи ковер, и ожили язычками зелени каменные стволы саксаула.

Что так подняло Всеволода, кроме его огромного, я не с маху говорю, бальзаковского таланта?

Великие писатели доверчивы и нетерпеливы. Доверчивы они в тех делах, которые мучат весь народ, которых народ ищет. Они знают, что другие хотят совершить, и нетерпеливо это совершают.

Октябрьская революция была доверчива: ждали близкой всемирной революции. Ждали потому, что знали себя, верили в мир. Знали потому, что она должна была произойти в самом деле. Но время истории и время человеческой жизни разные. Время истории — это эпохи, а наше время — это время сердца, сосудов, судьбы, которая иногда подрезывается войнами, болезнями, бедами, которые иногда срезают жизнь так, как говорил когда-то про жатву Есенин, так, «как под горло режут лебедей».

Всеволод был доверчив, у него в рассказе партизаны учат американца революции, не зная языка, учат по маленькой книжке «Закона божьего» для младших классов. Авраам хочет зарезать Исаака, а бог из туч задерживает руку отца-преступника. Все просто. Буржуазия — Авраам, Исаак — пролетариат, а бог — мировая революция. Слово, которое открывает смысл всей сцены, открывает эпоху, слово-разгадка — Ленин. Это слово партизан-агитатор произносит, как будто ступая на твердую землю после долгого поиска пути.

Доверие ко времени, к песне, к учителю сделало первые годы работы Всеволода Иванова легкими и в то же время трудными.

Этот еще молодой, сурово живший человек как будто был лишен элементарных потребностей. В сущности говоря, ему ничего и не было нужно. Когда его начали

печатать, когда он уже стал знаменит и переехал в Москву, то он не добивался комнаты. Жил в редакции журнала «Красная новь» и спал на столе. Стол для странника и степняка и для солдата — хорошее место для сна: в меру длинно, в меру широко, и если есть потолок над тобой, то удобно. Правда, кровати юрт удобнее, они изогнуты, как ладонь, и если под юртой подняты полы, то вокруг дует ветер степи. Если открыты кошмы входа, то видны звезды.

Ночью небо в степи начинается от травы. Городские и даже деревенские звезды начинаются над домами. Степные звезды как кузнечики: их как будто можно собирать рукою, если только дойдешь до края, до горизонта.

Так вот, Всеволод, когда он стал знаменитым, купил, насколько я помню, бриллиантовое кольцо.

Не из жадности, не из желания сберечь деньги, а потому, что ему не нужны были деньги, но нужно было их тратить.

Отец уже умер, дяде — Леонтию — он деньги послал. Тому казаку с Иртыша деньги нужны были только для хвастовства: он на эти деньги установил около своего дома огромные ворота, чтобы все казаки видели, какой Леонтий богатый.

Всеволод со своим кольцом пошел купаться — плавал он хорошо. Кольцо он потопил в Черном море, только не знаю, где надо за ним нырять.

Слава пришла к Иванову, не переступая через сумерки, пришла сразу, как день в степи.

Очень рано услыхал себя Всеволод на подмостках театра. Это был МХАТ, где репетировал спектакли Станиславский. Слова были сказаны правильно: ведь они были правильно написаны.

Говорила бесконечно сильная страна, неисчерпаемая в своем наступлении и сопротивлении.

Мужики, которые могут драться с опытными воинами, люди, которые сами могут лечь на рельсы и с уважением и доверием смотрят на чужие подвиги.

Странные истории гражданской войны, неожиданность подвигов — все это было у Всеволода Иванова, все это было услышано.

Он входил в литературу несомненным, правильным.

Революция приходит и, как саксаул, углубляет в песок свои корни, как будто в самые недра земли хочет послать телеграмму о победе своей.

Революция переделывает человека целиком, но не сразу.

Люди делятся на мужчин и женщин, этого не надо скрывать даже в литературе, иначе литература станет детской, а героями ее станут не Ромео и Джульетта и не король Лир даже, а просто мурзилки.

У Всеволода герои — мужчины и женщины. Их чувства превращаются, высветляются, но это многотысячелетние человеческие чувства, в них есть тайны, но и они пересоздаются. Когда слышишь музыку или гром, то даже книга в руках твоих дрожит, как мембрана телефона. Но не сразу. И звуку нужно время.

В книгах Иванова звучала душа человека, изменяясь, но все же она — старая душа, с привычками, сложившимися за много сотен лет. Революция все изменяет с тройной скоростью всадника, пересекающего страну, но души она изменяет не мгновенно.

В противном случае это не точка зрения революционера, это точка зрения христианина.

Был-де черный, темный человек.

Погрузили его в воду три раза, и стал он светлым наследником небесного царства, а Всеволод Иванов — казак с Иртыша и наборщик — остался в литературе Всеволодом со своим измененным и иначе увиденным, но существующим прошлым с глубокими корнями и разноцветным цветением.

Социалистический реализм не способ отбрасывать прошлое, а умение переделывать прошлое во имя будущего.

Он написал роман «У».

Я этот роман недавно прочел.

Мы были дружны со Всеволодом, сходясь, расходясь. Но мы были всегда друг другом заинтересованы.

Но ни мне, ни моим другим товарищам Всеволод не показал романа. Он отправил его в редакцию.

В редакции не приняли.

Писатель положил роман в стол. Хотел сам подумать.

Роман «У» необыкновенно сложно написанная вещь. Это произведение напоминает мне «Сатирикон» Петрония и романы Честертона.

На Петрония это похоже тем, что здесь показаны дно города и похождения очень талантливых авантюристов.

Честертона это напоминает тем, что сюжет основан на мистификации.

Показан момент начала советского строительства, взят район и время слома храма Христа Спасителя.

Книга стилистически очень сложно написана. В середине есть полемика со мной, что я отмечаю просто для аккуратности. Стиль книги блистателен, но непривычен.

Теперь, когда я читаю в «Известиях» фельетоны типа «Бриллиантовое полено», то вижу, что случаются вещи еще более удивительные, чем в «У» у Всеволода Иванова.

Недавно через те места, которые описывал Всеволод Иванов в своем романе, прошла новая улица. Разрыли напрямик землю, рыли ее лапами экскаваторов, думая об одном — провести вдаль дорогу прямо. Ломали старые домики, церквушки. Гибли бревенчатые стены, обитые когда-то войлоком для тепла. Гибли деревянные колонны, оштукатуренные под мрамор; раскалывались фундаменты. Слыхал много раз, что золотые клады, которые были найдены на трассе Арбата, покрыли стоимость прокладки новой трассы, а трасса стоит дорого.

Этот район оказался набитым тайнами, надеждами, — убежавшие люди хотели вернуться.

Я не пишу руководство для молодых писателей, а рассказываю о старом писателе, которого долго будут читать, о своих мыслях.

Перерассказать мир невозможно. Мы, отражая действительность, создаем ее модель, исследуем эту модель. Я думаю, что модель мира, которая была дана в тех вещах Всеволода, правильна. Действительность одна, но способы ее анализа, ее моделирование может быть разнообразно. То, что писал Всеволод, было истиной. Познанием. Познанием прежде не бывшего.

Шло время, постукивая на стыках.

Вырастал человек. Менялась его жизнь. Появилась у него семья. Болел у него сын, лежал зимою на балконе. У сына был костный туберкулез. Развешивали для него на открытом балконе цветные ледяшки. В них играло солнце. За ними лежали снежные поляны, стояли пушистые сосны, обледеневшие березки. За поляной видна краешком старая церковь. Мальчик вырос. Ему сейчас много лет. Он ученый. Он здоров.

Я пишу о нем, чтобы рассказать, как протекло время, как оно простучало.

Приехал Горький. Горький спорил с книгой «Похождения факира».

Поверьте мне на слово, Горький говорил:

— Конечно, это мне не нравится, но это лучше Гоголя.

А Всеволод ему отвечал:

— Алексей Максимович, ведь вы Гоголя не любите.

Горький Гоголя не любил, но это Гоголя не уменьшает.

Может быть большой писатель, который не любит Горького, и Горького это не уменьшит.

И Достоевский не встретился с Толстым, а жили они близко, должны были встретиться, но как-то они друг друга опасались.

Всеволод не разошелся с Горьким. Они любили друг друга; Горький восхищался Всеволодом. Но теперь я редко видал их вместе: редко бывал у Горького; другой мир, другая квартира. В квартире комендант, вокруг дома забор.

У Всеволода шумный, разноцветный дом, с лубками на стене, с портретом сына, написанным Кончаловским. Портрет стал похожим, очень похожим, когда сын вырос.

Сверкали в этом доме и камни, не драгоценные, но самые разнообразные, шкура медведя, которого Всеволод сам убил, рисунки Пикассо и первое издание французской Энциклопедии, созданной Дидро, Гриммом, д'Аламбером и другими славными и смелыми людьми. Среди этого шума и пестроты сидел очень спокойный Всеволод, молча и смело решающий свои задачи.

Его меньше издавали, больше переиздавали. Его не обижали. Но, не видя себя в печати, он как бы оглох.

Он был в положении композитора, который не слышит в оркестре мелодии симфоний, которые он создал.

Всеволод жил открыто.

Собрались у него книги — большая и невероятно разнообразная библиотека. [...]

Вот происхождение странной библиотеки Всеволода. Он хотел понять старую Россию по случайным свидетельствам, понять ее точно, беспристрастно. Тут я вспомню один разговор с Горьким.

Как-то раз Алексей Максимович прочел одну статью Троцкого. Дело шло о концессиях. В той статье, не помню ее точного названия, предлагалось разделить Россию на квадраты в шахматном порядке: одни квадраты будут продолжать опыт социализма, а другие станут развиваться в руках концессионеров. Алексей Максимович сказал черными от негодования губами:

— У меня через эти квадраты Волга течет.

Для него страна, ее история были неразделимой реальностью.

Для Троцкого страна была карта, которая не только мысленно разделяется на географические секторы, но может быть нарезана так, как в старину резали земли при заключении мирных договоров.

Писатель прокладывает свой путь через мир — это тропы в лесу, они огибают деревья и сходятся. Следы троп — не только письма о поездках, но и книги, которые мы читаем. Книги по истории, летописи, путешествия, исторические романы — все, что не собирается обычными библиофилами, было собрано Всеволодом Ивановым у него в городской квартире в Лаврушинском переулке и у него в Переделкине, на даче.

Мы жили с ним на одной лестнице. Вход был украшен порталом — он и сейчас остался, камень крепкий — лабрадор. Портал такой высоты, что в такой вход может въехать не то что катафалк, но даже подъемный кран. Дом огромный, серый, против Третьяковской галереи. Квартиры хорошие, и люди хорошие. Жили на одной лестнице Всеволод Иванов, и Илья Эренбург, и Федин, и Бехер, и Сельвинский, и много других любопытных людей. Ходили мы друг к другу редко.

Я приходил, смотрел старые книги, рассказывал о своих ненаписанных книгах и о том, что узнал из не исследованного до конца Великого и Бурного океана русской литературы.

У Всеволода большая квартира, большая семья. Мебель хорошая и такая, какой больше не встретишь в других квартирах, неповторяющаяся. В большом столе из карельской березы, удобном и вместительном, лежали непринятые рукописи.

Издавали и переиздавали «Партизан».

В театре шел «Бронепоезд».

В столе лежали написанные, непринятые пьесы.

Всеволод был заключен в своем прошлом, при жизни произведен в классики.

У входа в его жизнь поставили каменные ворота из лабрадора. Через ворота дяди Леонтия виден был Иртыш, изба Леонтия осталась такая же, и мог он пойти к соседям.

Лабрадор загораживал жизнь. [...]

Потом пришла война.

На нашей лестнице горела синяя лампочка, сквозь пролеты повисли серые кишки — брезентовые рукава пожарных труб; мы готовились к налетам. Дежурили люди у пожарных кранов. Все двери квартир открыты.

Мы встретились на чердаке.

Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей.

Над городом холодно светили лампы, сброшенные немцами; лампы с парашютами. Давали они свет как будто потусторонний. Свет колебался, и тени домов качались. Пол чердака был засыпан слоем песка.

Свет от мертвых ламп, висящих в воздухе, входил через слуховые окна и качался. Нам вручили свежие, еще не обтесанные деревянные лопаты — засыпать песком «зажигалки».

Самолеты пикировали, висели лампы, падали «зажигалки» с красным светом, сбрасывали мы их вниз.

Сидел я на чердаке; мне очень хотелось спать; я солдат, у меня такая привычка — при бомбежке, если я не занят, спать. У ног спала очень любящая меня малень-

кая белая собачка с очень плохим характером — Амка. Звонко откупориваясь, стреляли зенитки. Всеволод сказал мне:

— А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами.

Он был спокоен, круглолиц, печален.

Однажды бомба прошла через наш дом.

Небольшая.

Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Паустовского.

Когда днем Паустовский вошел в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень желтая канарейка и пела.

Пропевши песню, она упала и умерла: она переоценила свои силы.

Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет.

В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволоду, и брал у него книги, и слушал радио с плохими вестями.

Потом мы разъехались. Он был в Ташкенте, потом на фронте. А я был в Алма-Ате с киностудией, потом в грязи под Ржевом, в лесах, пахнущих палыми листьями и смертью, потом под Гомелем в узких траншеях, потом корреспондентом «Труда» под Нарвой, около Удриаса, в сосновом лесу на каменистом берегу знакомого моря.

Всеволод Иванов уехал на фронт; видел взятие Берлина.

После войны Всеволод продолжал писать книги, пьесы. Их приходилось переделывать по многу раз, и они теряли свою форму.

Изменилось время.

Всеволод поехал в дальние места, на границу Китая, на реку, где нет не только деревень, но и домов и юрт, нет почтовых отделений. Река течет через Монголию и с разгону вбегает в Сибирь. Река течет, расширяется. Всеволод, человек между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, на надувной лодке проехал по этой реке восемьсот километров.

Пустота, пустые берега, знакомое небо, горы, которые небу не мешают. Пустыня поворачивается перед

лодкой, показывая себя по-разному. Рядом идет другая лодка. Разлив большой, большая вода, быстрая вода, большая жизнь.

Об этих поездках не все успел написать Всеволод. Но есть его рассказ «Хмель», и видно, что Всеволод не состарился, не изменился, не озлобился. По-прежнему умел видеть людей не только такими, какими они должны быть, но и такими, какими они были.

Он писал о косматых кострах Сибири, о хмеле, о горах, о ветрах, о новых посадках, о рудах и камнях.

Всеволод очень любил камни, разные камни, цветные, не драгоценные. Он любил камни в их рождении. Из поездки (я даже не знаю как, потому что поездка была лодочно-самолетная) он привез камни, глыбы, большие плиты, поросшие цветными кристаллами, косыми, сверкающими, дымчатыми или прозрачными.

Это были россыпи солнца.

Таким собранием самородков был сам Всеволод Иванов.

Он рассказывал мне о сибирских реках, о драгах, которые моют золото со дна реки, медленно подымаясь по притокам. Про женщину с наганом на боку. Немолодая женщина сидит в каюте, а на полу каюты в цинковом ведре лежит еще не промытое до конца, еще темно-желтое золото; тяжелое золото.

Неисчерпаемая, широкая, богатая, не узнанная до конца страна была увидена заново немолодым и неуставшим Всеволодом Ивановым. Пыльная трава растет среди кристаллов на горах.

Он привез к себе на дачу эти кристаллы, показал мне тяжелые камни, рассказал о них, рассказал о будущих книгах.

Прошло время. Всеволод заболел. Его оперировали. Удалили одну почку: надеялись, что злокачественная опухоль не повторится. Он был по-прежнему крепкий, круглый, похожий на буддийского бога, но не на самого Будду, нет. Будда в степях изменился, успокоился, стал внимательней к миру. Мир для степного Будды не мираж, мир — это спокойствие пастушьего труда.

Мы с Паустовским посетили Всеволода в Нижней Ореанде, в Крыму. Солнце свирепствовало. Море пылало синим с красным, так, как пылают угли в печи.

Санаторий над морем. Это прекрасное место. Большой санаторий лежит на обрыве, упираясь в море железными ногами лифтов, предназначенных для спуска на купание.

Парк в меру запущен, очень зелен.

Цветы есть, но от них не пестро; кричат павлины, но не рядом.

Всеволод кругл, крепок; пошли гулять. Из нас троих, конечно, самым крепким казался Всеволод. Разговаривали о Сибири, о неистощимости страны, об изменяющемся человеке. Паустовский и я устали: сели в тени. Всеволод пошел доставать машину, чтобы вывезти нас вверх. Море под солнцем вдали сверкало, как угли с угаром.

То путешествие, которое он совершил, укрепило его веру — не в себя, а в то, что реки текут правильно, камни будут найдены, золото намыто и человек изменится быстро.

Потом я видел Всеволода на даче. Беседовали с ним его врачи, празднуя полугодие удачной операции.

Скоро узнали, что Всеволод опять заболел и что он безнадежен.

У постели больного дежурили сын и жена.

Каждый человек лучше всего обнаруживается в войне и в слабости. Покойный Эммануил Казакевич всех своих знакомых делил на два сорта:

«Вот этого я бы взял с собой в разведку, а этого не возьму».

В разведке слабый, уклончивый человек подведет: он попробует спасти себя.

При разведке смерти люди или боятся, или забывают о себе и думают об общем будущем. Мне фельдшерица Горького Липа рассказывала, как Горький перед смертью говорил главным образом о том, что фашисты все равно нападут, что их не удастся обмануть; говорил еще о значении литературы.

Сказать, что человек умер на посту, неверно, потому что занятие поста — понятие не динамическое, не рабочее. Хороший человек умирает, зная, что его жизнь продолжается в жизни других: умирает так, как ручей умирает, входя в большую реку.

Всеволод умирал. Он бредил. Ему было очень больно. У него слезились глаза. Плакала жена. Он говорил ей, что не надо плакать.

«Как ты не понимаешь? Мы плывем на корабле, я у руля, ветер нам прямо в лицо, оттого глаза слезятся...»

Умер очень большой, не прочтенный нами писатель. Он плыл впереди, мимо стран и людей, которых мы без него в литературе не скоро увидим, плыл, скрывая усилия и боль.

Направление было взято — к правде.

Переделкино
Август 1964

БРАТ АЛЕУТ

1

Мы собирались каждую субботу в комнате Михаила Слонимского в Доме искусств. Впоследствии Ольга Форш назвала этот дом «Сумасшедшим кораблем» и рассказала о странной жизни его обитателей, полной неожиданностей и вдохновения. Но ничего странного не находил в этой жизни студент-первокурсник, ходивший с высоко поднятой головой по еще пустынному, осенью двадцатого года, Петрограду. Еще бы не гордиться! Он только что приехал из Москвы. Он чуть ли не ежедневно бывал в знаменитом «Стойле Пегаса». Он неоднократно видел Маяковского, Есенина. Он сам писал стихи — очень тонкие, как ему казалось. Однажды ему случилось даже побывать у Андрея Белого, который показал только что вышедшие «Записки мечтателя» и говорил с ним так, как будто он, мальчик, едва окончивший школу, был одним из этих мечтателей, избранников человечества и поэзии.

Очевидно, совсем другое пришло в голову Юрию Тынянову, другу моего старшего брата, приехавшему в Москву по делам Коминтерна. Найдя меня среди бледных, прекрасно одетых молодых людей, называвших себя поэтами и носивших в наружном кармане пиджака порошки с кокаином, он испугался за меня и убедил переехать в Петроград.

Я поступил в университет. Стремясь приблизить необычайные события, которые непременно должны были произойти со мной, я поступил одновременно в Институт живых восточных языков. Мне хотелось стать дипломатом. Меня не пугала смерть Грибоедова и нравилась жизнь Мериме. Мировая революция приближа-

лась. Я видел себя произносящим речь в Каире, в мечети Аль-Азхар, на конгрессе освобожденных восточных народов. В свободное от государственных дел время я намеревался писать стихи или, может быть, прозу.

Словом, литературная Москва еще стояла в моих глазах, когда я впервые появился в маленькой, пропахшей дымом комнате Михаила Слонимского в Доме искусств, нимало не напоминавшем «Стойло Пегаса».

Преодолевая мучительную застенчивость, догадываясь, что я кажусь замкнутым, надменным, вглядывался в лица будущих товарищей по литературе и жизни.

В комнатке было очень тесно. Люди сидели на кровати, на окне. Юноша с вьющимися каштановыми волосами, присев на корточки, колол кухонным ножом и подбрасывал в «буржуйку» дровишки.

Один из моих новых товарищей — красивый человек, худощавый, высокий, с правильными чертами лица, которое запоминалось сразу, — показался мне старше других. Светлые глаза его были широко открыты, а когда он вдруг вступал в разговор, раскрывались еще больше, хотя это было уже почти невозможно. Это был Федин.

Другой мой новый знакомый — невысокого роста, очень черный, с бледным матовым лицом, державшийся прямо, с военной выправкой, — мягко усмехнувшись, изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь ироническое и вместе с тем дышавшее добротой и простотой замечание. Это был Михаил Зощенко.

Меня привел Виктор Шкловский, представив не по имени, а названием моего первого и единственного рассказа — «Одиннадцатая аксиома», о котором, по-видимому, знали будущие «Серапионовы братья». Потом он ушел, а я откинулся в угол кровати и стал несколько пренебрежительно, как это и полагалось столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все, кроме плотного молодого человека в гимнастерке и солдатских английских ботинках с зелеными обмотками, который молча слушал, склонив большую голову набок. Это был Всеволод Иванов. Главными противниками были Федин и юноша, разжигавший «буржуйку», — Лев Лунц.

Это был спор, не похожий на споры молодых московских поэтов, в которых было что-то случайное, ме-

нявшееся от месяца к месяцу. Здесь, это я почувствовал сразу, спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы. Не знаю, можно ли сравнить его со спором между западниками и славянофилами, но в настойчивом стремлении убедить противника, хотя бы это стоило самой жизни, было что-то очень серьезное, быть может уходящее к истокам этого классического спора.

Со всею страстью, в которой трудно было отличить убеждение от литературного вкуса и которая тем не менее двигала в бой целые полки неопровержимых (как мне тогда казалось) доводов, Лунц нападал на Федина, слушавшего его терпеливо, не перебивая.

Знаменитый тезис, над которым в то время подсмеивались формалисты, — сначала *что,* то есть сначала содержание, а потом *как,* то есть форма, — лежал в основе концепции Федина, и он умело превращал его из оружия обороны в оружие нападения. Вероятно, он был прав. Так много необозримо нового ворвалось в те годы в жизнь России, такой никому еще не ведомый трепещущий материал рвался в литературу, что действительно трудно было себе представить необходимость первоочередного изучения ее законов, на котором настаивал Лунц.

— Наша литература, — утверждал он, — как бы она ни была хороша, всегда как будто стояла на месте. Нам нужно учиться у литературы Запада. Но это не значит повторять ее. Это значит вдохнуть в нашу литературу энергию действия, открыв в ней новые чудеса и секреты.

Сила опыта звучала в ответах Федина, которому было трудно спорить, вероятно, еще и потому, что рассказы, которые он в то время писал, были близки к классической русской прозе. Лунцу (и мне) они казались повторением пройденного. То было время, когда Тургенева я считал своим главным литературным врагом. Прошло немного лет, и я стал страницами читать вслух тургеневскую прозу.

Это было только начало длинного спора, под знаком которого прошли серапионовские вечера зимы двадцать первого года.

Особую остроту он приобретал, когда дело касалось театра. Лунц считал, что театр по своему существу необычайно далек от подробностей быта. Театр будничный, театр реальных чувств казался ему причиной того

кризиса драматургии, который неизбежно постигнет русскую драматургию, если она не перейдет на другой путь, если она не будет стремиться к острому движению. Долой театр настроений, голого быта, скучнейших психологических переживаний! Да здравствует театр бури и натиска, не чувствительный и слезливый, а бешеный и страстный! Это была единственная мысль Лунца, которую он успел довести до практического воплощения. Его драмы «Бертран де Борн», «Вне закона» и другие — это сильные произведения, и можно только пожалеть, что наши театры обходят их — по незнанию или равнодушию?

Я сказал, что спор этот продолжался, видоизменяясь. Другой спор, запомнившийся мне, касался вопроса о стиле. Выбор между двумя направлениями — разговорным и «орнаментальным» — предстоял в ту пору любому из нас. Так называемый орнаментализм был представлен писателями, энергично действовавшими и вовсе не желавшими упускать из-под своего влияния молодежь. Замятин руководил одной из студий, из которой вышли Никитин, Слонимский. Ремизов поражал воображение оригинальностью самого своего отношения к литературе. Андрей Белый был в расцвете своего дарования, и казалось, что его перо еще способно поднять изысканную прозу символистов.

Первый вечер, который я провел среди новых друзей, потом смешался с воспоминаниями о других вечерах, быть может не менее интересных. Но это был вечер перехода к новой, еще неведомой жизни — вот черта, которую я почувствовал смутно, но верно.

Мы возвращались после первого серапионовского собрания с Константином Фединым, с Елизаветой Полонской. Петроград, уже опустевший, хотя еще только пробила полночь, лежал перед нами пустой, геометрически точный. С жадностью юноши, начитавшегося Пушкина, всматривался я в этот город, который полюбил на всю жизнь. Не помню, где я читал, что родина — не там, где родится человек, а там, где он находит себя.

Вечер был такой и город был такой, что нетрудно было представить себе, что именно они — этот удивительный город и этот необыкновенный вечер, соединившись вместе, подсказали одному из нас тот эпиграф, который стоит на титульном листе романа «Города и го-

ды»: «У нас было все впереди. У нас не было ничего впереди». Но и другая мысль слышалась в отзвуках ненадолго умолкнувших споров.

В одной из своих статей о «Серапионовых братьях» Горький писал, что «Серапионы» вместо приветствия произносят: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно». Признаться я не помню, чтобы нам служил приветствием этот девиз. Наверно, это было не так. И все-таки это было именно так. Кто знает, какая жизнь ожидала нас, призвание еще ничем не напоминало профессию. Но это было так важно — впервые понять, почувствовать и объяснить себе, что без строгой, требовательной любви к литературе нечего и браться за перо. Так бесконечно важно.

2

В книге «Горький среди нас» Федин писал о «Серапионах», что «восемь человек олицетворяют собою санитара, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, кавалериста». Самые необыкновенные из этих профессий принадлежали Иванову, — все-таки никто, кроме него, не колол себя булавками и не глотал огонь перед изумленной аудиторией, — впоследствии он рассказывал мне, что это не так уж и сложно.

Но сразу вспыхнувший интерес к нему вовсе не был связан с необычностью его биографии. Напротив, каждый его рассказ, — а он приходил по меньшей мере раз в месяц на «серапионовские чтения» с новым рассказом, — поражал своей «обыкновенностью», которая потому и была его силой, что представляла собой первую живую запись того, что происходило в стране. Тогда я не понимал, что это — мнимая обыкновенность. В споре, о котором рассказано выше, я был на стороне Лунца, и рассказы Иванова казались мне воплощением бытовой, традиционной литературы. Девятнадцатилетний студент, увлеченный возможностью устроить в литературе свой мир, а в этом мире свой беспорядок, я не понимал тогда, что «бытовизм» Иванова бесконечно далек от сознательного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе.

Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета. В книге, которая недаром так и называется «Цветные ветра», эта смелость достигает размаха, который подлинным «бытовикам» показался бы кощунством.

Без сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, явившаяся как бы непроизвольной, фантастическая сторона революции и гражданской войны, которая никем еще тогда не ощущалась в литературе. Он раньше Бабеля написал эту фантастичность в революции как нечто обыкновенное, ежедневное, почти машинальное. Именно эта черта и сделала его «Партизанские повести» литературным фактом принципиального значения. На фоне необычайности того, что происходило в стране, история, рассказанная в «Дите», кажется естественной, хотя она глубоко противоречит представлениям устоявшегося дореволюционного мира. Вот почему, когда в 1922 году я спросил Иванова, кто, по его мнению, пишет сейчас лучше всех, он ответил: «Разумеется, Бабель».

Это показалось мне шуткой. Имя Бабеля я услышал впервые.

3

Иванов был человеком, редко удивлявшимся, почти не принимавшим участия в спорах, но умевшим слушать — за его тогдашней молчаливостью скрывалась огромная, вскоре проявившаяся, жажда познания. Можно сказать, что в этом смысле все мы — в разной степени — продолжали. Он — начинал, и начинал широко, с размахом.

В те дни, когда он писал на оборотной стороне географических карт, вырванных из Британской энциклопедии, — впоследствии он рассказал об этом в своей автобиографии, — ему казалось, что он может работать в любом жанре, не только в прозе. Однажды он явился к нам с поэмой и от души удивился, когда мы в один голос сказали, что она никуда не годится. Как известно, Л. Н. Толстой дважды начинал своих «Казаков» стихами. Эти стихи относятся к гениальной прозе «Казаков» примерно так же, как поэма Иванова, которую мы добродушно, но беспощадно раскритиковали, к его

«Партизанским повестям», которые были встречены нами с восторгом.

Я упомянул, что он писал на оборотной стороне географических карт, но, без сомнения, среди его ранних рукописей найдутся и толстые разлинованные листы бухгалтерских книг. Мы все писали тогда на конторской бумаге. Очень близко от Дома искусств, где мы собирались, был на Большой Морской брошенный банк, в котором никто не работал — саботаж — и куда мог зайти любой прохожий через распахнутые настежь огромные двери. Это было навсегда запомнившееся зрелище неизвестной, сложной, остановившейся на полном ходу, полной самоуважения жизни. Темный, сумеречный свет стоял в высоких залах с тяжелыми люстрами, с высокими пыльными лакированными барьерами. Отодвинутые кресла еще хранили, казалось, движение быстро, в испуге или негодовании, вскочивших людей. И везде на столах лежали толстые, как Библия, гроссбухи, бумага, бумага — прочная, красно и черно линованная, довоенная, дореволюционная, забытая, как забыт был тогда вкус белого хлеба.

Мы писали на ней долго, годами. Помнится, зайдя к Тихонову в 1928 году, я удивился, увидев, что его новые стихи написаны на этой бумаге. Не сомневаюсь, что Александр Грин был — и не однажды — в залах этого огромного опустевшего банка. Его лучший рассказ «Крысолов» пронизан ощущением ужаса перед фантомом огромной заброшенной канцелярии, в которой господствуют крысы, ставящие себя бесконечно выше людей с их мнительностью и жалкой любовью. Грин, так же как Лунц, Шкловский, Слонимский, жил в Доме искусств.

4

Итак, мы собирались каждую субботу, и каждую субботу — теперь это кажется несколько странным — один из нас читал новый рассказ. Его слушали не только «Серапионовы братья», но обычно и гости, или «гостишки», как мы их называли. Это были почтенные гостишки — Ольга Форш, Корней Чуковский, Юрий Тынянов (редко), Виктор Шкловский, которого, впрочем, мы одно время считали даже одним из «Серапионовых

братьев». Словом, это были люди почтенные, всеми уважаемые, и к мнениям их прислушивались с особенным вниманием.

Но случались и другие гости, появление которых вносило раздор в круг «Серапионовых братьев». Я помню, как однажды Михаил Зощенко явился на очередное чтение с двумя или тремя актрисами какого-то южного театра, гастролировавшего в Ленинграде. Актрисы писали стихи, и наше заседание вдруг стало напоминать «Звучащую раковину» — в Петрограде был такой поэтический салон, к завсегдатаям которого у нас было дружеское, но несколько ироническое отношение.

Напомню, что мне было тогда только двадцать лет, иначе я, вероятно, не воспринял бы приглашение этих ни в чем не повинных девушек как бестактность по отношению к «литературному ордену Серапионовых братьев». Стихи были прочтены, началось обсуждение. Я первый взял слово и с мальчишеской самоуверенностью принялся терзать, крушить и уничтожать эти милые, но действительно пошловатые произведения.

Девушки обиделись и ушли. Мы остались одни, и тогда Зощенко, которого я впервые увидел в бешенстве, весь белый, но не повышая голоса, сказал, что я вел себя как ханжа, — помню, меня в особенности оскорбило это слово, — и потребовал, чтобы товарищи осудили мое возмутительное поведение. Я ответил, что очень удивлен тем, что он, требуя от меня ответа, обращается к другим, и что не позволю устраивать над собой суд, тем более что ни в чем не считаю себя виноватым.

— Полагаю, что вопрос может решить только та встреча лицом к лицу, — сказал я холодно, — с помощью которой еще недавно решались подобные споры и от которой я ни в коем случае не намерен уклониться.

Гордо подняв голову, я вышел и, не помня себя, помчался по Невскому. Мы деремся! Правда, Зощенко промолчал, и у меня не было уверенности, что он понял, что я его вызываю. Он промолчал, а кто-то (кажется, Федин) улыбнулся. Все равно мы деремся! Завтра нужно ждать секундантов. Вызван Зощенко, — следовательно, он и предложит условия. Десять шагов — и до результата. Секунданты едва ли могли прийти ночью, но я не уснул. Я ждал секундантов.

Это были трудные для меня дни. В университете у меня не был сдан минимум за второй курс, в Институте восточных языков нельзя было не посещать занятий. Я зубрил римскую литературу, рвал горло на гортанных арабских звуках, но из дому не выходил — ждал секундантов. Я вскакивал на каждый звонок, прикидывал, кто из друзей может выступить в этой тяжкой, но благородной роли, сочинял предсмертные записки — предсмертные, потому что не сомневался в том, кто из нас будет убит. Зощенко недавно снял военную форму, был известен своей храбростью — можно было не сомневаться в том, кто из нас падет в этой встрече. Но секундантов не было.

Юрий Тынянов (я жил у него в студенческие годы), серьезно отнесшийся к нашей ссоре и даже уговаривавший меня извиниться перед Зощенко, стал подсмеиваться надо мной и вдруг притащил откуда-то толстый «Дуэльный кодекс». Я рассердился, потом прочел кодекс. Он был написан (или издан) сыном известного Суворина. В пространном послесловии автор рассказывал длинную историю о том, как он получил пощечину, был вызван на дуэль, но струсил и теперь, чтобы доказать свою доблесть, издает этот кодекс. К сожалению, мне трудно проверить это несколько парадоксальное впечатление: редкая книга пропала в числе других в годы ленинградской блокады.

Итак, я ждал секундантов. Скучный учебник Модестова по римской литературе был изучен вдоль и поперек, из Института восточных языков позвонили и сказали, что я буду исключен, если не явлюсь на очередное занятие.

Прошло несколько дней, и после долгих колебаний — идти или нет, взволнованный, с горящими щеками, я отправился на первую годовщину «Серапионова братства». Зощенко пришел поздно, когда мы играли в какую-то игру вроде «телефона». Это было в комнате Мариэтты Шагинян. Поклонившись хозяйке, он стал неторопливо двигаться вдоль ряда играющих, здороваясь, и, дойдя до меня, остановился. Я вскочил — и, как Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, нас стали мирить, уговаривая и толкая друг к другу.

Наконец мы поцеловались, и Зощенко сказал мне с доброй улыбкой:

— Знаешь что, а ведь я все эти дни почти не выходил. Думал: черт его знает, мальчишка горячий. Ждал секундантов.

Я вспомнил эту историю не для того, чтобы рассказать о том, как мы были молоды. Единственный из «братьев», который оказался на моей стороне, то есть считал, что я поступил правильно, заступившись за честь нашего «ордена», был Иванов. Для него наши вечера стали школой высокого отношения к литературному делу.

— Что же касается отношения к девушкам, — в других, более грубых выражениях сказал он, — это тоже важная вещь, но при чем же здесь литература?

5

Вечера в первые «серапионовские» годы устраивались часто — и это были вечера, полные остроумия, изобретательности, безыскусственности и неудержимого, почти фантастического веселья. Наша молодость сложилась счастливо, но даже в этой счастливой молодости они кажутся чем-то особенным, нарядным и недаром запомнившимся навсегда. На этих вечерах по заранее написанным сценариям (чаще всего за полчаса до начала) разыгрывались целые истории — и разыгрывались талантливо, остроумно. Иногда это были инсценированные биографии «Серапионовых братьев», иногда — полемика со статьями, появившимися вскоре после выхода первого (и последнего) нашего альманаха.

Вечера носили названия. На одном из них был разыгран фильм «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова». В нем рассказывалась мнимая аристократическая биография Иванова, показавшаяся нам особенно забавной потому, что мы все, разумеется, знали подлинную биографию «брата Алеута» — таково было прозвище Иванова. Устраивал вечера Лев Лунц, который выступал одновременно и как артист, и как конферансье, и как режиссер, и как театральный рабочий. Над чем только не смеялись мы на этих вечерах! И над собой, и над казавшимися тогда необыкновенно смешными попытками администрирования в литературе. Осмеянию

бюрократов в те годы Слонимский посвятил талантливую одноактную пьесу, в которой вокруг поваленной кем-то тумбы возникает целое учреждение, а Лунц — рассказ, в котором канцелярист постепенно сам превращается в одно из собственных «отношений».

6

Мне кажется, что Иванов как писатель сложился в те молодые годы. Уже тогда его героями были глубоко задумавшиеся люди, правдолюбцы, пытающиеся найти единственную в мире, выкованную в муках, справедливость. Уже тогда они искали ее, путаясь в снежной пыли, как путается и не может уйти от заколдованного селезня Богдан в рассказе «Полынья».

В книге «Тайное тайных», составившейся из рассказов первой половины двадцатых годов, талант Иванова высказался с определенностью и силой. Дело было не только в том, что Иванов первый в советской литературе соединил опыт гражданской войны с глубоким знанием сибирской деревни. И это немало. Но главное все-таки заключалось в том, что этот опыт был окрашен любовью к необычайному, глубоко свойственной русскому характеру и русской литературе. Быт интересовал Иванова не сам по себе, а как путь к тайному тайных, к глубоко запрятанной сущности человеческих отношений, загадочно и остро раскрывшихся в годы исторического перелома. Иногда это широкий путь, по которому, сидя в автомобиле с женой, неподвижно, как перед фотоаппаратом истории, ведет своих партизан Вершинин. Иногда — извилистая, теряющаяся в песках Тууб-коя тропинка Омешина, выбирающего между совестью, долгом и острой жаждой любви.

В новой прозе, которую пытался уже в те годы построить Иванов, намерения героев расходятся с их поступками, а цель не только не оправдывает средства, а кажется решением другой, никем не заданной цели. Впоследствии в романе «У» он развил и упрочил это направление. Нарушение традиционных представлений возникло в его творчестве как отражение тех неожиданностей, которые пришли с революцией. Жизнь предстала перед ним как галерея неограниченных возможностей —

о них он и стал писать, вдохновленный Горьким, который понимал и поддерживал его дарование.

Вот откуда взялся его интерес к русской фантастике, к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. Он искал и находил любимую традицию в прошлом русской литературы.

На месте будущего историка я попытался бы проследить развитие этой традиции, начиная с загадки гениального «Носа» — через трагическую иронию драматургии Сухово-Кобылина и сказок Салтыкова-Щедрина — к Михаилу Булгакову, показавшему в «Диаволиаде» и «Роковых яйцах» образцы гротеска, твердо стоящего на бытовой основе. Тогда не трудно было бы доказать, что искусство Чаплина, парадоксально смешавшего бесконечно далекие жанры, во многом предсказано русской литературой.

7

Частые встречи с Ивановым оборвались, когда в середине двадцатых годов он переехал в Москву, но дружеские отношения остались, и не на год или два, а на всю жизнь. Чистота, озарявшая наши молодые споры, была порукой этих отношений. Юность шла за нами по пятам, напоминая о том, что надо беречь достоинство писателя, как это ни было подчас тяжело. Наши отношения, лишенные малейшей предвзятости, всегда были проникнуты интересом и вниманием друг к другу. Мучительный и сложный процесс деформации, равнодушия, одеревенения, тот самый, о котором Маяковский писал:

> Приходит
> страшнейшая из амортизаций —
> амортизация
> сердца и души, —

не коснулся Иванова, может быть, потому, что главной чертой его характера была прямота, сливающаяся с глубоким интересом к людям.

Я не помню, чтобы какие бы то ни было обстоятельства заставили его назвать черное белым. Он вовсе не был холоден, равнодушен. Напротив: однажды я был свидетелем его смелого выступления, когда в короткой

и сильной речи он горько упрекнул в равнодушии тех, кто из осторожности или трусости стремился обойти события, взволновавшие всю страну.

Что сказать о его трудной писательской судьбе? В недавно опубликованном превосходном рассказе «Сизиф, сын Эола» солдату Полиандру не очень повезло в жизни, потому что он служил царю Кассандру, «соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие». Он хотел, чтобы Кассандр думал о нем хорошо, но «Кассандр не верил солдату, всем солдатам — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие». И вот нищий, израненный, но еще полный надежд, солдат отправляется на родину. В горах он встречает Сизифа, который некогда правил Коринфом и который — как в знаменитом мифе — должен вечно вкатывать в гору обломок скалы.

В рассказе Иванова древнегреческий миф приобретает странные, смутно знакомые очертания. За фигурой могучего и прямодушного солдата, которого боятся именно потому, что он прямодушен, чудятся мне нелицемерные черты старого друга, идущего вперед «при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель главная и всеединая цель человеческого существования». Но и сам Сизиф — этот друг, уже не молодой, в старости, когда его лицо «наполнено тем избытком дней, который... указывает на необыкновенную силу и умелое, терпеливое расходование этой силы». Солдат встречается с Сизифом в последний день его бессмысленной, неустанной работы. Зевс простил его за послушание. Завтра он будет свободен. И начинается разговор между солдатом и сыном бога.

С мечом в руках солдат прошел Персию, Индию, Египет. Он видел сатиров с пурпуровыми рогами, убивал сирен и центавров. Сизиф не знает и не видел ничего, разучился говорить в одиночестве, события мира прошли мимо него в бесшумной дали. «Камень был тяжелый, — говорит он изумленному солдату, — и мне было трудно оглядываться». Наступает ночь, они ложатся спать, условившись вместе отправиться в Коринф, чтобы убить Кассандра и покорить Грецию. Но

утром солдат видит, как Сиэиф снова катит вверх, в гору, огромный базальтовый черный шар.

«—...Ты ли это, о Сизиф! Разве мудрый Зевс не простил тебя и разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, колени и ступни мои — стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на востоке в жарком песке пустыни... А здесь... здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору...»

Писательская судьба Иванова была трудна. Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — не легкое чтение. Не для того он отдал годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву. Они связаны с судьбой страны, с ее историей — трагически и неразрывно. Путь солдата Полиандра, мечтавшего о грабежах и насилиях, о легкой жизни, о том, чтобы «спать на пуху под пение красавиц», не прельщал автора «Сизифа».

Вот почему, входя в его дом, я неизменно чувствовал дыхание всей страны с ее радостями и горестями, надеждами и трудами. За большим столом Всеволода Иванова собирались люди, значение которых неоспоримо в истории нашей культуры. Русские ходоки в далекие чужие земли вспоминались, когда он рассказывал о своих путешествиях, — а путешествовал он всю жизнь — верхом, пешком, на плотах, на лодках, по воде и по суше. С молодых лет он отправился в «Индию литературы», и путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, продолжалось ни много ни мало — до самой смерти.

Ходоком, искателем нового, пытливо всматривающимся в неведомую жизнь, он был — и останется — в нашей литературе.

1965

Николай Анов

СТАРЫЙ ДРУГ

С Всеволодом Вячеславовичем меня познакомил мой питерский земляк — поэт и артист Владимир Павлович Рябов-Бельский. Он приехал из голодной столицы в Омск раньше меня, еще при первой советской власти, и поместил несколько стихотворений в местных «Известиях». Во время мятежа белочехов Рябова-Бельского посадили в тюрьму и отправили в лагерь. По счастливой случайности его не расстреляли сразу, а через месяца два выпустили на свободу, глухого на левое ухо: конвойный дал чересчур тяжелую затрещину.

Мы работали корректорами в типографии. Рябов-Бельский представил мне на улице Всеволода Иванова и трагическим шепотом, каким говорят старые актеры, сказал:

— Тоже пролетарский поэт! Артист! Как я! — И в мою сторону: — А это, познакомьтесь, мой питерский земляк. Прозаик.

У меня было напечатано четыре рассказика в довоенной «Правде», один из них вошел в «первый сборник пролетарских писателей», изданный «Прибоем» в 1914 году. Я с гордостью не замедлил сообщить это новому знакомцу, добавив, что сборник составлен «самим» Максимом Горьким и вышел с его предисловием.

— А мой рассказ «На Иртыше», — ответил Всеволод Вячеславович, — Алексей Максимович поместил во втором сборнике. Он вышел в издательстве «Парус».

Так началось наше знакомство. Всеволод рассказал, что он получил от Горького личное письмо. Я смотрел на него с уважением. Молодой наборщик переписывает-

ся со знаменитым писателем! Это мне казалось невероятным!

Всеволод Вячеславович поинтересовался, знаю ли я омских литераторов. Я ответил отрицательно.

— Я вас познакомлю. Сейчас в Сибирь приехали писатели из Петрограда. На Гасфортовской улице образовался литературный клуб. Там собираются довольно часто. Сходим как-нибудь вместе.

Недели через три мы отправились на писательское собрание. Пришли с опозданием. Какой-то поэт с длинными волосами замогильным голосом читал стихи.

Всеволод стал перечислять присутствующих:

— Сергей Ауслендер... Георгий Маслов... Из Петрограда. А это Георгий Вяткин. Наш, сибиряк... А рядом с ним в студенческой тужурке Юрий Сопов.. А вон Антон Сорокин, с маленькими усиками, в очках. Я вас с ним познакомлю. Любопытный человек, с большими странностями. Писатели и редакторы его недолюбливают. А эта жгучая брюнетка — поэтесса Подгоричани. Говорит, грузинская графиня. Я думаю, врет...

Литературное собрание, как ему и положено, шло своим порядком. Поэты декламировали стихи, кто-то прочитал коротенький рассказ, кто-то с надрывом в голосе заговорил о растоптанной большевиками родине. Среди присутствующих находились люди с различными политическими воззрениями.

— Сорокин сейчас будет выступать! — шепнул мне Всеволод и загадочно добавил: — Увидите, скучно не будет.

Чинно сидевшие литераторы сразу оживились.

— Опять начнется балаган! — прозвучал недовольный голос.

Сутулый, худощавый человек с черными усиками на желтом лице, сверкая стеклами очков, шел к трибуне с бумажкой в руке.

— Это у него манифест. Сейчас начнется!

Большинство участников собрания смотрели враждебно, меньшинство злорадно улыбалось.

Человек с усиками, ничуть не смущаясь и даже, видимо, довольный, сел за стол.

— Сейчас я оглашу манифест Антона Сорокина!

В эту минуту кто-то выключил свет, и в комнате стало темно.

— Нарочно погасили! — громко сказал Всеволод и шепнул мне: — С ним не так просто справиться. Вот увидите!

Антон Сорокин достал из кармана толстую восковую свечу, зажег ее, поставил на столе возле себя и приступил к чтению своего манифеста. Суть его сводилась к следующему: Россия раскололась надвое. Идет кровопролитная гражданская война. Уничтожается мозг страны — интеллигенция, писатели, художники. Антон Сорокин не может молчать! Писателей нужно спасать от фронта всеми мерами! На худой конец, они могут служить военными писарями и спокойно отсидеться в канцеляриях до конца войны. Напрасно талантливый писатель Александр Новоселов поспешил стать бездарным министром. Он поплатился за свою оплошность. Новоселов решил быть политическим деятелем, а его пристрелили, как собаку. В Сибири писателей мало, их надо беречь. Наше общество не представляет, в каких невыносимых условиях они живут. Сибирский писатель Иван Тачалов служил вышибалой в публичном доме. Поэт Игорь Славнин сидел в тюрьме за воровство. Талантливый писатель, будущий Горький, Всеволод Иванов ходил с шарманкой, зарабатывая кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду.

— Шут гороховый! — донеслось из задних рядов.

Всеволод незаметно поднялся и включил свет. Антон Сорокин потушил свечку. Он успел дочитать свой манифест и с гордо поднятой головой проследовал к своему стулу.

Еще кто-то читал отрывок из поэмы. Собрание кончилось, и мы вышли на улицу. Всеволод познакомил меня с Сорокиным. Антон Семенович пригласил заходить к нему.

Когда мы остались вдвоем с Всеволодом, он рассказал мне о гибели писателя Новоселова, убитого белогвардейцами примерно месяц назад.

— Новоселов талантливейший писатель, — говорил Всеволод, — но я никак не пойму, зачем он полез в министры. Скромный учитель, работал в сельской школе, крестьяне его любили и уважали. Горький в «Летописи» напечатал его блестящую повесть «Беловодье». Путь в литературу ему был открыт широкий. А он все это

променял на политическую карьеру. Жалко его страшно, человек был отличный. Мы с ним дружили...

— Ну, а насчет шарманки — это, конечно, преувеличение?

— Почему?! Мне в жизни пришлось много испытать. Я и в балагане работал, факиром был, актером, пьесы за Шекспира сочинял. Жизнь наборщика в провинции тяжелая. Весна наступит — шило в карман и шагай на все четыре стороны. Придешь угол снимать, договоришься с хозяйкой, она спрашивает: «А вещи ваши где?» Воткнешь шило в стену, пиджак повесишь и объяснишь: «Вот и все мои вещи!» Зачастую тут же от ворот поворот: «Иди, иди, миленький! Нам не подходишь!» А потом я пустой чемодан завел, и тоже большого доверия не было. За актера принимали. А это народ такой, вроде наборщиков, особой любовью не пользовался. Поневоле с шарманкой пойдешь... И подручным у торгаша работал. Возили в степь галантерею и меняли на масло. И просто бродяжить приходилось. Голодно, но весело. Все испытал и пришел к выводу, что для писателя такая жизнь необходима. Многое посмотреть пришлось!

* * *

К Сорокину мы отправились в первое же воскресенье днем. Когда поднимались по крутой лестнице, Антон Семенович таинственно шепнул мне на ухо:

— Сейчас я вас познакомлю с очаровательнейшей писательницей.

Мы вошли в комнату, где за обеденным столом сидели два гостя. Никакой писательницы не было. Один из гостей, пожилой, привлекал невольное внимание длинными с проседью усами. Он что-то говорил с сильным украинским акцентом. Другой, средних лет, сверкал лысиной и очками в золотой оправе, слушая рассеянно своего собеседника.

— Рекомендую, Принцесса Греза! — Сорокин представил меня лысому господину с помятым лицом.

Тот приветливо улыбнулся, показав сильно испорченные зубы, и отрекомендовался:

— Громов. Литератор. Из Петрограда.

Всеволод как-то стушевался, увидев «принцессу»,

сухо протянул ему руку и сел рядом с усатым украинцем.

Посидели мы недолго. Всеволод сказал, что мы зашли только на одну минуту, предупредить Антона Семеновича и его жену Валентину Михайловну о лекции профессора, едущего во Владивосток, что нам надо еще куда-то поспеть, и стал прощаться.

Сорокин не стал задерживать, он о чем-то догадался.

— Ну что же! Заходите, всегда рад!

Мы вышли на улицу. Всеволод сказал недовольно:

— Не мог предупредить на лестнице. Антона Семеновича хлебом не корми, любит подзавести. Потом издеваться станет: «Как я вас ловко одурачил...»

— Но при чем тут принцесса?

— А вы «Женский журнал» когда-нибудь читали?

— Не приходилось.

— Ну так вот, на самом деле она, или, точнее, он, действительно «Принцесса Греза». Это псевдоним журналиста Громова, с которым вас познакомил Сорокин. Он вел в «Женском журнале» постоянный отдел «Переписка с читательницами». Давал бабам советы по самым интимным вопросам любви, а дуры даже не подозревали, что «принцесса» ходит в штанах. В Омск он приехал из центра по путевке комиссара печати и стал сразу редактировать в «Известиях Совета», а после переворота начал праветь. Вообще говоря, редкая сволочь. От него надо держаться подальше. Я поэтому и поспешил уйти.

— Ну, а второй? С длинными усами?

— Это Оленич-Гнененко. Военный фельдшер. Сочиняет плохие стишки. Сын у него замечательный, Александр Павлович. Большевик. Чудом унес ноги из Омска во время переворота. В отличие от отца, талантливый поэт.

И Всеволод продекламировал:

Шли калики перехожие
От двора и до двора.
Золотые и погожие
Половели вечера.
По местам, где ели скошены,
Бродят сутемень и мгла.
Смрадным ивнем запорошены
Замшавелые луга.

Во время переворота мы с Оленичем и живыми-то остались благодаря Антону Семеновичу. Когда белогвардейцы искали «красных» и расправлялись с ними на улицах, мы нашли убежище в квартире Сорокина.

Так постепенно Всеволод открывал мне одну за одной страницы своего участия в революционных событиях Омска. По его словам, он был социал-демократом интернационалистом. Вероятно, тут сказалось влияние Горького, к которому он относился с чувством нежного обожания. Газета «Новая жизнь», созданная Алексеем Максимовичем, печатала фельетоны редактора «Несвоевременные мысли», она-то и формировала мировоззрение Всеволода. Но когда потребовалось дать отпор белочехам, Всеволод пошел в Красную гвардию и, лежа за пулеметом, защищал Омск.

* * *

Моя дружба со Всеволодом завязывалась все крепче и крепче. Вошло в привычку по вечерам бродить по городу. Постоянные прогулки объяснялись просто. Я жил в самой непривлекательной лачуге, а у Всеволода жилищные условия были еще хуже моих. Он снимал крохотную каморку, в ней двоим повернуться было невозможно. Едва втиснуты туда койка, микроскопический столик, колченогая табуретка. Под койкой находилась корзинка с книгами и — единственное богатство! — словарь Даля. По нему Всеволод учил незнакомые слова.

Я сижу на койке рядом с ним, а он делится своими мечтами:

— Вот бы купить словарь Брокгауза и Ефрона! Замечательная вещь! Если прочитать от корки до корки, вполне заменит любой университет. Сейчас беженцы спекулируют сахарином, бриллиантами, мехами, кокаином. Книгами никто не спекулирует. Они никому не нужны. Была возможность приобрести Брокгауза за пятьсот рублей. Шести томов, правда, не хватало, но это неважно. Самое обидное — никто денег в ту минуту не давал в долг. Так и уплыл Брокгауз.

Всеволод достает толстую тетрадь в клеенчатой обложке. В ней наклеены газетные вырезки — стихи, напечатанные в курганской газете. Он вспоминает редак-

тора Ушакова, который в 1915—1916 годах охотно помещал его патриотические частушки, разумеется, без всякой подписи автора.

Всеволод похвастал:

— Какой-то московский профессор, фольклорист, даже в своей статье их отметил как яркое проявление народного творчества в дни войны. Ушаков был в восторге — ходил именинником!

Напечатанные, а тем более ненапечатанные стихи Всеволода мне казались футуристическими и были непонятны. Он с восторгом говорил о Давиде Бурлюке, с которым успел познакомиться на концерте в Омске.

Вообще Всеволод не пропускал ни одного концерта, ни одной лекции, которые, проездом через сибирскую столицу, устраивали «знаменитости», пробиравшиеся из Советской России на Восток.

* * *

Помню, однажды утром, в воскресенье, Всеволод пришел ко мне какой-то особенно радостный. Был мороз, он ходил в драной, плохо согревавшей шубе, из которой вылезала вата. Вытирая запотевшие стекла очков, без которых глаза его сразу казались косыми, он торопливо заговорил:

— Хочу вам прочитать рассказ... «Рогульки».

Через год он сам набрал этот и другие рассказы, получилась книжечка под общим названием «Рогульки».

Всеволод подарил мне «Рогульки» с дружеской надписью. Книжка находилась в моей библиотеке, но все мои книги попали потом в чужие руки. Сейчас «Рогульки» представляют собой библиографическую редкость.

* * *

Политическая обстановка в Омске накалялась. Все больше и больше давали о себе знать монархически настроенные офицеры, посадившие Колчака на трон Верховного правителя. Контрразведка вела себя нагло. По ночам на улицах Омска раздавались винтовочные выстрелы. Так втихомолку убирали подозреваемых и неугодных граждан «свободной» Сибири.

Как-то вечером ко мне пришел взволнованный Всеволод.

— Прямо хоть из Омска уезжай! — говорил он. — Иду по улице и почти у самого дома вижу знакомую рожу. Вспомнил: да ведь мы с ним в Кургане встречались. Я помогал организовывать Совет рабочих депутатов, а он яростно выступал на собрании против большевиков. Пришлось его выгнать. А теперь он мой сосед, живем на одной улице. Надо квартиру срочно менять. Выдаст, негодяй! Вы меня пустите к себе временно пожить. Хотя бы кухонным квартирантом. А постепенно я найду себе жилье.

В тот же день, поздно вечером, Всеволод перебрался ко мне. Мы отправились к нему за вещами. Он вынес на улицу легкий узелок — в нем было белье — и тяжелую корзинку, в которой лежали книги.

Всеволод собирался пожить у меня «временно», но в столице Колчака невозможно было найти жилье. В газетах того времени пестрели объявления:

«300 рублей дам тому, кто укажет свободную комнату».

«500 рублей заплачу указавшему свободную квартиру».

В то время служащие получали в месяц 300—400 рублей и рабочие зарабатывали не больше.

* * *

Моя встреча с другом моего детства студентом Лесного института Часовниковым была не совсем обычной. Я сидел в бане с намыленной головой, когда кто-то осторожно дотронулся до моей спины.

— Гога! — воскликнул я и ощутил, как его пальцы впились в мое плечо.

— Тише... Адрес? Адрес? Где живешь?

Я назвал Мещанскую улицу и номер дома. Пока я смывал мыльную пену с головы, мой друг исчез. Меня тревожили сомнения — правильно ли он расслышал мой адрес? Но когда я вернулся домой, мой друг уже сидел у меня. У него не было никаких документов, он числился дезертиром, чувствовал, что его разыскивают, и, самое главное, у него не было надежного пристанища.

Вечером пришел Всеволод, он сходил к председателю квартального комитета, принес две бутылки водки. В Омске казенок не было, и водкой торговали квар-

тальные комитеты, выполняя единственно уцелевшую демократическую функцию.

До поздней ночи мы на радостях выпивали. Когда на нашей улице гремел выстрел, мой друг детства вздрагивал и бледнел, а Всеволод успокаивал:

— Ничего, ничего! Не иначе, кого-то шлепнули.

В эту ночь мы решили, что студент Гога Часовников будет жить у меня, на улицу выходить не станет, дабы не привлечь внимания любопытных соседей, а Всеволод раздобудет для него какой-нибудь фальшивый документ.

Через несколько дней Всеволод принес два бланка удостоверения, выдаваемого милицией. Один — чистый, другой — взятый на время у знакомого. Студента Часовникова перекрестили в Георгия Ивановича Петрова. Я заполнил бланк и подделал две подписи.

Появившийся на белый свет Георгий Петров долго сравнивал два удостоверения и восхитился:

— Ура! Завтра я выйду на улицу!

Если мне не изменяет память, именно с этого и началась наша «подпольная ячейка». Георгий Иванович Петров (я так его называю потому, что под этой фамилией он живет и сейчас в Нальчике) встретился с большевиком «товарищем Афанасием», показал ему «новый вид на жительство». Товарищ Афанасий попросил и его снабдить «очками» (так назывались фальшивые документы). Всеволод достал новый бланк, я его заполнил, а Георгий Иванович передал по назначению вполне благонадежный паспорт.

Товарищ Афанасий заходил к нам редко. Внешне он производил впечатление рабочего, но, несомненно, был интеллигентом. Он заговорил о том, что из лагерей бегут люди, но, не имея на руках документов, частенько снова попадают за колючую проволоку, а то и в Могильную волость.

— Иногда простая бумажка, любая справка может спасти человека, — убеждал товарищ Афанасий. — Не обязательно паспорт!

Всеволод хмурил брови, видимо раздумывая. Правда, прежде чем привести к нам товарища Афанасия, Георгий Иванович клятвенно ручался за него. Но время было суровое, и Всеволод не дал никакого ответа.

Товарищ Афанасий ушел с Георгием Ивановичем. Я почувствовал, что Всеволод не доверяет незнакомому человеку, и не стал ему задавать никаких вопросов. Но через два дня Всеволод принес штук десять бланков с печатями и сказал:

— Пусть Георгий Иванович передаст сам. Нас в это дело не путает.

Сознание, что листок бумаги с круглой печатью может дать человеку свободу и даже сохранить жизнь, заставляло забывать об опасности. После десяти бланков последовало еще десять.

Спрос на фальшивые документы был большой, особенно когда стало расти дезертирство из колчаковской армии. Занимались подделкой фальшивых документов мы втроем — Всеволод, Петров и я. Изготовленная продукция шла в руки товарища Афанасия, а как она реализовалась, мы не имели понятия и старались этой стороной дела не интересоваться. Рябов-Бельский и анархист Неклюдов, вернувшийся после эмиграции в Россию, тоже оказывали нам небольшую помощь.

* * *

В 1956 году меня вызвали в областную милицию и спросили:

— Вы знали Петрова? Он был арестован, а сейчас освобожден.

— Знал.

Капитан милиции положил передо мной три фотокарточки.

— Покажите, который он?

Несмотря на то что с нашего последнего свидания в 1931 году, в редакции журнала «Красная новь», прошло четверть века, я сразу узнал своего друга детства.

— Вот этот!

— Хорошо. А который здесь Часовников?

— Он же.

— А Рогожин?

— Тоже он.

— Почему же у него три фамилии?!

Я объяснил:

— Настоящая фамилия — Часовников. В годы колчаковщины писатель Всеволод Иванов принес бланк паспорта, а я сам написал в нем фамилию Петрова. Рогожин — его литературный псевдоним. Вот меня вы пригласили повесткой на имя Анова, а моя настоящая фамилия Иванов.

Через год я был в Нальчике. Мы встретились с Георгием Ивановичем, и я рассказал ему о вызове в милицию.

Георгий Иванович вздохнул:

— Мне эти три фамилии чуть не вышли боком. Похоже, что это было единственное обвинение против меня. Когда я сидел, я часто вспоминал Всеволода и тебя. И тот день, когда вы меня перекрестили в Петрова.

Мы ходили по парку с Георгием Ивановичем и его другом Хассетом Калмыковым. Они мне показали место, где республика решила воздвигнуть памятник знаменитому сыну кабардинского народа Беталу Калмыкову. Хассет был родным братом Бетала, а Петров — помощником и другом, он редактировал газету «Красная Кабарда». Георгий Иванович рассказывал, как Всеволод помог ему восстановиться в партии и добиться полной реабилитации. Вспомнив суровые дни колчаковщины, он сказал:

— А ты помнишь Афанасия? По существу говоря, он был парторгом нашей ячейки.

* * *

...Мне сейчас трудно вспомнить, когда прекратилась наша деятельность по изготовлению «очков», но весной 1919 года Всеволод покинул мое жилище, где он прожил четыре с лишним месяца.

Появление фальшивых документов вызвало чье-то пристальное внимание. Естественно, подозрение пало на полиграфистов. Администрация в типографиях стала строже и зорче следить за наборщиками, особенно работающими в акцидентных отделениях.

Однажды Всеволод пришел с работы расстроенным.

— Ко мне сегодня в типографию пришел «Принцесса Греза». Говорит: «Брачная газета» замышляет литературный отдел. Хочу вас привлечь на постоянную работу!» И смотрит, подлец, куда-то в сторону.

Я вспомнил лысого журналиста в очках — А. М. Громова — и не понял сразу причины расстройства моего кухонного квартиранта.

— Ну и что же из этого?

— Я ни одному слову его не верю. «Брачная газета» — только предлог.

Через неделю Всеволод пришел еще более встревоженным.

— «Принцесса Греза» опять приходил и снова завел разговор насчет «Брачной газеты». Я категорически отказался. Извинился, тороплюсь, мол, работа срочная. А он, негодяй, отвечает с улыбкой: «Все понимаю! Я к вам обязательно зайду домой и надеюсь, что уговорю». Спросил адрес. Я, конечно, не дал.

Всеволод весь вечер чувствовал себя неспокойно. Я не понимал тогда его волнения. И только в 1958 году, когда я прочитал воспоминания А. Оленича-Гнененко «Суровые дни», опубликованные в «Сибирских огнях», мне стало все понятно. Оленич-Гнененко прямо называет «Принцессу Грезу» доносчиком, который выдавал контрразведке прежних товарищей. До прихода белочехов в Омск он сотрудничал в советских газетах, а после переворота писал фельетоны о советских работниках, уже очутившихся за колючей проволокой в лагере. Подписывался он разными псевдонимами: А. Матвеев, А. Матвеевич, Аргус.

«Принцесса Греза» оставил Всеволода в покое, но спустя некоторое время появился новый «любознательный товарищ». В воскресенье рано утром к нам неожиданно пришел юноша, — с ним у Всеволода было когда-то шапочное знакомство. Не помню его фамилии, но звали его Жуазелем. Он выдавал себя за полуфранцуза, полуартиста и полупоэта. Жуазель завел разговор про Оленича-Гнененко, восхищался его стихами. Всеволод отвечал ему неохотно. Когда юноша, посидев полчаса, ушел, Всеволод сказал:

— Это шпик! Надо уничтожить все, что может вызвать подозрение.

В тот же день Всеволод покинул мой дом. Мы решили временно прекратить свою деятельность, но вернуться к ней нам уже не привелось.

* * *

Летом 1919 года красные войска пошли в наступление. Колчак объявлял одну мобилизацию за другой. Колчаковская армия разваливалась. Осенью Всеволод при помощи Антона Сорокина устроился наборщиком в походную типографию. Мы с Георгием Ивановичем перешли на положение дезертиров, а на другой день после прихода Красной Армии в Омск мы уже выпускали «Известия Омского ревкома».

«Известия ревкома» просуществовали недолго. Из Петропавловска приехала редакция «Советской Сибири» во главе с Ем. Ярославским. Я стал работать там выпускающим.

Через месяц я свалился от сыпного тифа, и мое место выпускающего «Советской Сибири» занял Всеволод Иванов.

* * *

Мы расстались со Всеволодом Вячеславовичем в Сибири в 1920 году. Он мне часто писал, сообщая о своих успехах в столице. Но в моем архиве уцелели только два письма.

В 1923—1924 годах я стремился попасть в Москву и просил Всеволода помочь мне устроиться с постоянной работой в редакции какой-нибудь газеты. Он сразу отозвался:

«10 мая 1923. Москва.

Дорогой Николай Иванович! На счастье — получил сегодня Ваше письмо, а то я узжаю в Ялту и возвращусь к осени. Я приехал сюда только на минутку.

Теперь о деле. Место достать в Москве не трудно, но очень трудно устроиться с квартирой. Если Вы предпочитаете переехать в Питер — это было бы легче. Там бы я смог — хотя на время — предоставить Вам пару-другую комнат в своей квартире. Опять беда: написали Вы поздно, а я в Москву возвращусь не раньше сентября — октября. Живу все лето в Крыму. А без меня самолично

устраиваться трудно. Во всяком случае, если вздумаете ехать в Питер, настоящее письмишко будет Вам пропуском в мою квартиру: просп. К. Маркса на Выборгской, дом 4, кв. 6.

Привет супруге Вашей Александре Георгиевне.

Всеволод

Пишите в Ялту: Чукурларская ул., дача № 12—Всеволоду Иванову».

А вот второе письмо:

«Москва, 26 июня 24 г.

Милый Николай Иванович, душевнейше рад получить от Вас цидульку. И получил кстати... О себе Вы сообщаете мало, а что же я напишу Вам — сижу, пишу романы, пью с Сергеем Есениным и даже имею желание его обогнать. Вот и все. Имеется у меня дочь возрастом в один год и соответственно этому такого же роста. Жена живет в Крыму, а я бросил свою питерскую квартиру и осенью имею желание перебраться в Москву на широкое житье в смысле квартирном.

Теперь о Вас, милый Николай Иванович. О вас будет такая игра: в Москве службу очень тяжело достать, но так как Вы писатель, то кое-что возможно было бы соорудить, печатать рассказы и прочее. Но здесь невозможное дело с квартирами, чудовищное дело. Достать ничего нельзя и сделать тоже. Я живу в одной паршивой (по моей вине, правда) комнате и тщетно ищу второй год квартиры. По ордеру достать невозможно, а так нужно за три комнаты заплатить отступного чуть ли не больше ста червонцев. Таких денег жалко, да и трудно достать.

Такие-то дела. Если у Вас есть желание приехать погостить осенью в Москву и посмотреть осенний сезон — милости прошу, давайте спишемся, я к тому времени устроюсь с квартирой и ко мне можно будет приехать. Из Питера я уехал потому, что город приобрел сугубо провинциальный вид и необычайно сух. И помимо всего, там туго с деньгами, доставать их тяжело...

Теперь же разрешите поцеловать Вас, милый друг, и не скучайте ради бога. Привет супруге.

Всеволод Иванов»

* * *

В ноябре 1927 года я переезжал из Алма-Аты в Новосибирск — работать в редакции «Сибирских огней».

В Москве, как обычно, зашел к Всеволоду Вячеславовичу. Он уже мне писал, что к десятой годовщине Октября МХАТ ставит «Бронепоезд 14-69». Сам К. Станиславский поставил спектакль. Билет в театр достать было немыслимо, но сам автор мне устроил пропуск. Нужно ли говорить, что «Бронепоезд 14-69» потряс меня, я был взволнован успехом артистов и успехом моего друга.

До поздней ночи мы разговаривали с Всеволодом о спектакле, огромном событии в театральной жизни того времени. Впервые со сцены МХАТа зазвучали новые голоса героев гражданской войны — партизан.

— Большевик Пеклеванов — это, конечно, Афанасий? — спросил я.

— Не совсем. В какой-то степени. Разумеется, я много о нем думал, когда создавал образ Пеклеванова. Афанасий был загадочный человек. В его жилах текла холодная кровь. Я бы сказал, рассудочная кровь отважного человека. Он был настоящий конспиратор, мало говорил, но делал много. Во всяком случае, несравненно больше, чем мы могли тогда предполагать...

Этот разговор с Всеволодом мне вспомнился теперь, спустя сорок лет. Хочется сказать несколько слов о судьбе товарища Афанасия.

Совсем случайно мы встретились, если не ошибаюсь, в 1937 году с Афанасием Алексеевичем в здании Московского телеграфа на улице Горького. Он остановил меня, и я обрадовался неожиданной встрече. Время было суровое, и, вероятно, этим объяснялись задумчивость и рассеянность Афанасия. Он куда-то торопился, мимоходом сказал, что работает в Якутии, приехал в срочную командировку. Вспомнил Петрова, Всеволода, Рябова-Бельского, Неклюдова.

— Хотел бы я повидать Всеволода Иванова, — сказал он. — Большой, умный писатель, все книги его прочитал. Но на этот раз времени нет. Тороплюсь. Уже билет в кармане.

Афанасий не сказал мне, что он занимает высокий пост. Человек был скромный.

И совсем недавно Г. И. Петров написал мне из Нальчика, что Якутская республика отпраздновала 80-летие со дня рождения революционера-большевика Афанасия Алексеевича Назарова-Наумова...

На другой день мы расстались с Всеволодом Вячеславовичем.

— Я напишу письмо Оленичу, — сказал он. — Александр Павлович заведует отделом печати Сибкрайкома. Зайдите к нему. Человек он прекрасный и, если потребуется, всегда вам поможет.

Всеволод Вячеславович написал несколько строк.

Я привез письмо Оленичу-Гнененко. Мы с ним один раз встречались в Омске. С тех пор прошло семь лет. Александр Павлович почти не изменился. Мы просидели целый вечер. Я рассказал о постановке пьесы «Бронепоезд 14-69» на мхатовской сцене. Оленич жадно слушал и вспоминал семнадцатый год в Омске, Всеволода, тюрьму, лагерь, Антона Сорокина.

Уже не помню, в связи с чем я сказал, что Всеволод был в семнадцатом году интернационалистом.

— Откуда вы взяли?

— Всеволод сам говорил.

— Неверно. Он был тогда коммунистом. Когда я командовал пулеметным отрядом, мои красногвардейцы все до одного были коммунистами. И среди них был Всеволод Иванов. Это-то я хорошо знаю!

* * *

1928 год, когда я работал секретарем «Сибирских огней», был очень бурным в литературной жизни Новосибирска. Диспуты на тему «Нужна ли нам художественная литература» собирали полный театр. Обостренная борьба закончилась тем, что часть писателей покинула Сибирь и перебралась в Москву.

Я привез первый свой роман «Азия» и, конечно, показал его Всеволоду Иванову, который был тогда членом редколлегии «Красной нови». Роман ему понравился. В течение одного месяца его прочитали все члены редколлегии. Рукопись набрали, дали мне прочитать верстку

и... дальше начались мытарства. Всеволод, как мог, помогал мне бороться за роман.

Когда окончательно пропала надежда напечатать «Азию» в Москве, Всеволод отправил рукопись в Ленинград, Федину. Ответ его он подарил мне на память.

— Вряд ли ваш роман скоро увидит свет, а письмо Константина Александровича сохраните как автограф. Он хорошо отзывается о вашей вещи! Федин — замечательный художник!

Несмотря на все старания Всеволода Вячеславовича, мой первый роман так и не увидел света. Я остановился на этом эпизоде потому, что он характеризует Всеволода Иванова как писателя, не убоявшегося взять под защиту произведение, посвященное острой проблеме той эпохи. Думаю, что не просто старая дружба сыграла тут главную роль.

Благодаря «Азии» я познакомился со многими писателями Москвы, и когда редакции журнала «Красная новь» потребовался ответственный секретарь, Всеволод предложил мою кандидатуру. Все члены редколлегии охотно приняли меня в свою среду.

Я проработал в журнале три года. При мне сменилось три редактора. Но Всеволод Иванов, оставаясь неизменным членом редколлегии, все время ведал прозой и поэзией. Авторитет у него был огромный.

Была у него хорошая черта — он умел поддержать попавшего в беду писателя.

Редактора «Сибирских огней» Владимира Зазубрина в то время исключили из партии, не хотели печатать, ему пришлось покинуть Сибирь. Я с ним переписывался и рассказал Всеволоду, что Зазубрин пишет роман «Горы». Всеволод поговорил с Фадеевым и заинтересовал его. Я написал Зазубрину и получил ответ:

«Дорогой Николай Иванович, Ваше письмо удивило меня. С какой стати Фадеев будет искать меня. За заботы Вам спасибо большое. Напрасно Вы только обставляете все такими вещами... Я, Николай Иванович, человек без роду и племени, что называется, и отлично знаю, что не меня искать, а мне его искать надо... Передайте привет Всеволоду Иванову. Скажите ему, что я еще ни от одной столичной редакции не получал приглашения печататься. Он сделал это ПЕРВЫЙ. Таких вещей я не забываю».

Всеволод Вячеславович умел и любил заботиться о молодых писателях, особенно он любил сибиряков. Он поддерживал своего павлодарского земляка Павла Васильева, омича Леонида Мартынова, Сергея Маркова, Михаила Скуратова.

* * *

В 1958 году, когда проходила в Москве Декада казахского искусства и литературы, Всеволод интересовался успехами казахских литераторов.

— Странно разошлись наши судьбы, — сказал Всеволод. — Я, коренной житель Казахстана, стал москвичом. Вы, столбовой питерский пролетарий, превратились в казахстанца. Мне ваш алмаатинец Николай Кузьмин прислал свою повесть «У крутого яра». Талантливый писатель, с зорким глазом и чувством слога. Я с удовольствием помог ему напечатать ее в Москве. Молодым литераторам, работающим в Казахстане, есть о чем рассказать читателям.

* * *

Последний раз я видел Всеволода Вячеславовича в 1959 году в Москве. Мы бродили вечером по улицам Переделкина, носящим имена умерших писателей, и вспоминали осень 1918 года, когда погиб Новоселов, вспомнили его большого друга Оленича-Гнененко, Афанасия Назарова, Георгия Ивановича Петрова, поэта Юрия Сопова.

— Я сейчас пишу воспоминания о своих старых друзьях, — сказал Всеволод. — Меня очень заинтересовал Юрий Сопов. Вы ведь его хорошо знали?

— По-моему, столько же, сколько вы.

— Недавно мне пришлось разговаривать со старым чекистом, — продолжал Всеволод. — Он уверяет, что студент Юрий Сопов был большевиком. И взрыв ящика с гранатами в приемной Колчака не был простой случайностью. Тогда погибло несколько адъютантов, а вместе с ними и Юрий Сопов — он стоял в карауле. Интересное было время, и люди были любопытные. Помните Владимира Павловича Рябова-Бельского? Одно время он страшно опустился, заработка не было, ходил с шапкой по вагонам, читал стихи. Мы с Феоктистом Березовским помогли ему добиться персональной пенсии. А когда на-

чалась блокада Ленинграда, Владимир Павлович вновь воспрянул как поэт-патриот. Он выступал по радио, призывал ленинградцев дать отпор фашистам. Умер он от голода.

Мы расстались у ворот Дома творчества.

В тот вечер у меня родилась мысль написать «Интервенцию Омска», показать не только героические усилия рабочих свергнуть власть Колчака путем восстания, но и деятельность литераторов, оказавшихся в дни колчаковщины в Омске.

Тяжелая болезнь, превратившая меня в инвалида, выбила надолго из рабочей колеи. Только в конце 1971 года я смог засесть за рукопись.

«Интервенция Омска» (название условное) явится продолжением романа «Выборгская сторона». И, конечно, одним из главных героев нового романа будет Всеволод Вячеславович Иванов.

* * *

А последнее письмо Всеволода я получил из Ялты. Новогодняя открытка была послана 2 января 1962 года.

«Дорогой Николай Иванович! Из газеты я узнал о Вашем юбилее. Удивился: думал, Вам сорок! Поздравляю и от всей души желаю успехов дальнейших и здоровья. Ваш роман «Гибель Светлейшего» очень понравился нашему всему семейству. Спасибо за присылку. Привет.

Вс. Иванов, Т. Иванова».

О болезни Всеволода Вячеславовича я узнал в начале 1962 года. Смерть его застала меня в Москве. Мне было горько, что я не мог подняться с постели (лежал с воспалением легких) и выполнить свой долг перед старым другом, которого знал сорок пять лет.

Алма-Ата
1964—1974

Г. И. Петров

В НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ

Это было в февральские дни незабываемого девятнадцатого года, в Омске.

В те боевые и страшные дни меня познакомил с Всеволодом Вячеславовичем Ивановым — другой Иванов, Николай Иванович (Н. Анов), друг моего детства, с которым мы неожиданно встретились в Омске.

Всеволод Вячеславович был одет не по сезону. В трескучие морозы на нем было очень ветхое и рваное пальто. Но весь он дышал здоровьем и силой.

Н. Анов рассказал ему обо мне.

— Любопытно, любопытно, — улыбаясь, произнес он. И его слова, какие-то круглые, теплые и приятные, почему-то напоминали мне сибирские шанежки.

Между тем в моем положении не было ничего приятного и любопытного. Я бежал от расправы колчаковцев, скрывался у омского портного Шабалина, куда меня приводил каждый вечер его сын Ганя, я сгорал от стыда, что беспокою этих добрых людей и подвергаю их опасности пострадать из-за меня. Но выхода пока никакого не было. Мой старший товарищ, с которым мы были неразлучны с дней совместной работы в Выборгском районе Петрограда в 1917 году, теперь сам был на нелегальном положении. Вместе с ним мы пробирались на его родину, в далекую Якутию, но застряли в Омске. Воспитанник ссыльных, с юных лет ушедший в революционную работу, он неутомимо работал в омском большевистском подполье, среди рабочих и служащих фабрики Близорукова, и в то же время участвовал в партизанском движении в Татарском уезде и в селе Калачинском.

Это был впоследствии видный деятель Советской Якутии Афанасий Алексеевич Назаров-Наумов. До преследования колчаковцами мы жили с ним на Кирпичной улице, в доме № 25. Сюда часто приносили ему номера самарской газеты «Коммуна» для распространения, и здесь он занимался «паспортизацией» бывших фронтовиков, спасая их от службы в колчаковских войсках и по возможности направляя их в партизанские отряды. Я помогал ему в этой очень необходимой тогда работе.

Всеволод Вячеславович заинтересовался моим другом из Якутии, равно как и тот проявил не меньший интерес к молодому писателю, работавшему в типографии наборщиком. Я познакомил их. Но это произошло позже. А пока друг мой был в отъезде, у меня не было ни документов, ни работы, ни жилья.

А Всеволод Иванов улыбался:

— Это пустяки. Мы с Николаем Ивановичем устроим вас на работу корректором, достанем паспорт, а пока будете жить у нас.

Не прошло и недели, как Всеволод Вячеславович принес паспортные бланки, а Николай Иванович своим замечательным почерком вписал в них необходимые данные и поставил необходимые подписи. Паспорт благополучно прошел настоящую прописку. Меня устроили в двух местах: Н. И. Анов — на ночную работу в железнодорожную типографию, а В. В. Иванов — на дневную в типографию Центросоюза, где работали они сами, Всеволод Вячеславович — метранпажем, а Николай Иванович — корректором.

Я усиленно обучался типографскому делу, стал разбираться в шрифтовых тонкостях и подбирать шрифты для печатей и штампов. Наборщик А. Н. Оловянников подарил нам стандартный царский герб, который белогвардейцы употребляли на своих печатях, и вскоре многие из наших друзей и знакомых получили «отсрочки» от призыва в колчаковскую армию, и многие из них ушли к партизанам.

Через большевика-подпольщика А. А. Назарова-Наумова мы были связаны с омской подпольной организацией и успешно выполняли ее заказы на «документацию». У Всеволода Вячеславовича, оказывается, в запасе было немало паспортных бланков. Бланки эти по просьбе Всеволода Вячеславовича на глазах у целого отряда

колчаковцев отпечатал мастер Колокольцев — друг В. В. Иванова. Отряд оцепил типографию. Главарь отряда следил за малейшим движением печатника. Когда же весь тираж был отпечатан, дважды пересчитан, когда была сорвана приправка с барабана и рассыпан весь набор, а белогвардейцы ушли из типографии, мастер Колокольцев сказал:

— Там, под приправой, на барабане, остались еще два листа бланков... Возьми себе один, Всеволод!

В. Иванов и Н. Анов жили необычайно дружно в маленькой, тесной времянке, перегороженной печкой. Анов смастерил у окна «пролетарский кабинет» из деревянного щитка с подпоркой, и у этого хрупкого сооружения усаживался довольно массивный Всеволод Вячеславович и писал. Больше всего просиживал он тогда над толстенной общей тетрадью в черном клеенчатом переплете. Туда выписывал он мельчайшими буквами слова, незнакомые ему, как он объяснял, — из словаря Даля. Он говорил, что это у него лишь выжимки из пяти вот таких же толстых тетрадей и что в первый раз приходилось выписывать каждое пятое слово...

С огромным терпением и настойчивостью учился тогда этот щедро одаренный человек писательскому мастерству. И оно легко давалось ему.

В типографии Центросоюза, где мы работали, выходили «Известия потребительской кооперации». Верстая кооперативные циркуляры, Всеволод Вячеславович уговорил редактора дать место литературному отделу, и вскоре я корректировал его «Мысли, как цветы». Он набирал их прямо в верстатку, без оригинала, «из головы», как говорили наборщики. То были небольшие рассказики о природе и людях. Запомнился заголовок одного из них: «Когда расцветает сосна». Корректировать их приходилось по своему разумению...

* * *

У нас тогда сформировалась настоящая подпольная организация, куда входили Вс. Иванов, петербургский поэт В. П. Рябов-Бельский и еще несколько человек. Сборы для заключенных и на побеги их, забота об их «паспортизации», распространение правдивой информации о жизни Советской России, о поездах смерти и дру-

гих зверствах белогвардейцев — вот чем мы занимались в то время.

В те дни Всеволод Вячеславович и у верстального талера, и дома напевал из «Двенадцати» А. Блока:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови,
Господи, благослови.

Иногда ему казалось, что писательство — это не настоящая работа. Он говорил тогда:

— Всякий грамотный при желании может стать писателем. Вот возьмите и выдумайте какой-нибудь рассказ... И, глядишь, его напечатают.

Через несколько дней я передал Всеволоду Вячеславовичу свой первый (и единственный) рассказ «Митька» — о мальчике, который вместе с семьей попал из голодного Питера в сытую Сибирь, но из-за безработицы семья голодает, мальчик, полубосой, продает газеты, валится от тифа и в бреду видит страшную жизнь Сибири.

— Кооператоры это не напечатают... Но у меня есть один друг в Кургане, Кондратий Худяков, он возьмет, — обнадежил меня Всеволод Вячеславович.

Прошло немного дней, и он торжественно вручил мне номер курганской газеты, где был напечатан мой «Митька» с подписью под ним «Гр. Рогожин» (псевдоним мне придумал Вс. Вяч.).

Наш «парторг» А. А. Назаров направил дальнейшее мое писательство в ином направлении, и я с помощью Вс. Иванова и Н. Анова стал писать короткие фельетоны на злободневные темы: «Лапти — ваши, солдаты — наши» — о массовом переходе колчаковских солдат на сторону Красной Армии, «Во славу господню» — о попах-«крестоносцах», которые в первом же бою сдаются в плен, и на подобные темы. Всеволод Вячеславович через Антона Сорокина и других своих друзей широко распространял эти фельетоны.

В те дни Красная Армия уже двигалась по сибирским просторам к Петропавловску и Кургану. Колчаковцы свирепствовали и в отчаянии стали призывать в свою армию шестнадцати-семнадцатилетних зеленых юнцов. А так как при «паспортизации» в марте и Всеволод Вячеславович и Николай Иванович никак не предполагали, что в июле

Колчак возьмется за юнцов, и весьма неосторожно сделали меня семнадцатилетним, то я и угодил снова под призыв. В типографии мне дали расчет. В этот же день Всеволод Вячеславович взял месячный отпуск, и мы пошли с ним на Иртыш. Его тоже призывали в колчаковскую армию.

— Сивало-о-д! — кто-то кричал с огромного плота, груженного известью.

Встретились старые знакомые, плотовщики. Они предложили купить у них лодку. Я долго хранил расписку плотовщика:

«Продана лотка Сив. Иванову».

И на этой лодке вздумали мы бежать от колчаковщины. Несколько дней поднимались вверх по реке Омь. Ловили рыбу, жгли костры и чувствовали себя превосходно. Всеволод Вячеславович много рассказывал мне о своей удивительной жизни.

Мы сами переживали тогда нечто неправдоподобное, и потому рассказы Всеволода Иванова о его необычайных приключениях и скитаниях вместе с бродячими труппами, по типографиям, циркам и дорогам Сибири, Урала и Средней Азии воспринимались мною как нечто вполне реальное, естественное и само собою разумеющееся.

О чем только не переговорили мы с Всеволодом Вячеславовичем за время нашего десятидневного путешествия и жизни на берегу реки Омь! И о том, как скоро освободит нас Красная Армия, и какие вести мы получим о нашем маршруте, и о красных партизанах, и о нашем друге Афанасии Назарове, которого Всеволод звал «Якут».

Месяц тому назад вместе с Всеволодом Вячеславовичем мы посетили Афанасия Алексеевича, который нашел комнату в домике латыша, корректора областной типографии Каспарова (так смутно помнится его фамилия), на Новой улице, в доме № 62. Здесь я был прописан по паспорту, как я уже говорил, искусно заполненному Н. И. Ановым на бланке, который раздобыл Всеволод Вячеславович. И сюда же перенесли мои вещи — три ящика, из которых составлялась «топчан-кровать». Здесь я изредка ночевал.

Наша комната была проходной, в соседнюю, более просторную, дверь была приоткрыта.

— Кто там живет?

Назаров открыл дверь и пригласил зайти. Никого. И — огромная, во всю комнату, карта, усеянная флажками. Шнурком обозначалась линия фронта.

— Здесь живет — не пугайтесь — офицер колчаковского штаба, топограф, давний знакомый хозяина. Комнату оставляет открытой и разрешает знакомиться с картой в его отсутствие...

И тут, показывая на карте, Афанасий Алексеевич начал рассказывать о том, как недавно на реке Таре, руководимые легендарным «Тарским дедушкой» (в том краю партизанские отряды возглавлялись преимущественно «дедушками»), красные партизаны разбили направленный против них большой карательный отряд.

Вспоминая эту встречу с А. А. Назаровым, Всеволод Вячеславович поражался глубокому знакомству моего петроградского друга с партизанским делом.

— Уж больно подробно описал этот якут Тарскую операцию — как будто он сам все видел своими глазами и участвовал в ней... И заметьте, как уверенно говорил он, что теперь везде у нас есть свои люди... (Топограф, как помнится — Алексеев, не отступал с колчаковцами и был зачислен в Красную Армию.)

Я рассказывал Всеволоду Иванову о Назарове, с которым мы работали контролерами в Выборгском районе на смежных участках с июня 1917 года. В дни Октября по его просьбе я принял на себя его участок, ибо в канун Октября, как член партии большевиков, он был назначен комиссаром связи подрайона. Я сдружился с этим энергичным, жизнерадостным человеком, и когда его направили на работу в Сибирь, на его родину, я с радостью принял предложение старшего товарища и вместе с ним выехал в феврале 18 года. Это было в дни демобилизации армии, все вагоны были забиты солдатами, и мы едва нашли место на крыше. На станции Званка солдаты поместили нас, полузамерзших, в вагон. Добрались до Омска, где нам дали работу в продуправе. В мае я заболел и несколько месяцев не мог двигаться, находился на попечении Афанасия Алексеевича, который в дни наступления белочехов был оставлен в Омске для работы с рабочими фабрики Близорукова и продуправы. Среди них было много фронтовиков, и в задачу Назарова входило освобождать их от призыва в белую армию, а наиболее преданных и надежных направлять в помощь партизан-

скому движению, в котором Назаров принимал активное участие. Когда Всеволод Вячеславович ознакомился с химическим методом «паспортизации» моего друга, он решительно забраковал такую кустарщину и предложил более совершенную типографскую технику и свое личное участие в ее реализации для этого подпольного «военкомата» в логове Колчака.

Имя А. А. Назарова вошло в советское время в историю Якутской АССР как имя видного партийного и государственного деятеля и участника знаменитой Амгинской обороны (в январе — мае 1922 года) и увековечено на его родине.

Немало спорили мы тогда и о личности «сибирского национального гения и короля писателей», как он себя именовал, — Антона Сорокина. Всеволод Вячеславович однажды привел меня к Сорокину. Он и его жена гостеприимно встретили нас, угощали чаем с вареньем и разными вкусными вещами, а хозяин, Антон Семенович, рассказывал о своей особой, комбинированной мебели и о своем изобретении фотогравюр на самодельной фотобумаге. Он демонстрировал раскрашенные цветной тушью неясные фотографии. Одна из них изображала Антона Сорокина распятым на кресте, у подножия которого лежит нагая женщина. Распятый же расположился на кресте в костюме, ботинках, при галстуке и белом воротничке. Он подарил мне эту «фотографику» формата почтовой открытки. Провожая нас, Сорокин подошел ко мне и, както странно меняясь в лице, таинственно произнес:

— А я знаю, кто вы...

Потом Вс. Иванов рассказал мне, что Сорокин решил, что я Ефим Зозуля, и всем хвалился своим знакомством с известным писателем.

Оба мы с Всеволодом Вячеславовичем были согласны, что Антон Сорокин человек буйной фантазии, мастер всяческих розыгрышей, мистификации и саморекламы, но Всеволод не соглашался со мной в том, что у Сорокина неладно с психикой.

Прожили мы на берегу Оми дней десять. Началось осеннее ненастье. У нас кончился хлеб.

Но самым неприятным было любопытство хозяев из ближних заимок. Они допытывались — откуда и зачем. Как-то увидели мы казачий разъезд, но всадники промчались мимо.

Нас разыскала мать Всеволода Вячеславовича — тихая, задумчивая женщина. Она передала от Анова записку с советом поскорее вернуться и воспользоваться возможностью выехать из Омска.

Мы быстро спустились вниз по течению и бросили нашу лодку.

Вскоре Всеволод Вячеславович и Николай Иванович устроили меня на работу в пекарню Омского общества потребителей, а сами покинули Омск.

Я работал в пекарне «мальчиком» (так называлась должность чернорабочего, чтобы меньше оплачивать), по воскресеньям ходил к В. П. Рябову-Бельскому, где узнавал последние новости.

* * *

Весной 1920 года снова встретился я с Всеволодом Вячеславовичем. По ночам работал я на выпуске газеты «Советская Сибирь», а днем собирал информацию для газеты. Всеволода Вячеславовича устроили работать вторым выпускающим (Анов после тифа ослаб, и его отправили на лечение в Усть-Каменогорск).

Редакция «Советской Сибири» помещалась в бывшей гостинице «Деловой двор». Там работало много старых литераторов и опытных журналистов. Жили мы все тут же, в номерах, очень дружной семьей. Никогда не было пусто в маленькой комнатке у Вс. Иванова. Здесь постоянно бывали поэт Иван Ерошин, матрос Павел Словохотов (мы учили его на выпускающего), приходили часто Антон Сорокин, Г. Вяткин. Всеволод Вячеславович писал тогда много, но не для печати — рукописи он читал, а потом их рвал.

С Пашей Словохотовым мы записали многие из «Самокладок»[1] Всеволода Иванова и напечатали их на машинке. Всеволод Вячеславович подарил нам по экземпляру этого самодельного издания с трогательными надписями.

Здесь же жили и такие легендарные люди, как руководитель сибирских большевиков, секретарь Сиббюро ЦК и редактор «Советской Сибири» Емельян Ярославский, старый большевик-подпольщик В. Н. Соколов, профессор Гойхбарг — член редколлегии и председатель суда

[1] «Самокладки киргизские» («Простор», 1964).

над колчаковскими министрами, участники Уральской тройки, решившие судьбу Николая Второго и его семьи, легендарный матрос Евгений Бахметев с подводной лодки «Барс», вместе с которой он дважды тонул в Балтике, и другие. Наш редактор Емельян Михайлович, который в партии вел до революции самую опасную военную работу, прошел тюрьмы, каторгу, ссылку, оказался удивительно сердечным человеком. С особой заботой относился он к Всеволоду Иванову, видя в нем человека большого таланта и быстро созревающего крупного писателя. Не в пример прочим, Всеволоду Иванову была выделена в редакции отдельная комната, хотя жил он тогда одиноким, вообще же вся жилая площадь была забита, и, бывало, сотрудники спали в две смены на одной кровати.

Был ли он метранпажем и верстал полосы набора, становился ли сам у наборной кассы и набирал по рукописи или же прямо в верстатку «из головы», или же, как в двадцатом году, когда был выпускающим — ночным редактором — «Советской Сибири» и с пачкой гранок в руке давал указания верстающему, — в его движениях было что-то от священнодействия, а сам он походил на какого-то восточного мага, и в то же время все у него выходило легко и просто и естественно вписывалось в рабочую обстановку.

И типографы, с которыми он был в рядах Красной гвардии, и ветераны Колокольцев, Константин Иванов, и милые девушки-наборщицы Тая Климачкова и сестры Поляковы, и другие любили Всеволода за его дружеское отношение к ним, за его готовность всегда прийти на помощь товарищу по труду, за его щедро одаренную натуру и высокую моральную чистоту. Я не слышал от него бранного слова, чем почти все щеголяли тогда. Светлее становилось вокруг и легче делалось на сердце от его спокойного, жизнерадостного вида, несущего ту «радость о человеке», которую, по свидетельству М. Горького, «так редко испытывают люди, а ведь это величайшая радость на земле».

* * *

Осенью двадцатого года мы расстались.

Через год снова встретились с Всеволодом Вячеславовичем. Я приехал в Петроград получить по наряду правительства для автономной Кабарды типографское обо-

рудование и по адресу, который мне дали в редакции журнала «Красная новь», нашел квартиру Всеволода Вячеславовича. Он радостно встретил меня и не отпустил ночевать в гостиницу.

— Там стекла выбиты, вши...

Вместе с Кондратом Урмановым я жил недели две или три у Всеволода Вячеславовича в его квартире на улице К. Маркса, близ Невы.

Всеволод Вячеславович помог мне получить в сойкинской типографии шрифты и кассы («Кассы обязательно возьмите, они им не нужны, а вам ведь негде взять!»). И раз даже пошел со мной на Стремянную, где находилась типография.

По записке Всеволода Вячеславовича на имя К. Федина я получил в Ленгизе Полное собрание сочинений А. П. Чехова (первое, что было издано при советской власти) и стихи пролеткультовцев.

В холодный сентябрьский день выезжал я из Петрограда и думал о том, какой душевный человек этот Всеволод Вячеславович. Он поделился со мной одеждой, хотя сам не имел ничего верхнего, — накинул на меня шинель, которую я дал ему в дни его бегства из Омска осенью 1919 года.

— Она счастливая! Берегите ее!

* * *

В 1931 году, зимой, я редактировал орган ЦК союза сельскохозяйственных рабочих — газету «Гигант» в зерносовхозе того же названия под Ростовом-на-Дону. В ноябре или декабре меня вызвали в Москву. И здесь я встретился с Всеволодом Вячеславовичем. Он расспрашивал меня с людях зерносовхоза — трактористах, комбайнерах, ремонтниках — и часто повторял свое любимое:

— Любопытно, любопытно!

Он рассказывал о своих встречах в Москве с А. А. Назаровым, тогда одним из руководящих работников Якутской АССР. Всеволод Вячеславович знал об участии нашего друга в партизанских операциях под Омском в 1919 году.

— Интересный он человек! Природный таежный охотник.

И писатель с увлечением стал рассказывать о новых фактах из жизни товарища Афанасия, о которых я не знал, об участии его в борьбе против хорошо вооруженной банды колчаковских офицеров в 1922 году. А. А. Назаров был военкомом небольшого красноармейского отряда, находившегося почти полгода в окружении в селе Амга.

Мы засиделись допоздна, и он оставил меня ночевать.

Была еще одна встреча, в 1936 году, — я был у него очень недолго, мы договорились встретиться в Переделкине, но встреча эта не состоялась.

Последний раз я встретился с Всеволодом Вячеславовичем в 1954 году, накануне XX съезда партии. Я просил его подтвердить для Парткоттегии ЦК КПСС факты преследования меня колчаковцами. Всеволод Вячеславович удовлетворил эту мою просьбу. Я был у него немного времени, познакомился с его сыном. Мы вспоминали незабываемые дни 1919 года. И это была наша последняя встреча.

У меня хранилось много рукописей Всеволода Вячеславовича. Он дал мне их на хранение в 1920 году и, когда я уезжал на Кавказ, просил взять с собой. Там были отрывки будущих «Похождений факира», «Рогульки», «Купоросный Федот», оттиски из цикла «Мысли, как цветы» — «Когда расцветает сосна» и другие.

Переданные мне рукописи погибли вместе с дорогим подарком Всеволода Вячеславовича — «Самокладками» — интересным поэтическим произведением, навеянным близким общением писателя с казахским народом.

Мне тяжко было переживать смерть Всеволода Вячеславовича — человека, который в суровые дни 1919 года помог мне скрываться от колчаковцев.

1964—1974

Леонид Мартынов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВРАЖДЫ

Я не знаю, что обо мне думал Всеволод Иванов, да и думал ли он обо мне что-либо вообще. Но я всегда помнил о нем, всегда с радостью читал все им написанное и считал и считаю его одним из самых лучших наших писателей. Я полагаю, что Всеволода Иванова еще не прочли и не оценили по-настоящему и такая оценка будет ему еще дана если не в конце нашего, то в начале будущего века.

С Ивановым меня познакомил, разумеется, не кто иной, как Антон Сорокин. Это было, кажется, в двадцатом году, вскоре после того, как Сорокин признал меня и вздумал объявить своим учеником.

— Удостоверение в гениальности, так и быть, от вас приму, — полушутя-полусерьезно сказал я, — но учеником вашим быть не собираюсь. Я сам по себе, вы сами по себе.

— Хорошо! — сказал уязвленный Сорокин. — Пожалуйста, дело маленькое. Не хотите быть моим учеником — и не надо. Но пойдемте, я вас познакомлю с человеком, который является моим учеником, и вы увидите, какие замечательные у меня ученики. Это близко, почти рядом.

И, надев шубу и боярскую шапку, он повел меня в домик по соседству, на той же Лермонтовской улице, такой маленький, что внешне он скорее напоминал газетный киоск. Мне показалось, что, кроме рукописей, там больше не было ничего. Ни мебели, ни вещей, ничего не было в этой бедной комнате с окнами без занавесок, покрытыми морозным узором. А через открытую дверь на кухню виднелась одна только черная сковородка. Может быть, все это преувеличено, точнее — преуменьшено, но именно

на таком фоне и запечатлелся моим умственным взором курчавый плечистый человек, который открыл нам дверь.

— Знакомьтесь: Всеволод Тараканов, мой ученик, — заявил Сорокин, обращаясь ко мне, а Всеволоду Вячеславовичу пояснил: — А это Леонид Мартынов, не желающий быть моим учеником.

— У него все ученики! — пробормотал я, пожимая руку хозяину.

Всеволод Иванов только вздохнул.

— Подарите Мартынову ваши «Рогульки»! — сказал Антон Сорокин.

— Хорошо, — согласился Иванов и подарил мне маленькую беленькую книжку.

— Теперь пойдемте, — сказал Сорокин, — не будем мешать моему ученику Всеволоду Тараканову творить дальше!

— Извините, пожалуйста! — сказал я Всеволоду Вячеславовичу на прощанье.

Он махнул рукой.

Мы вышли.

— Вы видите, как он живет? — сказал Сорокин. — Он талантлив, но очень глуп, и если бы не я, он бы пропал. Я его подкармливаю арбузами и хлебом и наставляю на путь истинный, даю ему темы, и он пишет лучшие свои стихи и рассказы — и потому его заметил Горький и вызовет к себе. Вот и вы пишите на мои темы и тогда прославитесь. Но условие такое: половина написанного на мои темы — вам, а другая половина — мне!

— Нашли дурака! — сказал я.

— Ну ладно, если не хотите так, то сговоримся по-другому, — предложил Сорокин. — Стихи, которые вы пишете по моему заказу, — это вам не трудно, — я буду оплачивать вам бумагой, перьями, карандашами, красками, тушью.

— Да идите вы к черту! — воскликнул я.

— Прелестно! — ответил Антон Семенович. — В таком случае я буду вставлять ваши стихи в свои рассказы без спроса, без вашего разрешения, раз вы не хотите согласиться ни на какие условия.

Написав все это, я хорошо понимаю, на что я иду. Я прекрасно представляю, как это встретят настоящие и будущие биографы Антона Сорокина, пытающиеся сей-

час создать не живой, а благочестиво-иконописный образ этого интересного, странного, противоречивого человека. Быть может, скажут, что я клевещу на покойного. Но я пишу то, что было, и говорю о литературно-исторических фактах, которые ничем не могут быть опровергнуты, а подтверждены кое-чем быть могут. В рассказах Антона Сорокина, зачастую очень хороших, встречаются хорошие стихи, явно ему не принадлежащие, ибо он стихов писать не умел и не пытался. Каюсь, что однажды я все-таки, чтобы заполучить от Антона Семеновича то ли бумагу, то ли краски, написал, что отдаю сочиненный стих ему в полное пользование. Это стихи, кажется, о некоем Айдагане. Но меня всегда интересовало, чей прекрасный, прямо великолепный стих он вставил в один из более ранних своих рассказов:

На улицах пыль, да ветер,
Да плач колокольного звона,
Никто почти не заметил,
Как пронесли икону.
Две старушки, перекрестясь,
Оправили полушалки.
Город — Ламанчский князь —
Смотрит смущенно и жалко.

Я пишу так, а там, помнится, все было в строку, как проза. Мне всегда казалось, что это стихи Всеволода Иванова. И вот уже недавно, когда вышли «Записные книжки Всеволода Иванова», я прочитал в них: «Вспомнил свои юношеские стихи из газеты «Согры», а то опять забуду:

На улице пыль, и ветер,
И треск колокольного звона.
Один только я заметил:
Пронесли чудотворную икону,
Две старушки, перекрестясь,
Оправили полушалки.
Город наш — нищенский князь —
Смотрит печально и жалко.

Словом, давай или не давай Антону Семеновичу согласье, он хватал понравившиеся ему стихи и вставлял их в свои рассказы. Он считал, что имеет на это полное право, поскольку мы все его ученики, вольные или невольные, а он король писателей, мозг поэзии, и всем нам хочет помочь, и двери его дома для нас широко открыты, и так

далее, и тому подобное. Я не знал, как ко всему этому относился Всеволод Иванов, и это меня не интересовало до той поры, пока Всеволод Иванов действительно не уехал в Петроград по вызову Максима Горького. Вот тут-то и началось все то, о чем я с прискорбием хочу поведать ниже.

Сперва Антон Сорокин очень радовался, всем и каждому рассказывал о том, что его любимый ученик Всеволод Иванов наконец получил заслуженное признание. Но вскоре, приблизительно так через полгода, начал усиленно толковать о неблагодарности Всеволода Иванова.

Причина такой перемены отношения Сорокина к Иванову была мне ясна. Иванов не напечатал, как надеялся Сорокин, его, сорокинские, рассказы в петроградских журналах, он написал Антону Семеновичу, что, мол, предлагал рассказы, да редакторы печатать их не хотят. Но главное было даже не в отдельных рассказах, а в том, что рухнула мечта Антона Семеновича срочно издать с помощью Всеволода Иванова собрание своих сочинений.

— Сам печатается, а меня печатать не хочет! О, я ему отмщу, и отмщу жестоко! — заявил мне Сорокин.

Лишь боязнь пространства мешает ему отправиться в Москву.

— Я бы приехал, — мечтал он, — под видом неизвестного киргиза, поднялся бы на трибуну Дома Герцена и стал бы читать рассказы. А когда спросили бы, кто этот гениальный неизвестный киргиз, я бы скинул малахай и разоблачил своего неблагодарного ученика Всеволода Иванова, который не хочет убедить Горького печатать полное собрание моих сочинений!

Я пробовал убеждать Антона Семеновича, что он неправ, что виноват не Иванов, а редакторы, вечные враги Антона Сорокина, что, по существу, повторяется старая история, длится старая распря его с редакторами.

— Но теперь вы в лучшем положении! — говорил я. — «Сибирские огни» вас охотно будут печатать, Зазубрин сказал об этом определенно.

— Что мне Зазубрин! Я хочу, чтобы меня печатал в центре Всеволод Иванов, мой ученик, переметнувшийся теперь к Горькому.

И Антон Семенович начал мстить, то есть сочинять и писать гневные письма как Всеволоду Иванову, так и

о Всеволоде Иванове кому попало. То есть, во всяком случае, он говорил, что пишет такие письма.

— Если вы не врете, что пишете такие письма, я с вами вообще не знаком! — однажды сказал я. И то же самое сказал жене Антона Семеновича, добрейшей Валентине Михайловне. Я спросил ее: может быть, Антон Семенович фантазирует, только мечтает писать про Всеволода Вячеславовича разные пакости?

— Нет, он может! — ответила она, заплакав. — Он про брата своего, Семена Семеновича, профессора медицины, со злости написал, что тот вливает больным вместо сальварсана воду!

Я не знаю, что ответил Всеволод Иванов на инсинуации Сорокина и отвечал ли он вообще. Но знаю, что, злясь все больше и больше, Антон Семенович стал выдумывать, будто Всеволод Иванов мечтает его уничтожить физически и подсылает наемных убийц.

— Поздравьте меня с избавлением от преждевременной гибели! — объявил однажды Антон Семенович. — Сижу у себя в Сибопсе[1], работаю, смотрю — кто-то ходит подозрительный у дверей. Караулит. Пошел домой — этот человек подкатывается: «Антон Семенович, вы любите сладкое, угоститесь конфеткой». Но меня не проведешь! Я бросаю эту конфетку собачке, она проглатывает, тут же на тротуаре вьется волчком и издыхает! А его уже и след простыл! Как вы думаете — заявлять или не заявлять? Но что тут заявлять, я и сам великолепно знаю, чьи козни. Вот вы хохочете, Мартынов, а надо бы плакать!

Тем временем в печати появлялись все новые и новые прекрасные рассказы и повести Всеволода Иванова. И каждый раз Сорокин подымал шум, что все это украдено у него, что это его темы, его замыслы. Впрочем, то же самое он говорил и о других, например, о Кондрате Урманове, успеху повести которого, — я забыл, как она называлась, — он страшно завидовал. Никто, впрочем, не принимал его злобствований всерьез. Все понимали, что Сорокин, при несомненных своих достоинствах, несколько неуравновешен, что он подтверждал и сам, говоря, что он маньяк: страдает болезнью боязни пространства. Кро-

---

[1] Сибопс — Сибирский округ путей сообщения.

ме того, он не мылся и не ходил в баню, объясняя это патологической боязнью воды, появившейся после того, как, по наущению павлодарских купцов, грузчики бросили его в Иртыш. Таковы были его мании и фобии, но мне кажется, что многое он преувеличивал из хитрости, чтоб в случае чего, если привлекут к ответственности за оскорбление и клевету, сказаться психически неуравновешенным. А оскорблял и чернил людей он направо и налево. Однако ему охотно прощали: юродивый и все-таки талант, можно сказать, знаменитость!

Несомненно, он был остроумен и талантлив, и тем более неприятна была его кляузная и низкая вражда к Всеволоду Иванову, произведения которого я читал с восторгом. «Возвращение Будды», «Цветные ветра» и другие уж никак не были написаны под влиянием Антона Сорокина, это он нехотя, но признавал и сам. Одно казалось мне лучше другого, и я стыдил Сорокина за его недостойное поведение. И однажды, поехав в Москву, решил пойти к Всеволоду Вячеславовичу, выразить ему свой восторг его творчеством и как-то поговорить с ним, как быть с Антоном.

Я точно не помню, когда именно это было, но помню, что в это время Всеволод Вячеславович обитал в доме на Тверском бульваре, — видимо, в одном из домов, примыкающих к Дому Герцена. Мне помнится, что вход был прямо с улицы. Дело было вечером, и я постучался либо позвонил. Мне открыла незнакомая женщина, я назвался и спросил, могу ли видеть Всеволода Вячеславовича. Она отступила на шаг, а потом, обернувшись в сторону другой комнаты, уверенно сказала, что Всеволода Вячеславовича нет дома. Правильно или неправильно, но я решил, что Всеволод Иванов, услышав мой голос, не захотел меня видеть. «Впрочем, так и должно быть! — подумал я. — Ему мало радости видеть человека, связанного с Антоном Сорокиным». Больше я не пытался вступить в контакт с любимым мною писателем.

Я высоко ценю творчество Всеволода Иванова и где только могу говорю об этом. Я уверен, что еще не оценен по достоинству и его роман об архитекторах [1], напеча-

---

[1] Роман «Вулкан» опубликован и в двухтомнике Вс. Иванова. М., «Художественная литература», 1968. *(Здесь и далее прим. сост.)*

танный уже после его смерти в «Сибирских огнях». Словом, я ценю все, что им написано, и горько сожалею, что контакта между ним и мною так и не было установлено. Правда, в последние годы его жизни мы несколько раз встречались и беседовали мирно и дружелюбно. Однако об Антоне Сорокине не было сказано ни слова. А ведь по воле судьбы именно ему пришлось хоронить Антона Сорокина. Антонова злоба обернулась злейшей чахоткой (а впрочем, может быть, и наоборот, эта чахотка и делала Антона Семеновича столь озлобленным), боязнь пространства обернулась нежеланием ехать лечиться вовремя, и когда в 1928 году Антон Семенович почувствовал, что дело плохо, он поехал в Крым, но в санатории его не приняли, сказали, что поздно, и его жена, Валентина Михайловна, успела довезти Антона Семеновича живым только до Москвы, где он вместо того, чтоб, поднявшись на трибуну Дома Герцена, разоблачить Иванова, скончался чуть ли не на руках у Всеволода Вячеславовича. Во всяком случае, Всеволод Иванов был одним из тех немногих, которые провожали Антона Сорокина на Ваганьковское кладбище. Об этом мне рассказывала Валентина Михайловна. Так неожиданно кончилась и дружба, и вражда Всеволода Иванова с Антоном Сорокиным.

Что думал Всеволод Иванов о своем в кавычках учителе, в таких же кавычках разоблачителе? Может быть, в архивах Иванова остается еще какая-то повесть об Антоне Сорокине, вовсе не похожая на эту мою повесть? Единственно, что мне известно на этот счет, — воспоминания Всеволода Вячеславовича, напечатанные после его смерти в «Огоньке». Там, между прочим, насколько я понял, говорится, что юный Иванов встретил у Сорокина самого адмирала Колчака. Я думаю, что это был один из сорокинских трюков. Полагаю, что Антон Семенович, издеваясь над Всеволодом Вячеславовичем, выдал какого-нибудь шутника за адмирала Колчака. Не знаю точно, как было в данном случае, я был еще мал и не вхож к Сорокину, но позже, в двадцатых годах, мне не раз приходилось «встречать» у Сорокина известных поэтов и писателей, которые никогда не были в Омске, а во время «встречи» с ними у Сорокина находились в Москве. А потом я и сам, раскусив, в чем дело, «приводил» к Со-

рокину то Асеева, то Пастернака. Антон Семенович охотно входил в такую игру.

Я так и не знаю, что думал об Антоне Сорокине добрейший, талантливейший и, как мне кажется, сохранивший до последнего своего дня свойственную талантам юношескую наивность Всеволод Иванов, которого я ценю так высоко, как только может ценить литератор литератора. А мы, как известно, не весьма склонны к взаимовозвеличиванию.

1974

Виктор Уфимцев

С МОИМ ДРУГОМ ВСЕВОЛОДОМ ИВАНОВЫМ

(1919 — 1961)

Мы сидели в кабинете Всеволода Вячеславовича на Лаврушинском. Вспоминали давние годы, Сибирь, Среднюю Азию. Говорили о знакомых, о друзьях, о своих планах, о будущих странствиях. И с какой-то особой горечью — о здоровье, которое начинало нас подводить.

Всеволод подарил мне трубку и сказал: «А я вот бросил... не разрешают... Да, санки покатились вниз, только ноги подбирай...» Тогда же он подарил мне томик избранного с дарственной надписью: «Дорогому и старинному другу времен Омска — Ташкента — Москвы Виктору Уфимцеву от всей души — автор В. Иванов. 29 апреля 1949 г. Москва».

* * *

На протяжении многих лет продолжалась наша дружба, хотя встречаться приходилось не так уж часто. Ежегодно, приезжая в Москву, я непременно навещал Всеволода. А бродя по Южному Казахстану, он заезжал в Ташкент, заезжал повидать меня. Так было и в последний раз.

Стоял теплый, солнечный сентябрь (в Ташкенте сентябрь чудесен). Я показал Всеволоду свои новые работы. Опять воспоминания и опять планы и надежды. Всеволод заметил в моей библиотеке давнишнюю свою книгу «Дикие люди». Полистал, посмотрел свой старый портрет, помолчал несколько секунд и, достав ручку, написал: «Милый Виктор! С удовольствием смотрел на твои картины, где ты (сейчас, осенью 1960 года) такой же мо-

лодой, как я на этом портрете. Тепло, солнечно. Ташкент в пыли и в автомобильном грохоте, а мы пьем кофе у тебя в квартире и вспоминаем прошлое. Сегодня ночью я улечу дальше. Где-то и когда-то опять встретимся, друг мой. Вс. Иванов. 16 сентября 1960 г.».

Больше мы не встретились.

Я не помню точно, при каких обстоятельствах и когда мы познакомились.

В 1919 году в Омске Всеволод Иванов работал в одной из редакций газет или в типографии. Он был скромным кудрявым молодым человеком в очках, лет около двадцати пяти. Впрочем, и потом, когда Всеволод Иванов был уже известным писателем, он оставался таким же скромным, располагающим к себе и отзывчивым.

Первые наши встречи были в Омске в начале двадцатых годов. Молодой писатель Всеволод Иванов, начинающий поэт Леонид Мартынов, совсем юный музыкант Виссарион Шебалин и я, двадцатилетний художник, находили общий язык и громко утверждали новое искусство, новую литературу.

Выставки, диспуты, литературные вечера...

Молодость, вера в свою правду и неиссякаемая энергия.

Отдаленные от Москвы тысячами километров, мы прекрасно слышали голос Владимира Маяковского и уже тогда понимали всю силу и значение этого великого поэта. К нам в Сибирь попадали книжки его стихов. С трудом мы раздобывали их. Стихи запоминали наизусть. Они были нашим оружием.

Для меня Маяковский стал образцом советского поэта и человека.

«Мы разносчики новой веры, красоте задающие железный тон», — точно сейчас слышу голос Всеволода Иванова. Он любил читать с эстрады эти стихи или отрывки из «Облака».

Однажды в 1921 году у меня в студии, в кругу друзей, Всеволод прочитал свою «Фарфоровую избушку». Я не помню содержания этого рассказа. Помню только, что автора очень хвалили, находили очень талантливым и кто-то даже сказал: «Не хуже Достоевского». Вскоре мы проводили Всеволода в Питер. Говорили, что пригла-

сил его туда М. Горький. Так оно и было. Горький уделял много внимания развитию молодого писателя.

Потом, уже пятидесятилетними, сидя в мягких креслах московской квартиры Иванова, вспомнили мы «Фарфоровую избушку».

— Да, — сказал тихо Всеволод, — уничтожил я ее, думал — напишу лучше, и... не написал.

В 1923 году, весной, я впервые побывал в Москве. Тогда же я встретился со своим сибирским другом Всеволодом Ивановым. Он был уже известным писателем, автором «Бронепоезда», прочно занявшего свое место в советской литературе.

В годы Отечественной войны, с декабря 1941-го по ноябрь 1942 года, Всеволод Иванов со своей семьей жил в Ташкенте. Их квартира была на Дархан-Арыке, наша — в старом городе, на улице Укчи. Не близко. Но несмотря на это, мы встречались довольно часто. Иногда совершали прогулки за город, на Шах-Зайнутдин. Да, тогда это был «загород». Ходили в гости к моему старому другу — узбеку Тулягану. Тогда ходоки мы были отличные и ни на какой транспорт, кроме своих ног, не рассчитывали. Оба мы в то время излишней полнотой не страдали, попросту были тощими, и носить себя было легко. Фотографии не соврут.

«19 мая 1943 года. Москва. Дорогой друг Виктор!

Извини, пожалуйста, что пишу тебе с таким перерывом. Москва — город заполненный, все надо урядить, уладить. То вычинить крышу от течи, то забор от пролазу. Глядь — дня и нету, написать письмо другу некогда. И так пройдет жизнь, опомнишься, помирать пора, а ты и не уделил времени беседе. Охваченный такими мыслями, я сел за машинку и решил написать тебе, дабы и ты, занятый не меньше меня, вспомнил о человеке, который сидит в Москве, пишет книги, от болезней не страдает, но и не так, чтобы уж был замечательно здоров.

Москва все такая же опрятная, прибранная, спокойная, трудолюбивая. Художественная жизнь, несмотря на военное время, могла бы быть и получше. Мне кажется, что у вашего брата — художника — даже лучше, чем

у нас — писателей, но художники тоже недовольны. Это недовольство естественное и доказывает, что искусство наше жизнеспособно, ибо довольное искусство — не искусство, а мура! Завтра в Совинформбюро откроется выставка картины П. П. Кончаловского — «Лермонтов». Выставку сопровождает игрой Д. Шостакович. Петь будет на мотивы стихов поэта Обухова. Я, к сожалению, не пойду — срочная работа, надо сдавать книгу рассказов в издательство. Сижу, пишу за городом, у знакомых на даче. Для выпрямления пальцев — копаю огород. Вся моя семья тебе кланяется.

Твой казахстанский «турксибовский» рисунок висит у нас на стене под стеклом и в раме, и все одобряют его!

Что ты поделываешь? Знаю, у вас солнце и сильная жара. Мы тоже живем в тепле, хотя три дня уже льет дождик, но это хорошо для посадок, ибо вся Москва пашет и садит огороды. Я тоже что-то такое посадил. Живу уединенно. Много пишу. Мало печатаюсь, по обстоятельствам, как говорится, от меня не зависящим. Сейчас пишу роман «Сокровища Александра Македонского», роман, навеянный еще Азией, — это будет нечто приключенчески-комически-сатирически-философски скучное, ибо получается длинно, запутанно и не смешно. Пока я написал листа три, а надо 30 — значит, одну десятую. Если соответственно пойдет, то окончу через год. Ну и пусть!

По дороге (удел мой таков) пишу рассказы. Только что заходил ко мне В. Шкловский. Увидал твой «Турксиб» и еще раз похвалил. Нежнейший привет тебе, ты у моей души всегда. Я вспоминаю нашу прогулку к мечети, твой дворик со странными деревьями — касторкой, картины, нашу беседу на диванчике. Сбруя нашего быта весьма неудобна, и дыхание от нее часто бывает спертое, но все же спасибо за все, что мы видели и что увидим.

Дни наши из платины, а она, как известно, по удельному весу в 21 раз тяжелее воды — водички сладенькой, подсахаренного быта — прозябаньишка.

Целую и желаю, как всегда, старательно стоять у мольберта, сильно ударяя в колокол искусства.

Всеволод»

Еще продолжалась война, но победа была уже близка. За все эти годы мне не пришлось побывать в Москве, но переписка со Всеволодом не нарушилась. Он писал

о Москве, о своей жизни, о планах и событиях. Обо всем, что представляло для меня интерес.

«4 марта 1945 года. От всей души благодарю тебя за теплое письмо. Мне тем более было приятно его получить — оно пришло ведь незадолго до того дня, когда мне стукнуло 50 годков. Я вспомнил странные снежные дни в Омске, когда мы познакомились с тобой, и, признаться, сердце защемило. Жизнь оказалась короче волоса, а сделать хотелось гору. Это, конечно, не жалоба, а только сожаление, что не выпьешь всего мира, а дай бог рюмку. Ну что ж, чокнемся рюмками! Твое здоровье, милый Виктор! Ты уже почтенный Народный художник. Это очень приятно, и ты, безусловно, заслужил. И у меня достаточно седин, а поэтому — хорошо бы встретиться! Не правда ли? Надеюсь, приедешь на выставку.

Я работаю много, заканчиваю книгу «Фантастические рассказы». Это, собственно, не фантастическое в прямом значении, а размышления на эту тему. Помимо рассказов, обдумываю пьесу, а послезавтра уезжаю на фронт — на месяц — писать очерки для «Известий». Поездка большая: от Москвы до Бранденбургской провинции на автомобиле. По возвращении — напишу тебе.

Собирался весной в Среднюю Азию, в Казахстан, но едва ли удастся, так как весной же надо съездить за материалом для пьесы на Урал». [...]

Закончилась война. Отгремел победный солют.

В 1947 году Всеволод сообщает: «Пишу новый роман, два последних моих романа провалились. Авось выйдет третий. Был я на Урале — в Свердловской области, очень интересно; оттуда рукой подать до Омска, однако не доехал. Времени не было. Все собираюсь в Среднюю Азию, но времени мало и денег тоже».

А в январе 1948 года: «Отвечаю с опозданием, хворал, старость. Мечтаю о поездке в Узбекистан, но мешают замыслы, работа и 53 года за спиной и на спине, в частности, в пятом позвонке, который ноет. Над чем работаешь? Пришли краткое коммюнике.

Всеволод»

Летом 1948 года пришел с этюдов домой — жена сообщила:

— У нас гость!

Вижу ожидающего меня Всеволода Иванова. Конечно, радость встречи! Я показал новые работы. Всеволоду особенно понравилась «Чайхана на Чегатае». Просил подарить. Я обещал доставить ему ее в Москву.

Много лет он вспоминал эту «Чайхану», но отвезти ее в Москву так и не удалось, и работа эта осталась у меня. Пока гуляли по городу, Галя сотворила сибирские пельмени, а в заключение сфотографировала нас.

Мы были всегда на расстоянии и разговаривали больше посредством писем, причем иногда с большими перерывами. Ему хотелось видеть мои новые работы, а кое-что даже иметь у себя. В апреле 1960 года он прислал мне только что вышедшую в свет книгу «Мы идем в Индию» с надписью: «То, что мы с тобой, дорогой друг, редко видимся, — это плохо. Погляди на меня хотя бы на этих страницах, как они ни выцвели от времени, все же былую мечту можно при усилии разглядеть. А твоя «Чайхана» мысленно у меня. Я ее вижу и тебя».

В конце пятидесятых годов, как-то в один из приездов в Москву, я сидел в кругу семьи Всеволода Иванова. Мы пили чай.

— Хотите, я прочту вам стихи? — предложил я.

Облаков лохматых бровь,
Бровь камлающих шаманов.
На снегах клянусь я вновь
Птице каменных туманов...
И т. д.

Стихи почему-то так запомнились мне, что я прочитал их полностью, без запинки, до конца.

— Чьи? — в один голос спросили несколько человек.

Я указал на смеющегося Всеволода. Он? Писал стихи?

Стихи эти были написаны мне в альбом на одной из наших вечеринок в 1921 году и сохранились. Под ними стояла подпись: «Всеволод Иванов-Тараканов».

Шестидесятые годы. Они очень заполнены как у Всеволода, так и у меня. Оба мы совершили столько интереснейших поездок по неведомым краям, столько открылось нам нового, что сразу даже невозможно было охватить, оценить и рассказать о бьющих через край впечатлениях.

Я побывал в Афганистане, в этой малоизвестной стране. Потом — Африка. И, наконец, Индия. Меня всегда привлекал Восток. А сколько поездок по своей стране! Сколько впечатлений, сколько увлекательных замыслов!

Каждый из нас по-своему реализовал все это. Я — в живописи, а Всеволод — в очерках и рассказах. Но в какие бы дальние страны ни ездил Всеволод Иванов, он по-прежнему рвался в Южный Казахстан, Ташкент или в Сибирь.

В 1960 году 23 июня писал мне:

«Посылаю открытки для курьеза, которые прислал мне из Америки Давид Бурлюк.

Я собираюсь в Казахстан, в Чимкент, а вернее в горы Кара-Тау, что идут параллельно железной дороге возле станции Туркестан. Собираюсь в августе — сентябре побродить, поохотиться. Может быть, это будет последняя охота в жизни. Во-первых — уже не тянет, во-вторых — болят ноги, а в третьих — вообще 66 год (Боже! как я стар!). Ну, и по дороге (если поеду) заверну в Ташкент. Разумеется, о дне поездки извещу.

Жил в Ялте месяц. Превосходно!»

«1960 год. 10 августа.

Вернулся из Чехословакии и нашел на столе два твоих милых гостеприимных письма. В Казахстан я по-прежнему собираюсь. Но мой спутник, казахский писатель, живущий в Москве, — уехал в Крым. И я никак не могу поймать его, чтоб согласовать с ним время отъезда. И когда заедем в Ташкент: по дороге туда или по дороге оттуда?

В Ташкенте думаю прожить не долго: дня три-четыре, погулять по городу, съездить в Чимган — и все.

Хочется мне съездить на родину, в город Павлодар (где не был с 1918 года), Омск, Курган. Не знаю, хватит ли силенок: я быстро устаю, старость, 66-й все-таки.

Вышел у меня восьмой том Собрания сочинений. Скоро ты на барахолке по дешевке сможешь купить эти восемь томов и прочесть в них «Похождения факира». Омск, впрочем, я там не описываю: плохо помню (как все дурное), но, может быть, когда-нибудь напишу еще один том об омских «Робинзонах».

Вскоре я получил еще одно письмо (оно датировано 18 октября 1960 года):

«Приехав, сразу же написал тебе, а дня через три-четыре получил твои замечательные фотографии. Я их тут же отдал гостившей у меня чешской переводчице Н. В.[1], которая пишет обо мне книгу для Чехии. Может быть, фотографии будут напечатаны. Ну-с, живу я теперича, трудясь денно и нощно, чего и тебе желаю. Пишу р о м а н! Работы хватит до слез. Населить оный сад хочу плотно, чтобы всякое украшение было, ну, а насчет плодов, — что бог даст.

Роман называется «Погоня вдоль песков».

Ездил ли ты куда-нибудь? Я, видимо, буду трудиться всю зиму. А там — опять ехать, пока сердце держит.

В Москве два художественных чуда: Мексиканская выставка и, в связи с юбилеем Рублева, выставка икон в Третьяковке. Посмотрел я выставку икон и еще раз убедился в высшей гениальности и в высшей предназначенности нашего народа» .

В мае 1961 года меня свалил второй инфаркт. Я писал об этом своему другу. Писал, что лег отдохнуть. Всеволод Вячеславович ответил мне: «Итак, дорогой, ты лег отдохнуть, все ничего бы: полежать иногда даже приятно, кабы не болезнь. Мне тоже случается лежать, и не могу сказать, чтобы это обстоятельство так уж меня радовало. Но примиряешься — жизнь! Она убедительна!

Желаю тебе, дружище, скорейшего выздоровления.

Что же касается того, о чем ты пишешь, т. е. что ⟨тебе⟩ нельзя ⟨будет⟩ никогда гулять по горам, — я сомневаюсь. Может быть, месяц, три, полгода или год, а там все устроится и, глядишь, будем костылять полегоньку по тропинке. А я, брат, кручусь. Побывал, как ты знаешь, в Японии. Сейчас приехал из Англии и Шотландии. И скоро, дней через 10 (как только соберу денег), поеду на Дальний Восток, в Читинскую область, где задумана славная прогулка по тайге и таежным рекам. Затем, в октябре, думаю съездить опять, как в прошлом году, в Южный Казахстан и, может быть, опять завернуть в Ташкент. Уже после всех этих прогулок намерен зимой засесть за

[1] Н. В. Слабнгудова.

роман. Роман вроде придумал, ну а там что бог даст. Он, то есть бог, — хитрый: дар дает, а прилавок, через который распространять этот дар, сам ищи! Семейство мое здорово и благополучно. Старший сын, Миша, — художник». (Весной 1962 года я подлечивался в стационаре. Взял в библиотеке журнал «Новый мир» и прочитал чудесную вещь «Хмель, или Навстречу осенним птицам» Всеволода Иванова. Это — результат поездки на Дальний Восток.)

«А пока ты лежишь, — продолжал он свое письмо, — то пиши-ка воспоминания. И, поди, не один я тебе советую. Жизнь у тебя интересная, большая. Есть все данные, что она будет долгой, долгой. Почему бы не написать воспоминаний? Сибирь, молодость, Омск, а затем Средняя Азия с ее своеобразным укладом. Куда, как хорошо! Пиши, дружище!

Целую тебя! Привет супруге.

Всеволод

14 июня 1961 года. Москва».

Это письмо было последним.

1963

Михаил Слонимский

«СИБИРСКИЙ МАМОНТ»

«В Сибири пальмы не растут...» Эта фраза, открывающая один из первых рассказов Всеволода Иванова, так запомнилась нам, начинающим писателям 1921 года, что мы тогда к месту и не к месту повторяли ее. Запомнилась она так, видимо, потому, что это была первая, начальная фраза первого рассказа, прочитанного Всеволодом при первом знакомстве с нами, и она сразу же прекратила обычное на наших собраниях перешептывание, установила тишину, напрягла внимание своей неожиданностью, оригинальностью и обещанием дальнейших открытий. Она прозвучала как уверенное вступление к чему-то, о чем мы еще не знали, а вот сейчас узнаем. Рассказ был небольшой, но показывал такую силу, что мы немножко даже ошалели.

В ту пору я только начал пробовать себя в литературе — и вот прибыл из Сибири партизан с таким талантом и умением, что — подтянись! А ведь почти сверстник, на два только года старше.

Появлению Всеволода Иванова в моей комнате, где собиралась группа писателей, назвавшая себя «Серапионовыми братьями», предшествовала рекомендация Горького:

— Здесь Всеволод Иванов, из Сибири. Вы его позовите к себе. Сильно пишет. Отлично знает деревню...

Вечер первого знакомства с молодым писателем Всеволодом Ивановым был вечером большой радости. Все мы были возбуждены и осыпáли вопросами нового товарища, сразу, конечно, перейдя с ним на «ты». Всеволод благостно улыбался, отвечал коротко и поглядывал на нас дружелюбно. Широкий, круглоголовый, в желтой

выцветшей гимнастерке и военных штанах с заплатой на правом колене, он, отвалившись к спинке стула, жмурился в лучах похвал и был похож немножко на азиатского божка, может быть даже на самого Будду. Кто-то назвал его «брат Алеут», но это не очень привилось. «Наш сибирский мамонт», — обмолвился как-то о Всеволоде Михаил Зощенко, и это больше пришлось по вкусу. По силе Всеволод был, бесспорно, мамонт в только что рождавшейся тогда советской литературе.

Почти каждую субботу «сибирский мамонт» приносил нам новый свой рассказ. Какой-то рог изобилия — «Дитё», «Лога», «Синий зверюшка»... Нас поражали острые, из самых глубин жизни выхваченные сюжеты, яркие характеры, замечательный язык. Мы наслаждались заразительным буйством слова, вызывающим на поединок, пробуждающим творческие силы слушателей. Да, в Сибири пальмы не растут. Есть кедр, тайга и — жесточайшая борьба с контрреволюцией. И живут там люди напряженно, не в хате у себя ищут счастья, не в дружбе с «синим зверюшкой». Могучим дыханием революции овеяны были эти первые в нашей литературе рассказы и повести о гражданской войне, о событиях в Сибири.

Революционная Сибирь заговорила в произведениях Всеволода Иванова своим щедро богатым языком. Картины народной борьбы, перевернувшей жизнь России, никак не укладывались в прежние литературные рамки, и со всей неизбежностью Всеволод ломал устоявшиеся формы рассказа, негодные для изображения народного восстания. Это было естественно и необходимо. Даже бурнопламенный пропагандист всего нового Виктор Шкловский был побежден и восхищен Всеволодом Ивановым. «Партизаны» и «Бронепоезд» стали вершиной первого периода в творчестве Всеволода. Когда он читал нам «Бронепоезд», то мы, уже познавшие силу многоцветного потока его рассказов и повестей, все-таки еще раз были взволнованы, взбудоражены, потрясены так же, как и при первом знакомстве.

То было время первопроходцев, первооткрывателей во всех областях жизни, в том числе и в литературе. Все надо было увидеть и определить заново, потому что все сдвинулось, переменилось, переместилось, перевернулось. Молодые, как-то сразу объявившиеся в литературе по всей стране, могли путаться в литературных теориях и го-

ворить глупости по незрелости, но всем своим не по возрасту большим жизненным опытом эти молодые были накрепко связаны с советской властью, с большевиками.

Как-то мы, несколько молодых писателей, пришли в начале двадцатых годов на одно литературное собрание. Среди малознакомых и совсем незнакомых нам людей оказалась Лидия Сейфуллина, только что прогремевшая тогда в литературе своими «Перегноем» и «Правонарушителями» и поселившаяся в Ленинграде. Она сидела в стороне от других, с хмурым, даже сердитым лицом, чувствуя, видимо, некую чужеродность общества, в которое попала, общества, в котором было больше воспоминаний о прошлом, чем мыслей о настоящем и будущем. Завидев нас, она заулыбалась и стала манить к себе.

— Свои, — сказала она радостно, когда мы уселись рядом.

Вот я и говорю сейчас о тех молодых, о ком можно было с полным правом сказать «свои». «Свои» — это означало кровное сродство с революцией, общность опыта, настроений, соединявшие сразу, по чувству, после первых же слов. «Свои» — это те, кто принимал живое участие в войнах и в революционных событиях, кто был, говоря на кратком языке тех лет, «красным». Жизненный опыт — огромный; литературный — далеко не достаточный. Но напор глубоко, органически воспринятых впечатлений был таков, что в то стремительное время рост писателя происходил с фантастической, небывалой в истории быстротой. Вчера — почти ничего не написано, сегодня — как прорвало, завтра — уже знаменит. Особенно ярко проявились эти темпы у Всеволода Иванова.

Ленинградским молодым повезло — в Ленинграде жил и работал Максим Горький. Каждый из нас в отдельности тянулся к Горькому, потом все мы скопом ходили к нему, были с ним, у него, вокруг него. Горький был для нас отцом, братом, другом, товарищем, советчиком, критиком, редактором. Он заботился даже и о нашей пище, и о нашей одежде. Всеволода Иванова Алексей Максимович любил нежно, глубоко и требовательно.

На своих собраниях мы критиковали друг друга при случае нещадно. Должен добавить, что не пожалели мы и Всеволода. Он в то время находился в счастливом, добром состоянии, он шел, что называется, от успеха к успе-

ху. И вот однажды он явился к нам очень оживленный, особенно уверенный, видимо, в удаче, развернул рукопись... и — о ужас! Поэма. И какая! Как будто Шаляпин запел вдруг фальцетом. Мы обрушились на бедного автора со всем негодованием, со всей беспощадностью молодости. Он молча слушал, только опустил голову. Не возражал. Сунул рукопись в карман шинельки и тихо пошел. Потом он рассказывал, что на пути домой он бросил рукопись в Неву. А в следующую субботу он прочел нам новый прекрасный рассказ и пожал все лавры очередного успеха. Кое-кто из нас, правда, случалось, нет-нет да и язвил его цитатами из неудавшейся поэмы, но Всеволод в ответ только молча улыбался. Как и у всех сильных, незаурядных людей, мелочности в нем не было никакой, а отличал он беззлобную, дружескую насмешку от подлинной обиды безошибочно. В нем, молодом, уже тогда лежало золотым слитком какое-то особое, умное и, я бы сказал, мудрое отношение к жизни. Он казался самым старшим из нас.

Говорил он языком необычным для Петрограда, слова при этом плотно пригонял одно к другому, без «эканья» и «мэканья». Он, «сибирский мамонт», был настолько красочен и своеобразен, что иная бойкая девица считала своим долгом выражать при знакомстве с ним кокетливый ужас:

— Это вы?! Боже мой! Я боюсь!..

Всеволод однажды ответил на эту игру так:

— Не беспокойтесь. Я вас не потрогаю.

Нам очень понравилась эта словесная формула.

Опыт у Всеволода был большой и жестокий. Бывало, он рассказывал нам о пережитом, виденном, слышанном словами вескими, взвешенными, тяжелыми. Он говорил правду, ничего не преувеличивая, но и не преуменьшая. Переданная его ярким талантом в рассказах и повестях, правда эта производила ошеломляющее впечатление. Не будем сравнивать его опыт с опытом его молодых друзей, которые тоже ведь прошли войны и революцию не у себя в комнате, большинство из нас знали и фронт, и раны, и голод, и холод, и прочее, что «положено» было нашему поколению. Но, как мне кажется, в сильной душе Всеволода испытания, общие для многих начинающих прозаиков того времени, переработались быстрей, чем у других, и он, смахнув паутину литературных навыков

прошлого, еще мешавших некоторым из молодых, ясно увидел путь в литературу, смело шагнул в новое, неизведанное, пошел по непаханой целине и дал пример всем. Вот он и казался вроде как самым старшим. Вхождение его в литературу было блистательным. Через два-три года он был уже очень известен, количество статей о нем росло, его произведения переводились на иностранные языки.

Через всю жизнь пронес я впечатление от первых вещей Всеволода Иванова и от него самого, тогдашнего. Да и как может быть иначе! Ведь те вечера в Доме искусств, когда читались горяченькие, только что написанные рассказы, повести, стихи никому еще не известных Федина, Зощенко, Тихонова, Каверина, Никитина, Полонской, Лунца, статьи Груздева, — ведь те вечера были временем рождения советской литературы, новой, революционной литературы. И перекличка с Москвой, с Сибирью, мгновенно возникающая дружба молодых из разных городов и областей — все это незабываемо. «Свои» — это были не только молодые, сливалось с нами немало и «стариков». Был же случай, когда один — тоже молодой — критик восторженно провозгласил появление в литературе нового, замечательно талантливого молодого писателя... Вересаева. То было молодое время. И если Ольга Форш была старше нас на двадцать пять лет, то она с удовольствием числилась тоже молодой. Это была молодость революции и страны и наша молодость.

К середине двадцатых годов Всеволод переехал в Москву, где мы преимущественно после того и встречались, ибо в Ленинграде Всеволод показывался редко. Первый период его творчества и жизни ощутимо отходил в прошлое. Всеволод был уже не в гимнастерке, а в пиджаке, сменил ушанку на шляпу и подшучивал над собой. «Очень хочется пощелкать семечек, а хотел вчера купить — устыдился. Господи, до чего мы опустились...» — пишет он мне в августе 1924 года из Ялты. С добрым чувством говорит он о Федине, который в ту пору завершал свой роман «Города и годы»: «Косте я не пишу, не желая отрывать его от окончания 18 листов. В тяжелой дороге смеяться запрещается...» Глядя на море, вспоминает вдруг первое объединившее нас издательство «Круг»: «Вчера волны были выше, чем стремления «Круга» в на-

чале его деятельности, сегодня они более степенны, а завтра наступит спокойствие. Вообще море походит на сгущенное молоко...»

«Тяжелая дорога», «опустились», «спокойствие» — Всеволод жил в новых поисках. Возможность «спокойствия» возмущала его, и не хотел он, чтобы бурное море стало сгущенным молоком. А известность его росла с каждой новой книгой. Писал он много и хорошо.

Он держал крепкую связь с Ленинградом. Его книги выходили в ленинградском издательстве «Прибой», в Издательстве писателей в Ленинграде, организованном нами. Он направлял нам со своими рекомендациями рукописи московских писателей. Осенью 1929 года Издательство писателей в Ленинграде обратилось к нему с просьбой дать статью в сборник «Как мы пишем». Он ответил мне: «Дорогой Миша, статьи о том, «как я пишу», сделать я не могу — 1) поелику, считая себя изобретателем, я открывать методов своей работы не желаю; 2) поелику я еще сам не знаю, в чем заключаются эти методы и не являюсь ли я бледной копией почтенных наших классиков; 3) поелику я считаю самым важным сейчас для писателя не «как» писать, а «что» писать...» Всеволод в свойственной ему манере посмеялся над собой, надо мной, но написал под конец без всякой насмешки о самом главном и серьезном — о важности «что» писать. «Что» всегда, впрочем, было для него самым главным, и чем дальше, тем заметней это становилось.

Да, Всеволод был в новых поисках. Постепенно успокаивался, уравновешивался его стиль, сквозь буйную, цветистую прозу все явственней проступало размышление, менявшее тон повествования. Он много ездил по стране, все глубже проникая в то, как преображалась жизнь в первой пятилетке. Осенью 1933 года он писал мне, например: «Ездил в Ярославль. Испытал крупное удовольствие. Я был там 4½ года тому назад, а сейчас иной город. Такие заводы забухали — голова кружится. И народ замечательный...»

Отношения с Горьким у него всю жизнь были трогательно любовными. И в письмах ко мне я нахожу строки об Алексее Максимовиче. Вот пишет он в декабре 1933 года: «Сегодня приехал на несколько дней в Москву А. М. Горький. Он очень поправился и веселый и, как всегда, отличный мужик...» Или в феврале 1934 года:

«Я был у него дня четыре тому назад, старик очень бодр и весел, — рассказывал очень веселые повести. . .» Только иконописец-догматик не увидит в этих «неположенных» по отношению к великому писателю словах «мужик», «старик» нежной сыновней любви, любви и уважения ученика к учителю. В 1936 году Горький умер. Когда эта страшная весть пришла в Ленинград, мы, ленинградцы, помчались в Москву. У гроба стоял Всеволод Иванов, бледный, осунувшийся. Слезы непрерывно текли из его глаз. Лицо было неподвижно. Я думаю, что Всеволод был любимейшим, во всяком случае — одним из самых любимых Горьким писателей среди молодых, пришедших после Октября.

Всеволод Иванов шел в жизни и в литературе трудной дорогой пионера, первопроходца. Его творчество оценено еще не полностью, не в полном объеме.

Апрель 1964

Елизавета Полонская

КАК И ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД...

Всеволод Иванов позже других вступил в «Серапионовы братья». В один зимний вечер он появился в комнате Слонимского, в тонкой красноармейской шинели на плотных плечах, в русских сапогах, с взъерошенной гривой белокурых волос, из-под которой сверкали и кололи серые некрупные и отчаянные глаза.

— Этот новый у вас чистый разбойник! — кричала в ухо Мариэтте Шагинян Вера Дмитриевна, бывшая елисеевская нянька, теперь пестовавшая маленькую черноглазую Мирель, дочь Мариэтты. — Чисто сибирский уголовник, упаси господи! Ефим-швейцар говорит, что узнает их сразу, этих каинов.

— Ничего не уголовник, а действительно сибирский, но партизан. С Колчаком сражался, и Сибирский ревком послал его в Петроград учиться, — вразумительно отвечала Мариэтта.

Слух о сибирском партизане, командированном Сибирским ревкомом в Петроград учиться на писателя, быстро распространился в кухне елисеевского дома, но вскоре узнали о приезде нового писателя и в «Петроградской правде», куда он принес свой первый рассказ о партизанах. Говорили, что это лишь его ранний рассказ, а он написал их много. Все «серапионовские» девушки с нетерпением ждали его появления в комнате Слонимского. Он оказался веселым, немного застенчивым парнем и, разговорясь, рассказывал необычайные вещи о своей жизни в Сибири, о том, как во время голода в одном районе, в зоне вечной мерзлоты, обнаружили тушу мамонта и ревком отдал ее в распоряжение продовольственной управы, которая и распределила мясо по 100 и 150 граммов на человека — в зависимости от категории.

— Но ведь эта мамонтятина лежала в земле не одну тысячу лет! — возражали мы. — Разве можно есть такое старое мясо?

Всеволод Иванов спокойно объяснял, что мороз сохраняет продукты и мясо осталось таким же свежим, как если бы лежало в настоящем леднике. Те из граждан, на чью долю выпало достаточное количество мамонтового мяса — в зависимости от размеров семьи, — делали из него отбивные котлеты, а некоторые даже превращали его в шашлык. Мясо очень вкусное и напоминает медвежатину.

Но все эти рассказы были лишь дивертисментом, а когда Всеволод Иванов прочел свой рассказ «Синий зверюшка» о молодом парне Ереме, который собрался бежать из сибирской глуши и прийти на помощь людям, но никак не мог вырваться из плена природы сибирской, трижды убегал до Иртыша и трижды возвращался обратно на свой единый человеческий след — а следов зверей было множество — и встал лицом к лицу с кулаком Кондратием Никифоровичем, толстым, как стог сена, — тогда, когда он прочел все это, мы слушали эту историю, как волшебную сказку, и даже не разбирали, как она сделана. В тот же вечер Всеволод Иванов был принят в «Серапионы».

После этого вечера он две недели не приходил в комнату Слонимского, и Федин, который его привел к нам, объяснил, что сибирский партизан замерз в Петрограде в своей поношенной шинели и теперь шьет себе куртку из шкуры белого медведя, которую привез из Сибири. И действительно, мы скоро увидели Всеволода Иванова в новой, доходящей до колен куртке из необычайно пушистой белой медвежьей шкуры. Скоро его уже знали по этому признаку и, завидев у подъезда Госиздата белую меховую куртку, говорили: «Это Всеволод идет охмурять издателя и редакторов».

А в сборнике «Серапионовы братья», изданном в 1922 году издательством «Алконост», Всеволод напечатал этого «Синего зверюшку», который очень понравился и читателям, и критикам. Таково было торжественное восхождение звезды Всеволода Иванова.

На последней странице того же сборника, где дан список книг «Серапионовых братьев», напечатано, что

вышли в свет или готовятся следующие книги Всеволода Иванова:

«Партизаны», повесть, издательство «Космист», Пбг. (в продаже).

«Кургамыш — зеленый бог». Сказки.

«За спиной моря». Рассказы (печатаются).

В изд. «Эпоха», Пбг.:

Том 1. «Цветные ветра». Повесть (печатается).

Том 2. «Ситцевый зверь». Рассказы (тоже).

«Лога». Книга рассказов (готовятся).

В изд. Главполитпросвета. Мск.:

«Партизаны». Повесть (в продаже)».

Для только что появившегося в Петрограде молодого писателя — неплохое начало!

Правда, что Всеволода Иванова с первых же его шагов в литературе отметил Горький.

Всеволод Иванов великолепно пришелся в нашу голодную и прекрасную жизнь начала двадцатых годов. Нам уже казалось, что он был в ней всегда, — и не только его друзьям, но и читателям его книг, и зрителям, которые смотрели его «Бронепоезд», и актерам наших театров, в чьей жизни постановка «Бронепоезда» означала перелом. Но это было уже в 1927 году, в Ленинграде, в Петрограде же, пятью годами раньше, фигура Всеволода была так романтична, что наше «живое кино» создало импровизированную постановку под броским заглавием «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова», а влюбленная в него женщина даже пришла к «Серапионам», желая выяснить правду об этих бриллиантах. Сила таланта и убедительность его были таковы, что, когда он написал «Похождения факира», никто не сомневался в том, что он действительно «работал факиром», служил в цирке, пережил тысячи приключений.

В полутемном, заиндевевшем Доме искусств по субботам устраивали вечера «живого кино», после которого все — участники и зрители — танцевали под звуки рояля, за который усаживали кого-нибудь из молодых композиторов. Музыка громко разносилась по пустым залам и сопровождала пары вниз по парадной лестнице со стеклянными канделябрами в форме деревьев, на которых в четверть накала тлели лампочки. Потом, пробежав вихрем по нижнему этажу, мы возвращались наверх, и музыка встречала нас.

Всеволод первым из «Серапионов» уехал в Москву и остался там. С этих пор я только слышала об его успехах, читала его новые произведения в журналах, а в дни наших серапионовских годовщин неизменно слушала его поздравительные дружеские телеграммы. Иногда он приезжал в Ленинград и вместе с нами встречал серапионовский день рождения — 1 февраля.

Его литературная работа принесла ему известность и любовь читателей, но он по-прежнему был необычайно легок на подъем и не стремился к личному благополучию.

Через несколько лет, в 1934 году, я снова встретилась с ним в Москве, на Первом съезде писателей.

Ленинград получил мало делегатских билетов, и мне с извинениями вручили гостевой билет, хотя я была членом литературной организации с самого начала советских литературных организаций — с возникновения Всероссийского союза поэтов.

Меня никогда не интересовала табель о литературных рангах, и об этом знали. Но были и такие товарищи, которые смертельно обиделись бы, если б им дали гостевой, а не делегатский билет, — так мне сказали.

Вначале все шло как обычно: ехали в Москву единой делегацией, остановились в гостинице в одинаковых условиях. На другой день после приезда вместе с товарищами я отправилась в Колонный зал Дома Союзов, который уже на улице осаждала целая толпа любопытных.

Было очень торжественно, всюду стояла охрана. Но когда я хотела войти в зал, меня остановили. «С гостевым билетом на хоры!» — заявил мне проверявший билеты. Все мои товарищи заторопились и вошли в зал, покинув меня. Не будь это так неожиданно и несправедливо, я спокойно отправилась бы на хоры, но рядом со мною были мои ученики, недавние слушатели литературных кружков, и они входили полноправными гражданами в украшенный флагами зал, а мне предстояло выйти на улицу, вновь пробиваться через толпу жаждущих сенсации любопытных и отправиться на хоры. От чувства несправедливости и обиды я расплакалась и не могла сделать ни шага. Я слышала, что в зале зазвенел колокольчик председателя. Меня оттеснили к стене.

В это время с улицы вошли несколько московских писателей, кивнули мне головой и, отстранив контроль, направились в зал. Среди них был и Всеволод Иванов.

Увидев меня, он остановился, взглянул в мое заплаканное лицо и, ни о чем не спросив, просто взял меня под руку и провел мимо контролеров в зал. Твердо держа меня под руку, он направился к первым рядам, где оставались свободные места, глазами поискал, где бы сесть, и, предложив мне стул, сел рядом со мной. Собрание уже началось, уже выбирали президиум, приходили делегации, выступали с приветствиями, — не помню уж, как это было, но торжественно, трогательно, величественно. Помню только, как в один из перерывов Всеволод принес мне из Секретариата полноправный билет на посещение съезда с парадного хода на правах делегата.

На следующих заседаниях мы с ним сидели в разных местах и встречались только глазами. Издали я видела, что он хорошо одет, выбрит, «ухожен». Но взгляд у него оставался такой же, как в те дни, когда он ходил по Петрограду в куртке из шкуры белого медведя.

Жизнь разбросала «Серапионовых братьев», они утратили молодость, время изменило их. Но Всеволод Иванов если не остался молодым, то изменился меньше некоторых других.

В январе 1957 года я оказалась в Переделкине, где мне предстояло прожить двадцать шесть дней в Доме творчества. Я побывала в гостях у Каверина, который жил на соседней улице. Он позвал меня к Всеволоду на 1 февраля:

— Давай встретим годовщину «Серапионов», как когда-то. Позовем Федина и Зою (Зоя Никитина была одной из наших «серапионовских девиц»).

Так мы и сделали.

Трудно сбежать от любопытных соседей по Дому творчества, всякий норовит спросить: «Куда это вы после ужина, на ночь глядя?»

И вот я решила сбежать потихоньку, встретиться с Кавериным на улице у фонаря, а оттуда пойти к Ивановым. Каверин и его жена, Лидия Николаевна Тынянова, уже ждали меня. Через полчаса мы сидели за большим столом в жилище Всеволода Иванова.

Большая светлая столовая, полки с книгами, диван, кресла, картины и рисунки на стенах, очень светло, уют-

но, — видно, что все устроено умелой женской рукой. Каверин познакомил меня с хозяйкой дома, женой Всеволода, Тамарой Владимировной. Сам Всеволод еще занят, у него в кабинете приезжие молодые писатели, но он скоро освободится. За столом пьют чай, идет разговор о выставке картин Дрезденской галереи, которую показывают в Москве. Приходит старший сын Всеволода, художник Михаил Иванов, домашние. Лидия Николаевна рассказывает мне, что младший сын, Кома, в Москве. Он филолог и кибернетик.

Приходит Всеволод. Поседел, уже видно, что немолод, а улыбнется — и лицо просияет застенчивой улыбкой, как у того сибирского партизана, который, по совету Горького, пришел к нам тридцать пять лет тому назад в Петрограде.

Почти сейчас же вслед за ним является Федин с дочерью Ниной и бывшей «серапионовской девицей» Зоей Никитиной. Рукопожатия, обмен впечатлениями, — все, к сожалению, уже не молоды, но все еще полны сил.

Тем временем Тамара Владимировна незаметно сервировала стол — вино, закуску. Пьем за «Серапионов», за погибших и пропавших без вести друзей, за тех, кто в Ленинграде.

Как бывало на «Серапионовых» встречах, кто-то должен читать недавно написанное. Каверин читает написанные им воспоминания о последней своей встрече с Александром Фадеевым.

Просят меня прочитать стихи, и я читаю только что написанные стихи о возвращении в Ленинград после войны. Потом мы говорим о войне, вспоминаем, где кто был, кто что сделал. Все мы хотим написать еще многое, у каждого из нас в собственном плане новая книга, которая пишется или еще только задумана, а материала для нее — без конца.

Тост сменяется тостом. Пьем и за «серапионовских девиц», из которых многие стали женами писателей, верными их подругами. Пьем за хозяйку дома.

Я прощаюсь с Всеволодом так, словно еще встречусь с ним через неделю на серапионовском собрании. И мне кажется, что он такой же, как тридцать пять лет тому назад, только волосы седые. А глаза такие же колючие, отчаянные и дерзкие.

1964

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТУМ

«Преждепрошедшее или предпрошедшее время выражает действие, законченное до наступления другого прошедшего действия...» Так говорит учебник латинского языка.

Годы, о которых я собираюсь рассказать, — мое плюсквамперфектум. Десятки лет тому назад! Давным-давно минувшее!

* * *

Ялтинское лето 1923 года. Черноморские дали, ласковый шелест волны. Пляж, покрытый отшлифованной галькой. Отцветают глицинии. Распускаются жирные цветы магнолий. Пьянящие запахи плывут в знойном воздухе. Невысокие серовато-зеленые горы, обступив полукругом прибрежный город, кое-где сбегают к самому морю. Слышится всплеск воды. Поворачиваюсь и вижу, как весело, размахивая руками и высоко подпрыгивая, по воде бежит неизвестно откуда появившийся белотелый невысокий человек. Он захвачен азартом купанья. Тучи брызг летят от него во все стороны. Человек от удовольствия не то стонет, не то крякает... Вот наконец он потерял под ногами дно и поплыл. Поплыл «по-собачьи», загребая руками под себя и будоража ногами воду. Ясно — не здешний, не местный. Незнакомец частенько оглядывается на берег, где, подальше от кромки воды, под высокой осыпью, в тени раскидистого дерева, лежат его вещи. Уж не подозревает ли он меня в воровских помыслах? Недалеко от берега — метрах в двухстах — из воды торчит черная глыба, скала, похожая на гигантский зуб ископаемого ящера. Неопытный пловец — это был,

как я позже узнал, Всеволод Иванов — держит курс на спасительную скалу. Шумно отряхивается и как-то по-детски громко фыркает.

На солнце блеснули полированные, перекатывающиеся колесами спины дельфинов. Их целое стадо. Вот несколько дельфиньих спин мелькнуло между скалой и берегом. Какая дерзость! Какое невозмутимое нахальство! Решится ли теперь пуститься в обратный путь мой незнакомец? Страшновато... Ему придется, видимо, отсидеться на скале, пока... Десять, пятнадцать, двадцать минут, а шаловливые дельфины все еще водят свой хоровод. Набираю горсть камешков и — напрасно! — пытаюсь попасть в движущуюся живую мишень.

Дельфины играли вдали,
Чаек качал простор,
И серые корабли
Поворачивали на Босфор...

Гортанный, с хрипотцой, чуть картавящий голос раздается за моей спиной. Я знаю не только эти тихоновские строки, но и человека, их декламирующего. Над обрывом, на фоне яркой зелени, стоит высокий, стройный мужчина. Безупречный белый костюм. Белые туфли, видимо хорошо знакомые с зубным порошком. Прямые длинные пряди волос отброшены назад. Продолговатое, какое-то нерусское, странно белое лицо. Нос с горбинкой и веселые, чуть-чуть холодноватые глаза. Скандинав! Потомок викингов!.. Познакомился я с ним несколько дней назад на ялтинской набережной возле книжного магазинчика. Это поэт Томас Георгиевич Рагинский-Карейво.

С моря прилетело: «То-о-о-ма-ас!» Карейво замахал руками и нараспев ответил: «Дельфины играли вдали...» Человек на скале, нетерпеливо вглядываясь в водную преграду, отделяющую его от берега, встал во весь рост. И закричал, сложа ладони рупором: «Дельфины играли вблизи... Черт их возьми...»

«Не трусь! Смелее, брат Алеут... Гопля!» — понукивал купальщика Томас. Я недоумевал: почему брат Алеут? «Так его прозвали «Серапионовы братья», — пояснил Томас. — Это Всеволод Иванов, писатель». — «Кто? — удивился я. — Автор «Партизан» и «Бронепоезда»?» — «Он самый... Смотрите — решился. Плывет... Слыхали о таком?» — «Как не слыхать! Не только слышал,

а и... «Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Ермолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал: — Кубдю не видали? — Нету». Я на память привел первые строки «Партизан» и как будто ничего не переврал. Томас посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Нечему удивляться: просто выработалась профессиональная память — преподаю литературу на рабфаке Харьковского медицинского института. «Партизаны» — хрестоматийная вещь. Их читают и перечитывают. С ними соревнуются разве только сейфуллинские «Правонарушители»... На этих вещах строится знакомство рабфаковцев с сегодняшним днем советской литературы, Октябрьской революции...»

«А вот и сам Кубдя!» — Томас, хохоча, бросился, гремя галькой, навстречу вылезшему из воды автору «Партизан».

В каком-то журнале я видел портрет Всеволода Иванова. Пышная доха, косматая шапка. На круглом лице очки. Если бы не очки — настоящий алеут. И вот он предо мной под жарким солнцем, в одних трусах. Я не раз со своими рабфаковцами упивался его сочным, словно свежее яблоко, языком. Внимательно разбирал выпуклые, брызжущие жизнью образы его героев. Разве мог я предполагать о такой встрече с писателем? Я хотел было ускользнуть в кусты, когда весело смеющийся Томас окликнул меня. Обвязав бедра мохнатым полотенцем, я нерешительно приблизился к друзьям. «Чего это Томас врет, будто вы на память дуете «Партизан»? — протянул мне руку Всеволод Иванов. — Будем знакомы». Смущаясь, глядя в землю и пересыпая с ладони на ладонь обкатанные морем кругляши, осторожно начал расспрашивать меня о работе на рабфаке... «В самом деле рабфаковцам моих «Партизан» читаете? И что это им дает? Ничего лучшего не нашли?.. Впрочем, понимаю — маловато пока что у нас о революции написано...»

* * *

Ялта, еще недавно бывшая городом Красноармейском, из кожи лезет вон, стараясь вернуть себе звание фешенебельного курорта. Идет второй год нэпа. Она прихорашивается, сверкает огнями ресторанов и кафе, гремит музыкой, пестрит афишами. Вечером в городском саду

играет духовой оркестр, а в курзале режутся в карты и царит рулетка.

Сидя на набережной, разглядывая гуляющих, Всеволод Вячеславович любил угадывать человеческие биографии. Этой игрой, в которую он вскоре втянул и меня, мы увлекались самозабвенно и горячо. Часов в одиннадцать вечера над Ялтой проносится мощный бас гудка. К молу причаливает нарядный красавец пароход. Иногда мы втроем — Всеволод Иванов, Томас и я — смешиваемся с толпой встречающих. Я старался внимательно наблюдать за Всеволодом Ивановым. На что он обращает свое внимание? К чему прислушивается? Но мои наблюдения были безрезультатны, писатель вел себя не как писатель, который, по моему убеждению, обязан был вести себя как-то особенно — видеть человека насквозь, слышать такое, чего не слышит обыкновенное ухо. Да и записной книжки как будто у него не водилось. А она-то, мне казалось, у писателя должна быть всенепременно...

* * *

Чукурларский пляж с его безлюдностью и тишиной постепенно сближал нас. Здесь зародилось душевное, веселое и доброе общение. Мы вдвоем ходили по горам, посещали крикливый рынок, катались на лодках. Одна из лодок нас поразила. На ее носу было начертано «Гейша». А сверху свежей краской, буквами поменьше — «Красная».

Скалу, на которую мы ежедневно приплывали, мы окрестили в честь Томаса *Карейвикой*. Даже изобрели глагол «томаснуть». Он имел разное значение при разных обстоятельствах. Но все значения были с оттенком удальства, иронии или дерзости.

Как-то я упомянул, что в годы гражданской войны в Краснодаре я носил титул *Завотдархкубчеробмуза*. «А с чем это едят? — спросил Всеволод Вячеславович. — Сильно мудреное название». — «Заведующий отделом археологии Кубанско-Черноморского областного музея». Да, действительно, экзотически, по-восточному звучащее название! Писатель искренне расхохотался и несколько раз повторил это нелепое сокращение. Узнав, что я изучал археологию, участвовал в раскопках, Всеволод Вячеславович через несколько дней повторил название моей муд-

реной должности. Бросая в спокойную морскую гладь камешки так, чтобы они, несколько раз подскочив, прошлепали по воде, — чем больше прыжков делает камень, тем выше искусство бросать, — он как бы между прочим выспросил у меня о характере курганных раскопок. Я увлекся и поделился с ним рассказом о вскрытии скифского погребения. Через год — каково же было мое удивление! — в его рассказе «Как создаются курганы» я прочел: «Утром я видел, как в порту грузили пароходы тяжелым мужицким зерном... А вечером передо мной была степь, и лиловый густовесенний ветер трогал меня в плечо, а мой друг Петр Жаткин, археолог и поэт, утром еще рассказывавший о максимальной нагрузке порта, экспорте, импорте, снял шапку, и рано поредевшие волосы отливали сединой. Курган, куда мы поднялись, имел еще запахи прошедшей осени, о которой кто-нибудь да будет плакать, — а земля по-весеннему была радостно пустой».

* * *

Всеволод Вячеславович рассказывал: «Мою мать Ириной Семеновной зовут. Вернусь в Москву, заберу ее жить к себе. Горемычная она, неграмотная. Намаялась в жизни... Отец был непоседа, путаник. Куда только он не бросался и чего только не делал! О нем я уже писал и еще напишу. Почудил за жизнь немало. От матери убегал. И не раз! Как-то Ирина Семеновна приревновала его к какой-то шалой бабенке. Основания для этого были. И серьезные. И что, ты думаешь, она сделала? Погналась за ним на санях, когда отец со своей кралей удирал. Из пистолета по нему палила».

Всеволод Вячеславович задумался. «Мамаша своего супруга — Вячеслава Алексеевича — «внезапным» окрестила: «Он у меня всегда такой внезапный». Должно быть, я в отца. «Внезапный» тоже. Дочь скоро у меня будет. Почему именно дочь? Чую. Имя ей такое дам, которого ни в каких святцах не сыщешь и никто еще не носил, — *Дельфина*!» От неожиданности я оторопел, а Томас возмутился: «Анна Павловна[1] тебе задаст за такое имя. И думать не смей». Всеволод Вячеславович улыбнулся: «Ладно, пошутил».

---

[1] Анна Павловна Иванова-Веснина — с 1921-го по 1927 год жена Вс. Иванова.

* * *

Море штормило. Волны вздымались и, громыхая галькой, накатывались на берег, покрывая камни белой пеной. Но разве можно устоять, несмотря на пять-шесть баллов, от соблазна покачаться на волнах, грудью рассечь несущуюся на тебя водяную стену, нырнуть в бурлящий водоворот, чтобы потом храбро оседлать девятый вал и словно на крыльях полететь вместе с ним к берегу? Купаться запрещено, но безрассудство молодости толкает нас в бушующую стихию... «Томаснем!»— стараясь осилить рев волн, кричим мы и бросаемся очертя голову навстречу опасности. Ложимся на животы, и волны перекатываются через нас. Уползая назад в море, они тянут нас в пучину, бьют галькой. А нам весело! Отфыркиваясь и стараясь не дрейфить, ныряем под накатывающийся гремящий вал...

— Хватит! Пора возвращаться. — Всеволод Вячеславович уже на берегу. Он обеспокоенно машет руками и настойчиво зовет меня к себе...

Мои ноги избиты камнями, в ушах водяные пробки, во рту хрустит песок... Теряю силы. Плохи мои дела — я это чувствую, но не сдаюсь...

Всеволод заметался по берегу, не зная, чем мне помочь. Наконец нашелся: из наших брюк вытащил ремни. Связал их и бросился в волны, навстречу мне. Теперь главное — поймать конец спасительного ремня. Тогда Всеволод удержит меня, и я сумею устоять на ногах. Не так-то просто поймать и удержать скользкий конец ремня. К счастью, мне это удается. Наглотался воды. Мотая головой, пытаюсь вылить из ушей воду, выплевываю песок. Никак не могу отдышаться. «Черт тебя побери. Нечего сказать — хорош!..» — не то сочувствуя, не то порицая, кричит мой спаситель. А я закрыл глаза, не в силах даже поблагодарить, пожать ему руку.

Мы условились никому и ничего не говорить о происшествии. Шторм еще сильнее связал нас друг с другом.

Вечером мы узнали, что разбушевавшееся море унесло в этот день две человеческие жизни...

* * *

Мы возвращались с прогулки в полуразрушенное «Ласточкино гнездо». Кремнистая извивающаяся тропинка утомила нас. Остановились передохнуть. Всеволод Иванов сказал: «Здесь почти не слышно птичьих голосов. И зверей не видно. Прямо удивительно! Природа, что и говорить, роскошная, но в ней нет живой жизни, какая-то кондитерская!» И он вполголоса затянул казахскую песню. Я уже и раньше не раз слышал, как он мурлыкает. «О чем поешь?» — спросил я. «Обо всем и ни о чем. Едет казах на коне по степи. Безлюдье да побуревшая жесткая трава. Желтовато-синее небо, бесконечные пески да холмы. Едет казах и поет обо всем, что видит. Вспорхнула птица — он ее в песню, споткнулся конь — и об этом поет. . .»

Быстро уходило веселое лето. Давно отцвели магнолии и созрел виноград. Всеволод Вячеславович увлекся работой и редко отрывался от стола. Кончились беззаботные дни. Меня вызвали в Харьков. Начинался прием на рабфак. В Харькове на русском языке выходил журнал «Пламя». Я взял у друзей рассказы и стихи для этого журнала.

Радостно было в Харькове получать крымские письма. «12 октября. Ялта. Дорогой Петр! Читал сейчас у Томаса твое письмо. Холодно тебе? А мне гнусно, не пишется. Не купаюсь. Написал все же несколько рассказов, а роман кончать не хочется. Надо бы ехать в Питер, а тут: обокрали меня вдрызг. . . Поеду в первых числах ноября в Москву. Тебе — телеграмму об этом. Зиму же думаю прожить на юге. Вернее, семья моя будет там. Скучаю по твоим белобрысым волосам, а в общем — ялтинская осенняя весна тяжелее зимы. Не советую тебе жить здесь в октябре! В общем — через месяц — на Харьковском вокзале. Целую. Всеволод».

Я послал друзьям гонорар в Ялту. В ответ игривая телеграмма: «Томаснули по-байроновски. Скоро приедем. Будем твои. Всеволод и Томас». И вслед за ней фотография: на снимке какой-то бродячий «холодный фотограф» увековечил ялтинских друзей под сенью пальм. На оборотной стороне снимка: «Шлем огромный привет тебе, Петр. Да будут дни твои шумны весельем, как это море, и ярко радостны, как это могучее солнце Тавриды. Будь! Твои друзья Всеволод и Томас».

* * *

Весной я побывал в гостях у Всеволода Иванова в Москве. Задержался дольше, чем хотел. С трудом вырвался. Уехал не попрощавшись. Боялся — уговорят остаться, уломают... А через несколько дней пришло в Харьков письмо: «19 апреля. Москва. Милый Петр... Я вот на Пасху в Крым сбираюсь поехать. Буде поеду — я тебе телеграфирую. Очень скучно весной писать — я сейчас переписываю повесть, и еще глыбищей огромной надо мной — мой роман. А в общем все так же. Не веселее. Скудные новости, милый... Все ж таки за это время написал три рассказа, но это не веселит меня, вот вчера в «Накануне» статья есть — обо мне — прямо международным писателем называют. А я прочел и хоть бы хны!.. Целую крепко. Пиши. Всеволод».

Не сиделось Всеволоду Вячеславовичу в столичной суматохе. Там, видимо, ему трудно работалось. Осенью он опять поехал в Крым.

«31 августа 24 г. Дорогой мой, молодой археолог и поэт, получил твои два письма и сердечно благодарен, что ты так обо мне — дураке заботишься. Я тут все наворачиваю роман об химии, потом всяческие душевные переживания неожиданного для меня свойства и запаха и, конечно, обычная моя растяпанность. Поторопи их, сукиных сынов, с деньгами, мне не на что выезжать, и надо послать супруге в Коктебель. Томас едет со мной. Я его беру в секретари пока, а там видно будет. Но о дне выезда я сообщу тебе телеграммой. Кстати получу в Харькове вторую порцию денег и замою им еще что-нибудь. Было бы неплохо тебе переехать в Москву, но на этот предмет у меня с тобой разговоры будут в Харькове. Сердечно рад тебя увидеть и поговорить пару дней за хорошим пивом. Настроение мое сегодня хорошее, в пятницу состоится мой вечер в Ялте. Читает обо мне и прочих М. Левидов, ехидна есть такая. Ну вот и все. А Томас и Донской прогорели. И не сердись на него, что он не пишет. Ему не до писем. Абы спасти свою шкуру. Пью мало, надеясь наверстать в Сибири, куда мне хотелось бы и тебя увлечь. Но об этом дальше. Пока целую крепко-накрепко.

Всеволод»

* * *

Трехкомнатная квартирка в старинном барском особняке. Две проходные комнаты с окнами чуть выше уровня земли. Третья комната выходит окном на задний двор. Невысокие потолки и сыроватые стены. Мало света. Но зато в самом центре Москвы — Тверской бульвар, № 14. Наискосок через бульвар — шумный, многолюдный Дом Герцена — литературный центр столицы. Рядом — бурная Тверская. И какая бы то ни было, но это отдельная квартира писателя Всеволода Иванова. Несколько лет он скитался по Москве, жил в гостинице на Лубянке, ютился в Брюсовском переулке, горемыкал в комнатушке издательства «Круг» на Мясницкой, в Кривоколенном. Его жена Анна Павловна добыла наконец это пристанище, потратив немало сил и энергии.

Во второй проходной, угловой комнате — широкий письменный стол. На нем ни рукописей, ни книг. Владелец стола стыдливо прячет рукописи даже от взоров друзей в больших ящиках. На любопытные вопросы, а где же то, что составляет жизнь хозяина кабинета, Всеволод Иванов не отвечает, пожимает плечами и сконфуженно улыбается. Вместительные ящики прячут и такие вещи, которые давным-давно закончены, но требовательный к себе автор все не выпускает их из рук.

За чайным столом радушной и хлопотливой Анны Павловны нередко собирались: писатели Борис Пильняк, Леонид Леонов, Глеб Алексеев, часто приезжавший из Ленинграда Николай Никитин, застенчивый — «красная девица» — Василий Казин, Константин Большаков, кругленький Сергей Буданцев, всегда оживленный, с ворохом новостей. Приходили артисты Камерного театра и МХАТа, балерина Ирма, приемная дочь Айседоры Дункан, скульптор Сарра Лебедева, имажинист Анатолий Мариенгоф с женой актрисой Никритиной, маленькой, изящной женщиной, неожиданный в своих высказываниях, для многих загадочный Исаак Бабель с рыжеволосой красавицей женой Евгенией Борисовной, нашумевший «Растратчиками» Валентин Катаев. Порою забегал сюда — и всегда неожиданно — крепко полюбивший Всеволода Вячеславовича овеянный славой Сергей Есенин. Другом этого дома и его гостей являлся еще «Федя». Это

была партийная кличка старого большевика Давида Кирилловича Бугомильского — работника Института Маркса — Ленина. Здесь же бывали старинные приятели Всеволода Иванова по Омску. Они знали его давным-давно, в Сибири, — сперва наборщиком, потом начинающим писателем.

Поэт Александр Павлович Оленич-Гнененко помогал Всеволоду Иванову на первых порах его литературной жизни. Это ему Всеволод Иванов посвятил свою повесть «Партизаны». Теперешний житель далекой Алма-Аты, хорошо известный прозаик и драматург, в прошлом правдист, недавно отметивший свое семидесятилетие и пятидесятилетие литературной деятельности, милейший Николай Иванович Анов тоже бывал здесь частым гостем.

В квартире безостановочно трещал телефон. Днем то и дело забегали знакомые. Вечерами собирались целые ассамблеи: шли горячие споры об искусстве, обсуждались новинки литературы, премьеры театров и кино. Смеха ради порой устраивались мистификации, пускались ложные слухи, весело подшучивали над приятелями.

Так, однажды я получил письмо: «Дорогой Петр, вчера ты у меня взял книжку, «Тайное тайных», и случайно в ней лежал пакетик (синенький), с лапой оранжевого паука — я тебе ее показывал. Будь добр — возврати мне ее, я пишу рассказ о пауке, лапу эту мне привезли из Туркестана, и если ее нет, то мне рассказ писать без этого нельзя. Целую тебя, милый. Твой Всеволод. 14/I 1927 г.».

Никакой книги я не брал. Никакого синенького пакетика с лапой оранжевого паука и в глаза не видел. Я догадывался, что это розыгрыш. Мои объяснения ни к чему не привели. Автор «Тайного тайных» стоял на своем: его работа срывалась из-за пропажи лапы оранжевого паука. И в этом виноват я, и только я. Чувствуя себя в чем-то виноватым, я некоторое время не показывался Всеволоду на глаза. И только через две недели, нагрянув ко мне в редакцию, Всеволод Вячеславович сообщил, что пакетик с лапой нашелся у Глеба Алексеева. «Тайное тайных» с пакетиком ему якобы подкинул без его ведома Борис Пильняк. Он был мастером таких шуток и хитрых мистификаций.

* * *

Всеволод Вячеславович всегда говорил о Есенине с доброй улыбкой и нескрываемой сердечной нежностью, читал:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...

«До чего ж страшно откровенный и невыносимо искренний поэт! Словно свое сердце кладет тебе на ладонь. Убийственные стихи у него. В Москве я тебя с ним познакомлю. Сам поймешь, что это за дитя человеческое...»

Однажды в квартире Всеволода Иванова на Тверском бульваре трижды звякнул нетерпеливый колокольчик, настойчиво застучали в дверь. Я открыл. Это был Есенин. Держа в руках шляпу, не снимая щегольского пальто, он стремительно вошел в квартиру. «Всеволод, где ты там?» Он не удивился незнакомцу, не ответил на мое приветствие.

В кабинете Всеволода Вячеславовича беспокойно, отрывисто звучал хрипловатый голос. Он торопил хозяина, куда-то его настойчиво звал. Возражать гостю, видимо, было бесполезно. Хозяин и не сопротивлялся. Вскоре они ушли, прихватив меня с собой. Всеволод Иванов представил меня. Есенин вяло и равнодушно протянул руку. Шли быстро. У Никитских ворот свернули на бульвар. Прохожие, узнавая поэта, оборачивались и смотрели нам вслед. Чувствуя себя лишним, я шел несколько позади.

Всеволод Вячеславович отмалчивался или бросал короткие реплики. Улыбался и едва поспевал за торопливым поэтом. Слева, за решеткой, выглянула вывеска «Дом печати». «Туда, — Есенин кивнул в сторону вывески, — нам с тобой незачем показываться... Накинутся со всех сторон, не дадут поговорить...»

Легко протиснувшись в глубь переполненного зала знаменитой в то время пивной на Арбате, Есенин поманил нас. Пожилой, но расторопный официант, видимо знавший Есенина, быстро освободил столик перед эстрадой. «Сообрази-ка, друг, по две кружки пива, таранки и горошка побольше. И поскорей! — скомандовал он и дружески потряс официанта за плечи. — Конечно, могли

бы двинуть к моему родному дядюшке в Дом Герцена — он там официантом, — но там нет цыган. Скука! Да и моя Софья Андреевна здесь искать меня не догадается...» Посетители пивной стали поворачиваться в нашу сторону, перешептываться — поэта узнали. Подали пиво и закуску. Чокнулись кружками. Есенин шумно вздохнул. «И везет же мне, Всеволод, на нянек... Сперва Приблудный спуску не давал, но с ним-то я справлялся. Вот теперь моя, строгая, во как держит. В деда пошла. Толстовская кровь. А я ловчусь...» По-мальчишески встряхнув волосами, хитро подмигнул и залпом опорожнил кружку. «Вот к тебе прибежал, ты не знаешь, как я тебя люблю, всей душой. Ты сам не понимаешь, какой ты чертовски хороший писатель. «Дитё» твое — какая высота! Ты даже Европу пронял, американцев и тех покорил. Я о тебе статью напишу. Критиком для тебя сделаюсь. Еще могу!» И поэт крепко трижды расцеловал смущенного друга.

(Несколько лет тому назад я узнал, что в Центральном архиве литературы и искусства хранится набросок большой статьи Есенина о Всеволоде Иванове.)

Зал зашумел, загромыхал стульями. На тесной эстраде усаживались пестро-нарядные, черноволосые цыганки в широких юбках, с монистами на шее. Позади них выстроились молодые парни в ярких рубахах. Сбоку пожилые усачи в кафтанах, с гитарами в руках. Низкий женский голос протяжно повел песню. Есенин погрозил нам пальцем: «Не мешайте», — подпер рукой голову и закрыл глаза. Песня закончилась. Есенин бросился к эстраде. Усатый гитарист почтительно слушал его. Цыганки улыбались поэту. В углу пивной крикнули «ура», несколько голосов стали скандировать: «Е-се-нин...»

Всеволод Вячеславович сказал: «От большой любви к нему. Он этого стоит».

Цыгане спели заказанную поэтом «Шелма версты». Потом слушатели потребовали «Величальную». Певицы встали и запели: «Хор наш поет припев любимый...» — они явно обращались к Есенину. Он нахмурился. Когда послышалось: «К нам приехал наш любимый, Сергей Лександрыч дорогой...» — Всеволод Вячеславович за локоть приподнял поэта. Он дважды низко-низко поклонился цыганам. Несколько человек с кружками в руках двинулись к нам. Есенин заметался, словно в испуге, и, про-

рвав стену захмелевших почитателей, выскочил на улицу...

Расплатившись, мы поспешили за ним. Он стоял на углу Калашного. Шляпа сдвинута на затылок. «Лишнего цыгане хватили. Ну, я побегу...»

Свернув в переулок, он быстро зашагал.

Мы с Всеволодом Вячеславовичем шли к Никитским воротам. «Ну и чудак Сергей! Статью обо мне пишет. «Дитё» ему по душе пришлось. А знаешь, как я это «Дитё» написал? На коленке. Тетрадь на коленку положу и пишу. В комнатушке Анны Павловны. В Питере, на Выборгской стороне, в двадцать первом. У нее спроси, она помнит...»

У памятника Тимирязеву писатель остановился и вдруг взволнованно проговорил: «Боюсь за Сергея... Он, знаешь, недавно из больницы. От имажинистов вырывается... Покоя себе не находит... Софья Андреевна — спасибо ей — бережет его. Ходит за ним, как за ребенком. А он хрупкий, словно стеклышко. Его сломать можно. Больно свободу любит. А контроль давит его. Чуть что — на дыбы!..»

Мы присели на скамью в боковой аллее. Всеволод Вячеславович говорил: «Черный человек! Не спускает с него глаз! — И тяжело вздохнул: — Не понимаешь?» — «Нет».

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль...

Голос Всеволода дрогнул: «Это начало «Черного человека». Сергей недавно читал мне поэму. Ночью. И плакал. А я губы кусал. В поэме Сережа разговаривает с призраком, бредит, гонит его прочь... «Черный человек» наседает — и тогда:

Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу.

И какой страшный конец:

Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало.

Вот и все. Такие-то, браток, дела! — И вдруг прошептал: — Я боюсь за него...»

Мы встали со скамьи и перешли на тротуар. Вокруг шумела московская, куда-то бегущая жизнь. Всеволод Вячеславович провел рукой по лицу и, словно очнувшись, крикнул: «Твой трамвай. Беги!»...

* * *

Всеволод Иванов любил историю, в его руках я не раз видел томики Соловьева, Ключевского, Платонова, Мельгунова, Покровского, проповеди Тихона Задонского. Он увлекался летописями и былинами, дневниками и воспоминаниями, собирал старинные книги. Он любил бродить по русским старым городам, звал и меня: «А не дернуть ли нам в Ярославль, в гости к Ивану Петровичу? Он нам такую старину преподнесет! А от него вверх по матушке по Волге, в древний Углич».

Иван Петрович Малютин — давнишний знакомый и поклонник Всеволода Иванова. Служил библиотекарем в клубе ярославской мануфактуры «Красный Перекоп». Он частенько наведывался в Москву и усиленно приглашал Всеволода Вячеславовича к себе в Ярославль. Собиратель редких книг и автографов, владелец древних рукописей, он был знатоком памятников древнерусского искусства. Милый, душевно чистый и на редкость хлебосольный ярославский патриот встретил нас с распростертыми объятиями. От радости не знал, куда посадить. То и дело обнимал Всеволода Вячеславовича, расспрашивал о московских новостях и знакомых.

Как ребенок, радовался подаркам. Перечитывал авторские надписи на книгах, которые привез Всеволод Иванов.

Неподалеку от дома Ивана Петровича церковь XVII века. Причудливая, каменная. Кружево из кирпича!

«Смотри-ка — похоже на резную прялку! А вот там шитый узор рушника! — восторгается Всеволод Вячеславович. — А не кажется ли тебе, Иван Петрович, что это чудо отдает Средней Азией, пахнет Бухарой?» — спраши-

вает он осторожно. «Некоторые путешественники приписывали постройку этого храма бухарцам... А другие голландцам! Но построили его — ярославские мужики». Всеволод восхищен: «Ну и черти полосатые! Гениальные мужики!»

Долго ходим по церкви, разглядываем фрески и задерживаемся в галереях.

«Что за дьявольщина! — говорит Всеволод Вячеславович. — Нет, ты погляди-ка, что тут делается! Эти мужики совсем похерили Библию... Ни строгости, ни святости! Голые парни! А вон там «Пир Ирода». Смотри, как гости царя наворачивают жратву. И какая прелестная девица с платочком в руках! Это Иродиада — коленца выкидывает».

На паперти и вовсе неожиданность. Обнаженные купальщицы Сусанна и Вирсавия... «С ума сойти! Голые бабы! В божьем храме! Ай да Митяй Плеханов, ай да молодцы ярославцы!»

Несколько дней мы ходим по музеям и церквам Ярославля.

«Вот она где, Расея-матушка», — говорит Всеволод Иванов.

Вскоре он снова поехал в Ярославль. Он писал мне оттуда: «Бродим мы по Ярославлю, дорогой Петр, и вспоминаем тебя, — особенно заливается Иван Петрович. Жизненочка все такая же неудачная и антирелигиозная: вчера смотрели, как снимали крест с церкви, которая, помнишь, стоит в парке, где живет Иван Петрович... Смешно и ветрено! Через дней пять вдарю вниз — в Юрьевец, есть такой городишко, а затем через Нижний в Москву. Кланяюсь... Всеволод».

* * *

В 1941—1942 годах около восьми месяцев я провел в тылу врага, на сожженной земле Смоленщины. Товарищи по ополчению кто погиб, кто в плену. И однажды ночью у партизанского костра попался мне в руки томик в бело-грязном обожженном переплете. Слинявшие буквы. Я читаю, и руки дрожат. «Всеволод Иванов. Собрание сочинений. Государственное издательство. 1928... Том первый».

* * *

Прошло время, и в коридоре Союза писателей я встретил Всеволода Иванова. Увидев меня, отощавшего и оборванного, он обомлел, как и многие считая меня погибшим. Удивление... Объятия... Крепкий поцелуй. Расспросы. «Меня, говорю, теперь Кубдей зовут... Кубдей партизаны окрестили...» И я рассказал автору «Партизан» о своей встрече с Всеволодом Ивановым в блокированном врагами смоленском лесу.

Москва
Март — май 1964

Федор Малов

ВИТЯЗЬ СОЛОВЬИНОГО СЛОВА

Экая гайдучья трава!
Всеволод Иванов

1

Восхищение словом — самый покоряющий и самый озаренный подвиг всей его писательской жизни. Неистовая пышность его неожиданных, неукротимых красок, их магический и воодушевленный жар мне всегда напоминают ту всесильную и торжествующую молодость цветения, какая наступает в луговых просторах, на крутых пригорах солнечных в самую цветоносную пору нашего среднерусского предлетья, уже до предельной густоты одевшегося в окрепший, полновесный лист. Просматривая в Лаврушинском мои записки о зарастающем озере Неро, Всеволод Вячеславович с вдумчивостью требовательного исследователя говорил: нужно искать поющие слова, соловьиные слова. Самоцветные — как раскрывшееся перо жар-птиц. И такие, как он называл, пригожистые, неплененные слова, слова-непустоцвет, изобразительные, он и находил, и умножал, и ходил, животворил и пестовал всю жизнь.

Неувядающее узорочье слова открывало ему завораживающее очарование в лесочке за Пахрой, где мы бродили с ним по скатам еще не обсохшей юрской глины, напоминающей лоснящийся морковник. Не расставаясь с соловьиным словом, он любовался и прислушивался к зацветавшей и разгонистой долине с ее сверкающей и плодородной тишиной, с медленно перелетающими перед закатом птицами. И даже наши, вспоминаю, встречи и беседы стали чаще, длительнее только после затянувшегося разговора сначала о записанных мною рыбацких байках, трудовых погудках вокруг Неро, а потом и вообще о вечно обновляющемся диве русского языка.

Однажды я рассказывал на даче в Переделкине, как на редкость нелюдимый, мрачный наш лесной старик, Фотиевич, затянувший свару с сердобольной, неизбывно хнычущей Харламихой, пристукнул ложкой о залавошник и желчно скривил губы: «Суешься ты, *щепеня* мне разум, щепетуха отпетая!» И, завлеченный мужицким разгоряченным реченьем, Всеволод Вячеславович впопыхах обшаривал веранду: похлопывал по скатерти, по стульям, книгам, обескураженно отыскивал закатившийся карандаш. Хотелось под живую руку записать и дедушкину щепетуху, и ущепеняемый старухой разум. Он ценил в таких присловьях их внезапную, как выстрел, ударную и сконцентрированную выразительность.

И, скрупулезно записывая, долго еще тормошил меня взволнованный писатель, стараясь выведать неповторимые живинки и приметины о старике Фотиевиче.

Помню и другое. В причердачной комнатушке еженедельного журнала «Красная нива», с полукругом срезанного полом и немножко приоткрытого окна, длится уж не первый час то сдержанный, будто пчелиный гул в работающем улье, а то, как крик грачиный в роще, беспорядочный и на весь этаж шумливый разговор о московских литераторах, поэтах и, в те годы очень модных, творческих платформах. У стола И. М. Касаткина, редактора журнала, в расколыхавшемся накуренном дыму сидят: С. Н. Сергеев-Ценский, В. М. Бахметьев, И. В. Евдокимов.

Кто-то из беседующих кладет на стол сибирскую газету с горячим, восторженным подвалом о творчестве писателя Всеволода Иванова. С восхвалениями реалистической писательской поэтики, палитры, с разбором его буйной в красках, звонкой силы. За давностью название газеты стерлось в памяти. Но то была толковая, большая и довольно дельная по тем временам газета. В ненавязчивых и наотличку свежих рассуждениях, между прочим, содержались и какие-то упреки, мелкие уколы. «Обычный комариный зуд и вой!» — нахмурился, еще раз заглянув в высокие подвальные колонки, Иван Васильевич Евдокимов.

Главное в горячем и самостоятельном разборе, повторяю, — на особицу взволнованный, добротный и как

бы весь заплеснутый ликующим весенним светом, празднично приподнятый, естественный тон. Серьезность и аргументированность многочисленных похвал в адрес даровитейшего, яркого художника-новатора, выдающегося зачинателя советской литературы.

— Превосходный подвальчик! Бездозированный! — одобрительно поглаживал мужественные густые брови Сергей Николаевич Ценский. — Приятно бы такое о Всеволоде встретить и в центральной прессе. А то, выходит, матушка Сибирь, матушка даль дальняя замечательного мастера разглядела пристальнее.

За стенкой затянул, заверещал звонок. Редакционный день заканчивался. Стали расходиться — кто с кем. А разговор все продолжался. По-разному высказывались о сборнике рассказов «Тайное тайных», разноречиво принятом центральной прессой. И даже на глухом редакционном дворике все переговаривались о большом писателе.

— Словояр!.. Неистовый словояр наш Всеволод!..

2

Ухабистый писательский путь — путь и вообще-то полный непроторов, выбоин, каверзных колдобин, поворотов, путь, одолеваемый не только под валдайским колокольчиком, но даже и при уточненных графиках. Он, как известно, складывался у Всеволода Иванова с никогда не затихающими благородными исканиями, смелым почином, муками да с некрикливой, в то же время на диво заполненной писательской страдой. Были взлеты, были, повторяю, поиски, тревожные в пути раздумья, остановки, пересмотры пройденного, копившие его всегда неугомонную и всегда как бы размашисто и неотложно преодолевающую что-то, ищущую силу.

Однако и при всех ухабищах, перипетиях, путевых издержках, взлетах, при всех своих упорных новаторских исканиях, нередко завершавшихся открытием новых сокровищ, кладов, его девизом несменяемым, девизом, хочется сказать, служебным всю жизнь была высокая требовательность к слову, жаркая, ревнивая к нему любовь.

Да будет в начале всего *слово*, так сказать!

3

Вот одна из самых памятных и самых ранних встреч.

Середина двадцатых годов. Живший тогда на Тверском бульваре Всеволод Вячеславович иногда любил уединенно побродить по запавшим и укромным уголкам столицы. Любил, как сам говаривал, вразмашку потолкать ногами и проветриться часок-другой после особенно затяжных и особенно упористых, усидчивых ночей. И вот однажды он порывисто схватил меня за плечи в сумасбродно сузившемся китайгородском спуске-переулочке, где мы нечаянно столкнулись с ним почти в упор. Столкнулись для обоих неожиданно, врасплох.

Радуясь прозрачному, как он назвал, зарядьевскому пробному младень-морозцу, он все отжимал и отжимал меня с разметенной части плиточной, на все лады перекореженной мостовой к чугунному, без фонаря, столбу с иззубренными в памятно пронесшиеся октябрьские шквалы гранями. Был он, помню, необычно радостен и необычно возбужден, приподнят, одетый с ног до головы изысканно, с иголочки. Внушительная шапка — как корона, высоко опушенная, с бархатным боярским клином. Смолянисто отливающее, с разутюженными карманными накладками модное ворсистое пальто. Уложенный в обжимку воротник так и полыхает отборным баргузинским соболем. Массивная, с финифтяным патроном тросточка.

— Вы каким же лихом тут? — спросил он.

— Завернул напомнить скорняку. Мотает.

— Овчины деревенские небось приволокли?

— В переточке сиводушка. Для жены.

— О! Дела уж и с мехами затеваются?

— Задуман воротничишко, Всеволод Вячеславович.

— То-то ж тут мездрой покуривает!

И мы прижались с ним почти вплотную к перепоясанной полосовым железом, заколоченной лабазной двери с прорезным жилым оконцем, в котором, с грохотцем, пустым ведерным лязгом вспыхивало что-то синее, искрящееся, вихревое. В фортку наносило паяльной кислотой. Да и в безудержно смеющихся глазах Всеволода Вячеславовича тоже полыхало что-то разудалое, ликующее.

— Нижнее Зарядье! Вотчина мастеровщины с древности.

Каждая встреча с Всеволодом Ивановым была для всех его знавших праздником. Уже одно его присутствие всякий раз вас радовало и как бы окрыляло. Ведь это был блестящий, самобытнейший писатель с переполненной кошницей ярких наблюдений, поисков, тревожных и крутых переживаний, или, как сам же поговаривал при случае, всяческих перебутырок, встрясок, каверзных превратностей и переплетов, испытанных в метаньях не лишенной злоключений молодости. Уже и в те свои писательские годы он изумлял безмерным и тишайшим своим добродушием, застенчивостью да, я бы сказал, безвычурной и подкупающей домашней простотой, которая дается человеку в ненаигранном и стойком виде очень редко, да и то дается уже только в позднем возрасте. Повторяю: его на редкость целомудренная, по-степному мягкая и мешковатая застенчивость и тогда уже была известна в широкой писательской среде. И я совсем переконфузился, опешил, увидевши его таким напористым, шумливым, что было столь несвойственно его необычайному внутреннему облику.

«Уж не стряслась ли, — думалось, — в морозное-то навечерие с писателем какая-нибудь уличная оказия старозарядьевская в этом закоулочном, допустимо, не совсем надежном уголке?» И, как бы отвечая на мое недоумение, Всеволод Вячеславович снял с моих плеч руки и больше тормошить меня не стал. Спускаясь по обледенелым плитам к зияющему в стене пролому, он заговорил неодобрительно, с горьким и обидным осуждением о моей последней публикации, написанной, как я теперь смотрю, с лохматой и неряшливой скороговоркой, с маху.

Вспоминаю этот давний эпизод я до сих пор с растроганным волнением: ведь сорок полных лет с того уж минуло! И, однако, даже и теперь я слышу будто въявь его как бы обвитый шелком, непорывистый, глубокий голос, очень, впрочем, схожий с теми вязкими и полусонно растекающимися степными голосами, какими разговаривают в войлочной, наглухо закрытой юрте.

— По намекам, да еще весьма и негустым к тому же, — отчитывал сурово Всеволод Вячеславович, — в злополучной зарисовке просекается, пожалуй, эта перебудораженная полевая сыть. И лесное ваше староселье: деревнюшка — как на татарском тагане котел. Кипит! А вот словечки, хочется ругнуться, словечки — пересып-

чатая шелуха у вас. И точно на подбор! И с препоспешной подмалевкой тоже не скупились: нахлестали — нипочем не одолеешь!

Повозился с непривычными и диковинной внушительности форсистыми очками, каких еще и видеть мне ни у кого не приходилось. И, как ременным недоуздком, на горячую-то добавку, вразумляющую еще крепче, подхлестнул:

— Образцово стыдно и ужасно! Слышите!

В тесном переуэье, круто повернув, улочка опять вильнула кверху. Вдоль древней стены с неряшливым затыльем потянулись всяческого назначения залатанные сараюшки да уложенные еще с лета плашником, пластинами, выдержанные ольховые, осиновые, березовые дрова-сушняк. Скучились заполненные до отказа деревянные лари с приставленной метлой, напомнившей о вышедшем на дежурство дворнике. И дворник в самом деле оказался налицо. Щупленький. С косой бородой, в сторону. С болтавшимися наушниками огромного малахая. В коротком домотканом фартучишке. Как бы кому-то кланяясь, он то и дело что-то недовольно собирал в кривом проулке. Завидев нас, управистый зарядьевский блюститель тотчас же стал спускаться вниз с пучками упаковочной соломки в фартуке. На всякий случай уступив ему дорогу, Всеволод Вячеславович свернул в ночной занос.

— Выберемся, ваша милость, в город? — улыбнулся дворнику.

— Разве на небесах гуляешь? В городе!

— К небесам завечеряли, кажется.

Дворник независимо швырнул в ларь содержимое фартука.

— Полезешь и дале, лишь бы дали.

— В верховные, ха-ха, палаты?

— А что? Ежели, сказать, припрет?

— Высоконько, орел, вроде бы.

— Так точно! — хмыкнул дворник. — Зато к ангелам.

И, обеими руками сняв несусветный свой малахай, кособородый, щуплый, самостоятельный в суждениях, он с генеральской церемонностью поклонился Всеволоду Вячеславовичу.

— А чтобы в пролаз — туды валитесь!

И через левое плечо махнул скоробленной рукавицей.

— Исполать тебе, дружище! Исполать! — козырнул ему Всеволод Вячеславович и, стряхивая с ног прилипший снег, назвал удалого зарядьевца исправнейшим молодчиной.

Дворник достал из-под фартука колотушку, по-деревенски забрякал. И тотчас же из залатанной собачьей конурешки послышалось по-волчьему тоскливое, на всю ночь, скуленье.

— Уберемся восвояси, — тронул меня под локоть Всеволод Вячеславович.

Трущоба и великая кирпичная стена остались позади. Над необозримой теснотой разбегающегося в сумерках заречья еще переливались сполохи догоравшей холодной зари. Густел и колыхался стелющийся над разводьями морозный туман. Был тот наполненный зимним покоем и зыбкими вечерними полутонами городской послеслужебный час, когда страсти, сутолочная тревога дня укладываются на душе с бог весть с чего поднявшейся обнадеживающей узывчивостью, с узывчивостью примиряющей, немножко грустной. Сравнительно ненадоедливый, исправный и лишь слегка покуролесивший в ту зиму, несуетливый русский наш декабрь, припахивая дровяными зарядьевскими дымами, схожими с овинным хлебным куревом, в эти дни уже совсем по-настоящему вступал в московские свои права. Не только кирпичи в проломе, но, крепчая к ночи, казалось, даже самый-то морозный воздух лучисто закуржавел.

— Зарисовки и этюды? Значит, прежде всего, народно, красиво, всерьез? — взялся опять за старое Всеволод Вячеславович, удало протыкая тростью рыхлый снег. — Бытовые сценки и дорожные этюды? Значит, безупречно, с умом, свежо? Мыслительно, безусловнейше. Значит, с этакими, как я понимаю, исполнительными предъявлениями к себе вы и за рабочий стол садитесь? Думаю, не иначе. Ведь вырастить в себе писателя уж куда-куда труднее, чем жито, конопельку вырастить. Чем этот, скажем, хороводный зелен-раскудрявист ленок волокнистый. Было бы не так — писателей, художников, поэтов и скетчистов стало бы намного больше пахарей. Стало бы, без каламбура! Но вы, смотрю, все хмуритесь. Вы, кажется, не допускаете? А ведь я не лукавлю.

От пролома к набережной была пробита тропка растерянными сапожными обрезками, с полосатой котельной

золой. Тропка неудобная, субродистая; и мы часто останавливаемся. Обходим то и дело пухлые, развороченные санями кучи снега. Только ободнявши стихнул бушевавший всю ночь снегопад, и вдоль наспех и отдельными квадратиками, выемками расчищенной трамвайной линии с обеих сторон горбились еще не облежавшиеся снежные валы, пахнувшие зимним полем, подбадривающие морозной свежестью. И мне было втройне обидно, что именно в такой ядреный и картинный вечерок понадобилось, видите, известному писателю распекать меня, что называется, без малых скидок и вовсю. Ни раньше, ни потом, соприкасаясь с Всеволодом Ивановым подчас довольно близко, я такой разноски и таких кипучих назиданий от него не слышал.

— Слов нет, — говорил мне он, посматривая на лиловое мерцание сугробов с отпечатками широких деревянных лопат, — слов нет, наше время — напирающее время, с подъемами на крутизну и перевалы, еще не изведанные. А не положено, негоже прыткому-то кавалеру молодому раскидывать туда-сюда слова, захватанные, как полотенце при запущенном умывальнике. Даже и в дорожные этюды, этюды деревенские, заволжские. Даже в эти, как вы хлестко называете, в эти ваши очерки лесные-глухоманные. В очерки с крутой побежкой. К писателю перебродившее приходит слово. Приходит с сорок первым пóтом. Так понаберитесь храбрости и — пускай с оскоминой, но обязательно по-молодецки — втемяшьте-ка покрепче в голову: писательское полное тягло мирское не легше деревенского земельного тягла. Я думаю, согласны со мной?

Всеволод Вячеславович отшвырнул тростью увесистый обрезок валенка и посторонился, чтобы пропустить спешившую за нами женщину с запаянным у ручек и круглым, как пузырь, стареньким самоваром. Воспользовавшись его минутной паузой, я уныло пожаловался: неувязка, мол, с письмом. Многое и многое в этих замудрящих творческих тонкостях, хоть о стенку лбом, совсем непонятно. Вроде бы и видишь много, и слышишь вроде бы немало все-таки. Казалось бы, с людьми, в поездках все время хлопочешь. А засядешь за этюды или жанровые сценки (я особо напирал тогда на всякие словечки книжные), засядешь писать: в одну сторону валит — бросай!

— Кхе! Кинь да брось, говорите? — засмеялся на мою неискушенность как бы все еще парящий и безмятежно реющий Всеволод Вячеславович. — Не опасайтесь! Хлебнувшего печатных сладостей — живым от них не отдерешь. Этим, брат мой, недугом, писательством, заболевают на всю жизнь. Речь о другом, поймите. Без навыка, без выучки ваши впечатления дорожные — как на гумне труха пустая. Мне на Дубне, под елочкой, хитрюга лесник говорил: без навыка и наторочки и лапотков простых не сплетешь. А уж при этюдах, жанре — про них и говорить не остается. Хитростей, премудростей тут куда побольше. Писательство, прошу прощения, лошадиного упорства спрашивает. Так и не вам, расчетистому мужику с гумнища, с назольным вразумлением внушать, что писательское словосеяние тоже ведь с загадом да с тревожными хозяйскими надеждами учиняется для урожая. Что, скажем, и сама страда писательская, писательская большая жатва собирается уже не в махонький, как было, закром. Что наша жатва нынче не для избранных; она для упорядочения всей жизни. Чтобы, как я понимаю, самую большую на земле страну из всероссийского Зарядья вывести.

Пережидал мчавшихся в обгонку лихачей (одни саночки с подгулявшими и во всю глотку горланящими седоками, другие — с кипами мануфактуры, с дутой стеклярусной люстрой на коленях у совсем еще молоденького милиционера) и все с той же осуждающей и бескомпромиссной укоризной горько втолковывал мне о заповедях высокого писательского долга, о беспощадной к себе требовательности в дорожных зарисовках. К тому же, — и об этом постоянно, неусыпно помнить надлежит! — ведь и сама цена дурного вкуса слишком разорительна.

— Да, тут я особо напираю: она до безрассудства мстительна и, как о ней ни посуди, в хозяйстве нашем целиком уронна. Вроде вымерзания и вымочек на отцовой вашей полосе в Дертях. На полосе, как вы же и канючите, с материковым выпаханным *беляком*, с кричащими над горькой пашней куликами.

«Даже и *канючите*, мужицкое горюете то есть, заметил! Знает даже беляки: кислую, простуженную, мертвую подпочву на бездольной и неласковой крестьянской пашне!»

Необстрелянный и только еще робко пробующий литератор, я был поражен: вот они, доподлинные знания земельные! Кровные заботы да тревоги деревенские! Таких не заполучишь с книжных полок, с чужих слов. Они могли прийти, скопиться только после трудных перегонов, после жестких встрясок и перебутырок на крутых дорогах жизни. И эта его истовая связь с землей, с народом отличала все его писательское дело, всю его большую писательскую жизнь, которую он сам же и называл с улыбкой тихого добросердечия заполняющей все время длинной пашней. К тому же Всеволод Вячеславович был склонен видеть в каждом только одно лучшее. И не удивительно, если в его самобытном облике, напоминающем здоровое развитие сильного цветочного бутона, с каждой встречей открывались для его друзей все новые и новые черточки, новые чистые грани. Открывались постоянно, год за годом, в продолжение всей его многогранной жизни. Но все это стало ясно и упрочилось во мне потом, потом...

А пока, чего бы ни касался шедший по обтоптанной тропинке развеселый и размашистый Всеволод Вячеславович, меня не покидали его обжигающие и, как мне тогда казалось, слишком беспощадные, обидные слова: «Стыдно и ужасно! Нельзя так!» И, сгорая от стыда и еле-еле за ним поспевая, я, признаюсь, готов был провалиться хоть в тартарары. Плелся-тянулся, как говорится, будто хворая улитка по бугристому стебельку. И Всеволод Вячеславович, подтрунивая, свободной рукой, сверху вниз, ободряюще подмахивал мне:

— Подтягивайтесь, кавалер! Не отставайте!..

Напруживая провода штангой, по набережной бежали короткие звенящие трамвайчики со счастливыми, не знавшими писательских отчаяний и передряг людьми. Смех и суетня прохожих. Присыпанная молодым снежком и по оплечьям выщербленная китайгородская стена, с отражениями перебегающих трамвайных огней, казалась отрешенно грезящей, может быть, о колыбельных, неразгаданных просторах Азии. Перешагнув досиня протертые, с узкими желобками рельсы, Всеволод Вячеславович остановился у чугунной ограды вдоль набережной. Пробежавший впритирку, переполненный вагончик на мгновение охлынул нас качающимся разливом света. Короткого мгновения было достаточно, чтобы прочесть

на моем лице и жгучую, обидчивую горечь, и крайнюю сконфуженность.

— Да вы, позвольте, что же? Вы, кажется... того? — с веселым замешательством повернулся ко мне Всеволод Вячеславович. — Вы, смотрю, обиделись? Надулись? Уж вот не ожидал! А я еще спросить собирался. К Яузе, мол, своей теперь или со мной, к Блаженному? А вы, оказывается, недотрога, нюня!

От неожиданности он и сам, по-моему, немножко стушевался. Все шло хорошо, как тому и быть следует. Отчитывал, шерстил неискушенного молодого человека, осудительно выговаривал за ляпсусы, огрехи, несуразности. Укорял за дело, правильно. Пусть с сознанием не столь приятного, но все же превосходно исполняемого долга. И вдруг — такая комиссия! Огорчил, смутил, совсем растревожил парня. А всякие, как он говаривал, психологические блокады и диверсии, ущемляющие самолюбие сердечные уколы были не в его характере. Стало быть, просчет. И Всеволод Вячеславович на косую сажень расправил по-ладному откованные плечи, заспешил петушком вперед и, подтягивая меня к себе, остановился близ забытой кучки сколотого льда на тротуаре.

— Так-с! Стало быть, не по-мужицки гордый? Учтем! Но смотрите, как бы это превосходное самопочтение, кавалер, не повредило вам? — И он снова стал трясти меня за плечи, с приливом жаркого великодушия заглядывая мне в глаза. — Впрочем, вашу разобиженность вполне, вполне понимаю. Самим испытано, изведано. Вдоволь, говорю, и сам хлебнул этого цветочного напитка. Знакомый бальзам! Без него же и в искусство тернистое не внидеши! Зато ведь и превозношу я, слышите, превозношу и почитаю в человеке эту светлую неискушенность керженскую. Ведь это еще девичья, еще деревенская, чудеснейшая в нас красота — застенчивость. Подольше бы, побережливее ее хранить. Не раскидываться бы, говорю, направо и налево этим преотличным, этим щекотливым чувством. По-моему, без древней-то матушки стыдобушки дышится не так-то сладко человеку. И уж во всяком случае — не так красиво.

В этих словах был весь Всеволод Вячеславович.

— Так вот, и чувствую, ценю я вашу золотую разобидушку пуще всего потому, что вижу: доброе внушение мое — как грузди в кузов! К месту.

Потрогал модным башмаком в сверкающей калоше подвернувшийся осколок льда и, зорко нацелясь, с забавной удалью отшиб его ногой за чугунную ограду.

— А сиводушка? Полагаю, в порядочке?

4

Я довольно долго и довольно тяжело переживал укоры Всеволода Вячеславовича. Неожиданная зарядьевская встреча произвела в моем сознании целый переворот. По молодости мне казалось: напечатано — и с плеч долой! А выходит, нужно семь потов пролить, чтобы, знатно поскородив пашенку, что-нибудь посеять на печатной, всежитейской полосе, как рассудительно, хотя и с крепким запалом, говорил Всеволод Вячеславович. Как всякий очеркист, занятый текущей публицистикой, я всеми силами тянулся (и, конечно, преждевременно тянулся) к так называемой чистой прозе. Опыта и мастерства еще и на медный алтын не было, а хотелось засучивши рукава засесть, допустим, за объемистую хронику или за цикл лирических, жанровых, то есть бытовых, новелл; легкая исполнимость того и другого казалась мне совершенно одинаковой! Я собирался сократить редакционные поездки по заданиям. Хотелось хоть на время отойти от газетной побегучей спешки, гонки. Да и, признаться, уже поизмотала сутолока переполненных постоялых дворов, сцеженный квас и кислые щи с хреном в сельских харчевнях. (Тогдашние дорожные удобства, скорости — не то что при теперешней турбовинтовой и реактивной авиации с абрикосовыми леденцами и бисквитом!)

Эх, дороги, дороги! Пять суток — ветер, метелит, дождит. Хлипкая грязь, снег, морокуша. Пять суток в легкой одежонке, в санешках либо на телеге. Отчаянная проселочная тряска. И в завершение — один полувечерок, один денек неполный в шуме-гаме, спорах деревенских сходок. То ли дело за развернутый цикл засесть!.. Однако, выслушав меня, Всеволод Вячеславович выразительно покачал головой:

— Неопытность и вздор! Горячечный заскок.

Я ждал одобрения и похвал, а писатель меня и тут осуждает. Всячески и всерьез ратует за газетные поездки. «Газета? Да ведь это преотличнейшее в нашей выуч-

ке!» — с одобрительной веселостью говорил мне он. Кроме того, Всеволод Вячеславович и сам, оказывается, был с газетой связан. Сам с нее, вспоминает, начинал — с «Приишимья»! Хлопотунья колченогая была, беззубая, через каждый шаг на помятые бока прихрамывала. Того и гляди, в придорожный кювет свалится. А тоже суетливая, речистая, с размашкой тоже на всю пыльную околицу с притрушенными сеном выгонами. Заведет, бывало, разговор о степных базарах, салотопках, конских ярмарках — дым коромыслом! И, однако, эта мирно опочившая провинциальная газетка, думано ли гадано, к Горькому молодого автора привела!

— Так что вы, пожалуйста, не городите вздор, — говорил Всеволод Вячеславович, пропуская длинный обоз ломовиков с отмаркированными голландской сажей ящиками, пухлыми колониальными тюками. — В газете прежде всего исправность да неукоснительная прежде всего дисциплина спрашивается с писателя. Независимо от ранга, от метафорической оснастки, так сказать. Дисциплина. Альма матер творчества. Срок есть срок для всех. Его не отодвинешь — выдай! И кто из нашей братии с газетной долей сладил, у того, я посмотрю, малиновая молодость.

Вот так раз! Гоночную спешку — сутолочь газетную — Всеволод Иванов считает наилучшей практикой для молодого литератора! И это неожиданное его признание показалось, говоря по совести, совсем невероятным. И не удивительно: биографические сведения о писателях были тогда не в моде. А поговорить с самим Всеволодом Вячеславовичем о таких предметах мне еще не прихаживалось. Да уж, кстати, и о другом не пытаюсь. Вещи Всеволод Вячеславович открывает мне самые, понятно, исполнительные и утилитарные, а я всячески оправдывался и оборонялся от его укоров, помню. Ссылался на какие-то помехи, личные свои неудобства. Главным образом — на жесткие редакционные задания. Теперь мне в этом, разумеется, и грустно, и неловко признаваться. Однако было точь-в-точь так. Что можно сказать в оправдание? Молодость! У молодости свои ошибки и свои просчеты возрастные. Свой полет, прицел, свои уразумения, самооценки, своя ко всему приторочка. Был еще неопытен и зелен, с краешка, играючи касался жизни.

— Пустяки. И у Машки бывают промашки! — посмеялся, только и всего, Всеволод Вячеславович, когда я много лет спустя признался ему в этом.

Однако последствия зарядьевской встречи для меня не ограничились одними прозрениями. И в этом опять-таки сказалась необычайная человечность Всеволода Вячеславовича.

5

Знойно припекает.

На прогибающейся лавочке-времянке сидят: И. М. Касаткин, В. Я. Шишков, С. П. Подъячев, сгорбившийся, бледноволосый, только что приехавший из дмитровской деревни. Возле них переговариваются прозаики, поэты, критики, артисты Малого театра, МХАТа. У лавочки снует неутомимый говорун — литературовед и театральный критик Ю. В. Соболев, с перегруженным, похожим на кошель портфелем. Тут и П. И. Замойский, и В. И. Казанский, отличнейший лирический поэт есенинской плеяды В. Ф. Наседкин, пришедший со своей женой Е. А. Есениной. Какие-то длинноволосые крестьянские писатели в сборчатых толстовках, длинных блузах. Кто сидит, кто стоит, а кто и запросто на свежей весенней травке устроился. Я вижу тут неугомонного хлопотуна А. С. Кожебаткина, всезнающего московского библиофила, букиниста. Вижу лечащего видных театралов и писателей, весьма образованного доктора Савельева. Завсегдатая литвечеринок, генеральных репетиций, художественных выставок, дискуссий, вернисажей. Рядом с ним сидит, с седыми растопырившимися бровями, с клюшкой, известный пушкинист, профессор М. А. Цявловский.

Летучий смешок, реплики. Обычный перебежистый говорок затянувшегося ожидания. Поглядывание на солнце, на часы, на голубое с белыми, словно фарфоровыми, облаками небо. Сухотинский тупичок, как ящик, узкий. Сзади неказистый дощатый забор, по бокам нагретые июньским солнцем стены. «Никакой продушины, живой опрохолодки!» — ухмыльнулся Семен Павлович Подъячев, забавляясь длинным деревенским подожком. Солнцепек будто в духовке, давящий, упорный. Можно бы от солнышка и схорониться, но с минуты на минуту должен подойти писатель Всеволод Иванов, чтобы прочитать

последний свой рассказ. По-видимому, один из тех рассказов, над которыми тогда работал Всеволод Вячеславович, ставший почему-то печататься все неохотнее, все реже после известного сборника «Тайное тайных», вышедшего года с два тому назад.

Посматривая бочком из-под приложенной к глазам ладони, Иван Михайлович Касаткин по-домашнему, с ленцой поводит горячо прогретыми плечами, щурится: «А захолустьице тут — ого-гой!» И снова мы любуемся запущенной усадьбой. Дремь, тишь, зной, глушь. Удивительная вокруг глухомань. Совсем как в старой провинции захиревшей!.. Куры разгребают пересохший мусор. Греется лохматая дворняжка. Пощипывают траву теряющие перья гуси. Скособочилась в крапиве извозчичья пролетка с одним колесом. Взвернутые кверху днищами, с потеками асфальта, полусожженные котлы. Дворище обширный, запустелый, с поленницами швырковых дров, с разросшимся чертополохом. С клетками выломанных еще при перестройках в прошлом веке и давным-давно уж отслуживших свои сроки дворянских деревянных лестниц, с брусьями, перемычками, поломанными балясинами и стропилами.

За глухой оградой — каменная церковка с гроздьями пожухлых луковок. Не отнимая ото лба ладони, Иван Михайлович показывает за ограду: «А кто знает, с чем сравнил эту церковушку дряхлую Всеволод-то Вячеславович?» И, как бы пережидая, не доскажет ли за него поглаже, выразительнее кто-нибудь другой, крепко ухватился жилистыми длинными руками за лавочку-тесинку, то и дело сползавшую с подкладышей.

— Уж и чародейское, сказать, сравненьице, диковинное! — по-мужицки, с добродушной, ненавязчивой усмешечкой щурится и щурится Иван Михайлович. — Вот что значит самородный и самостоятельный писатель! На своих, не подставных ногах, художник! Ху-дож-ник, не мазилушко горевой. Который уж год я в этот сибирский рассказ заглядываю. А ведь так и не возьму в толк: как же его догадало до такого додуматься? Подняться с таким взлетом? Прямо-таки дух захватывающим? Чудеса! Старую, по всем бокам ободранную церковушку додумался сравнить с грибным лукошком! Мол, *церковка, похожая на лукошко с грибами*!.. Заганул загадушку, нечего сказать! Хлесткую!..

— А помните его зачин в ошеломляющей «Пустыне Тууб-коя»? — подхватывает потихоньку Вячеслав Яковлевич Шишков. — С таким исступлением и так завораживающе воскликнул: *«Экая гайдучья траза!»* Как будто это гайдуки и гайдамаки после лютой сечи в зоревые трубы трубят. На дюжине страниц не выразишь столько, что выразил писатель в трех трубных словах!

— Да, тут, ребята, думаю, что-то не от выучки, — покачивает лобастой головой Иван Михайлович. — Не от одного, смекаю, мастерства. Тут что-то, думаю, и поважней, и посущественней. От чего бы, думается, Павлыч? — повернулся к Подъячеву.

— От батюшки талана-участи, вот от чего! — похлестал ольховым подожком зеленую былинку Семен Павлович. — Сами небось слыхали, как желанное-то дарованьице в народе у нас величается.

— По самому высшему курсу.

— То-то и оно.

* * *

На Собачьей площадке, у писателя Павла Сергеевича Сухотина, человека редкой простоты и по-московски радушного, перебывали многие столичные артисты, столичные писатели. Флигелек уединенный, скромный, малолюдный. Каменные стены — на сажень косую, дедовской добротной кладки. Теплые и сумрачные, с изразцовыми старинными печами комнаты. Пахнет по-усадебному: валерьянкой, самоварной гарью, неостывшим утюгом, анисом; масляными красками, левкасом, свежеразведенной бронзой. Павел Сергеевич писал стихи, охотничьи рассказы, инсценировал Бальзака и Лескова. Связан был едва ли не со всей театральной, литературной Москвой. Приветливая хозяйка Марина Алексеевна Сухотина была незаурядным знатоком и мастерицей в прикладном искусстве. Усадьба старая, с печатью лирического запустения, забытости. Ни малейшего намека на уличный, трамвайный шум. И на огонек к Сухотиным заходили многие.

Сухотинское подворье, как шутя прозвали посещавшие этот скромный с виду флигелек, навещали главным образом московские писатели, известные артисты. Одни чаще, другие от случая к случаю. Завсегдатаи нередко приводили интересных новичков. Кроме уже перечисленных здесь бывали: А. Н. Толстой, А. С. Новиков-Прибой,

В. Г. Лидин, С. М. Городецкий, П. А. Радимов. Не пропускавший ни одной вечеринки и всегда приходивший вместе с женой, аккуратно появлялся известный литературовед и пушкинист Н. С. Ашукин. Бывал здесь и тесно друживший с Сухотиным Всеволод Вячеславович.

Внося особую артистическую оживленность и праздничную приподнятость, на Собачьей площадке у Сухотиных охотно встречались с писателями В. И. Качалов, И. М. Москвин, М. М. Тарханов, А. К. Тарасова, Е. Н. Гоголева.

Собирались, читали новые рассказы, пьесы, обсуждали постановки, книжные новинки. Обменивались последними литературными, театральными новостями. И целыми вечерами спорили, спорили!

Вот входят в шумные и жаркие, удушливо накуренные комнаты В. И. Качалов и Всеволод Иванов. И, как бы впервые представляя Всеволода Вячеславовича оживленно переговаривавшимся людям, знаменитый артист, дружески подталкивая смущенного писателя, по-старомодному, с торжественностью церемонной, во всеуслышание провозгласил:

— Се витязь соловьиного слова с нами!..

Запыхавшегося, румянощекого Всеволода Вячеславовича сопровождают еще и две чрезмерно деловитые и чрезмерно строгие редакционные тетушки, с беспричинной озабоченностью хлопочущие вокруг писателя. «Задержка издательская, вынужденная!» — издали изрекла кособокая тетушка с холщовой, вышитой еще на земских курсах, сумкой. Стали подниматься. Заторопились.

Чтение рассказа началось.

6

Как человек и художник, Всеволод Вячеславович, повторяю, был самобытнейший, глубокий, много всего передумавший (по-своему передумавший), много всего повидавший (в смысле — лично испытавший!). Поэтому послушать его влекло многих. Писатели (да и не только писатели!) хорошо помнят, какой исключительный резонанс и большой, серьезный интерес вызывали обычно его добросовестные и всегда основательные, глубоко продуманные, честные выступления на съездах, конференциях или собраниях. Его речи были событием. И все-таки

большой, официальной аудитории Всеволод Иванов избегал. В редких таких случаях чувствовал себя смущенным, связанным, переконфуженным до крайности. Недолюбливал представительные писательские аудитории с многолюдным президиумом, с переполненным гудящим залом. «Нет, не смогу!.. Пожалуйста, увольте!.. Не умею, не привык к трибуне!» — отмахивался он обычно и на звонки, и на дружеское уговаривание.

А молчальником не был, рассказчиком слыл замечательным. В особенности при неторопливой приятельской беседе, в домашней малолюдной обстановке. В таких случаях — сужу по своим встречам — Всеволод Вячеславович являл собой идеальнейшее воплощение простоты, душевности, веселости, согретой и неиссякаемой человеческой доброты. В безыскусной дружеской беседе полнее всего и раскрывался весь его обаятельный облик. Говорил начистоту, открыто, но расплескиваться, держаться нараспашку не любил. И всегда при разговоре чувствовалось великое его отвращение к жеманству и рисовке, или, как он называл, к вывеске. Отвращение к чопорности, опереточной престижности, к наигрышу, дутой и спесивой показухе. На каком-то заседании, брезгливо отмахнувшись, шепнул мне об одном ораторе:

— С вывеской настрачивает! Тошно!

7

Многим и многим я обязан доброму, отзывчивому писателю Всеволоду Иванову за его поддержку, дружескую помощь, искренние наставления. Вмешивался, хлопотал, помогал советами, защищал при каверзных и трудных схватках на долгом и превратном писательском моем пути. Я каялся ему в своих промашках, в просчетах и оплошностях, делился с ним своими радостями, застопырками, без которых нет литературных будней. Случалось, после обильной впечатлениями поездки я прежде всего приходил к нему. Приходил и восхищался его блещущим, летучим, при ударе бросковатым, хлестким разговором, хотя вообще-то говорил он мягко, сдержанно, немногословно. Предпочитал вести беседу слушающим, снисходительным, улыбчиво притихшим. И только иногда, войдя в веселый раж, он полностью овладевал беседой. В таких

случаях рассказчиком он был на редкость и приятнейшим, и вдохновенно-неистощимым.

Уже перед самой смертью, прочитав мои записки о северных народных обрядах, он неожиданно прислал мне трогательное письмо. И в тот же день я слышу в телефонной трубке приветливый, веселый голос Тамары Владимировны:

— Всеволоду Вячеславовичу очень понравилось. Он предлагает свое предисловие и редактуру. Да вы лучше приезжайте в Переделкино. Только к обеду не опаздывайте. Будем ждать.

8

Познакомивший меня с Всеволодом Вячеславовичем известный русский писатель Иван Михайлович Касаткин отзывался о нем не иначе, как с восхищением, с ласковой и трогательной теплотой: «Такое, мил братуха, редко в человеке и художнике: скромняга и талантище!» И об этих глубоко сугревных касаткинских словах я вспоминал всегда с каким-то чистым, неусыпчивым и по-хорошему подбадривающим волнением. Вспоминал и при беседах, встречах с Всеволодом Ивановым, вспоминал при чтении его статей, романов, пьес, рассказов, очерков, заметок, блестящих фронтовых корреспонденций (безошибочно угадываемых, кстати, по первому эпитету, мазку, по характерной слоговой силлабике в его выразительной фразировке, ритмике, в его речевом, повествовательном строе). «Воистину в трубные трубы трубит трубное слово Всеволодово!» — как вспоминал о нем частенько Вячеслав Яковлевич Шишков.

Меня всегда поражала широта интересов Всеволода Вячеславовича. Вот обычно первые его слова при встречах: «Откуда прикатили? Чего обрели хорошенького?»

И право же, была достойна удивления эта его всегдашняя заинтересованность во всем.

При беседе Всеволод Вячеславович обычно все захватывал: малое и большое, современность и старину, национальные искусства, верования, быт, культуру, промыслы. Он не ударил бы лицом в грязь, беседуя с любым этнографом, экономистом, психологом или знатоком сибирских минералов. Запомнились мне на всю жизнь его удивительные рассказы о бытовой обрядности, религиоз-

ных ритуалах так называемых палеоазиатских народностей Северо-Восточной Азии.

Его знания и осведомленность были поистине изумительны. Однажды, когда я работал над документальной книгой о Центральной Сибири, Всеволод Вячеславович неожиданно стал рассказывать о многочисленных наскальных писаницах и петроглифах на верхнем Енисее. В заключение беседы он поведал мне старинную легенду о скорбных могильниках, хакасских степных чаа-тасах, с рядами стоящих камней, иссеченных ветрами. Всю жизнь привлекало его изумительное мастерство искусных умельцев, народных мастеров Востока. Я, скажем, только от него впервые услышал о существовании некоторых художественных промыслов Сирии, Ирана, Кипра, древнего Египта, Вавилонии, некоторых балканских стран. Он, по-моему, не всюду побывал, перечисляя эти страны, но всякий раз рассказывал о них с доподлинной осведомленностью наблюдательного путешественника.

9

Трудно назвать другого писателя, творчество которого было бы так вседневно связано с поездками по родной стране. Я рассказываю Всеволоду Вячеславовичу о Пинеге, кудрявых островах на Селигере, о Муроме, Касимове, Зарайске. «Я был там!» — по ходу беседы говорит мне он. Делюсь своими впечатлениями о поездке к огородникам, дояркам и механизаторам в селе Нижний Белоомут на Оке. «Я был, был там!» — утвердительно кивает он. Рассказываю о Беломорканале, Болшеве, Семипалатинске, Караганде и Чирчикстрое. И то же неизменное: «Был, был».

География поездок у Всеволода Вячеславовича прямотаки необъятнейшая.

Взаимные впечатления и разговоры о том, кто и откуда вернулся, кто и где побывал, вспоминаю, были наиболее привычной темой наших бесед. Причем Всеволод Вячеславович рассказывал мне частенько о своих поездках даже при совсем случайных встречах. В холле поликлиники, библиотечном зале, кулуарах ЦДЛ, в сумрачной абсиде древнего Успенского собора или расписных царицыных палатах перед заседанием писательского съезда в Кремле. По обыкновению, он сначала выслушает вас,

расспросит, а потом и сам, постепенно увлекаясь, становится порывистым, речистым, загоревшимся (хотя обычно избегал и уклонялся всячески что-нибудь навязывать своему собеседнику). Удивить его чем-либо при подобных собеседованиях было невозможно. Я рассказываю ему о сосновых склонах Джилан-Тау, с изумительным поволжским видом на Услон, Кутень-Булак, пристанскую сутолоку за Адмиралтейской слободой. Передаю красивую татарскую легенду про древнюю Сумбекину иглу, пронзающую облачную синеву над величаво вознесенным городским кремлем.

— Казань! — схватывается за голову Всеволод Вячеславович. — Ах, знали б, только знали, какое вы далекое и светлое напомнили! Боже мой! .. Я ведь тоже был, представьте, у завзятых садоводов и стерлядчиков Верхнего Услона. И был, и хаживал в слободочных окрестностях у старой Джилан-Тау. Выезжал в красавицу Казань, всюду белый зацветал жасмин, весной. И тех дней, пожалуй, никогда не позабудешь! Величава, велика, горда и, как говорил Минглай, татарин, нутряниста матка Итиль — Волга! .. Да, это было вскоре после Ленинграда и «Серапионов». А может быть, и перед первой заграничной поездкой — к Горькому. В Сорренто. И тогда еще белела, помнится, за старыми деревьями у Джилан-Тау неповоротливая и угрюмая ограда женского монастыря. Как отчаянно летит время! Боже мой! ..

И прибавляет к моим собственные, куда более волнующие впечатления о сбегающих садах Услона, университетских буднях Ильича, паромной переправе через светлую Казанку-речку. Впечатления и светлые раздумья о седой поволжской старине, своевольной и размашистой, как понизовая широкая волна в крутое половодье.

Особо запомнился мне такой весьма характерный случай. Перед выездом в неведомое Богдо спешу повидаться с Всеволодом Вячеславовичем. «Очень, очень стоит! Завидую!» И, показывая мне какие-то сиреневые камушки, говорит: «Сам туда решил прокатиться. И обязательно соберусь. Вот только с преизрядно измотавшей поденкой поскорее б расквитаться. . .» И вид у него тогда в самом деле был усталый, серенький. Обвянувшие, почечные щеки.

— Или какие там у них неувядающие и роскошные сады цветут и плодоносят! Что там диво Семирамидино!

Тамариски, померанец, тропические пальмы, смолы сандараковые!.. Свои, свои, чудесные у них места. Свои места волшебные, под боком: в Богдо! Да еще такой отваги смелой люди, люди там!

— Еще не побывав, уж столько знаете!

— В том-то и свидетельство моих намерений всерьез поехать туда, — повторил Всеволод Вячеславович и подошел к широкому окну. — Да, удивительные кругом люди. Никак наша литература не поспевает за таким скоростным развитием, необыкновенным ростом наших людей. Да, только их догадкой, их руками все-все пораспахано, засажено, выращено, обводнено. И, повторяю, где? В мертвой, страшной, выжженной полупустыне. А еще бездумно осуждаем старенькие сказки бабушкины. А выходит, эти сказки с большими человеческими нашими надеждами вплотную связаны. С полетом смелой мысли в будущее.

И распахнул окно в глубокий сад.

Побываешь у Всеволода Иванова — будто на масленице погостишь. Живой облик человека, да еще к тому же и большого художника, отнюдь не собрание простых геометрических фигур: прямая линия, многоугольник, параллели, круг, диагональ, гладенькая, как скатерть, светлая пространственная плоскость. Выдающиеся, яркие черты в его удивительной натуре неспроста, конечно, выделяют этого писателя из многих и многих. И при любой обстановке. Он принадлежит к числу тех редких людей, деятельная душевная щедрость которых напоминает только что пробившийся молодой родник. Чем больше черпаешь, тем чище и свежей прозрачные струи.

Еще лет тридцать пять тому назад Всеволод Вячеславович неожиданно спросил меня: как я отношусь к кирие елейсон? Сиречь к небожительству? Я сказал, что родился в угрюмой семье староверов. По зимам еще до свету будили молиться огужком — так у нас называли увесистый, очугунелый обрывок гужа, висевший над рукомойником. Молились в белых холщовых портах, белых штанушках. Злые, перекошенные зевотой, завидующие темным соседским окошкам, за которыми сладко, бестревожно посы-

пали наши небогомольные и, как мы верили, очень грешные сверстники.

В детстве самым сильным впечатлением был приходский храм. Приходишь из мужицкой тараканьей копоти в неземное сверкание. Летом, помню, в церкви пахло сухим полем, пылью, тополями с улицы, поленницами старых березовых дров, сложенных за папертью. Окна сторож открывал, как только кончалась служба. И солнечный игривый сквознячок, разгуливая, вымахивал с амвона, клироса, из алтаря запахи парчовых риз, оплывшего огарочного воска, лампадных фитилей, паникадильной перегретой гари.

Выслушав меня, Всеволод Вячеславович сказал: «Вам нужно писать большую книгу!» Роман об отмирании русской православной церкви и крушении христианства. И потом при каждой почти встрече он мне напоминал: пишите книгу.

— Злости и свечных огарков у вас хватит!..

«Писательство — святое жертвоприношение с радостями и подвижничеством честного служения народу!» — поднялся, закругляя непомерно затянувшуюся, последнюю беседу нашу, Всеволод Вячеславович. Так, и только так, в малом и большом, мужественно и возвышенно, даже и на маковое зернышко ни в чем не поступаясь, он исполнял высокий, многотрудный долг писательский до самого последнего дня.

1964

Алексей Югов

ОН БЫЛ УЧИТЕЛЕМ И ЗАЩИТОЙ

Всеволод, в самом высоком смысле, был любимцем у Горького. Имена их навсегда связаны.

И знаменательно, что когда он сам, Всеволод Вячеславович, стал народно известным, прославленным, то и от него столь же щедро, по-горьковски, излучалось это *отеческое*, и сколь многим, сколь многим из молодых был он и учителем, и защитой!

Он был признан сразу. Но пусть не думают, что легким шествием триумфатора был его путь. Было всего! Знали бы, сколько он натерпелся от ханжества и кликушества иных рапповских и напостовских критиков! Ну как же: тут и «певец крестьянской стихии», тут и «попутчик», и повинен в грехах «биологизма», и т. д., и т. д. И зависть, и ненависть, и разнузданная травля не миновали его головы.

Творчество Всеволода Иванова — необъятно, необозримо. Оно — глубинно-народное. И по языку, и по образам.

И опять-таки на его творчестве полностью оправдалось вещее слово Горького: что на смену «орловско-курской» эпохе художественного русского слова в наше, советское время надвигается — неизбежно и плодотворно — эпоха как бы «областная», «окраинная», ибо виднейшие из советских прозаиков и поэтов придут от берегов и Ледовитого, и Тихого океана, и от Черного моря, и от тихого Дона, и от Урала, и от Алтая.

Имена писателей этих и поэтов ныне известны всему народу.

Всеволод неимоверно раздвинул пределы русского литературного языка. Об этом будут еще написаны книги. Тайна его писательской речи еще не раскрыта!

Отделывались наклейкою пустозвонких ярлычков: «орнаментальная проза»; «областная речь»; «фольклорно-эпическая стихия»; «тяготение к натурализмам» и тому подобная чушь и напраслина!

И как же все это далеко от истинной сути его знойного, буйного, яростноцветного и в то же время и рядом, если требуется, буддийски невозмутимого слова!

Увы, «фольклором», «областной речью» у нас все чаще и чаще пишущий потомственный горожанин стал обзывать глубинно русский язык, и в особенности — тот еще богатырски действенный язык северо-востока Руси, которым и говорят, и пишут доныне несметные миллионы русских людей.

Особенно достается писателям Сибири!

И невдомек иному «невегласу», что язык, например, Тобола — это неповрежденно пронесенная через века языковая сокровищница древнего Новгорода.

Сверхсильная для большинства писателей изобразительность; властный над зрением и слухом читателя, заставляющий и видеть, и слышать, и осязать *реализм* Всеволода был ославлен как «натурализм».

Нет, не натурализм это, а именно «та изумительная изобразительность, словесная чувственность, которой так славна русская литература». Это сказал Бунин [1]. И — словно бы о Всеволоде!

Странная неравноправность: Золя (вот уж где подлинные-то натурализмы!) издается у нас многократно и с благоговейным сохранением каждой строки, а здесь — художественное слово одного из сильнейших и самобытнейших писателей Советской России!..

Пришла пора готовить так называемое *академическое* собрание сочинений Всеволода Иванова, с включением и не напечатанных при его жизни произведений.

* * *

Не только языком своих творений народен Всеволод, но и образами людей. Разверните в своей памяти его изумительные полотна — и вот он встает перед вами, великий русский народ, и прежде всего — могучий мужик-

---

[1] И. А. Бунин. Собрание сочинений, т. 6. М., Гослитиздат, 1966, стр. 84.

партизан Сибири времен кровавой, насмерть, борьбы против колчаковщины и чужеземных нашествий, — встает во весь исполинский свой рост, во плоти и крови, без ухищрений и подмалевок, а таким, каким был. Могучей и реалистической кистью написанного образа крестьянского вожака Вершинина из «Бронепоезда» достаточно было бы для писательского бессмертия! А Васька Запус?.. Да разве всех перечтешь! А люди гибнущего, обреченного стана, такие, как Незеласов или прапорщик Обаб, — разве не есть они подлинное собирательное воплощение?!

А отпетое белогвардейское, верхушечное казачество Сибири — атаман Трубычев?!

Всеволоду Иванову все «далось»: и тончайшее, бесстрашное проникновение в «тайное тайных», в сокровенное души человеческой (вспомните хотя бы «Жизнь Смокотинина»!), и поистине *эпическое* — народная война, движение неисчислимых масс.

Часто и подолгу размышлял я о творчестве Всеволода. Тут невольно приходят сопоставления. И от одного из них я не откажусь никогда.

Подумалось мне: вот если бы исчезло все, решительно все, что только сохранилось у нас о крепостном праве, а уцелел бы один лишь «Тупейный художник» Лескова, то ведь и тогда, по одному только этому рассказу, мы знали бы и видели, что оно было такое — крепостное право.

Вот так же и о Всеволоде: если бы от времен гражданской войны в Сибири ничего не уцелело ни в архивах, ни в книгохранилищах, а только «Голубые пески», «Бронепоезд» да «Возвращение Будды», — то все равно увидали бы и отдаленнейшие потомки, что происходило тогда на Русской земле.

* * *

До конца дней моих останутся для меня источником глубокого душевного удовлетворения воспоминания о том, что в течение десятилетий со стороны Всеволода Вячеславовича я неизменно встречал готовность отозваться на все мои беды и напасти, готовность «призащитить», если понадобится. И все это сопровождалось радостным для меня благожелательным вниманием *старшего* к моим трудам.

Передо мной одна из последних книг Всеволода Вячеславовича — «Мы идем в Индию». Я часто задумываюсь над ней. Клубятся воспоминания... Дарственная подпись — столбцом и почерком удивительно четким и ясным, как бы полууставным, с широко расставленными крупными буквами — гласит:

«Дорогому Алексею Кузьмичу Югову — целителю ран душевных и телесных, — один из исцеленных. — Вс. Иванов. Май. 1961. Переделкино».

Это была, если не ошибаюсь, предпоследняя моя с ним встреча. Это было в воскресенье, днем, — день был светлый, солнечный. На застекленной большой веранде, распахнутой в сад, за чайным столом кроме Тамары Владимировны, за самоваром, и самого хозяина, «во главе застолья», был, вспоминаю, Ираклий Андроников и двое-трое гостей Всеволода из Сибири — молодые литераторы, один, кажется, даже из Якутии. Известно, что Всеволод Вячеславович, всю свою жизнь страстный путешественник, и в последние годы где только не побывал.

Старушки где-либо в притаежной деревне или на зимовьях охали, ужасались, жалели его, отговаривали: «Ой, да не езди ты, не езди: седой ведь уж! Погибнешь, и следу твоего не найдут. Обумись, не езди!..» Так он сам мне рассказывал. Нет, не обумился! Хохотал широким, «всеволодским» хохотом, до слез, откидываясь, снимая и протирая стекла очков, — отшучивался от жалостниц, молодецки вскакивал в седло...

Снова — о том воскресном дне 1961 года, на Сетуни, в мае. Конечно, никаким «целителем ран душевных и телесных» я для него не был. Но мое врачебное увлечение лекарственными травами, историей русского знахарства, гипнозом и вообще психотерапией тешило Всеволода Вячеславовича чрезвычайно. Помню, еще в 1938 году он подарил мне редкую, роскошно изданную старую книгу профессора Варлиха «Русские лекарственные травы», и там шутливая его надпись гласит: «Цели́, но не до конца».

Он любил в застолье наговорить обо мне бог знает каких «колдовских» страхов людям, с которыми знакомил, и очень утешался, когда верили.

Узнав, что Всеволод с Тамарой Владимировной недавно вернулись из Индии, я, естественно, попросил хоть что-нибудь рассказать об этом путешествии в «сказочную

страну чудес», как привыкли называть ее в дни нашей юности. Да ведь и кто же из прочитавших «Похождения факира» не знает, как когда-то, в Кургане, юного и бедного наборщика из типографии Кочешева сжигала эта заповедная мечта — дойти до Индии! И вот — «факир» пришел-таки в Индию! Он «шел» туда... около пятидесяти лет!..

— Нет, пускай Тамара расскажет! Она лучше меня умеет. Она там со всеми йогами перезнакомилась! Она вам про школу йогов расскажет!..

И Тамара Владимировна «не ослушалась» веселого приказания мужа. Рассказчик она и впрямь чудесный! Жаль, что не было тогда под рукою магнитофона. Сам Всеволод слушал в тот день этот ее рассказ словно бы впервые. Безмятежным отдохновением, радушием гостеприимного хозяина светилось его лицо...

... И разве кто-либо из нас предчувствовал в тот солнечный день над Сетунью, как скоро настигнет нас неизбывная скорбь вечной разлуки с ним...

* * *

Впервые пришел я к Всеволоду... — боже мой, как же это давно было, даже руке страшновато писать! — в декабре 1925 года, в Москве.

Стало быть, в 1965 году *сорок* лет исполнилось с той первой встречи! А все видится и слышится, словно вот-вот минуло: что ж, давно известное «патофизиологическое» свойство памяти этих возрастов!

Тогда, в Москве, ярился, все более и более разыгрывался и шумел нэп. Не собираюсь изображать здесь тогдашнюю Москву. Да и достаточно об этом написано...

Всеволод Иванов обитал тогда на Тверском бульваре, в полуподвальной, но обширной и отлично обставленной квартире. И ныне, как бы я ни спешил, а проходя мимо, останавливаюсь, а то и войду за решетку двора, — погрущу, повспоминаю... Однажды зашел даже в ту самую квартиру... Ну что же, лучше было и не заходить!.. Другие, чужие люди, которым пришлось объяснять, чего ради зашел я к ним, к незнакомым...

Розовостенный, с золотыми звездами на луковках-главах, Страстной монастырь еще стоял. Пушкин высился на своем изначальном месте. Здания «Известий» не

было. По кольцу бульваров, мимо Дома Герцена, с провизгом и звоном, враскачку неслись заснеженные трамваи «А» и еще какие-то, не помню...

Я пришел к Всеволоду Иванову со своей первой повестью «Повествование жизни». Пришел с добрым отзывом-письмом от Юрия Олеши и Валентина Катаева. А к ним — с таким же отзывом-письмом от Константина Паустовского... Вот оно с чего началось...

У обитой клеенкой поверх войлока двери я позвонил. Не сразу, а когда перестало колотиться сердце. Теперешним молодым уж не испытать этого чувства!..

Писателей, которые по праву именуются зачинателями, основоположниками советской художественной литературы, была ведь тогда только горсточка. Нам, начинающим, они представлялись неким ареопагом полубогов.

И среди этих имен ярким и многоцветным светом сверкало имя Всеволода Иванова. Помню, много тогда говорилось о «Цветных ветрах» и «Голубых песках». Дивились. Азия-Русь пахнула в каждую душу. И радовались, и восторгались, и ненавидели, и осуждали, и не знали, что думать.

Страшновато было нажимать кнопку звонка у этой скромной, двустворчатой, клеенкой обитой двери!

Был я тогда студентом третьего курса медицинского института, одновременно — служителем анатомки, и одет соответственно...

— Всеволод, к тебе!..

И вот вижу: из дальней комнаты, медленно и всматриваясь сквозь пенсне без оправы, идет ко мне, с каким-то буддийским спокойствием, да и в азиатском и чуть ли не золотыми драконами расшитом халате с кистями, черноволосо-кудреватый, тщательно выбритый, курносый и пышнощекий *сам*.

Я вручаю ему письмо Катаева и Олеши.

Прочел. Улыбнулся. И — радушно:

— Раздевайтесь, раздевайтесь! Проходите.

И уж в гостиной:

— Рассказ с вами?

— Да. (Показываю ему свиток, с которым не расставался.)

— Чудесно. Может быть, сами и прочтете? У меня сейчас как раз часок отдыха.

Только что началось чтение — звонок.

Врывается Шкловский. Да! — тоже молодой, бурный, весь «штурм унд дранг»!..

Расцеловались со Всеволодом.

— Помешал?

— Ну, что ты! Напротив. Очень кстати. Вот читаем.

Заставили читать сначала.

Чтение длилось около часу. Кончил. И... — ох, какие это страшные были секунды! — молчат, молчат оба!..

Я уже хотел было выбежать в переднюю да поскорее одеться и убежать...

Наконец-то:

— Ну, как, Виктор?

— А как тебе, Всеволод?

— Что ж! Отличный рассказ!

— Мне тоже нравится.

Всеволод Вячеславович повеселел. Стал угощать. Расспрашивать о Кургане. Во времена, когда он работал наборщиком в типографии Кочешева, я учился в четвертом или пятом классе гимназии, у Кочешева покупал тетради и «учебные пособия».

И — в заключение:

— Рассказ напечатаем. Сейчас я напишу Воронскому.

Удалился в свою рабочую комнату.

— Всеволод! Дай я и от себя припишу!

Так во втором выпуске «Красной нови» за 1926 год появилась первая повесть моя — «Повествование жизни»...

Прощаясь, Всеволод Вячеславович спросил:

— Это первая ваша вещь в прозе?

— Да.

— Плохо, что хорошая!

Смотрю на него в недоумении.

Он пояснил:

— Плохо, если первая вещь — удачная. Потом будут и неудачи. Будете расстраиваться!..

Как в воду смотрел! Были и неудачи. Расстраивался.

Но и тогда, неизменно, прибежищем и утешением моим были встречи и беседы с ним!

23 апреля 1964

П. А. Марков

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЛОДОСТИ

Я крепче и ближе всего помню Вс. Иванова в его ранние годы, в годы его первых драматургических шагов. Сколько бы раз потом так или иначе мы ни встречались — завязавшаяся молодая дружба осталась нерушимой. Но, встречаясь, мы неизменно вспоминали тот период, когда Вс. Иванов, неуверенно и как-то внутренне удивляясь самому себе, впервые переступил порог Художественного театра. Была середина двадцатых годов, точнее, год двадцать шестой — двадцать седьмой, когда театр готовился к празднованию десятилетия Октября. Это было время нового и неожиданного цветения МХАТа. Все, кто соприкасался с ним в эти годы, не могли не испытывать влияния бурной энергии, поисков, тревог и радостей, которыми, казалось, был наполнен каждый уголок театра. А в театре происходили сложнейшие внутренние процессы, он внутренне бурлил и безостановочно работал — и порою по самым разнообразным направлениям. Но если в этом внутреннем кипении театра выделить основные линии, то ими, несомненно, оказывались: слияние совсем недавно пришедшей в театр многочисленной молодежи, в основном в возрасте двадцати пяти — двадцати восьми лет, с совсем небольшой группой мощных «стариков», основателей театра, уже перешагнувших пятидесятилетний рубеж, — с одной стороны, а с другой — поиски современного репертуара и путей его интерпретации. Споры велись с великим энтузиазмом и горячностью. Мне выпало на долю быть председателем репертуарно-художественной коллегии театра, заведующим литературной частью театра, и решение всех этих сложных вопросов казалось мне делом моей жизни, моей

личной чести. Вл. И. Немирович-Данченко в это время отсутствовал, бразды правления взял на себя Константин Сергеевич Станиславский, который в области репертуарной, привыкнув к постоянному присутствию Вл. И. и желая найти новую, как ему казалось, необходимую опору, предоставил большую инициативу молодежи. В состав коллегии, а затем руководящей молодежной пятерки входили Хмелев, Баталов, Судаков, Прудкин, Марков, — вот в эту горячечную, страстную атмосферу и попал такой же молодой Вс. Иванов.

Не будем скрывать известной самоуверенности этой молодой группы, в свое время натворившей, может быть, кое-какие тактические ошибки, но одного у нее нельзя было отнять — веры в театр, любви к нему и несомненного чутья современности. Мы знали, что решить судьбу театра без темы современности нельзя, в полной мере отчетливо знали это и «старики», предоставив нам в первую очередь искать этих контактов с писательской средой. Подходящих нам драматургов мы искали среди молодых беллетристов — они увлекали нас вкусным, сильным восприятием жизни; именно через повести Леонова, Иванова, Бабеля, В. Катаева вскрывалась нам действительность. Они, казалось, могут дать подлинно богатый материал для творчества. Их писательский темперамент был под стать кипучему темпераменту, безудержной жажде «завоевания жизни» молодых мхатовцев. И они пришли к нам — теперешние «маститые», но и тогда уже властно вступившие в литературу и в большинстве получившие из далекого Сорренто благословение Горького. Я не могу оторвать Всеволода от этого писательского окружения. Он для меня навсегда слился с этой плеядой таких разных молодых талантов. Каждый из них заслуживает особого очерка, ибо каждый по-своему принял предложение театра — кто охотно, кто со скептицизмом, а кое-кто, как, например, изысканно мягкий Федин, все отодвигал ответ, не решаясь вступить на заманчивый путь.

У Всеволода отношение к театру было особое. Что скрывалось по-настоящему за его пленительной улыбкой и мерцающими за круглыми очками глазами — трудно было сказать. Ходил он тогда в клетчатых гольфах, и было действительно что-то противоречащее между его грациозной неуклюжестью и всей театральной обстанов-

кой. Он оглядывал все окружающее любопытным и недоверчивым взглядом. Он как будто и гордился тем, что его усиленно зовет такой знатный театр, как МХАТ, и вместе с тем недоумевал. Он не то что сопротивлялся — он уступал уговорам, в которых принимали участие не только мхатовцы, но как бы заранее предупреждал, что за печальные результаты опасного эксперимента он заранее снимает с себя ответственность. Но само пребывание в театре доставляло ему явное удовольствие, хотя полностью в горячечную атмосферу театра он погружаться вроде и не собирался.

Но погрузиться ему все-таки пришлось. О том, как это произошло, много раз писалось, в том числе и самим Всеволодом Ивановым. Напомню в кратких чертах эту довольно известную историю. У нас не было пьесы к десятилетию, а иметь ее было необходимо, — и непременно пьесу не парадную, а глубоко народную, вскрывающую высший этический смысл революции. И тогда возникло предложение создать спектакль, состоящий из отрывков, написанных близкими нам писателями и подчиненных единой теме. Константин Сергеевич не верил в такой «эклектический» дивертисмент, но поддерживал начинание, ибо не находил, как и мы, другого выхода. Писатели — Леонов, Булгаков, Замятин, Иванов, Пильняк, Бабель, Катаев — откликнулись на предложение; уже стали поступать отдельные отрывки, но увы, как бы блистательно они ни были написаны, тревога все более росла, — мы приуныли, пока Всеволод не принес инсценировку одного из эпизодов «Партизанских повестей», в которые мы были влюблены.

Я не припомню сейчас, какую именно из двух сцен — «Колокольню» или «Насыпь» — читал впервые Вс. Иванов в тот светлый день в нашем небольшом «литературном» кабинетике, но живо помню, как раннее весеннее солнце заливало комнату — и ту увлеченность, взволнованность, радость. Еще не было ясно, как использовать эту сцену (она никак не ложилась в спектакль с ранее представленными, порою отличными — как у Леонова — сценами), но зато было совершенно и точно очевидно, что без Всеволода Иванова обойтись нельзя, что, так или иначе, прочитанные им сцены лягут в основу будущего спектакля. Впечатление было огорошивающее — и по новизне материала, и по блеску языка и силе обра-

зов, и, главное, по близости к той этической теме, которая волновала театр.

Начали усиленно наседать на Всеволода с настойчивыми убеждениями написать еще одну-две сцены. Всеволод приносил сцену за сценой, — я уже не припомню порядка их появления на свет, но первоначальные картины стали все больше и больше обрастать другими, выявлялись образы, характеры, судьбы человеческие.

Всеволод, однако, не становился увереннее от сыпавшихся на него похвал, но он дружил с актерами. Главнейшими энтузиастами будущего спектакля были Н. Н. Литовцева, И. Я. Судаков и В. И. Качалов, который взялся за совсем для него новую роль сибирского мужика-партизана Вершинина. Качалову Всеволод очень нравился, между ними возникла нежная дружба.

Но внезапно на наших путях возникло препятствие, — вернее, два. На читке пьеса была принята труппой более чем сдержанно. Казалось, что вся наша так дорогая нам затея не сможет осуществиться. Потребовалось много усилий небольшой группы энтузиастов, которая продолжала упорствовать, чтобы все же приступить к репетициям. На репетициях (до летнего перерыва очень немногочисленных) лед постепенно ломался, постепенно зажглись Баталов, Хмелев, Прудкин.

Летом Иванов уехал, уехали и мы. Возвращаясь после летнего перерыва с Кавказа, осенью, я был буквально огорошен известием, что, вопреки всякой логике, «Бронепоезд» запрещен реперткомом, вернее — В. И. Блюмом, напуганным «Днями Турбиных». И. Я. Судаков, уже разработавший режиссерский план, энергично боролся с Блюмом. Путем долгих споров, убеждений, с помощью А. В. Луначарского удалось преодолеть препятствия, и к сбору труппы «Бронепоезд» был разрешен.

Я не буду подробно вспоминать об успехе «Бронепоезда». Он был ошеломляющ, противники МХАТа временно притушили нападки; о самом спектакле, о его центральных исполнителях написано много, подробно и верно. Но порою солнечный образ Станиславского заслонял собою фигуру И. Судакова, который провел фактически подавляющее большинство репетиций и вложил много творческой энергии в спектакль.

Во время премьеры «Бронепоезда», как я уже говорил, Вл. И. Немирович-Данченко отсутствовал. Но по воз-

вращении из Америки, ознакомившись со спектаклем, он стал одним из самых горячих приверженцев и ценителей таланта Вс. Иванова и уже не выпускал его из поля зрения. Это внимание особенно укрепилось во время постановки в МХАТе следующей пьесы Всеволода — «Блокада»...

Совершенно естественно, что после успеха «Бронепоезда» мы стали энергично толкать Иванова на создание новой пьесы. И Вс. Иванов почувствовал тягу к театру, с тех пор стал писать много пьес, из которых далеко не все появлялись на сцене Художественного театра, да и театров вообще.

Немирович-Данченко полюбил во Вс. Иванове многие черты, которые в «Бронепоезде» не выливались в полной мере, да и относительно режиссуры «Бронепоезда» он имел свое, отличное от других мнение. Он ни в коей мере не отрицал ни талантливости спектакля, ни блеска и силы актерских исполнений, ни — тем более — огромного его значения в развитии МХАТа, но он считал, что в спектакле далеко не исчерпаны все стороны таланта и возможностей Вс. Иванова. И когда мы с ним вдвоем обсуждали репертуарные планы театра и пути их сценического осуществления, Владимир Иванович со свойственной ему задумчивой манерой постоянно возвращался мыслью к Иванову. Дело в том, что Немирович-Данченко не мог отказаться от издавна овладевшей им мечты осуществить на сцене МХАТа трагедию, но непременно и безусловно современную трагедию, в которой был бы отражен пафос перерождения страны. И одним из самых близких к этой задаче авторов был для него Вс. Иванов.

Когда Вс. Иванов принес в театр весной 1928 года «Блокаду», Немирович-Данченко жадно за нее ухватился. Пьеса была неожиданной для театра. Вновь в театре вокруг пьесы началась дискуссия. Были ее горячие защитники, были не менее ожесточенные противники, да и в дальнейшем драматургический путь Всеволода был, мягко говоря, довольно труден, — но он упорно, убежденно его продолжал. Не было, на мой взгляд, ни одной его пьесы, вокруг которой не бушевали страсти, — но я не припомню драматурга, который держался бы так стойко, как Иванов. Он никогда не жаловался, не подавал виду, насколько ему больно отсутствие его пьес на сцене. Но

в случае с «Блокадой» он имел мощного защитника в лице Владимира Ивановича. Я до сих пор считаю, что этот спектакль был недостаточно оценен зрителем и критикой. «Блокада» волновала театр темой, неожиданностью образов, а в отдельных своих частях действительно потрясала, — например, сцена ухода красноармейцев и рабочих на Кронштадт. К числу ее побеждающих достоинств относилась прежде всего — как всегда у Вс. Иванова — великолепно вскрытая атмосфера эпохи и обстановки. В «Блокаде» атмосфера Питера 1920 года, пафос идущих на бой отрядов, сила и крепость питерского пролетариата были по-настоящему монументально выражены писателем. И Вл. И. Немирович-Данченко («Блокада» принадлежит к числу его самых смелых и интересных постановок) нашел очень тонкие приемы для выражения нового стиля произведения. Театру приходилось преодолевать некоторые трудности. Вс. Иванову хотелось заглянуть в самую суть человеческой души, в ее «тайное тайных», как назывался один из ранних сборников его рассказов. Рождение нового человека и противоречия роста, победа над старыми чувствами, новое понимание долга было для Вс. Иванова, вероятно, самым главным в пьесе. Ощущая зерно образов, находя для них кованый, насыщенный язык, наполняя их богатством мысли, он порою пренебрегал точной мотивировкой действий и поступков. Но в «Блокаде» жил подлинный пафос, который вызывал ответный отклик зрительного зала, в особенности в финале 3-го акта — поход на Кронштадт — и в сценах Дениски. Вс. Иванов искал новую форму для выражения современности — форму своеобразной современной обобщенной символической трагедии. Действующие лица пьесы жили восторгом эпохи, накал страстей был велик. Актеры любили высокую атмосферу пьесы, тот строгий этический счет, который предъявлял Иванов людям.

На этот раз работа над пьесой заняла гораздо больше времени. В «Блокаде» не было того открытого пафоса, каким непосредственно заражал «Бронепоезд». Проникнуть в глубь созданных Всеволодом образов было отнюдь не легкой задачей. Нужно было найти соответствующий стиль актерского исполнения — очень сосредоточенный, даже кое-где замкнутый. Особенно трудно давалась сложная и противоречивая роль Артема Ка-

чалову. Ему не сразу далась и роль Вершинина, но он в процессе спектаклей ею полностью овладел, и чуждая ему первоначально характерность стала своей, органичной. Некоторые противоречия в образе «железного комиссара» Качалову так и не удалось сгладить. «Блокада» сыграла для театра роль выдающуюся — она была образцом режиссерского мастерства в области создания современного философского спектакля.

Для меня казались непонятными дальнейшие взаимоотношения драматурга и театра. Несколько раз его пьесы в разные периоды вновь читались в театре — то одним Вл. И., которому Всеволод регулярно посылал пьесы, то нами обоими, то группой режиссеров и актеров. Долгое время в театре происходило некое внутреннее противодействие пьесам Вс. Иванова. Иные мне очень нравились: я помню свое увлечение «Главным инженером» — пьесу театр вот-вот был готов взять, но удерживала ее парадоксальность; предложение отпало — Всеволод принял это, по обыкновению, со скрытой усмешкой. Когда много лет спустя я напомнил ему о моем увлечении, он посмотрел на меня как на несмышленыша и явно надо мной иронизировал. Немирович-Данченко настаивал на постановке «Двенадцати молодцов» и «Вдохновения». «Двенадцать молодцов» встретили гораздо более горячий отклик, чем «Вдохновение», не вызвавшее сочувствия руководящего ядра труппы, не сумевшего разгадать особого жанра пьесы.

«Двенадцать молодцов» — пьесу, поразившую общей атмосферой, яркостью характеристик, мощной образностью, напряженностью сюжета, должен был ставить Борис Ливанов, влюбившийся в пьесу, но постановка по каким-то причинам все откладывалась — то нужные исполнители были заняты в других спектаклях, то «Молодцы» уступали место пьесам современной тематики. Вс. Иванов оставался манящим театр, но чем-то и пугающим его автором.

Я же до сих пор убежден, что Всеволод как драматург был очень близок МХАТу и полностью отвечал его внутренним и общественным запросам.

1964

И. Я. Судаков

О ПЕРВОЙ ПОСТАНОВКЕ «БРОНЕПОЕЗДА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ[1]

Это было зимой 1926—1927 годов. Горячие головы и горячие сердца моих товарищей — тут были Баталов, Прудкин, Хмелев, Павел Марков — объединились и объявили себя инициативной группой по созданию спектакля к десятой годовщине советской власти.

Когда театр принял пьесу Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69», нам пьеса понравилась. Станиславский доверил мне постановку.

Составляя план репетиций, я понял, что срок в два месяца — сентябрь и октябрь — недостаточен для постановки столь ответственного спектакля. Свои опасения я высказал Константину Сергеевичу. Он поддержал меня. Было решено актеров, занятых в «Бронепоезде», собрать к 15 августа. Эти лишние две недели можно было репетировать утром и вечером.

Чтобы гарантировать выпуск спектакля в срок, мне дали в помощь режиссера Литовцеву Нину Николаевну. Я выделил ей для работы 1-ю и 7-ю картины пьесы.

Нина Николаевна прекрасно справилась с этой работой. Она приготовила в срок обе картины.

15 августа утром все актеры, занятые в «Бронепоезде», явились на репетицию. С первых репетиций чудес-

[1] Всеволод Иванов сам рассказал в статье «История одной пьесы», как и почему по мотивам повести «Бронепоезд 14-69» была создана им пьеса. Пьеса эта ставилась, вернее, продолжает ставиться уже 47 лет и у нас и за рубежом.

Здесь публикуются воспоминания двух режиссеров разных поколений, ставивших «Бронепоезд». Обоих уже нет в живых. Свидетельства И. Я. Судакова и И. М. Раевского, как бы кратки они ни были, представляют сегодня несомненный интерес. *(Прим. ред.)*

ный образный язык Всеволода Иванова настолько увлек всех актеров, что репетиции пошли в бурном темпе и ритме. Очень часто репетиции принимали патетический характер. Короче говоря, мы за две недели сделали в фойе, вчерне, всю пьесу. И вдруг мы получили телефонограмму из реперткома с требованием прекратить репетиции, так как пьеса запрещена. Я не подчинился требованию реперткома и не прекратил репетиций, а пошел к председателю реперткома тов. Гундобину, спрашиваю его. «Почему запрещена пьеса?» Он ответил: «В пьесе не отражена роль партии в партизанском движении на Дальнем Востоке». Я принял это замечание, я понял всю его серьезность. Надо воссоздать подлинную картину восстания во всей ее широте, конечно, и в пьесе оно должно быть связано с подпольным партийным движением.

Выйдя от Гундобина, я вспомнил, что Всеволод Иванов в Париже; что же я буду делать, где найду слова, чтобы их можно было поставить рядом со словами Всеволода Иванова? Я был в панике. Надо искать эти слова у самого автора. Я достал книгу Вс. Иванова «Партизанские повести». Чутье меня не обмануло. Вот он, член ревкома, матрос Знобов, просторами Приморья мчится он на телеге от села к селу и зажигательными речами мобилизует хлеборобов и охотников к бою. . . Его, матроса Знобова, я и выпустил на колокольне с призывной речью к мужикам идти на город.

Слова, выражающие руководящую роль партии в партизанском движении, были найдены мною у самого Всеволода Иванова.

Через неделю было получено разрешение на постановку «Бронепоезда 14-69».

Актеров о запрещении пьесы я не извещал, так что темп репетиций не был нарушен. А Всеволод Вячеславович по приезде одобрил меня и выправил вставленный мною текст в сцену на колокольне. Когда Всеволод Иванов присутствовал на репетиции, он как-то странно улыбался. Только потом, когда спектакль шел на сцене с успехом, Всеволод признался, что он не верил, что из наших усилий получится что-либо путное. Он считал материал пьесы несценичным. Константин Сергеевич, просмотрев половину спектакля, распорядился делать декорации, а мне велел переходить с актерами на сцену. Он поверил в спектакль.

Спектакль прошел 300—400 раз. Он выдержал испытание временем.

Осенью 1928 года Всеволод Иванов дал театру свою пьесу «Блокада». Владимир Иванович пожелал сам ставить «Блокаду» и предложил мне помогать ему, но при этом он сказал: «Предупреждаю вас, что я не дам вам полной свободы, я сам буду вмешиваться в работу». Я, желая поучиться режиссуре у Владимира Ивановича, немедленно согласился. Начать работу довелось мне одному. Вл. Ив. пришел на репетицию недели через три. За эти три недели я выбросил из пьесы вторую сцену, а на ее место перебросил сцену из середины пьесы. Вл. Ив. сразу заметил эту мою ошибку: «Позвольте, где же вторая сцена и откуда появилась новая сцена?» Я начал объяснять мои мотивировки переделки пьесы. Как раз пришел на репетицию Всеволод вместе со своей супругой. Вл. Ив. обратился к Всеволоду: «Я тут воюю за вашу пьесу — ее уродуют». И он навалился на меня, разбив меня в пух и прах, он тут же начал излагать свой план постановки героической трагедии — так он определил стиль этого спектакля. Я смирился и с этого дня с увлечением старался осуществить план моего учителя.

Из этого урока я понял раз и навсегда, с какой осторожностью надо относиться к пьесе и ничего не изменять без автора.

«Блокада» не имела такого успеха, какой выпал на долю «Бронепоезда 14-69», но на людей, понимающих и любящих театр, спектакль «Блокада» произвел более сильное впечатление.

Я должен со всей силой убеждения заявить, что пьесы Вс. Иванова дали послереволюционному Художественному театру то дерзновенное революционное звучание, которое сделало наш театр поистине революционным театром, и помог нам в этом в начале пути революционер-драматург Всеволод Иванов.

1965

И. М. Раевский

О ВТОРОЙ ПОСТАНОВКЕ «БРОНЕПОЕЗДА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ

В январе 1963 года МХАТ отмечал 100 лет со дня рождения К. С. Станиславского. В этот торжественный день шли акты из пьес, поставленных Станиславским, и среди них — сцена «На колокольне» из спектакля «Бронепоезд 14-69». После огромного успеха этой сцены на вечере памяти Станиславского театр решил вернуться к теме «Бронепоезда» и поставить пьесу заново. Работу над постановкой этого спектакля поручили мне. Я, естественно, сразу же связался с Всеволодом Вячеславовичем, он охотно встретился со мной, и я почувствовал в беседе, что он очень взволнован возвращением к работе над его любимым детищем. Говорили и о составе исполнителей. Я предложил молодой состав. Я знал, что невозможно в точности восстановить старую постановку. Надо, чтобы молодое поколение зажглось, увлеклось работой над пьесой. Вс. Иванов с этим согласился и благословил начать работу.

Мы репетировали вторую картину «У берега моря», где сложные характеры Вершинина, Пеклеванова, Обаба и рыбаков раскрываются в сложных обстоятельствах. Картина трагическая, написана Ивановым очень скупо. Удивительно ярким, образным народным языком говорят его герои. Своеобразная, точная, мудрая, умная речь у Пеклеванова. Что и говорить, материал богатый. Работали мы с увлечением, и когда сцена была внутренне пережита актерами, я предложил пригласить на репетицию автора. Актеры заволновались, но согласились. Это был, пожалуй, самый ответственный момент в работе. Придет автор, который столько раз видел свое создание. Что скажет? Примет ли Вершинина? Как отне-

сется к Пеклеванову? И наконец день этот наступил. 23 мая 1963 года Всеволод Вячеславович пришел на репетицию с женой Тамарой Владимировной, удивительно душевной и строгой «болельщицей» новой работы. Он вошел в репетиционный зал, как входил и тридцать шесть лет тому назад. Тепло всем улыбнулся, сел за режиссерский стол (мы сцену показывали в репетиционном помещении). Я смотрел не на актеров, а — осторожно — на него. Дошли до куска, где Вершинин узнает о гибели своих детей. И вдруг Всеволод Вячеславович снимает очки, лезет за платком и вытирает глаза. Неужели он так взволнован? По окончании сцены я не спросил о причине его волнения, но про себя думал: если Горький, читая «На дне», во время сцены Луки и Анны, смахнув слезу, сказал о себе: «Хорошо написал», то и Вс. Иванов, слушая сцену «У берега моря», имел право думать то же самое. Он действительно хорошо написал.

Кончилась репетиция. Наступила пауза. Потом Всеволод Вячеславович сказал, что он доволен просмотром и что для него самое приятное то, что хотя он видел бесконечное количество раз пьесу, сегодня услышал живые, свежие интонации. Значит, актеры идут своим путем, и это — хорошо. Он каждому сказал теплое слово и сам был весь какой-то озаренный. Я так волновался, что ничего не записывал. Всеволод Вячеславович одобрил исполнителей, пожелал нам дальше работать в том же духе и обещал приходить запросто на репетиции. Мы очень обрадовались и никак не могли предположить, что это была последняя наша встреча, последний приход Вс. Иванова в Московский Художественный театр.

Я лично виделся с Всеволодом Вячеславовичем еще один раз, в июне месяце, у него на даче. И тогда, в эту последнюю встречу, ни по его поведению, ни по разговорам я никак не мог предположить, что вижу его в последний раз. Мы очень интересно беседовали и продуктивно работали. Всеволод Вячеславович поправлял отдельные куски текста, возвращался в разговоре к просмотренной репетиции, радовался, что пьеса опять готовится к годовщине Великого Октября. Оставил обедать. За обедом было все семейство, сыновья, внуки. Все курчавые. Все Ивановы. Он сидел, щурил глаза и улыбался. На прощание подарил мне книгу своих рассказов, и таким, каким я видел его в последний раз, таким он и

остался в моем сердце. Окруженный множеством книг, стоящих на полках, лежащих на столе, на стульях, на диване, богатый духом, удивительно тепло озаренный какой-то внутренней улыбкой.

Прошел год со дня новой постановки «Бронепоезда 14-69», и опять 7 ноября 1964 года, как и 7 ноября 1927 года, зрительный зал был полон и со сцены МХАТа актеры с большим волнением произносили слово «Ленин». Вс. Иванов остался для нас живым, ведь он подарил театру свое прекрасное творение, которое еще долго будет волновать сердца людей, и всегда мы будем с благодарностью вспоминать чудесного художника Всеволода Вячеславовича Иванова.

1965

Лев Никулин

О МЯТЕЖНОЙ И ГОРДОЙ МОЛОДОСТИ

Трудно в точности вспомнить, когда произошла моя первая встреча с Всеволодом Ивановым. По свойству характера он или завязывал товарищеские, добрые отношения, или оставался равнодушным к новому знакомству. Когда же товарищеские отношения возникали, то казалось, что это старая дружба. Вернее всего, знакомство произошло в начале двадцатых годов, возможно, в редакции журнала «Красная новь», в унылом, пропыленном конторском помещении по Кривоколенному переулку, или в Леонтьевском, в тесных комнатках, где помещалось издательство «Круг». Но чаще всего мы встречались в Доме Герцена. Всеволод Иванов жил неподалеку, в полуподвальной квартире на Тверском бульваре.

То было время, когда в редакциях и Доме Герцена встречались люди разных поколений, разной биографии и литературной судьбы — Андрей Белый, Вересаев, Иван Новиков, Борис Пильняк, Андрей Соболь, Новиков-Прибой. Каждая биография была по-своему интересна: если Пильняк появился из подмосковного уезда, то Андрей Соболь был политическим каторжанином, Алексей Силыч Новиков-Прибой — старый матрос царского флота, участник боя при Цусиме, а Александр Георгиевич Малышкин, флотский офицер в прошлом, стал красным командиром, штурмовал Перекоп. Но особенно привлекала меня биография Всеволода Иванова — его жизненный путь матроса, наборщика, циркового артиста, писателя, открытого Горьким. Всеволод был не слишком щедрым на рассказы, но когда он вспоминал свои зло-

ключения, его слушали с изумлением, и становилась понятной сила и своеобразие «Партизанских повестей».

Возможно, что наше знакомство не имело бы особенных последствий, если бы не появился в литературной среде того времени один наш общий приятель, забавный, суматошный молодой человек — Андрей Малышев. Одно время он состоял при Литературном институте, ректором которого был поэт Валерий Брюсов, потом Андрюша был кем-то вроде секретаря при Театре Мейерхольда, и это было естественно, именно такой яростный спорщик, шумный и темпераментный, мог понравиться Мейерхольду, но и в его театре не удержался Малышев. Он стал бескорыстным и верным почитателем Всеволода Иванова, его тенью, в те годы странно было видеть рядом с задумчивым и не очень разговорчивым Всеволодом шумного Андрюшу Малышева, извергающего потоки бессвязных слов. Всеволод слушал его и, только вздыхая добродушно, говорил:

— Ведь все врет.

Это вызывало новое извержение клятв, взрыв возмущения, негодования. Никакие выгоды не связывали Андрюшу Малышева с литераторами того времени, он был просто верным товарищем тех, кого любил, и нетерпим по отношению к зазнавшимся и просто бездарным. Тогда он становился невозможным, резал правду в глаза, попросту ругался, и это ему прощали за его бескорыстное и иногда комичное правдолюбие.

Именно Андрюша Малышев дал нам идею отправиться за границу, не только дал эту идею, но был той толкающей нас силой, которая осуществила эту поездку. И в этом путешествии во Францию и Германию, когда люди в течение почти двух месяцев видятся ежедневно, и притом каждый день видят нечто новое, — я узнал ближе Всеволода Иванова.

Надо сказать, что в то время, в 1927 году, и раньше поездка за границу была не легким делом, не то что сейчас, когда туризм стал бытовым явлением и никого особенно не удивляет путешествие писателя в Японию, Сан-Франциско, на Цейлон, а поездка в Берлин и Париж и подавно никого не может удивить. Мы же тогда не очень верили в эту поездку — формальности, анкеты, визы, валюта... Вот тут и проявил свой административный талант Андрюша Малышев, увлекая нас с собой,

заставляя проделывать все формальности. Он доказывал Всеволоду: раз Борис Пильняк ездит за границу, то Всеволоду Иванову и подавно надо людей посмотреть и себя показать, тем более потому, что во Франции перевели и издали «Бронепоезд 14-69». Но, разумеется, не эти доводы действовали на Всеволода Иванова, а интерес к Западу, к «святым камням» Европы. Для него оставалось тайным многое, о чем он думал в глуши городка Кургана, когда огромным усилием воображения создавал в своем представлении шедевры египетского, античного, византийского искусства, искусства средневековья и даже картины импрессионистов.

И вот наконец перед нами лежат две красные книжки — заграничные паспорта с германской и прочими лимитрофно-транзитными визами.

Хотя Малышев со своей обычной экспансивностью всюду рассказывал, какая триумфальная встреча ждет автора «Бронепоезда» в Париже, но у нас даже не было французской визы, тогдашний посол Франции месье Эрбет неохотно давал визы советским гражданам. Однако все решено и взяты железнодорожные билеты Москва — Берлин. Накануне отъезда мы провели вечер у Тамары Владимировны Кашириной, которая немного позже стала женой Всеволода Иванова. Мне показалось тогда, что Всеволоду не очень хотелось уезжать из Москвы, хотя я редко встречал такого легкого на подъем путешественника, для него даже путешествие пешком в Индию из уездного городка Кургана казалось в юные годы вполне осуществимой мечтой.

Конечно, Малышев провожал нас, бушевал, бежал рядом с набирающим скорость поездом и что-то кричал...

В вагоне Всеволод заметил, что хорошо уже то, что мы на время отдохнем от Андрюши.

Мне было интересно, как воспримет Европу русский писатель с такой сложной биографией, получивший, как он сам говорил, «законченное образование — один год в низшей сельскохозяйственной школе».

Все-таки в Москве мы встречались в суете, были, конечно, приятные встречи, когда приезжали ленинградцы — Зощенко, Груздев, в полуподвальной квартире Всеволода на Тверском бульваре появлялся Павел Сухотин, поэт-мечтатель и романтик Константин Большаков; все

были молоды, любили пошуметь, посмеяться, подшутить над купленной Всеволодом громадной антикварной фарфоровой вазой — такая штука была бы к месту в двусветном зале барского особняка, а не в полуподвальной квартире или на дачке в Голицыне.

В этой же тесной квартире частым гостем был Александр Константинович Воронский, редактор «Красной нови» и критик, статьи его могли извлечь из неизвестности молодого автора, однако он был очень простым в обращении, по-товарищески благожелательным. Провинциал, начинающий писатель, приехавший в столицу из Сибири и посетивший Всеволода Иванова, спрашивал, как бы увидеть самого Воронского, и ему показывали на незаметного человека, сидевшего на подоконнике и углубившегося в старинную книжку, купленную кем-то на развале.

Итак, мы отправлялись поглядеть «святые камни» Европы. Всеволод глядел в окно и говорил: «То же небо, те же избы, та же земля, и, странно, это и есть заграница».

Мелькнул деревянный вокзал Риги, ночью Данцигский коридор, и зазвенели шпорами щеголи — польские пограничники. Утром Германия — другой пейзаж: кирпичные домики, острый шпиль лютеранской церкви; наконец Берлин. Поезд гремит по виадукам, мелькают закопченные дома, один за другим вокзалы — Фридрихбанхоф, Цообанхоф.

Это Берлин довоенный, то есть Берлин до второй мировой войны. На немецких почтовых марках красовался «старый господин» — президент Гинденбург. Уже утвердилась «твердая» валюта, инфляция кончилась. Курфюрстендам сиял огнями реклам. Мы остановились в пансионате господина Эшенберга на Тауценштрассе.

Мне было любопытно, как воспримет Берлин Всеволод Иванов. Он воспринял Берлин двадцатых годов как нужно. Скучал. В Москве нам казалось, что мы одеты вполне прилично, но оказалось, что надо было одеться по-здешнему. В «Кадеве» — Кауфхауз-дес-Вестенс, чтобы не обращать на себя внимания, Всеволод купил себе широкие спортивные штаны, они заправлялись в шерстяные чулки, купил шляпу и сразу стал похожим на здешнего обывателя, похожим настолько, что к нему обращались по-немецки. А он утверждал, что знает одно

только немецкое слово «und» — «унд», что значит «и». На вопросы, с которыми к нему обращались немцы, он отвечал единственным односложным словом «унд». И этим повергал немцев в столбняк.

Однако за границей я понял, чего может достигнуть человек с «законченным образованием» — один класс сельскохозяйственного училища. В Германии и особенно во Франции я понял, насколько глубока была эрудиция Всеволода Иванова, как велик у него был интерес к культуре, к знаниям. Ни диплом университета, ни ученое звание не дали бы человеку подобной эрудиции, понимания чужеземной культуры, какая была у этого писателя, вышедшего из низов. И как он остро ощутил тоскливый, бюргерский быт, понял и отверг этот обывательский быт, «гемютлигкайт» немецкого обывателя, филистера. Берлин, в особенности Курфюрстендам, сохранил в те времена уныло-казарменный, с претензией на грандиозность архитектурный стиль столицы кайзера Вильгельма. А мы покинули Москву двадцатых годов, со старой Тверской и прелестями старого Охотного ряда, — все-таки Берлин не произвел ошеломляющего впечатления на Иванова.

Мы прожили здесь две недели, занимались добыванием французской визы, ходили в Цоо — Зоологический сад, в «Винтер-гартен» — мюзик-холл. Всеволода интересовали фокусники, иллюзионисты, он говорил, что все их чудеса от хорошей аппаратуры:

— Когда б у меня была такая, я был бы знаменитостью.

Мы посетили Марию Федоровну Андрееву. Она заведовала киноотделом торгпредства, и кинодельцы немцы восхищались ее светскостью и деловитостью. Но более всего удивляло их, что эта красивая дама — член партии большевиков с дореволюционным стажем, актриса, комиссар зрелищ в Петрограде в годы гражданской войны. Мария Федоровна приняла нас радушно, ей было приятно вспомнить, как она, комиссар петроградских театров, играла Эмилию в «Отелло». «А вот теперь, видите, торгую фильмами, научилась торговать».

Как всегда разумная, деловая, Мария Федоровна дала нам дельный совет, она указала нам на некоего адвоката Залемана, который поможет нам получить французскую визу.

Мы покидали Берлин 1927 года. Поглядели на Бранденбургские ворота, не думали мы и не гадали, что́ именно произойдет здесь в мае 1945 года, не думали об этом и солдаты рейхсвера, которые шагали с музыкой по Унтер-ден-Линден, — довольно обычная картинка в Берлине того времени.

Итак, ночью мы пронеслись через Германию, в зареве электрических огней промелькнули «Кельна дымные громады» и затем Бельгия в розовых отсветах доменных печей.

Чтобы сразу отделаться, первую парижскую ночь мы не спали, провели ее на Монмартре, изумляясь количеству эмигрантских русских увеселительных мест с балалаечниками, шашлыками, лезгинкой, цыганами. Русская эмиграция внесла свою лепту в развеселый Монмартр, который, пожалуй, был даже более развеселым, чем сейчас. Впрочем, взыскательные парижане восторгались «темнокожей Венерой» — Жозефиной Беккер. Не заметил я ни тени ханжества, лицемерного негодования, когда мы смотрели «ревю», — Всеволод смотрел на гирлянды обнаженных девиц, изображающих оргию в древнем Риме, отлично понимая, что это род «национальной промышленности», рассчитанной главным образом на иностранцев.

Разделавшись с Монмартром, мы обратились к подлинно высокому искусству. В Лувре мы прошли нижним этажом к Венере Милосской.

Здесь я в первый раз услышал:

— Одной тайной меньше.

Посмотрев на Джоконду, Всеволод снова сказал:

— Одной тайной меньше.

В Нотр-Дам, соборе Парижской богоматери, он повторил те же слова, но разъяснил их:

— В уральской глуши, в Сибири, читая Гюго, я представлял себе собор Парижской богоматери, это было мучительно, нужны были огромные усилья воображения, и все-таки и Венера Милосская, и Джоконда, и собор оставались для меня тайной. Теперь тайна за тайной открываются мне, и это радостно, и в то же время больно расставаться с мечтой.

В поисках новых и новых тайн Всеволод был ненасытен. Он вставал рано, добродушно, но настойчиво застав-

лял меня подниматься, и мы совершали наш тур, намеченный на этот день, или просто бродили по бульварам и улицам Парижа. Чтобы не стеснять нашего радушного хозяина Алексиса, мы переселились в скверную, но недорогую гостиницу вблизи Триумфальной арки. Была ранняя осень, на бульварах, в парках листва была золотая, и Париж был красив, как всегда в это время года.

Хемингуэй писал: тому, кто в молодости жил в Париже, парижская жизнь казалась вечным праздником. Да, это верно, в 1911 году в Париже мне, двадцатилетнему, эта жизнь казалась праздником, если бы не соблазнительные запахи из кафе и ресторанов в обеденные часы и если бы студент мог позволить себе раз в месяц обед хотя бы у Покарди на Больших бульварах. Я рассказал об этом, и Всеволод тотчас решил, что надо осуществить эту мечту молодости.

Мы обедали у Покарди, в этом старинном ресторане когда-то, в 1814 году, пировали русские гвардейские офицеры после взятия Парижа.

Мы отдали должное вину кианти и итальянской кухне, когда к нашему столу подошел высокий элегантный блондин и сказал, обращаясь ко мне:

— Надеюсь, мы с тобой поздороваемся?

Это был приятель моей молодости, поэт и артист Александр Вертинский. Всеволод смотрел на него с любопытством, диски с песенками певца были в моде в Москве, но еще с бóльшим любопытством Вертинский смотрел на Всеволода Иванова.

— Я читал вашу книгу, но я думал, что увижу сибирского казака. — И он пригласил нас в русский ресторан «Эрмитаж».

— А скандала не будет? Мы ведь советские, — сказал я.

— Никаких скандалов, никаких историй, русские там почти не бывают. Ресторан дорогой. Но вас это не должно пугать. Вы мои гости, я буду петь для вас.

Скандала не было, но «история» все же была. Мы сидели близко от эстрады, на эстраду поднялись четверо певцов, одетых в костюмы хористов из «Бориса Годунова», и запели:

Как ныне сбирается вещий Олег...

Все было прилично, как вдруг, глядя в нашу сторону, эти господа грянули:

Так за царя, за Русь, за нашу веру
Мы громко грянем русское «ура»!

Всеволод захохотал так, что на нас стали оглядываться. Он хохотал искренне, до слез, долго не мог успокоиться, так потешили его ряженые. Смех шел из глубины души, он был естественной реакцией на фанфаронство комедиантов, устроивших смешную демонстрацию специально для нас, москвичей из красной Москвы.

Вертинский был смущен и довольно громко обозвал певцов нехорошим словом.

Кстати, я знал глубоко народную, истовую ненависть Всеволода к белым, но он понимал, что здесь, на чужбине, у некоторых открылись глаза и явно или тайно они стремились на родину.

В то время, когда Иванов был во Франции, Московский Художественный театр репетировал его пьесу «Бронепоезд 14-69»; помнится, что Всеволод не верил в успех спектакля, по крайней мере в то время. Но он уже подумывал о возвращении в Москву, парижские впечатления остывали, и мы предприняли поездку в автомобиле по Франции, тогда подобные экскурсии были не очень распространены. Володя, русский студент, которого судьба сначала забросила в погонах прапорщика на Румынский фронт, а потом на «облучок», за «баранку» такси, взял это дело в свои руки и нанял напрокат «ситроен» на две недели. В одно дождливое утро мы выехали из Парижа и сделали первую остановку в Шартре. Каменное кружево Шартрского собора потрясло нас, и особенно светящиеся, как мозаика драгоценных камней, витражи.

Вот когда еще раз прозвучали слова: «Одной тайной меньше».

Вместе с тем Всеволод с радостью и гордостью говорил о том, как хорошо для нашей страны то, что она молода — собору в Шартре одиннадцать веков, а Москве около восьмисот лет, Ленинграду двести с лишним лет. Конечно, старина внушает почтение, но как не радоваться тому, что мы моложе — и это значит, что будущее принадлежит нам, молодым.

Впрочем, в этом русском писателе не было ложного русофильства, которым прикрываются невежды. Ночью

мы бродили по городу Шартру, по улицам, где могли разъехаться только всадники, где, вероятно, живописно выглядели дамы, восседавшие боком на муллах. Стены старых домов, кровли, даже фонари — все было объемной иллюстрацией к романам Дюма-отца. Мы долго стояли на древнем каменном мосту, над заросшей камышами речкой. Она текла прямо под стенами домов, под решетчатыми ставнями — жалюзи. Все это любовно и даже чувственно воспринимал человек, выросший среди сложенных из бревен домов, в глуши уездных зауральских городов.

Когда мы вернулись в Париж, знакомые спрашивали Всеволода о самом интересном, что мы увидели, проехав 1500 километров по Франции; он с хитрой усмешкой отвечал:

— Самое интересное? Поп на мотоцикле.

И радовался этой шутке.

Между тем из Москвы пришли известия, что «Бронепоезд 14-69» Художественный театр покажет к десятилетию Октября и автор нужен театру. Была еще причина, призывавшая Всеволода в Москву, но мы могли только о ней догадываться. Мы проводили его, я остался еще на месяц во Франции.

12 октября 1927 года Всеволод Иванов писал мне из Москвы о «Бронепоезде»: «Репетиции идут вовсю. Прекрасно играет Качалов».

О том, какой ошеломляющий успех имел в театре «Бронепоезд», много писали, и этот успех удивил самого автора. Почти забыта другая пьеса Иванова, «Блокада». Мне она была близка по духу в те грозные годы, а годы блокады эпохи гражданской войны я жил в Петрограде; есть в этой пьесе волнующий момент, когда в типографии, где многие месяцы светили лампадки с коптящими фитильками, впервые слабым, мигающим светом начинала светиться электрическая лампочка. Но для того, чтобы понять этот символический свет, надо было пережить минувшие годы и такие события, как Кронштадтский мятеж, и зарю восстановительного периода. И потом — могли ли мы думать тогда, что городу Ленина придется пережить еще одну блокаду в полном смысле слова, девятьсот героических дней обороны города во вторую мировую войну...

* * *

Всеволод мужественно переживал неудачи. После того, как вышли в свет рассказы «Тайное тайных», в чем только не обвиняли его — в проповеди бессознательного, в бергсонианстве, фрейдизме. Позднее он писал о том, что его интересовали люди, не умевшие ясно выразить свою мысль, поэтому они стали скрытными, замкнутыми, раздраженными, и надо было открыть читателям тайны их сердца, сделать тайное явным. Думаю, что солипсизм, который признает реальностью только самого человека, отрицает существование внешнего мира, был абсолютно чужд Всеволоду Иванову, реалисту, жадно впитывавшему в себя все проявления жизни. В этом я убедился в наших заграничных странствиях.

Неизменным было внимание, уважение Горького к Всеволоду Иванову.

Мы встречались с Алексеем Максимовичем не только на совещаниях и заседаниях, которых было много, но и по таким личным поводам, каким был, например, день рождения Максима Пешкова, сына Горького. Однажды получился импровизированный костюмированный вечер, в котором принял участие и сам Горький в каком-то необыкновенно пестром халате и тюбетейке, слегка загримированный Максимом Пешковым.

Было весело, непринужденно весело, не испортил настроения даже тот гость, о котором Всеволод мне сказал одну фразу, — я не смог ее понять тогда, понял значительно позже. Этот человек руководил одним весьма серьезным учреждением. За столом говорили о предстоящем приезде в Москву Эдуардо Эррио — государственного деятеля Франции, о том, что Алексею Максимовичу следовало бы побеседовать с ним. Между прочим я сказал:

— Эррио, кажется, масон.

И вдруг руководитель весьма серьезного учреждения бросил:

— И вы тоже масон.

О масонах я имел представление только по роману Соловьева «Великий розенкрейцер». Потихоньку я сказал об этом Всеволоду. Он мне ответил тоже потихоньку:

— А он, если захочет, сделает из вас масона.

Над этими словами следовало призадуматься.

В осуществление замысла Горького состоялась поездка писателей на Беломорско-Балтийский канал. Всеволод, так же как многие из нас, был увлечен тем, что видел, в особенности «перековкой» заключенных, но все же от него не укрылось то, что теперь метко называем словом «показуха».

В 1929—1930 годах я жил несколько месяцев в Париже, и меня очень радовали письма Всеволода.

«Не писал я вам и не отвечал целое столетие. За оное столетие произошло много событий, я уехал с Тверского бульвара, у меня квартира на Первой Мещанской и родился сын. Кроме того, я написал роман «Кремль», который намереваюсь выпустить в конце или начале года, и в конце того же года хочется мне поехать в Париж. В городишко этот я собираюсь поехать с актером, таким В. Ключаревым, вам, наверное, известным... Но вопрос, доживете ли вы до конца года в Париже или у вас не хватит пороху и вы сбежите в наши благословенные московские края. Роман «Кремль» мне хотелось бы послать на издание на немецком языке, но после известной вам истории с Пильняком посылать рукопись боюсь, потому, черт их знает, возьмут да раньше, чем печатать на немецком, тиснут у белогвардейцев на русском, а там доказывай... Все хорошо, но денег нету, убухал я на квартиру и влез в долги, а теперь не знаю, как из них выбираться. В Париж, буде попаду, по объективным причинам, как говорится, — думаю, поеду ненадолго, так как весну мне хочется провести на Волге и лето там же: не жарко и писать легко».

К письму необходимо примечание: в этом письме появляется неутомимый Андрей Малышев, который умудрился, прогуливая собаку, чуть не угодить под трамвай, он уцелел, а собака погибла.

Всеволод по этому поводу пишет:

«Малышева я с того времени, как он у меня собаку задавил, не видал... вскоре после того звонит мне по телефону: «ужасная история, говорит, нельзя ли к тебе прийти на минутку и не можешь ли ты помочь. Обвиняют меня, понимаешь, в бюрократизме, и завтра уже и дело то в РКИ слушаться должно»... Так гибнут карьеры.

Сообщите мне вашу жизнь и подвиги, я же буду информировать вас дальше о тех мыслях, которые я имею

насчет поездки во Францию, ибо вряд ли меня туда на следующий год пустят, потому что в романе моем я описал «Жизнь и гибель неизвестного солдата», где Франция выведена довольно обидчиво».

Письмо это относится к концу 1929 года, и Всеволод Иванов в нем пишет о почти законченном романе «Кремль», который не опубликован еще и до сих пор; в романе описан кремль в старом русском провинциальном городе.

Еще в одном письме Всеволод сообщает, что его знакомые, два писателя, «написали по индустриальному роману, а мой не удался, и вообще я им недоволен. Вообще, все пишут индустриальные романы и все пишут плохо, так как дело не знают, а одним оптимизмом не проживешь». [. . .]

«Слушайте, не подвернется ли вам там Истрати! Дайте ему в морду от имени всех московских писателей, которые теперь говорят: «да мы предвидели», а все его целовали и кормили блинами, а провидцем-то оказался я, потому что я единственный, который отказался с ним знакомиться».

Панаит Истрати в ответ на гостеприимство отплатил москвичам, как известно, клеветническими писаниями.

Письмо заканчивается так:

«Привет от Тамары Владимировны и от сына моего Вячеслава, ему уже 2 месяца и 5 дней».

* * *

Запомнилась мне поездка с Всеволодом Вячеславовичем в Ростов-Ярославский, Ростов-Великий. Ехали мы в автомобиле Максима Пешкова, с благословения Алексея Максимовича, который, если бы позволило здоровье, поехал бы сам. Но дороги в то время не были приспособлены для автотуризма, в этом мы вполне убедились. Однако мы благополучно миновали Загорск, Переяславль-Залесский и добрались благополучно до Ростова-Ярославского. Всеволод, еще в Москве, мне описывал красоту розового Ростовского кремля и озера, которое называется почему-то Неро, такое сверхзападное, можно сказать, название. Все оказалось так, как говорил Всеволод, удивительно красиво, восхитительно, и он радовался, глядя на наше восхищение. А потом в митропо-

личьих покоях мы были потрясены, солнечные лучи-стрелы проникали в узкие решетчатые оконца, озаряя местами осыпавшуюся древнюю роспись. Мы шли тесными переходами, гулко раздавались шаги и голоса, временами казалось, что, сгибаясь под сводом, вот сейчас, сию минуту, войдет стрелец или боярин, как в «Царе Федоре» в Художественном театре.

А озеро Неро, как овальное зеркало! А розовые стены кремля!

Возвращались мы по старому тракту, дорога то пряталась в косогорах, то лежала прямая, как нож, разрезая осенние в багрянце леса. Потом был привал на лесной поляне и не придуманная, а самая настоящая встреча с восьмидесятилетним старцем, дедом, и детишками в красных галстуках, возвращающимися из сельской школы. Разговоры со стариком о хорошем и плохом, о непорядках, потому что приемку картофеля производят не в колхозе, на месте, а заставляют везти за восемнадцать километров.

Возвращаемся в Москву, но за сто километров — авария, и мы долго возимся с машиной. Наконец трогаемся, и на рассвете — в Москве, это в тот самый день 30 октября 1933 года, когда над Москвой светилось серебряное пятнышко стратостата «СССР».

Ездили мы не торопясь, три дня, и это было чудесное путешествие, со вкусом, любованием природой, памятниками древней Руси; в сущности, это были последние безоблачные, радостные дни.

Первым ушел Максим Пешков, ушел навеки наш товарищ, человек легкого, непоседливого характера, одаренный чувством юмора и такта, понимающий, как сложно быть достойным сыном великого писателя. Это был душевный человек, верный помощник отцу, и мы знали, как тяжело пережил утрату сына Алексей Максимович.

В июне 1936 года мы прощались навеки с Горьким.

Он не только вывел в люди поколение молодой советской литературы, он был справедливым судьей, он не морализировал, не поучал, не раздавал лавров, но при нем не видно было лезущей вперед самоуверенности, высокомерия, надменности, сановитости. Просто и уважительно относиться друг к другу призывал нас Горький.

Литературная судьба Всеволода Иванова была далеко не легкой. Он однажды писал о «гибком мужестве», то есть о том, чтобы не сломиться под напором неудач, а быть гибким, гнуться, но выпрямляться и смело идти по однажды избранному пути. Он искал свою тему, большую и глубокую, искал на полях сражений Отечественной войны, после войны искал в дальних странствиях, на необъятных пространствах Казахстана и Сибири. В последние годы мы встречались не часто. Но почти всегда в годовщину кончины Горького, в доме на Малой Никитской, теперь улице Качалова, там, где много раз видели и слышали Алексея Максимовича. Один за другим уходили из жизни те, кто часто бывал в этом доме, — Алексей Толстой, Сейфуллипа...

В начале осени в 1963 году, в том Париже, где тридцать шесть лет назад мы бродили по улицам, в Тюильрийском саду, развернув газету, я прочел весть о смерти Всеволода Иванова.

И я не могу найти слова, чтобы в полной мере выразить скорбь об этом человеке, одном из самых одаренных, светлых, мужественных людей нашей мятежной и гордой молодости.

1964

Михаил Иванов

ВСЕГДА В ПУТИ

В начале тридцатых годов мы жили на Мещанской, в старом двухэтажном доме. Топили дровами, и часто бывал угар, и нас, детей, выводили «проветриваться» во двор. Двор был большой и выходил на улицу между Рижским вокзалом и Сухаревой башней. Гуляли мы обычно в Ботаническом саду, патриархальная тишина которого нарушалась лишь изредка вторжением школьников, игравших в снежки и накатывавших снежные комы, казавшиеся мне циклопическими. На пути домой пестрая толпа Мещанской и удивляла меня, и давала повод для беспокойства. Это было время смутных детских тревог от виденного на улице: то это был какой-то подозрительный субъект на рынке со злым лицом, то беспризорные у котла, то уже само Зло, вернее, его результат — мертвое тело под забором у вокзала, прикрытое рогожей и запорошенное снегом. Или это было впечатление от того, как канатом стаскивали с церкви крест, и когда он закачался и потом упал на улицу, закричали старухи.

Тогда мне казалось, что отец сильнее зла, и от детских страхов не оставалось и следа, когда он приходил домой, веселый и разрумянившийся от быстрой ходьбы.

Отец очень любил Москву, прекрасно ее знал. Его ежедневные многочасовые пешие прогулки всегда вносили разнообразие в жизнь нашего семейства. Действительно, Москва тогда была «маленькая», и, пройдя по городу, он успевал не только заметить несколько интересных сценок, о которых нам по приходе рассказывал, но и повидать много знакомых у букинистов, в редакциях или просто на улице. Таким образом, Москва была

для него как бы большим клубом, местом общения и передачи новостей.

Он приходил возбужденный, с массой рассказов и обязательно с покупками. Он приносил книги, редкие лубки, марки. Из оттопыренных карманов вынимал кедровые орешки, фисташки или восточные сладости. Там мог оказаться и какого-нибудь невыразимого запаха новейший сыр в фаянсовых горшочках, и тульские пряники, и еще пряники какого-нибудь другого города (но обязательно с надписью), и, наконец, самое заманчивое для детей, передававшееся конфиденциально, чтобы избежать конфискации как «антисанитарные», — купленные на Сухаревке петушки на палочке и китайские бумажные фонарики сказочной расцветки. Легким движением палочек отец выворачивал фонарик наизнанку, и тогда вместе с многократным изменением формы беспрестанно менялся и цвет,

Когда я подрос, отец стал иногда брать меня с собой. Теперь мы жили уже в Лаврушинском переулке, в единственном тогда большом доме, вокруг которого раскинулось одноэтажное Замоскворечье. Зимой это было царство снега и инея, из которого то здесь, то там выглядывала колокольня или купола церкви. Мы выходили на Ордынку, заваленную рыхлым весенним снегом, желтым от лошадей, везших розвальни на базар на Болотной площади, и через Балчуг направлялись к мосту.

Пока мы шли из Замоскворечья к Кремлю, а потом с добросовестностью археологов изучали запутанный многоэтажный лабиринт Зарядья, отец пользовался случаем, чтобы объяснить мне идею градостроителей прошлого, использовавших московские холмы как подсказку природы, где надо ставить уникальные здания или их группы, которые являлись бы смысловым и архитектурным ключом ко всему, что лежало в их подножии. Отца уже тогда тревожила проблема нового города, и ему казалось, что дело не в многоэтажности новых домов, а в том, что архитекторы нарушают исконный принцип застройки Москвы.

— Высокий дом ставят под холмом, сравнивают холмистость, многоярусность города. Или цепочкой дома поставят, как забором город перегораживают, — поди догадайся, что там, дальше.

— Уничтожается прозрачность, пространство, есенинская «вязевость» Москвы!

— Пешком бы им надо побольше ходить!

И, как бы показывая мне, как должен ходить архитектор, он тащил меня по Солянке к Устьинскому мосту.

Он воспринимал Москву как место, где люди поселились очень давно и, постепенно расширяя свое жилище, создали тот неповторимый конгломерат веков, который необходимо сохранить.

С Устьинского моста пейзаж был великолепен! Растягиваясь в панораму, он вместе с тем воспринимался бесконечно растущим по вертикали: Москва-река с нависшими над ней белыми пузатыми башнями Китай-города, за которыми громоздились друг на друга дома и церкви Зарядья, Красная площадь со всеми башнями и Василием Блаженным. И надо всем этим нагромождением стоял Кремлевский холм с соборами и Иваном Великим, упиравшимся в тугое от облаков московское небо... Этот пейзаж, изображенный на старинной гравюре, всегда висел в кабинете отца.

Когда началась война и нас, детей, эвакуировали, отец повел меня на пункт сбора пешком. Мы молча шли по набережной Москвы-реки, по Москворецкому мосту, через Красную площадь. Перед лицом смертельной опасности, нависшей над столицей, отец хотел, чтобы я запомнил образ Великого города. Москва выстояла, и я всегда помню этот молчаливый урок патриотизма.

* * *

Отец не любил ездить на машине и, когда это было возможно, обходился без нее. В Москву из Переделкина он ездил на поезде ради удовольствия пройтись пешком до станции. А когда однажды оказалось, что в связи с ремонтом путей поезда полдня не будут ходить, он, не смущаясь расстоянием в двадцать километров, пришел в Москву пешком, по шпалам.

Ходил он всегда молча и к этому приучил меня. Наверное, в пути хорошо работалось. Пастернак тоже ходил молча, а перед тем, как сесть в машину, предупреждал, что любит ездить не разговаривая. Очевидно, в движении они находили нужный ритм творчества.

Сразу после конца войны мы часто ходили за грибами. Выезжали на поезде ночью. Иногда народу было так много, что ехать приходилось на подножках. Приезжали в темноте и зябли до света на полустанке. А потом целый день ходили по лесу, и часто блуждание по незнакомым местам затягивалось до вечера.

В юности я никак не мог понять папиного обыкновения не спрашивать дороги, казавшегося мне большой странностью, приводившей к тому, что мы постоянно сбивались с пути и плутали.

Лишь потом мне пришло на ум, что от того, что мы бы знали дорогу, мы бы ничего не выиграли.

И чем скорее бы мы пришли в назначенное место, тем скорее утратили бы прелесть неизведанного пути, трудного, а иногда и полного тревоги, если в незнакомом месте нас настигала темнота или непогода.

Это было бы все равно, как если бы писатель в начале повествования уже точно знал, чем оно кончится. Отец же был всегда готов к любому повороту событий и всегда находил в происшедшем лучшие стороны.

Я помню ущелье реки Кок-Су под Ташкентом, по которому мы шли, устремляясь вверх, в горы, и лишь после десяти километров пути, когда наша тропинка стала становиться все тоньше, а на противоположном берегу продолжала виться торная дорога, мы поняли, что идем не по рекомендованному пути. Возвращаться было поздно, перейти на ту сторону невозможно: под нами был каньон глубиной метров триста. Отец столкнул в пропасть ствол сухого дерева — река мгновенно разбила его в щепы.

И мы продолжали идти дальше. Тропа кончилась. Мы прыгали, как козы, по россыпи — надо было попасть в еле заметные следы. Наконец у водопада, преградившего нам путь, я оступился и полетел вниз, но чудом удержался, распластавшись на склоне, как ящерица, боясь оглянуться вниз, где ревел зеленый поток.

Папа протянул мне палку и вытащил на ровное место. Глядя на мое испуганное лицо, он сказал бодро:

— Ввиду прекрасного зрелища водопада и наличия плодовых деревьев обратная дорога на сегодня отменяется. Ночуем здесь. Перед сном будем принимать успоконтельные мраморные ванны с видом на водопад. И есть прекрасные дикие яблоки!

Мы натаскали дров, попутно изучая ущелья, опрокидывавшиеся с огромной высоты к реке, и давали им шуточные названия. Самое неуютное и головокружительное было названо ущельем Критиков. Потом отец в кофейнике варил плов, а я мастерил ложе из редкой сухой травы, сорванной на склоне. Наступала ночь. Снизу, из каньона, дул теплый ветер и дугой рассыпал искры по темному небу. Мы съели плов, и в том же кофейнике отец варил кофе, и при свете костра лицо было у него довольное и усталое.

Те, кто считают, что отец ходил легко, ошибаются. Дорога, в особенности подъем, всегда давались ему нелегко. Он тяжело дышал и делал частые остановки, чтобы успокоить сердце. Но именно в этом преодолении и был главный смысл, особое удовольствие.

Он любил брать себе более молодых попутчиков, чтобы те, забегая вперед, как бы делали неизбежным его собственное продвижение. И он шел, как бы ему это ни было трудно.

В этом сказывалась привычка художника делать всегда больше возможного, выше своих сил.

Таким сверхусилием был для отца подъем на трехкилометровую вершину горы Чимган. Мы должны были, как предполагалось, подняться на вершину и зажечь на ней большой костер, чтобы оставшиеся в доме отдыха Чимган мама и брат узнали о нашей победе.

Как всегда, мы вышли затемно, наивно рассчитывая к обеду быть на месте. Но поскольку такие расстояния мы преодолевали впервые, то, обманутые кажущейся близостью горы, несколько часов шли лишь до ее подножия. Довольно обескураженные, мы начали подъем и, когда примерно на половине пути достигли кладбища басмачей, были совершенно обессилены. Мы прошли раскаленные августовским среднеазиатским солнцем красные гранитные скалы с вросшими в них вековыми можжевельниками, еще один крутой подъем и уже совсем готовы были сдаться, когда увидели перед собой снег! Он был совсем рядом, и мы побежали вверх, к леднику... Но оказалось, что до него еще два часа ходу. Мы попали в альпийские луга. Отец, как ребенок, обрадовался своим любимым цветам — незабудкам. Их были здесь целые поля. Наконец-то можно было освежиться

талым снегом! Прямо у кромки снега расцветали подснежники.

Дело было к вечеру. Я уговаривал отца остановиться, но он короткими переходами упрямо шел вверх. Ледник тянулся нескончаемо. Мы прошли его, а затем он остался глубоко внизу, под нами. С огромными усилиями — подъем становился все круче — в уже сгущавшихся сумерках мы выбрались на маленькую площадку вершины. На такой высоте дров, конечно, не было, а принести с собой мы не догадались. Не поужинав, обессиленные, мы легли прямо на землю, спина к спине, и заснули, всю ночь стягивали друг с друга тощее одеяло.

Нас разбудил холод. Было еще темно. Призрачное пространство, окружавшее нас, было серым и каким-то невещественным.

Мы сидели над жалким костром из кизяка, пытаясь согреть заледеневшие руки, как вдруг почувствовали шорох, точно пролетела птица и легкое эхо отдалось где-то внизу, — это был утренний ветер. Начинался рассвет. Огромное пространство гор стало видимым, но лежало приглушенным, как бы под слоем пепла.

Постепенно стали выявляться и загораться отдельные планы, все больше появлялось розовых и зеленых тонов — взошло солнце. Снежные вершины Таласских гор приблизились к нам, нависли над нами. Все сразу пришло в движение, как в театре, как будто кто-то по мере передвижения солнца поворачивал перед нами гигантскую декорацию в духе раннего Лентулова.

Я не знал, куда смотреть — на восход или на осунувшееся, но сияющее счастьем лицо отца. Нет, он пришел сюда не бескорыстно, он ждал этого чуда и теперь принимал его как награду.

Солнечный свет, спускаясь полосой от вершин к подножиям, как бы перечислял постепенно бесчисленные подробности лежащих перед нами гор. Отец стоял на самом краю обрыва и так увлекся этим зрелищем, что мне пришлось оттащить его на безопасное место.

Видя его совершенное и великолепное бесстрашие в горах, где его можно было бы даже заподозрить в желании рисковать жизнью, если бы я не знал о его ловкости, удивительной для пожилого и грузного человека, я много раз задавал себе вопрос: испытывал ли он вообще когда-нибудь страх?

Да, очевидно, испытывал — перед злыми людьми. Он, несмотря ни на какие логические доводы, не мог найти причин этому, и необъяснимое зло пугало его.

И этот страх за человека в последние десятилетия его жизни превратился в ненависть, в активное противодействие всему, что обнаруживало в человеке зверя. Он старался бороться со злом, и его мучило, что он так мало может сделать.

Но, думается, он ошибался. Ведь разве его творчество не направлено на то, чтобы человек стал лучше? И разве не лучшему в человеке он принес в дар свою поэзию, свой мир экзотики и фантастики?

Ноябрь 1974

Лев Славин

ТРИ ВОСХИЩЕНИЯ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Я познакомился с Всеволодом Ивановым давно, в незапамятные времена «Красной нови».

В редакции этого толстого ежемесячника работало шесть человек. Это нисколько не мешало (а может быть, даже и помогало) тому, что «Красная новь» была превосходным журналом.

Редактировал его в мое время Иван Беспалов. Я называю «моим временем» 1930 год, потому что тогда на страницах «Красной нови» появилась моя первая большая вещь. Она-то и послужила поводом к знакомству с Всеволодом Ивановым.

В одной рапповской статье мой роман подвергся необоснованным нападкам. Писательская шкура моя тогда еще не была обмозолена, и я страдал.

Однажды на улице кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся. Это был Всеволод Иванов. Его широкоскулое лицо со скошенными, монгольскими глазами светилось доброжелательством. Этот большой писатель счел нужным сказать своему начинающему, почти незнакомому коллеге несколько хороших, ободряющих слов. Мне это очень помогло.

Не много было писателей, которых мы тогда, в юношеской заносчивости нашей, причисляли к разряду «настоящих». Всеволод Иванов был среди них. Нам нравилось его «Тайное тайных». Рассказ «Сервиз» из этого сборника мы считали шедевром мировой новеллистики. А через несколько лет бурно приветствовали появление первой части «Похождений факира».

Но мое личное знакомство с Всеволодом Вячеславовичем не двигалось далее размена поклонами и кратких

реплик при случайных встречах. Шли годы, и наши пути не скрещивались.

В феврале 1945 года, то есть за три месяца до окончания войны, военные корреспонденты на Первом Белорусском фронте некоторое время базировались в Мендзыхуде.

Узкие, кривые улочки, непомерно большой костел, несколько тысяч познанских поляков, свободно говоривших по-немецки, и наши подразделения, рассыпавшиеся по всему городку, — вот физиономия этого польского захолустья.

Однажды в корреспондентском пункте «Известий» появился Всеволод Иванов.

Мне случалось быть на четырех войнах, из которых две мировые, и я, кажется, имею достаточно оснований утверждать, что в боевой обстановке характер человека проявляется довольно отчетливо.

На фронте не надо съедать с соседом пуд соли, чтобы распознать, каков он. Достаточно щепотки. Потери убитыми среди военных журналистов были довольно велики. В этой обстановке люди раскрывались без всякого промедления и до самого дна.

Мы жили трудной фронтовой жизнью и зачастую от бойцов отличались только тем, что сражались не автоматом, а пером. А случалось, и автоматом.

И вот в этих наших огрубелых буднях появилось видение из забытой мирной жизни: ухоженный, благоухающий человек в белоснежной рубашке с галстуком, в добротном демисезонном пальто и в фетровой, со вкусом заломленной шляпе. Все в нем было мирное, гражданское, даже орден, поблескивавший в петлице.

В те дни наш фронт сделал только первый шаг на немецкой земле. Это случилось месяц назад, и клочок бывшей фашистской империи давно уже не волновал нас. А Всеволод Иванов первым делом устремился туда.

Я сопровождал его.

Посреди небольшой площади стоял памятник Фридриху. Вокруг него играли дети.

Иванов с волнением оглядывал все вокруг. Я понимал его чувства. Только два года назад немецкие кони пили волжскую воду. А вот сейчас мы стоим на их земле, а на перекрестке на дорожной стрелке написано: «ДО БЕРЛИНА 170 КИЛОМЕТРОВ».

Всеволод Вячеславович перевел взгляд на детей. Они были худы, бледны. Особенно вот эта маленькая девочка в очках.

Большая, добрая ладонь Всеволода легла на ее головку.

Он не видел, как мы, газовые печи Майданека под Люблином и страшные бараки с одеждой умерщвленных узников, с их очками, зубными протезами, женскими волосами. Он не видел, как мы, длинную ровную аллею виселиц в Детском Селе и рвы под Кингисеппом, заваленные трупами.

— Послушайте, — сказал он, как всегда чуть пришепетывая, — мы там захватили кое-что на дорогу. Отдадим ей, а?

Я покосился на девочку. Она не отрываясь смотрела на Всеволода Иванова, на его лицо доброго Будды, она смотрела снизу вверх, задрав голову, как смотрят на взрослых дети и собаки. Потом она перевела свой робкий взгляд на меня.

Я вынул из машины банки с консервами, с молоком и насыпал ей в подол.

Потом я проклял свою жалостливость, и мы поехали дальше.

Поминутная проверка документов надоела Всеволоду Иванову. Иногда, не доверяя документам, его вели в штаб для установления личности. В конце концов он попросил, чтобы его переодели в военную форму.

Это сделали, конечно. Но так как Всеволод Иванов не состоял, в отличие от нас, в кадрах армии, то одели его не очень тщательно. Особенно плохо обстояло дело с головным убором. Для большой головы Всеволода Вячеславовича не нашлось подходящей фуражки. И она как-то сразу села блином на самой макушке. В сочетании с очками это производило незабываемое впечатление.

К тому же он не носил погон. Но на поясе у него висел подсумок, как если бы он только что вылез из окопа. Мало кто знал, что в этом подсумке не патроны, а сигары.

В общем, такого рода фигуру можно было встретить в 1941 году в народном ополчении. В 1945 году она выглядела анахронизмом. Для обозника Всеволод Иванов

выглядел слишком интеллигентным, для фронтовика недостаточно профессионально.

Так что, сменив гражданское платье на военное, Иванов не перестал привлекать к себе внимание патрулей. Но даже в этом необычном и немного смешном «оформлении» благодаря чувству достоинства и естественному благородству, присущему всему существу Всеволода Иванова, он продолжал сохранять в своем облике что-то величественное, царственное, даже божественное, конечно в буддийском смысле.

Я сделался гидом Всеволода Иванова и провел его сквозь толщу фронта. Мы начали с штабного городка, где маршал с легендарным именем, плененный обаянием Всеволода Вячеславовича, долго не отпускал его. Побывали мы и в разведке. Там юный капитан Лева Безыменский рассказал нам о гитлеровской армии. Его удивительная память содержала в себе как бы картотеку начальствующего состава противостоящих фашистских войск.

Спускаясь все ниже, не раз мы попадали в довольно горячие места. Всеволод Иванов держал себя там с хладнокровием старого охотника. Он был хорошим спутником в таких поездках. Он излучал какое-то спокойное, неторопливое мужество. Мне нравился его юмор, его товарищеская верность, смелость его мысли, самое лицо его с этим монгольским прищуром умных глаз. Я находил очарование даже в его пришепетывании и понимал Плутарха, который, рисуя портрет Алкивиада, даже недостатки его произношения считал обаятельными.

2 мая гитлеровцы капитулировали. Но 1 мая они еще ожесточенно сражались на улицах Берлина.

Чтобы поспеть на разные участки берлинского сражения, мы делали большие круги по городу. Мы ехали тремя машинами.

Моросило, в воздухе плавала копоть пожаров, пахло сиренью, и стоял гул артиллерийской пальбы, прерываемой пулеметной трескотней.

С «эмкой», где ехали тассовцы, случилась какая-то неисправность, и наш маленький цуг остановился у дома, где разместилась авторемонтная часть.

«Эмка» въехала во двор авторембазы, а мы остались снаружи. У меня был опыт уличных боев, и свой

старенький «виллис», на котором я проделал весь путь от Москвы до Берлина, я предусмотрительно вкатил на тротуар. Товарищам я посоветовал сделать то же.

Но Всеволод и его спутник поставили свой новенький трофейный «ханемаг», как полагается, на мостовой, у обочины.

Мое деликатное замечание, что на войне правила уличного движения соблюдаются не строго, было встречено язвительными насмешками. Я замолчал и отошел в сторону. Всеволод Вячеславович и его спутник остались в машине и любовались ее нарядной обшивкой.

В это время показались танки «ИС», огромные как горы. Они шли из боя. Башенные люки были открыты, и оттуда выглядывали танкисты. Какие у них счастливые лица! Еще бы! Первое мая! Фашисты разбиты! Мы в Берлине! Есть от чего возликовать, даже немного посумасбродствовать.

Увидев «ханемаг», один из этих гигантов попер на него.

Всеволод Иванов и его спутник сидели в правой половине машины, один впереди, другой сзади. Они продолжали с упоением обсуждать высокие качества «ханемага».

Танк наехал на него сзади. Огромной своей гусеницей он наступил на этот маленький изящный автомобиль, как сапог пешехода на божью коровку.

Но точно — на левую половину.

Так что когда вы потом смотрели на эту машину, то вы видели, что правая ее половина осталась такой же целехонькой и элегантной, как прежде. А левая превратилась в плоский металлический блин.

Танкист оглянулся. На его закопченном лице весело сверкали зубы. Видимо, он был очень доволен, как бывает доволен человек, отпустивший милую, добродушную шутку.

Спутник Иванова, чертыхаясь, выскочил из машины. Он махал рукой, грозя танкисту.

А Всеволод Иванов смотрел вслед танкисту с восхищением.

— Математически точная работа! — сказал он. — Теперь вы видите, товарищи, каким высоким мастерством обладают наши танкисты!

День 5 мая 1945 года. День печати.

Помнят ли его мои товарищи, военные корреспонденты, слетевшиеся в Берлин со всех фронтов Германии, Австрии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, Чехословакии!

Мы снялись всем корреспондентским гамузом. Я сохранил эту фотографию. На ней около ста военных журналистов. Среди них и Всеволод Иванов в солдатских сапогах и фуражечке-сковородке, с сигарным подсумком на поясе и записной книжкой в руке. И на лице выражение счастья, которое испытывали в те дни мы все.

К рейхстагу мы подъехали еще утром. Забрались внутрь, бродили по полуразрушенным залам со следами свежего боя.

Всеволод Иванов то и дело нырял в свой блокнот, что-то записывал. Он не увидел героев боя за рейхстаг. Это огорчало его. Но мыслимое ли дело отыскать их в этом нескончаемом потоке военных, протекающем сквозь рейхстаг! И все же он был удовлетворен.

Мы вышли на улицу. Еще раз оглядели рейхстаг снаружи. Всеволод Вячеславович сказал, озирая его мрачный обгорелый остов:

— Обратили внимание? Гитлеровцы начались его пожаром. И — кончились его пожаром. Вся их грязная история между этими двумя пожарами...

Навстречу нам шли три генерала. Их вел молодой щеголеватый офицер, что-то оживленно объяснявший им, показывая на рейхстаг.

Взгляд его упал на Всеволода Иванова.

Офицер покраснел от гнева. Ему стало стыдно перед генералами за этого солдата, такого неряшливого, даже без погон и в этой ужасной, сплюснутой фуражке да еще с толстой дымящейся сигарой во рту!

— Марш в комендантское! — прошипел он. — На гауптвахту! На трое суток!

И проследовал с генералами дальше.

Я вскипел:

— Мальчишка! Он не знает, к кому обращался! Я заставлю его извиниться!

Всеволод остановил меня:

— Не узнали? Это же он! Ну, он! Герой рейхстага. Блестящий парень, а?

И он добавил, глядя на меня умными, веселыми глазами:

— Я очень рад, что наша встреча с ним все-таки состоялась...

Мы мчались по магистрали, опоясывающей Берлин. Это дорога умопомрачительной гладкости. Ничто ее не пересекает. Все мосты сделаны заподлицо, и она настолько широка, что на ней приземлялись наши бомбардировщики.

Мы мчались, упоенные быстрой ездой.

А по ту сторону дороги навстречу нам шла вся Европа. Бесконечной лентой тянулись узники, освобожденные из фашистских концлагерей.

Внезапно из этой колонны отделился человек и замахал руками.

— Поехали, у нас нет места, — сказал один из нас.

— Тем более что он угрожает, — сказал другой.

— Товарищи, это сигнал бедствия, надо остановиться! — сказал Всеволод серьезно.

Мы остановились, что при такой скорости нам удалось не сразу.

Человек долго бежал к нам. Он был пожилой, к тому же истощенный, как все вышедшие из лагерей.

Добежав, он протянул руку куда-то вдаль и сказал, одолевая одышку:

— Die Brücke ist zerstört [1].

Мы посмотрели вперед. Никаких признаков разрушения видно не было. Идеальной гладкости лента простиралась перед нами.

Водитель недоверчиво усмехнулся. Засомневался и я.

Всеволод Вячеславович поблагодарил старика.

Когда он удалялся, мы заметили на его спине желтую звезду, которой гитлеровцы отмечали евреев.

Мы медленно поехали вперед.

Пропасть открылась внезапно, буквально в нескольких метрах от нас. При нашей сумасшедшей скорости на этой зеркальной дороге никакие тормоза не успели бы нас спасти.

Молча постояли мы на краю пропасти. В ней было не меньше метров тридцати вглубь. На дне валялось

---

[1] Мост разрушен.

несколько разбитых машин. Я бросил туда камень. Несколько больших черных птиц нехотя поднялись над какой-то бесформенной кучей. Мы отвернулись.

— А за старичка надо выпить, — сказал шофер.

— Недаром я всю жизнь любил этот народ, — пробормотал Всеволод.

Мы вернулись в машину и поехали в объезд пропасти.

Почти всегда в руке у Всеволода была записная книжка. По-видимому, тогда уже у него рождался замысел его романа «При взятии Берлина», где рядом с драгоценными наблюдениями и тонкими мыслями соседствовали торопливые записи. Но и в них есть дыхание войны и прелесть непосредственных впечатлений. Может быть, он намеренно оставил их как бы в неотработанном виде для усиления достоверности описаний?

А ведь поначалу у него был другой замысел. Он не раз говорил, что будет писать пьесу о конце фашизма. Это подтверждается и письмом Всеволода Вячеславовича, которое я получил уже после войны, но еще там, в Берлине, куда я вернулся из поездки на запад Германии:

«Дорогой Лев Исаевич! Мы уезжаем по маршруту, установленному судьбой и богом. Буду рад, если Вы догоните где-нибудь нас. А если нет, с той же радостью встречу Вас в Москве. Думайте о пьесе. Я обязуюсь думать тоже...»

Уже в Москве он говорил мне, что обширность материала заставила его избрать жанр романа.

Он всегда считал своей большой удачей, что ему посчастливилось собственными глазами увидеть победу над бестией фашизма.

1964

Леонид Кудреватых

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Всеволод Иванов на фронте, как и в незаурядной жизни, как и в творчестве своем, был личностью необыкновенной.

Последние три месяца второй мировой войны, в дни боев за Берлин и в самом Берлине, да еще месяц после окончательной победы в поездках по поверженной Германии я провел вместе со Всеволодом Вячеславовичем, слушал его искрящиеся фантазией автобиографические рассказы, наблюдал его общение с самыми различными людьми, стал свидетелем его творческой лаборатории. Удивительная простота и душевность, неиссякаемый оптимизм и были источниками глубокого к нему уважения всех, с кем он в ту горячую пору встречался.

Готовился последний, заключительный штурм логова Гитлера, штурм Берлина. В польском городке Мендзыхуд, в свое время отторгнутом немцами от родной земли и переименованном ими в Бирнбаум, накапливались писательские и журналистские силы, аккредитованные при Первом Белорусском фронте.

Всеволод Иванов вместе с фотокорреспондентом «Известий» Самсоновым прямо из Москвы, а я с военным корреспондентом «Правды» Мартыном Мержановым, волею своих редакций переброшенные под Берлин из-под осажденного Кенигсберга, приехали в Мендзыхуд почти одновременно — во второй половине февраля 1945 года.

Мы, то есть Всеволод Иванов, Лев Славин и я, представлявшие «Известия», и правдисты Яков Макаренко и Мартын Мержанов, жили в двух комнатках квартиры, принадлежавшей польской семье.

От всех военных корреспондентов, будь то известный писатель или журналист, Всеволод Иванов отличался даже внешне.

Все мы были уже в офицерских званиях, от капитана до полковника, носили пригнанные по фигуре кителя и гимнастерки с погонами, парадными или полевыми. Были увешаны поскрипывающими портупеями, отечественными или трофейными пистолетами. Лихо отдавали честь старшим по званию и важно отвечали на приветствия младших. По обеим сторонам груди у каждого из нас горели боевые ордена и медали. У морского полковника Всеволода Вишневского, например, отличившегося еще в первую мировую войну, на кителе блестели еще и старые гвардейские награды.

А Всеволод Иванов, кем был он? Не солдат, не офицер и не гражданское лицо. На крупной, крепко сбитой фигуре — солдатская гимнастерка без погон, перехваченная широким офицерским ремнем. На гимнастерке не военный орден, а Трудового Красного Знамени. Солдатские брюки галифе и кирзовые сапоги с широченными голенищами. Вместо портупеи — узенькие ремешки, перехваченные крест-накрест. На одном ремешке планшетка с блокнотом и карандашом, на другом — подсумок из-под патронов, в котором Всеволод носил сигары. Круглое, всегда добродушное лицо, немного вздернутый мясистый нос. Высокий лоб венчала странная, сплющенная фуражка, скорее походившая на блин. И конечно, никакого оружия! Один такой — среди миллионной армии, нацеленной на Берлин.

Вначале у Всеволода Иванова не было своей фронтовой автомашины. Он охотно присосеживался в попутчики к любому корреспонденту, едущему в дивизии и полки. И каждый брал его с тревогой и радостью.

С тревогой — потому, что внешний вид нашего дорогого Всеволода мог вызвать подозрения на контрольно-пропускных пунктах, в комендатурах штабов. Мы знали немало случаев, особенно в первый год войны, когда подобным образом одетого журналиста, на скорую руку превращенного в военного корреспондента, забирали как немецкого парашютиста. И порой стоило немалых трудов, чтобы спасти товарища, попавшего в беду по столь странным обстоятельствам. А тут еще на немецкой зем-

ле, под Берлином, — человек в таком невероятном для армии одеянии.

Однажды в Северной Померании часовой контрольно-пропускного пункта остановил автомобиль, в котором с группой корреспондентов ехал и Всеволод Иванов. Проверив документы, часовой подозрительно посматривал на странно экипированного пассажира. После недолгого размышления он вызвал своего начальника, капитана, и доложил:

— Военные корреспонденты, а с ними в машине какой-то шпак. Называется Ивановым.

Капитан снова проверил документы журналистов, впился острым взглядом в лицо Всеволода Вячеславовича и, повернувшись к солдату, сказал:

— Не шпак, а цивильный, то есть гражданский. И не просто гражданский, а известный писатель Всеволод Иванов. Роман «Пархоменко» читал? То-то! Прошу, товарищи, следовать дальше.

А с радостью ехали мы с Всеволодом Вячеславовичем потому, что с ним было очень приятно и поучительно провести несколько часов в пути, послушать его рассказы из богато прожитой жизни или новеллы, сочиненные тут же, в часы поездки. Все охотно приглашали Всеволода Иванова в поездки еще и потому, что он был своеобразным пропуском, заменявшим любые официальные бумаги, которыми располагали военные корреспонденты.

Пожаловаться нельзя: любой военачальник охотно принимал представителя центральной прессы, а порой даже искренне радовался его появлению, усаживал за обеденный стол и в неторопливом разговоре отводил душу — тут не требовался язык приказа, да и темы бесед были самые различные.

И все же крупные военачальники, по горло занятые разработкой предстоящей боевой операции или руководством ею, услышав от адъютанта: «К вам военный корреспондент. . .», не без тени сожаления иногда говорили: «Попросите его зайти к начальнику штаба или в политотдел. Я занят по горло». Но когда мы приезжали к командиру корпуса или командующему армией вместе с Всеволодом Ивановым, то просили адъютанта доложить так:

— Скажите командующему — приехал писатель Всеволод Иванов, а с ним корреспонденты. . .

Эта несложная хитрость действовала магически. Нас немедленно принимал сам командующий. Больше того — он выходил навстречу Всеволоду Иванову, долго тряс его руку, приговаривая:

— Рад вас видеть! Давайте знакомиться: Берзарин. Садитесь, рассказывайте, что вы увидели у нас в армии?

А за обедом душевный разговор, в котором для нас, журналистов, раскрывались новые черты командармов.

Так Всеволода Вячеславовича принимали командармы Берзарин и Кузнецов, Горбатов и Цветаев, да и другие замечательные военачальники.

Перед решающим штурмом в направлении на Берлин мы попали в кавалерийский корпус, которым командовал генерал Крюков. Корпус в эти дни находился во втором эшелоне. Заехали на несколько часов, а пробыли почти трое суток. Генерал Крюков собрал командиров всех дивизий и полков корпуса.

— Познакомьтесь: Всеволод Иванов. Автор широко известной пьесы «Бронепоезд», романа о легендарном комдиве Пархоменко, с которого любой из нас берет пример.

Стоит ли писать о том, что вопросы в кавалерийском корпусе задавал не военный корреспондент «Известий» Всеволод Иванов, а он отвечал на вопросы: «Как вы собирали материалы для романа?», «С кем встречались из сослуживцев Пархоменко?», «Как писали роман?». Ответы писателя превратились в увлекательнейшую беседу о характере и судьбах советской литературы, о героическом начале в ней как основе ее новаторства.

Чаще, чем другие, Всеволод Иванов ездил в 33-ю армию, которой командовал генерал-полковник Цветаев. Они — командарм и писатель — полюбили друг друга с первой встречи. На командном пункте этой армии мы провели первые сутки завершающего победного наступления. После безоговорочной капитуляции фашистской Германии 33-я армия вышла на Эльбу, штаб ее размещался в городе Цербст — на родине Екатерины II. Генерал-полковник Цветаев пригласил Всеволода Вячеславовича, а с ним и всех корреспондентов-известинцев к себе в штаб, на прием представителей американской армии, и включил нас в группу генералов и офицеров своей армии, ездивших в гости в американские части.

Всеволод Иванов обогащал наши впечатления не

только своими рассказами, но и тем, что он был для нас пропуском к самым интересным людям.

Я знал Всеволода Вячеславовича довольно давно. Еще в первой половине тридцатых годов мы встречались в Нижнем Новгороде. По инициативе Алексея Максимовича Горького было затеяно издание большой книги по истории Нижегородского края. В творческую бригаду входило много московских писателей, в числе их первым был Всеволод Иванов. Тогда он частенько приезжал в город на Волге. Мы обсуждали планы книги и уже знакомились с первыми рукописями. А в вечерние часы гуляли по знаменитому волжскому Откосу. Но, признаюсь, тогда я не предполагал такой популярности Всеволода Иванова, какую увидел в войсках нашей армии. К нему тянулись солдаты и офицеры, желавшие хотя бы одним глазом взглянуть на писателя, а если доведется, то и пожать ему руку. Простота и добродушие Всеволода Вячеславовича, его необычный вид покоряли собеседников.

Я не раз наблюдал, как солдаты приходили на помощь писателю. Было это и в час поездки на небольшой наш плацдарм за Одером. Отговорить Всеволода Вячеславовича от этого рискованного путешествия не удалось. Тогда за реку по молчаливому уговору двинулись несколько лодок, а до переднего края шли десятки людей, зорко наблюдавших за всем, что может вызвать опасность для желанного гостя.

Читатели в солдатских и офицерских шинелях обожали писателя. А он дарил своих почитателей удивительно просто написанными и сильными по взволнованности и мыслям очерками о ратном подвиге советских воинов. Эти очерки печатались подвалами и трехколонниками на страницах газеты «Известия».

Все три заключительных месяца войны Всеволод Иванов был в горниле происходящих событий. Он наблюдал события и беседовал с сотнями людей. Я видел писателей, которые торопливо заносили в свой блокнот все, что они видят и слышат. Блокнот Всеволода Вячеславовича почти не извлекался из планшетки. А если Всеволод и доставал его, то для того, чтобы записать какую-то фамилию или возникший образ, выражающий невидимую работу мысли.

Писал Всеволод Иванов как бы о конкретном событии и вместе с тем куда шире и значительнее. Он романтизировал и обобщал, ибо он был художником и публицистом.

За наш стол, который для всех был и обеденным и письменным, Всеволод Вячеславович усаживался в поздний час, когда мы, утомленные дневной суетой, уже спали. Он клал перед собой стопку бумаги и, склонившись над ней, начинал писать. Писал ровным почерком, без поправок, неторопливо, но не отрываясь час-другой, а то и всю ночь напролет, пока не ставил последнюю точку. Бывало и такое: проснувшись, мы уходили по своим делам, а Всеволод Вячеславович все еще за столом, как бы не замечает ни нас, ни ласкающих лучей утреннего солнца.

Однажды утром, вернувшись из столовой, я увидел Всеволода Вячеславовича в полном одеянии мертвецки спящим на моей постели. На столе лежали восемнадцать страниц рукописи его очередного очерка. А рядом такая шутливая записка:

«Спец. военному корреспонденту «Известий»
тов. Л. Кудреватых

Уважаемый товарищ!

Прилагаю при сем сочинение, написанное мною лично из собственного опыта и переживаний, хочу его напечатать в уважаемой Вашей газете «Известия», но, не имея средств передачи и, вообще, обладая слабым характером (ибо никто из членов Правления Союза советских писателей в Бирнбауме не живет, а я влип), я не имею возможности удовлетворить свое страстное желание, то есть передать свое сочинение в газету «Известия», о чем Вас и прошу, а пока ложусь, в ожидании Вашего ответа, на Вашу уважаемую постель.

С полным приветом

Всеволод сын Иванов Графоман

Марта, 23, кажется
1945 года».

Так работал Всеволод Иванов все четыре месяца, во всех городах и квартирах, в которых мы жили по-солдатски дружно, непритязательно и весело. Я не могу удержаться от того, чтобы не процитировать хотя бы кусочек

из очерков Всеволода Иванова, написанных в ту пору. К примеру:

«Мы возвратились с плацдарма и стоим теперь на террасе сельского дома, выходящего в сад. По тропинке, возле куста сирени бегает ручной ежик. Три генерала — командующий армией, командующий артиллерией и член Военного совета армии — вышли сюда, к нам, на минутку, отдохнуть после длительного совещания. Завтра — штурм укрепленных позиций противника на западном берегу Одера. Наводятся переправы, подвозятся войска, стягивается артиллерия. Завтрашний день начнется артиллерийской симфонией, где лейтмотивом будет: «К Берлину, товарищи! К Берлину! В Берлин!»

Командарм — седой и стройный, с чеховским лицом, с застенчивыми движениями. Командующий артиллерией — широкоплечий, грузный, в молодости бывший бурлаком на Волге, с массивным лицом, словно двумя взмахами резца вырезанным из гранита. Член Военного совета — темно-русый украинец с бархатными глазами. Все они одинаково бледны от волнения, все они погружены в напряженные думы.

И вдруг, видимо уловив общие мысли, командарм говорит:

— А знаете, я видел Льва Толстого. Мой отец был начальником железнодорожной станции неподалеку от Ясной Поляны. Толстой почти каждый день приезжал на станцию верхом за газетами. И каждый день я, мальчишка, выбегал на крыльцо, чтоб встретить его. Он ездил на маленькой лошаденке. Я не успею сказать: «Здравствуйте, Лев Николаевич», как он уже снимет шляпу и легкими, быстрыми шагами идет к станции...

И командарм смотрит в сад. И всем нам кажется упоминание о Льве Толстом таким уместным, таким понятным и таким трогательным, словно где-то здесь, за кустами воздушной сирени, прошла его тень. Нынче все — от командарма до бойца — под впечатлением огромной ответственности приближающейся битвы, в которой сыны великой отчизны будут защищать от фашизма культуру не только нашей страны, но и жизнь и культуру всего человечества, а кто лучше Льва Толстого мог понять и воспеть величие битвы за счастье человечества?»

Этот, как и другие его военные очерки, отличает публицистическая страстность, стремление в частном воз-

высить общее, значительное и великое. А какая лепка портретов! Вот и сейчас, когда я переписал этот отрывок, перед моим мысленным взором как живой встал генерал-полковник Цветаев — седой, стройный, с чеховским лицом интеллигент, один из славных полководцев великой битвы.

Ездить по воинским частям со Всеволодом Ивановым было интересно еще и потому, что ты встречался с людьми редкими и исключительными, ибо часто не писатель искал кого-то, а искали и приглашали его. Однажды нам позвонили:

— Всеволод Вячеславович! Вас очень хотел бы видеть начальник трофейного отдела армии полковник Аралов.

— Аралов? Полковник? — переспросил Всеволод, удивленно пожав плечами.

— Он вас и вы его знаете, — последовал ответ.

Нас встретил высокий, худощавый, довольно пожилой человек, на узких плечах которого мешковато висела полковничья форма. Писатель и полковник обнялись, расцеловались. Аралов — старый революционер-подпольщик. Аралов и Иванов встречались давно и не один раз. В первый год войны Аралов пошел добровольцем в ополчение. От Москвы дошел до Берлина. Был солдатом, стал полковником.

— Надеюсь, не будете в убытке, посетив меня, — мягко проговорил Аралов, указывая на стопы книг, картин, редчайших произведений китайских мастеров резьбы по слоновой кости. — Все это принадлежало нам, нашим, советским музеям. Гитлеровские грабители не только похитили ценности, а и упрятали их в подземелье. Спешу отправить эти драгоценности на Родину. Когда вы их увидите в Москве? Посмотрите здесь.

Кроме редчайших полотен и действительно уникальной резьбы по слоновой кости мы любовались первым изданием трудов Коперника, «Колокола» Герцена и вместе с полковником радовались, что солдаты из трофейных команд возвращают своему народу и эти бессмертные реликвии.

В последние апрельские и первые майские дни все, кто был тогда под Берлином и в Берлине, испытывали чувство величайшего подъема и радости. А нам, писателям и журналистам, естественно, хотелось побывать вез-

де, увидеть все и поговорить со всеми. Исторические дни, исторические события!

Наши войска только что заняли имперскую канцелярию. Предводительствуемые полковником Николаем Бакановым, начальником военного отдела «Известий», прилетевшим из Москвы и влившимся в нашу известинскую бригаду, мы спешим туда. Вначале попадаем в подземные этажи, в которых последние дни хоронилась ставка Гитлера и Геббельса. На одной из площадок, в окружении наших военных чинов, на байковом одеяле лежит труп, внешне напоминающий Гитлера. Кто-то его фотографирует. Спрашиваем:

— Гитлер?

— Возможно, и он, а возможно, и двойник.

— Восхитительно! — восклицает Всеволод Иванов.

Потом мы попадаем в другой отсек подземелья, превращенный в госпиталь для раненых и пленных чинов охраны и различных служб имперской канцелярии. Как звери, загнанные в клетку, зло и молчаливо поглядывают на нас эти отбросы фашистской Германии.

— Великолепно! — произносит Всеволод Иванов.

Нас проводят в глубь покоев, к советскому военному коменданту имперской канцелярии, занявшему бывший кабинет Геббельса. Там уже наши коллеги известинцы Виктор Полторацкий и Саша Булгаков, махнувшие сюда с Первого Украинского фронта. Объятия, поцелуи. Комендант требует:

— Виночерпия!

Появляется высокий, грузный, пожилой немец.

— Шампанского! — приказывает комендант и не без удовольствия разъясняет: — Главный виночерпий Гитлера! Угостит нас тем шампанским, которое подавали самому бешеному из бешеных!

Вскоре появляется виночерпий с полдюжиной бутылок. С грохотом вылетает пробка. Виночерпий наливает фужеры и пьет первым. Комендант поднимает бокал.

Мы пьем стоя. Всеволод Вячеславович, воздев руки, застывает в восторженной позе, и мы слышим еще одно любимое им слово:

— Необыкновенно! Все это необыкновенно, величественно, друзья!

А еще через час мы были уже в самой имперской канцелярии, в кабинете Гитлера. На полу валялись бу-

маги, какие-то именные пропуска, в углу — огромный глобус.

Всеволод Иванов был немногословен. Но в коротких репликах очень точно выражал свои чувства и мысли. И он сказал:

— Удивительное дело, друзья. Мы — в кабинете Гитлера. А Гитлер-то — мертв!

Третьего мая мы были в рейхстаге. На стенах его появились уже первые надписи победителей: «Вот я и дотопал до тебя, Берлин! Ура!» Рядом в небольшой комнате мы увидели весьма символичную картинку. Солдат-пехотинец, разувшись и положив свернутую шинель около стенки, на цементном полу развел костер. Из обрезка листового железа он соорудил небольшую сковороду. В ней уже покоились четыре разбитых яйца с расплывшимися желтыми глазами. Встретив нас улыбкой, солдат сказал:

— Всю войну мечтал о таком завтраке. Я — рязанский. Сижу себе в немецком рейхстаге и жарю глазунью. Здорово!

Из рейхстага мы попали в один из пехотных батальонов, штурмовавших Берлин. В большую комнату, служившую, видимо, гостиной какого-то фюреренка, собрался чуть ли не весь оставшийся в живых личный состав батальона. Всеволод Вячеславович рассказал солдатам о только что виденном в рейхстаге.

— Какая простота и вместе с тем философская глубина выражения чувств русского солдата-победителя! — размышлял перед аудиторией писатель. — Такое нельзя придумать. Это можно только увидеть, ощутить. Один раз в жизни. Именно в такой день, каким стал для всех нас день сегодняшний.

А ночью он писал для газеты «Известия»:

«Еще один орлиный, торжественный день нашей истории закончен. День, который столетия будет отмечаться как одно из высших достижений советского народа, его гения, его упорства, его труда, его Красной Армии, день, за который народы мира будут вечно благодарны советскому народу, народу-освободителю».

Если говорить о лаконизме, глубине и простоте выражения мысли Всеволодом Вячеславовичем, то нельзя не вспомнить один его разговор с полковником американской армии.

Вместе с генералами и офицерами штаба 33-й армии мы наносили ответный визит американским войскам, стоявшим на западном берегу Эльбы. Прием был пышный, торжественный и, слов нет, дружественный. За обедом состоялось взаимное представление хозяев и гостей. Американский переводчик представлял своих, а советский переводчик — нашу группу. О каждом он говорил коротко:

— Командующий армией генерал-полковник Цветаев.

— Подполковник Никаноров, командир батальона самоходных орудий.

— Военный корреспондент газеты «Известия», майор такой-то.

Но о Всеволоде Иванове переводчик говорил несколько минут, видимо рассказывая коротко творческую биографию писателя, подчеркнув его роль в развитии советской литературы.

Когда после представления Всеволод Вячеславович поднялся, что делали и другие, раздались аплодисменты.

Казалось бы, все шло хорошо и естественно. Но американцы есть американцы. После обеда Всеволода окружили американские офицеры. Одни жали ему руку, другие хлопали по спине. Даже обнимали и лезли с поцелуями. Но вот капитан американской армии вцепился своими пальцами в пуговицу на гимнастерке Всеволода, резко рванул ее и, когда она вместе с куском материи оказалась в его руке, расплылся в улыбке.

— Сувенир. Память, — объяснил свой поступок капитан.

Лиха беда начало. Через минуту на воротнике, карманах и рукавах гимнастерки Всеволода Вячеславовича не осталось ни одной форменной пуговицы. Их вырвали «с мясом» и упрятали в карманы гостеприимные хозяева.

Растерянный Всеволод Вячеславович прикрыл ладонью орден Трудового Красного Знамени. Его, к счастью, еще не успели оторвать. Но минуло несколько минут, и к распотрошенному советскому писателю подошел высоченный худощавый американский полковник. Лицо его расплывалось в улыбке. На вытянутых руках он нес блестевший острыми гранями кортик. В ту же секунду около Всеволода Иванова появился переводчик.

— Господин Иванов, — сказал переводчик, — господин полковник желает обменяться с вами сувенирами.

Он вам кортик, а вы ему вот этот значок, — и переводчик ткнул пальцем в орден.

Всеволод Вячеславович, до этого растерянно сидевший в кресле, поднялся, по-солдатски вытянулся в струнку и сказал:

— Передайте господину полковнику, что это не значок, а орден Трудового Красного Знамени. И вручил мне этот орден лично президент нашего Советского государства Михаил Иванович Калинин. Если у господина полковника или у других американских генералов и офицеров, присутствующих здесь, есть награды, которые им лично вручал президент Америки, тогда я, может быть, и обменяюсь столь почетным сувениром.

Теперь аплодировали своему соотечественнику мы, советские офицеры.

А когда переводчик произнес сказанное Всеволодом Ивановым по-английски, в зале воцарилась тишина. Орден Трудового Красного Знамени, блестевший на груди В. В. Иванова, рассматривали десятки глаз.

Ни у кого из присутствующих американских генералов и офицеров не было награды, которую бы им вручал лично президент США.

Вернувшись в Цербст, Всеволод Иванов получил от интенданта 33-й армии новую гимнастерку.

Среди книг, подаренных мне Всеволодом Вячеславовичем после войны, есть вышедшая в 1947 году в издательстве «Молодая гвардия» книга «Встречи с Максимом Горьким» с такой надписью:

«Леня! Друг, я тебя люблю. Мы с тобой были в Берлине, мы с тобой рядом были со смертью. Целую. Всеволод. 15/VIII 1947 г.».

Я выделяю из этой надписи слова: «Мы с тобой рядом были со смертью». Они написаны более чем через два года после окончания войны. И, прочитав их, я вспомнил, что там, в Берлине, Всеволод Вячеславович никогда не только не говорил о смертельной опасности, подстерегавшей любого человека на военных дорогах, но, наверное, и не думал о ней. Он был удивительно спокоен и ничем не выражал ни тревоги, ни обычного волнения. А тут вдруг вспомнил.

Время обостряет пережитое и многое отчетливее выделяет в памяти. Действительно, 29 апреля и 1 мая — в последние дни войны — и еще дней через десять после

капитуляции Германии смерть подступала к нам. Но ее безжалостная рука миновала нас.

29 апреля 1945 года мы ехали к центру Берлина на изящной трофейной автомашине, внутри обитой красным сафьяном. Несколько дней назад, по распоряжению члена Военного совета фронта генерала Телегина, этот автомобиль передали «безлошадному» писателю. Вся известинская бригада направлялась в полки одной из дивизий, освобождавшей в Берлине дом за домом, квартал за кварталом, улицу за улицей. Цель поездки: своими глазами увидеть последние уличные бои и в меру сил рассказать о них читателям газеты. В штабе армии мы получили необходимые координаты и ехали быстро и смело. На мостовых валялся щебень и куски штукатурки, битые стекла. В окнах и на балконах домов висели белые флаги. Мы уже миновали нанесенное на карту место, где должен был находиться штаб полка. Но никого не нашли. Значит, штаб полка продвинулся вперед. Но куда? В каком направлении? Вдруг из-за поворота выскочил «виллис» с четырьмя офицерами в форме пограничников.

— Поехали за ними,— предложил Всеволод Вячеславович.— Они-то, надо думать, знают, где идет бой.

Так мы и поступили. Минуем один, второй, третий квартал. Может, стоило бы остановиться, прислушаться и присмотреться? А мы, не сбавляя скорости,— вперед и вперед, пока нас не ослепил сноп огня, взметнувшегося над мчавшимся впереди «виллиса» грузовиком. Машина с пограничниками круто свернула за угол. Мы за ней. Пограничники повыскакивали из автомобиля и скрылись за уступ дома. Нам не оставалось ничего иного, как молниеносно последовать за ними. Оказавшись за каменным выступом дома, мы поняли, что в доме, к стенам которого мы прижались, и в доме по другую сторону улицы идет бой за этажи, комнаты, лестничные пролеты, что из окон стреляют по улочке. Полковник Баканов, до войны командовавший полком, приказывает:

— По одному, прижимаясь к стенке, перебежкой — назад!

Так мы передвигались кварталов пять. Слава богу, никого даже не царапнуло. Остановил нас окрик:

— Прячьтесь сюда, в ворота!

Вот теперь-то мы и оказались в разыскиваемом нами штабе полка.

— Мы смотрим, два автомобиля несутся вперед. Машем, кричим вам, — сурово выговаривал нам командир полка. — А вы как угорелые. Так ведь вы могли и не встретить дня победы.

— Ну, теперь-то встретим! — смягчая пыл отчитывавшего нас офицера, проговорил Всеволод Вячеславович.

Через двое суток «смерть» опять махнула перед нами «своим черным крылом». Мы возвращались из штаба армии генерала Чуйкова, штурмовавшей последние укрепления немцев — центр Берлина. Маленький гвоздь на мостовой — и покрышка переднего колеса с шипением выбрасывает воздух. Прижались к панели. Остановились. Пока водитель накачивал баллон, мы, сидя в машине, делились своими чувствами и мыслями, наполнявшими нас в те дни с избытком. И вдруг удар, треск, грохот. Мы оказываемся на мостовой. С трудом поднимается Всеволод Вячеславович с напрочь оторванным куском гимнастерки. В полном смятении озираемся: где наш автомобиль? Метрах в тридцати он валяется на боку, весь искореженный. Вышедший из боя танк мчался в ремонтную мастерскую и одной гусеницей прихватил задок нашего автомобиля, стал подминать его под себя. К счастью, наш автомобиль был открытый, и мы вылетели из него с поразительной легкостью.

Разглядывая подол гимнастерки, Всеволод Вячеславович сказал:

— За одного битого двух небитых дают.

Новый трофейный автомобиль мы получили минут через двадцать, не больше. И опять же выручил нас самый надежный документ: Всеволод Иванов. Рядом оказался большой двор. На нем стояли десятки только что пригнанных трофейных легковых автомобилей. Мы разыскали начальника трофейной команды. Представились ему. Изложили обстоятельства. Обращаясь к Всеволоду Иванову, он проговорил:

— Для вас, Всеволод Вячеславович, — так, кажется, величают? — рад быть полезен. Выбирайте любую. Почти все на ходу [1].

[1] Частности этого эпизода запомнились автору несколько иначе, чем Л. Славину.

Поверженная Германия безоговорочно капитулировала. Замолкли пушки, минометы, автоматы. Первый раз за четыре года нас окружала тишина. Тот, кто остался жив, вернется домой, в семью, к мирному труду.

Во второй половине мая на только что объезженной машине по широченной бетонной автостраде мы покатили в город Цербст. Вырвались из Берлина и понеслись. На спидометре стрелка замерла на цифре «120». Ни впереди, ни сзади ни одной машины. Несемся мы одни. Радостные, беззаботные, овеваемые весенним ветром, поем песни. Только изредка попадаются разноплеменные группы людей, толкающих вперед детские колясочки с разным скарбом. Это освобожденные чехи, поляки, голландцы, бельгийцы, французы. Они приветственно машут руками. Мы отвечаем тем же. Но что такое? Одна группа не просто машет руками, а что-то кричит. Люди даже остановились, бурно жестикулируют.

— Они что-то хотят сказать нам, — говорит Всеволод Вячеславович и просит водителя остановить машину.

Когда надрывно заскрипели тормоза и взвизгнула о бетон резина покрышек, мы замерли в тревожном молчании: невдалеке зияла пропасть. В ее кратер легко мог войти десятиэтажный дом. Немцы в последний день войны взорвали здесь мост, а мы, пребывая в добродушном настроении, не заметили дорожных указателей на объезд.

— Да, еще каких-нибудь тридцать секунд — и от нас осталась бы кучка костей, — посмотрев в зияющую пропасть, грустно сказал Лев Славин.

Но Всеволод был неизменен в своем оптимизме. Он произнес:

— Мы необыкновенно счастливые люди! Давайте не будем терять времени и поедем дальше.

А по дороге он рассказал нам одну историю. Вообще он был неиссякаем на истории. Юность его богата редчайшими по характеру друзьями. Он дружил с Сергеем Есениным и нам, его спутникам по дорогам войны, рассказал десятки прелюбопытнейших происшествий, бывавших с ним и Есениным. А об Алексее Максимовиче Горьком он мог говорить бесконечно. На этот раз он вспомнил случай из своей биографии.

— Я был приговорен к расстрелу. И меня вели на расстрел. Но тоже чистейшей воды случайность спасла

меня. И вот я среди вас. Да, да! Не удивляйтесь. Было это в дни колчаковщины, в Сибири. Типография, где я работал наборщиком, печатала махровую белогвардейскую газету. Не то в качестве редактора, не то издателя газету подписывал Иванов и тоже Всеволод. Когда Красная Армия ворвалась в город, то тот Всеволод Иванов уже дал стрекача на восток. А меня и сграбастали. Суд в ту пору был строгий и быстрый. Я говорю: «Я хоть и Иванов и имя мое Всеволод, но я не тот Всеволод Иванов, кого вы судить должны. Я наборщик, начинающий писатель». — «Ах, писатель! Значит, ты и есть ты!» Ссылаюсь я на свидетелей. А из них многие тоже драпанули. Ну, меня и приговорили к расстрелу. Честное слово! Был студеный зимний день. Ведут меня на расстрел. Я настолько растерялся, что и понять ничего не могу. Даже шапки не надел. Ведут меня, а я думаю: «Ну вот и все, конец тебе, Всеволод». А тут кто-то возьми да и окликни меня: «Всеволод! Куда тебя?» — «На расстрел», — говорю. А это был командир красной дивизии, занявшей город. Он знал меня еще по красногвардейскому отряду. Ну, и приказал вернуть меня в каталажку. А потом он занялся следствием. В тот же день я был на свободе. Видите, как счастье улыбалось мне в жизни.

Несмотря на свою именитость, Всеволод Вячеславович был человеком скромным и, я бы сказал, застенчивым. Среди военных корреспондентов, будь то писатель или журналист, встречались и не так уж известные в народе, но высокого мнения о собственной персоне, которые хотели жить только отдельно от других, обедать только в генеральских столовых, напускали на себя важность и значительность, изрекали всякие морализующие истины.

— Я больше всего боюсь моралистов, — говаривал Всеволод Вячеславович. — Моралист — все равно что чревовещатель в цирке. И голос его ненормальный, да и мысли чужие и стершиеся. Я в моралисты не гожусь, потому что сам не все и не всегда правильно понимаю.

Примечательно признание Всеволода Вячеславовича в его автобиографическом рассказе «Первые рассказы»: «Я плохо был подготовлен к политической деятельности, так как интересовался, главным образом, искусством». Речь идет о первом революционном годе страны. Вспо-

минная тот период, он не без иронии повествовал нам о себе:

— Мой политический кругозор был таков, что я одновременно вступил, кажется, в три партии, в том числе и в большевистскую. Вскоре одновременно из всех трех партий вышел, понял — в политики я не гожусь.

Кто-то в ту пору, кажется Лев Славин, сказал о Всеволоде Вячеславовиче: «Во многом он большой, милый ребенок».

И тем не менее всем своим творчеством он утверждал счастливое утро нового, порыв и гений народных масс. Он один из зачинателей и пламенных певцов советской литературы. Его партизанские повести и «Бронепоезд» — монолиты в фундаменте огромного здания нашей современной советской литературы.

Не моралист, а жизнелюб, восторгающийся окружающим и любящий это окружающее, — таким остался Всеволод Иванов в памяти военных журналистов, участвовавших в берлинской операции.

В июне 1945 года мы уезжали из Берлина в Москву. Всеволод предложил ехать гуртом — веселее. Правдисты и известинцы маханули цугом из десяти автомашин через Кенигсберг, Каунас, Вильнюс и Минск. Любитель путешествий, Всеволод Иванов был доволен столь сложным маршрутом. В Каунасе он встретился и подружился с литовскими писателями Пятрасом Цвиркой и Венцловой. И мы задержались в Литве на несколько дней, знакомились с ее достопримечательностями и людьми.

В первые годы после войны чаще, а позднее реже, но всегда с огромным удовольствием я встречался со Всеволодом Ивановым. Бывал у него на семейных праздниках и любовался его друзьями, разными и, конечно, как и сам хозяин, одаренными, с любопытнейшими биографиями. В доме у Всеволода я впервые познакомился с Мухтаром Ауэзовым, автором романа «Абай».

— Мы со Всеволодом старые друзья. Он очаровательный человек и большущий писатель, — говорил мне Мухтар Ауэзов в августе 1957 года, когда мы с ним вместе путешествовали по Японии.

В милом застолье у Всеволода Вячеславовича мы слушали потрясающие по исполнению, до чертиков смешные устные рассказы Ираклия Андроникова. И романсы,

и залихватские русские песни, исполняемые без аккомпанемента неповторимым Козловским!

Да мало ли интереснейших людей бывало в доме у Всеволода, всеми любимом.

Бывал я в его доме, и на даче, и не только в дни празднеств, а, так сказать, по деловым поводам.

Всеволод Иванов всегда с охотой писал для газеты «Известия» статьи к какой-то дате или событию. Я нередко, выполняя поручение редакции, просил его написать статью, приезжал за ней или первым читал ее в присутствии автора. Примечателен в его публицистике один завидный прием — сюжетность. Статьи Всеволода Иванова — это не риторика, а рассказ о встрече, о человеке, сюжетное развитие какого-то случая, а потом уже обобщение. И, конечно, ивановская образность и вместе с тем простота слова.

В мае 1949 года мы одновременно были включены в состав редакционной коллегии альманаха «Год...» (такой-то). Это издание было близко и дорого Всеволоду Вячеславовичу. Он состоял в редколлегии еще первого тома альманаха — «Год XVI», вышедшего по инициативе и под началом М. Горького. Возобновление альманаха после войны он принял как свое кровное дело. И сразу же принес в редакцию только что законченную рукопись путевых очерков о поездке в Казахстан «Лето 1948 года».

В творчестве Всеволода Вячеславовича после войны не все удавалось ему. Мы ждали от него большого полотна о ратном подвиге народа. И действительно, в журнале «Новый мир» появился его роман «При взятии Берлина». Но вышла осечка и, как позднее признался сам писатель, «получился эскиз». Вскоре печатается его пьеса «Ломоносов», и слово Всеволода Вячеславовича снова звучит со сцены МХАТа, на которой его «Бронепоездом» был открыт путь советской теме в прославленном театре.

Всеволод Вячеславович постоянно жил в состоянии кипучего труда. Он писал упорно и настойчиво. Был требователен к себе. Стукнув своим крупным кулаком по письменному столу, он однажды сказал мне:

— Тут рукописи, наверное, сотни рассказов, которые я еще никому и не показывал.

В другой раз он смущенно-игриво сообщил:

— Написал пьесу «Левша». И стихами.

— Стихами? — переспросил я.

— А что? Стихами! — задорно ответил Всеволод. — Знаешь, стихи может писать каждый. В этом я убедился. Каждый может научиться строгать дерево? Каждый. Но у одного получится табуретка или шкаф, пусть даже с замысловатыми вензелями, но шкаф, сделанный мастером-столяром. Ремесленный шкаф. А другой из куска дерева создает произведение необыкновенное и неповторимое. Это искусство. Так и стихи. Бывают стихи ремесленные и стихи, которые становятся искусством. Мои, конечно, ремесленные. Но пьесу я написал лихо. Ей-богу!

Заседания редколлегии альманаха Всеволод Вячеславович посещал не часто. Но и за редкие случаи его участия в заседаниях редколлегии мы выражали ему свою признательность. Огромный опыт, влюбленность в человека служили для нас источником бодрости и уверенности. Он нередко присылал в редакцию рукопись молодого писателя, попавшую к нему, и, если усматривал талант, просил «отнестись к рукописи доброжелательно, с наибольшей внимательностью».

Он любил это скромное издание, у колыбели которого стоял и каждый номер которого (ставший впоследствии двухмесячником «Наш современник») он подписывал вместе с нами. В свое время, не согласившись в чем-то с главным редактором журнала «Октябрь», он ушел из редколлегии, хотя и был в ее составе много лет. После того, как Всеволода Вячеславовича назначили главным редактором «Московского альманаха», его спросили в редакции «Нашего современника»:

— Дорогой друг, а как же теперь с «Нашим современником»?

— А я по совместительству! — добродушно, с неподражаемой улыбкой ответил Всеволод Вячеславович.

И вскоре принес в «Наш современник» рукопись своего очаровательного произведения «История моих книг» (опубликована в «Нашем современнике» в № 3 за 1957 год и в № 1 за 1958 год). Этой автобиографической повестью Вс. Иванов открыл восьмитомное собрание своих сочинений, первый том которого вышел в 1958 году, а восьмой — в 1960 году.

Восьмитомное собрание сочинений Всеволода Иванова, к сожалению, оказалось последним прижизненным

изданием. В четвертой книжке двухмесячника «Наш современник» за 1963 год фамилия Всеволода Вячеславовича в составе редколлегии упоминалась последний раз и была взята уже в траурную рамку.

Как-то, посылая мне для ознакомления главы своего нового романа «Мы идем в Индию», Всеволод Вячеславович писал:

«Дорогой друг!

Погода в Переделкине хороша, что тебе нетрудно проверить. Настроение мое — тоже. И тоже можно проверить лично.

Обнимаю и желаю счастья.

Всев. Иванов».

Вот таким жизнелюбом, щедрым на доброту к окружающим, удивительно простым и мудрым, настоящим товарищем и старшим другом остался в моем сердце Всеволод Вячеславович.

1963

Валентина Ходасевич

О ВСЕВОЛОДЕ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕ ИВАНОВЕ — ДОБРОМ ВОЛШЕБНИКЕ

Яркий цветной ковер из колокольчиков, ромашек, маков, клевера, лупинусов и многих других дикорастущих или когда-то посаженных одичавших цветов расстилается от самого забора (отделяющего дачный участок от дороги) по всем полянам и вьется цветными дорожками между деревьями и кустами. Осенью кажется, что ковер переменили, — произошла полная смена цветов и цвета.

* * *

Плодовые деревья, ягодные кусты, цветы чувствовали, что Всеволод Вячеславович понимает их и любит — хочет, чтобы им хорошо жилось, хотя бы в пределах его «владений».

Иногда он вдруг расселял их, пересаживал, подстригал и не уставал любоваться ими. Если долго не было дождя, подтягивал длиннейший шланг, клал его к корням особо жаждущих.

Все растения тянулись к нему и как-то феерически быстро продвигались к дому, и казалось, что скоро они наберутся храбрости и сил, прорастут сквозь ступени лестницы, войдут в дом и соединятся с избранными и привилегированными — те круглый год жили в кадках и горшках по всему дому, защищенные от зимы и непогоды.

Дикий виноград ползет вверх по стенам и, достигнув второго этажа, уже завоевывает крышу.

Летом мало видно дом. Во всяком случае — трудно понять его архитектуру.

Когда окна были открыты, грозди цветущей сирени и цветы шиповника врывались через окна в комнату Всеволода Вячеславовича — они тоже любили таинственно-тихого писателя, который, если бывал гневным — что случалось редко, — был страшен.

* * *

Из цветов Всеволод Вячеславович особо любил мальвы и сам сажал их. Зимой не переставал он любоваться и удивляться великолепию кистей ярко-красных ягод калины, висящих на тонких оголенных ветках на фоне белого снежного покрывала, — всю зиму их постепенно склевывали птицы.

Нравились ему незабудки — когда их много. Дикие, принесенные им из леса, они самостийно разбежались по всему участку.

Вскоре после войны Всеволод Вячеславович посадил вдоль дороги, ведущей от ворот к дому, маленькие березки, и вот они выросли в большие деревья и летом сплетают свои ветки над дорогой, образуя тоннель, в котором в солнечные дни держится зеленая тень.

Если так сложилось, что Всеволод Вячеславович «угомонился» и стал «оседлым», то хоть в природе, здесь, под Москвой, пусть все, что хочет и может, вольничает и буйствует (как в молодости он сам). Да и красиво это удивительно!

* * *

Конечно, Всеволод Вячеславович был добрым сказочным волшебником. Я часто ощущала, что вокруг него создается «зона волшебства». Вот он что-то скажет или расскажет такое, что все вдруг преображается в «не так, как в будни». Ведь до сих пор точно неизвестно, что такое искусство и как оно делается, — условно можно его называть и «волшебством».

Бывают бездомные бродяги, а он был оседлым, но все же бродягой в помыслах, чувствах и делах своих. Может, надо бы сказать — романтиком? — я не уверена в этом...

По-моему, он в делах житейских никогда не спускался в ненависть, а когда ему бывало невмоготу от противности — карал полным равнодушием.

Возможно, он иногда мечтал о всеблагом ветре, который сдул бы ко всем чертям все мерзкое и недостойное, что наросло на некоторых людях, как позорная короста.

* * *

Иногда он мог казаться странным. Когда я чем-нибудь возмущалась, он как-то загадочно начинал улыбаться и говорил: «Ничего! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Однажды я была даже раздосадована, не находя в нем сочувствия и соболезнования, и спросила: «Уж не буддийского ли вы «вероисповедания»?» На что он, хитровато прищурившись, сказал: «Как хотите — возможно!» — и прервал разговор. Обсуждать с ним и решать душевные или «мировые» проблемы, по крайней мере мне, — не удавалось. Душевных он как-то боялся и не хотел, а «мировые» умел перевести в план столь мудрого юмора, что вопрос разлетался в прах. Может, я не умела к этим вопросам подойти или мой подход казался ему наивным? Беру вину на себя — хоть и обидно! (Не вину брать, а то, что такие разговоры не состоялись.)

В общем-то, было так: я его иногда стеснялась. Отчего? — так и не поняла. Ведь относился он ко мне очень хорошо, уж я не говорю о том, с каким уважением и любованием относилась к нему я как к писателю и человеку.

* * *

Он часто подолгу молчал, но мог быть и блестящим рассказчиком, да и оратором, — какой найдет «стих». А его рассказы о виденном и думанном в его путешествиях и странствиях — заслушаешься!

За дружеским праздничным столом кто произносил самые мудрые и интересные тосты и здравицы? Конечно, Всеволод Вячеславович! Хороши они были и по содержанию, и по форме.

Вообще, всегда было в нем много нежданного, и отображал он все по-особенному. Даже его «неправды» были правдами.

* * *

Всеволод Вячеславович очень любил свою семью, но никогда не «воздействовал», даже на своих маленьких внуков.

К животным он относился примерно так же, как к растениям, и они льнули к нему.

Помню, был у него довольно большой, но очень трусливый щенок Каштанка. Надо было видеть, как он умилительно бросался к Всеволоду Вячеславовичу искать защиты — визжал, просился «на ручки», когда мы в зимние вечера ходили гулять по проспектам Переделкина и вдруг раздастся неожиданный шорох за чьим-нибудь забором, или залает собака, или вдали покажется человек, — конечно, страшно! Всеволод Вячеславович расстегивал куртку, брал щенка себе за пазуху и, что-то нежно приговаривая, успокаивал песика, а тот благодарно старался облизнуть ему все лицо и блаженно попискивал от наслаждения, одновременно все еще слегка вздрагивая от пережитого ужаса.

Будучи в последний раз в Нижней Ореанде, под Ялтой, он полюбил разгуливающих там по парку павлинов. Однажды к его балкону пришло двое, и за неимением другого угощения им предложены были финики. Очевидно, это лакомство им понравилось, и назавтра павлинов пришло уже много. Конечно, они получили щедрое угощение. Но вскоре это вызвало протест администрации дома отдыха. Павлины после фиников сильно загрязняли балкон и всю площадку вокруг — пришлось прекратить эти павлиньи пиры.

* * *

Вероятно, если бы в своей жизни Всеволод Вячеславович встретил меньше плохих людей, он смог бы свою любовь и нежность ко всему сущему полной мерой воздавать и человеческим особям и быть очень счастливым. Но этого, к сожалению, не случилось — он закрыл свое талантливое и доброе сердце для многих и для многого. А будучи человеком очень ранимым, скрывал это, как некую тайну.

И жил он хотя среди людей, но слегка отшельником, слегка волшебником. Многие люди, я думаю, в большом долгу перед ним.

* * *

Для путешествий, без которых он не мог жить и к которым очень тщательно готовился, он накапливал очень обдуманно свое снаряжение: какие-то складные ножи, ложки, фляги, коробочки, баночки с лекарствами и без, — все это компактно упаковывалось в специальные футляры. Брал он с собой и четки — мало ли что!..

Из поездок, особенно зарубежных, он всегда привозил всем домашним и друзьям подарочки, красивые, с большим вниманием и вкусом выбранные.

* * *

Делая передышку в работе, бродил он по Москве один. Заходил в магазины, покупал непредвиденные вещи. Иногда это были произведения искусств, часто старые и старинные книги (все литературные новинки он выписывал из книжного фонда для себя и для членов семьи, учитывая интересы каждого). Не будучи чревоугодником, он соблазнялся иногда какими-нибудь экзотическими яствами, а то и просто солеными огурцами, если они в интересной упаковке. Чаи он как-то особо тщательно выбирал — ему нравились зеленые и плиточные. Домой он приносил большие «доски» или «кирпичи» прессованных чаев с выдавленными на них барельефными изображениями китайских башен, городских ворот, пагод и красивых иероглифов. Часто это бывали чаи, которые никто, кроме него, не соглашался пить, — очень уж было противно. Он обзавелся и особыми чайниками и кофейниками новейших конструкций и причудливых форм. Приходилось, чтобы ими пользоваться, прочитывать длиннейшие наставления, прилагаемые к этим новинкам. На террасе-столовой стояла его «неприкасаемая» белая электроплитка, на которой он варил свои «зелья».

* * *

Некоторым своим привычкам он неожиданно и по непонятным причинам вдруг изменял, а потом так же внезапно возвращался к ним. То курил трубку, то сигареты, то бросал, с абсолютной легкостью, на долгий срок, курение. То пил вино, то месяцами — не уговоришь!

То выходил утром с четками в руках и целыми днями перебирал их, что-то обдумывая — наверное, важное! Четок было много разных, преимущественно из восточных стран, сделанных из резных камней, янтаря, слоновой кости, из кипариса и вечно благоухающих — из сандалового дерева. Зерна четок были и гладкими, и с причудливыми узорами. А то вдруг надевал на пальцы рук древние перстни, а к вечеру менял их на другие.

Он был легок на подъем и перекочевывал без труда, перенося свой кабинет из одной комнаты в другую и даже из этажа в этаж.

Всегда комнаты Всеволода Вячеславовича выражали самого хозяина. Потому, наверное, в них бывало особенно интересно и уютно слушать его произведения, когда он их читал сам.

Четко помню, как незадолго до своей трагической смерти Александр Александрович Фадеев зашел к Ивановым (а я в это время гостила у них) и попросил Всеволода Вячеславовича почитать главы из его нового романа «Мы идем в Индию». Всеволод Вячеславович читал эпически просто. Слушая, мы с Фадеевым блаженствовали. Александр Александрович часто вынимал платок из кармана и вытирал слезы, которые катились у него из глаз от смеха и умиления. Смеялся он громко, неудержимо и, что не вязалось с ним, как-то по-детски...

Ему очень понравилось прочитанное, и он долго восхищался, разбирая отдельные куски.

* * *

С 1933 года примерно я встречала Всеволода Вячеславовича и Тамару Владимировну (уже многое о них зная) у Алексея Максимовича Пешкова, когда приезжала к нему погостить из Ленинграда в Десятые Горки под Москвой.

В 1941—1942 годах мы встретились с Ивановыми в эвакуации в Ташкенте и узнали друг друга ближе. Вернувшись в Москву в 1943 году, сдружились.

Мы вместе переживали и удачи, и огорчения. Друзья и враги были общие. При моем послевоенном одиночестве (в результате войны ушли из жизни самые близкие и любимые мной люди) судьба вознаградила меня дружбой с семьей Ивановых. Как мне бывало хорошо с ними

и у них! И всегда плодотворно интересно! При мне вырастали, мужали дети Ивановых. Потом появилось третье поколение, и дом уже еле вмещал всех... А мне везло — даже в тесноте я не бывала в обиде и лишней.

И еще теснее сблизились мы, когда в 1954 году МХАТ решил ставить пьесу Всеволода Вячеславовича «Ломоносов», и я была приглашена театром оформить этот спектакль. С огромным увлечением принялась я за эту работу. Пьеса ставила передо мною трудные, но увлекательные задачи. Спектакль работался трудно и долго.

Удивляться надо, с каким благородством, внешним спокойствием и мудростью Всеволод Вячеславович реагировал на возникавшие явные и скрытые недоброжелательства и препятствия, которых было так много в работе над спектаклем «Ломоносов»!

* * *

Помню, как, вернувшись из эвакуации весной 1943 года, я и художник Виктор Семенович Басов поехали вместе с Всеволодом Вячеславовичем и Тамарой Владимировной на пепелище сгоревшей в войну дачи Ивановых в Переделкине. Мы увидели там опустошенный участок. Чуть намечался фундамент бывшего дома. Мы улеглись на траве, и Всеволод Вячеславович грустно вспоминал свою огромную сгоревшую библиотеку: «Да и карандашей пропало и тут, и в московской квартире несколько сотен, — я люблю, чтобы под рукой их было много», — прибавил он.

Басов, побродив по участку и выковыривая из земли, собрал сохранившиеся мелкие, как орехи, картофелины. Мы решили испечь их в золе костра, сложенного из спичек с добавкой тоненьких прутиков. Пока картофель пекся, мы строили увлекательные планы будущей жизни. Многое из воображаемого тогда — сбылось.

В 1944 году Ивановы поселились на даче Сельвинских, а в 1949-м Литфонд построил новый дом для Ивановых, и они в него перебрались. Небольшой стандартный финский двухэтажный домик был красивым и снаружи и внутри.

С веселым, как всегда чуть загадочным, лицом нацеливал Всеволод Вячеславович глаз на стены, вбивал гвозди и быстрой, легкой походкой шел за стоявшими

у стен или сложенными в разных углах картинами, гравюрами, литографиями, находил то, что он хотел, и вешал на вбитые гвозди в облюбованных им местах. В результате тут мирно и красиво уживались живопись Кончаловского и Уфимцева с литографиями Пикассо, акварель Айвазовского с картиной Тышлера, плакаты Маяковского (окна РОСТА) с гравюрами XVIII века и русские лубочные картинки с рисунками Леже. И все это разнообразие так располагалось Всеволодом Вячеславовичем, что вещи не мешали друг другу, а, наоборот, оттеняли своеобразие каждой.

Окантовки Всеволод Вячеславович любил иногда делать сам.

Правда, все вешалось не навеки — много раз в этом доме происходили не только смены вещей на стенах, но и обитатели дома не были тупо оседлыми жильцами и менялись иногда комнатами. Была в этом какая-то прелестная подвижность молодости, и легкость, и бесшабашность. Люди не были рабами вещей. Не были они рабами и денег и безболезненно, с большим достоинством, переносили и недостаток в них, и избыток.

На первый взгляд странно и необычно расставлены мебель и вещи в комнате Всеволода Вячеславовича в Переделкине.

Да и подбор мебели был необычный. Комната служила и рабочим кабинетом, и спальней. Угол «спальни» отделен был от остальной части комнаты тяжеленной кожаной ширмой, привезенной Всеволодом Вячеславовичем с Урала.

Вдоль стены, под окнами, стоят два совершенно одинаковых письменных стола из темного полированного дерева. Они завалены пачками бумаги, папками, книгами. На них стоят всякие посудины с несметным количеством карандашей, очень тщательно отточенных, преимущественно так называемых «итальянских», но есть и графитные разной мягкости.

А писал Всеволод Вячеславович сидя или лежа на большом, сколоченном из досок помосте (как у узбеков в чайхане), покрытом вязаным шерстяным покрывалом-ковром ядовитого малиново-лилового цвета, с висящими на лицевую сторону прядями нитей длиной сантиметров в десять. Такую штуку я видела впервые в жизни — она привезена была Всеволодом Вячеславовичем из Болга-

рии. Под помостом, скрытые спущенным до полу покрывалом, лежат большие камни, привезенные из Коктебеля. Есть среди них — весом больше пуда. Эти глыбы откалывал сам Всеволод Вячеславович на Карадаге.

Пол этой довольно фантастической комнаты, где сам воздух пропитан восточными травами и тайнами, застлан коврами разных народов.

Рядом с рабочим ложем-помостом, для постоянного и непосредственного общения, в больших деревянных кадках два очень больших растения — китайская роза и алоэ, изгибающееся причудливо и похожее на фантастическое китайское чудовище, вроде дракона. Около них на табуретах глиняные кувшины с водой для поливки. В воде разведены разные питательные и лечебные снадобья. Поливать эти растения — привилегия хозяина, и поэтому, конечно, китайская роза так широко растопырила свои ветки и дарит ежегодно Всеволода Вячеславовича сотнями ярко-красных цветов.

Друзьям и хорошим людям охотно раздаются «отводки».

* * *

Халцедоны, сердолики, нефрит, кристаллы аметиста, бирюза, а то вдруг диковины океана — причудливые раковины и похожий на большой окаменевший букет мельчайших цветов белый коралл — привезены из далеких путешествий и красуются в разных местах комнаты.

Тесно населяют комнату изощренные произведения древнего искусства Востока: будды и другие боги и богини, просто фигуры мужчин, женщин, зверей, сделанные из бронзы, дерева или слоновой кости. Курильницы, кинжалы, ритуальные ножи, ковры... Некоторые из вещей стоят на шкафах, подоконниках, столах, а для некоторых на стенах приделаны полки разной величины, а есть и одноместные — индивидуальные. Все это вьется и громоздится вверх по стенам.

Всеволод Вячеславович любил преимущественно яркие краски. В своей одежде он часто использовал неожиданные и рискованные для мужчины сочетания цветов. Он умел живописно и красиво по цвету одеть героев своих произведений, особенно женщин, и создать им выгодный по тону фон, что редко удается писателям.

Я имела когда-то наглость сказать Горькому, что он плохо «одевает» женщин, а когда особенно старается, то делает их похожими на кресла или портьеры времен Александра III. Алексей Максимович не обиделся, смеялся — ему нравилась моя откровенность. Но все же он слегка колюче сказал мне: «Вот жаль, сударыня, с вами не посоветовался!»

* * *

Редко кто умел и любил, как Всеволод Вячеславович и Тамара Владимировна, принять и приветить гостей. Дни рождений членов семьи, праздники, встречи Нового года, когда собиралось к ним в Переделкино или в Москве на Лаврушинский большое количество друзей, праздновались от души, со всяческими выдумками, в которые вкладывали свое остроумие и таланты дети Ивановых и их молодые товарищи. По всем комнатам, начиная с передней, остроумные и смешные живописные плакаты со стихами, карикатуры, восклицания, афоризмы встречали приходящих и создавали, словами и цветом, радостное, праздничное состояния. Ну, а дальше — ужин, за которым каждый проявлял в силу своих возможностей блеск ума в тостах и рассказах. Понятно, что блеска хватало до утра, если принять во внимание, что бывали и следующие люди (по алфавиту): Андрониковы, Арагон, Асеев, Ахматова, Ауэзов, Л. Ю. Брик, Бажаны, Басов, Груздев, Довженко, Крон, Каверин, Катанян, П. П., О. В. и Миша Кончаловские, Корнейчук, Капицы, Ливановы, Маршак, Майские, Паустовский, Пешковы, Пастернак, Сейфуллина, Степанова, Солнцева, Сельвинский, Тихонов, А. Н. Толстой, Л. И. Толстая, Эльза Триоле, А. Н. Тихонов (Серебров), Тренев, Фадеев, Федины, Форш, Чагин, Чуковский, Шкловский с женой. Вероятно, и многие другие — всех не запомнила.

Празднично получалось и не только в «особые дни», а чуть соберутся днем или вечером несколько человек знакомых, неутомимые в своем гостеприимстве хозяева сразу же организуют угощение «чем бог послал» и, не прерывая беседы, примечают, если у гостя хоть минуту пустует тарелка или чашка. За рюмками и бокалами следит Всеволод Вячеславович. Из каких-то тайников извлекает он особую настойку или еще никем не виданное вино.

Если последние годы, когда все больше стало налаживаться наше общение с зарубежными странами, в доме бывали иностранцы, все равно отсутствовала натянутость и официальность. Тамара Владимировна умела повернуть разговор на интересующие каждого темы или увести «от» и изменить в нужный момент русло разговора. Всякое бывало!

* * *

Я любила делать подарки Всеволоду Вячеславовичу — он так задушевно радовался новым игрушкам.

Вернувшись в 1943 году из эвакуации в свою квартиру в Ленинграде, я обнаружила, что валяется на полу бронзовая китайская, покрытая эмалью, фигурка XVI века — бог литературы, изображенный сидящим верхом на большой рыбе — карпе. Карп пропал, а бедный китайский писатель лежал беспомощной раскорякой. Я его бережно сохранила — это была редкая вещь — и подарила Всеволоду Иванову. Ему очень понравился китайский бронзовый коллега, и он долго подыскивал, на что его посадить вместо карпа. Решил найти подходящий по форме камень из своей коллекции. Уже сидящим на камне, бог литературы был удостоен личной подставки и занял место на стене комнаты своего собрата по перу.

Прошло несколько лет. Однажды в Ленинграде получаю письмо от Тамары Владимировны с приглашением приехать к ним в Москву, на Лаврушинский, встречать Новый год или на рождение Всеволода Вячеславовича, не помню. Я решила сделать сюрприз, послала телеграмму с благодарностью и сообщила, что, к сожалению, приехать не смогу. На самом же деле поехать решила — и с поезда в Москве приехала не к Ивановым, а к Пешковым. Я везла в подарок Всеволоду Вячеславовичу два английских серебряных канделябра на две свечи каждый. Захватив чемодан с вещами и канделябры, мы поехали с Надеждой Алексеевной Пешковой вечером к Ивановым. На площадке перед дверью их квартиры я зажгла канделябры и вместе с чемоданом прижалась к стене так, чтобы открывающему дверь из квартиры меня не было видно. Позвонили. Дверь открылась, и я услышала поцелуи и возглас Тамары Владимировны:

«Вы знаете, Тимоша, такая обида — Валентина Михайловна не могла приехать!» Дверь еще не успели закрыть, как появилась я, с зажженными канделябрами, а порядочных размеров чемодан, подтащенный к дверям, свидетельствовал о том, что я приехала «на погостить». Эффект был рассчитан правильно. Лицо Всеволода Вячеславовича было на редкость довольное и веселое, а это было очень приятным подарком уже мне.

* * *

Когда Горький зачинал «Городок писателей» под Москвой, то «гонцы» нашли и выбрали Переделкино. Делая доклад Горькому, сообщили, что место замечательное и даже имеется речка Сетунь. Горький сказал: «Сетунь река судоходная — это хорошо!» В дальнейшем поселившиеся в Переделкине, в выстроенных для них домах-дачах, писатели увидели речушку, которая весной разливается метров до трех в ширину, а летом совсем пересыхает.

Потом выяснили, что река Сетунь была судоходной при царе Алексее Михайловиче, но с тех пор столько воды утекло!

* * *

С годами «Городок писателей» разросся и сильно изменилось все в окрестностях, а многого не узнаешь. Даже и звуки, доносящиеся до городка, изменились. Звук громыхающих поездов и гудки паровозов заменили особые гудки электрички. Изменились и гулы небесные с появлением реактивных самолетов. И только звуки колоколов переделкинской древней церквушки доносятся такими, как и были раньше, — то безразличные, то веселые (свадьбы, крещения и праздники), то грустные — похоронные.

Всеволод Вячеславович любил сидеть на открытой террасе. Годами не надоедал ему далекий пейзаж, что открывался перед глазами: за забором — дорога, за ней — большое колхозное поле, полуокруженное несудоходной рекой Сетунью, за полем — холмы. На холмах внизу — кладбище, выше — церковь, сады и рощи, сквозь которые кое-где виднеются дома.

На участке Ивановых так все разрастается, что видимый с террасы пейзаж все больше суживается. А на террасе уже нет Всеволода Вячеславовича. Ушел навсегда добрый волшебник.

То, что он «наворожил» в жизни, осталось в его книгах, в его рукописях, в памяти людей, в его саду и доме, в поселке писателей на берегу несудоходной реки Сетуни.

1964

Антон Иванов

КАКИМ Я ПОМНЮ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

Мои воспоминания о Всеволоде Иванове — это воспоминания о моем детстве. Начиная почти с рождения и кончая 1956 годом, я все время жил в Переделкине. Мои родители приезжали по воскресеньям. Основное время я проводил с дедушкой и бабушкой — Тамарой Владимировной. Да и потом, когда стал школьником, на лето опять меня забирали в Переделкино. Так что бóльшая часть моей жизни до тринадцати лет протекала бок о бок с Всеволодом Ивановым — моим дедом. Так я и позволю себе называть его на протяжении всех этих записок. Мне одновременно и трудно, и кажется неискренним называть человека по-другому, чем звал его всегда.

Со смертью деда кончилось мое детство. Конечно, при его жизни я не мог постичь многого из того, что принято называть чертами творческой личности, и потому можно было бы говорить о неправомерности моих воспоминаний. Но детские впечатления переосмысливаются. Начинаешь оценивать события, которые детский мозг лишь запечатлел, подобно фотографическому снимку. Рассматриваю эти «фотографии», и часто возникает боль от невозможности высказать свои мысли тому, кого уже нет и чьи слова и замыслы, как теперь мне кажется, стали для меня понятными.

1

Часто гости, особенно люди, попавшие в первый раз в наш дом и потому не чувствующие себя еще «своими», спрашивали меня с умильной улыбкой — той самой

улыбкой, которую избирают для общения с маленькими детьми или внуками хозяев дома: «А ты, конечно, Антончик, хочешь, как дедушка, стать писателем?» На это я злобно и отнюдь не приветливо отвечал, что писателем быть не желаю, потому что нет ничего скучнее, чем стучать целыми днями на машинке да еще к тому же запершись в кабинете. Запирание в кабинете было для меня самым обидным компонентом писательского труда. Дело в том, что я не ценил так ничьего общества, как дедова, а во время его рабочих часов пробраться к нему было почти невозможно. Иногда, соскучившись, я прибегал к тому, что брал кружку, стучал в дверь, а затем, приставив кружку ко рту, говорил басом: «Всеволод Вячеславович, можно войти?» Раздавался скрип большого кресла, и дед, повторяя: «Пожалуйста, пожалуйста», отмыкал дверь святая святых. Подвох он всегда обнаруживал слишком поздно — когда я прочно проникал в брюхо громадного, длинного кабинета, похожего на трюм теплохода. Там стояло столько кресел и стульев, да к тому же для четырех-пятилетнего ребенка существует столько свободного и трудно досягаемого для взрослых пространства и под диванами, и под креслами и стульями, что процедура моего «выкуриванья» длилась минимум полчаса, а то и больше.

Дед пускал в ход все атрибуты своего красноречия, начиная от ласковых увещеваний и кончая угрозами, которые всегда выражались одной фразой: «Сейчас выпорю». Но я не боялся деда. Бывают даже добрые люди, которые могут заставить себя бояться. Дед не был таким. Он был человеком, которого бояться невозможно, потому что угроза никогда не будет приведена в исполнение. Это чувствовалось в голосе, когда он угрожал, едва удерживаясь, чтобы не расхохотаться. Дети чувствуют, когда им ничего не грозит, гораздо острее и вернее, чем взрослые. Именно потому, что чувствуют, а не взвешивают.

Иногда деду удавалось избавиться от моего пребывания «выкупом». Предметы я требовал самые неподходящие: то курительную трубку — их у деда была замечательная коллекция, и все они были изумительной красоты, — то подкову со стены (их тоже была изрядная коллекция) и разное тому подобное. Однажды дед с отчаяния выдал мне большую английскую сигару, и я важ-

но ходил по дорогам Переделкина, сопровождаемый няней и держа во рту сигару, конечно незажженную, но вызывающую ужас у проходящих мимо людей. Помню, какую гордость я испытал, когда поравнявшаяся с нами жена какого-то писателя с маленьким сыном сказала громко: «Ты, Сашенька, не бери пример с этого хулигана. Курить вредно!» Я был горд тогда своей взрослостью и независимостью. Я жалел бедного Сашу, у которого нет такого деда, как у меня, и которому никогда не дадут подержать во рту настоящую сигару, пусть незажженную, но зато очень горькую на вкус.

Но часто бывало и так, что ни трубки, ни другие интересные вещи не помогали. Я требовал от деда рассказа — таинственного и интересного. В большинстве случаев он соглашался и начинал рассказывать историю, столь увлекательную, что я весь погружался в нее. Но он неожиданно останавливался на каком-нибудь самом интересном месте и говорил: «Конец главы. Следующая — вечером». Я не хотел ждать до вечера. Тогда применялась крайняя мера — дед звал бабушку. «Тамара, прорвался!» — кричал он жалобно. «Прорвался» — это про меня. Приходила бабушка и говорила, чтобы я немедленно убирался к себе, иначе... С бабушкой шутки плохи, и я, понуря голову, уходил и ждал вечера — момента после ужина, когда мне предстояло прослушать еще одну главу очередной истории с продолжениями. Так я, не умея еще читать, уже знал, что литературное произведение может делиться на главы.

Я говорил тогда, что писателем быть не желаю, а хочу стать... ассенизатором. Да, ни больше, ни меньше. Я сдружился с шофером такой машины, которая изредка прикатывала на нашу дачу с чисто профессиональными целями. Грузовик с бочкой вместо кузова почему-то вселял восторг в мою детскую душу. К тому же приятель ассенизатор объяснил, что за его работу много платят. Это, как ни странно, явилось для меня определяющим фактором в «выборе профессии», хотя если бы меня спросили, что такое деньги, я ничего бы не смог ответить. Я просто не знал этого тогда. Гости при моем заявлении выражали изумление, дед же хохотал и говорил, что если я не изменю своего решения, то буду самым процветающим членом нашего семейства. Надежд

деда я не оправдал. Я изменил решение. Теперь запираюсь в комнате и стучу на машинке...

Как-то у нас на даче, уже после смерти дедушки, гостили Виктор Борисович Шкловский и его жена — Серафима Густавовна. Виктор Борисович писал целыми днями — кончал очередную книгу. Однажды я постучал в дверь комнаты, где жил Шкловский, и сказал, что пора обедать. «Пошел вон, я работаю», — громко и отчетливо ответил Виктор Борисович. Я ушел, поняв, что каждое лишнее слово может сбить Шкловского с мысли. Минут через пять Шкловский стремглав примчался в столовую, со свойственной ему экспансивностью внезапно остановился, — так, что казалось, сама столовая продолжает двигаться, приняв на себя часть внезапно остановленной энергии вошедшего, — и рассыпался в извинениях за «грубость». Он мог бы этого не делать. Я понял его и не счел его поступок «грубостью». Но я понял и другое — какую-то удивительную дедовскую черту, которая не могла заключаться в просто сдержанности или доброте. Я понял, что для него значило в горячке работы прерваться и терпеть выходки пятилетнего ребенка. Сдержанность тут ни при чем. Нельзя сдержаться, когда рискуешь иногда потерять нить обдумываемого. Это было другое — умение остановить творческий процесс, прерваться, не забывая найденного хода, главы, эпизода... Редкая и завидная способность, ею объясняется и фраза, которую дед часто повторял: «Ничего не может быть приятнее того, когда тебя отрывают иногда от работы».

Тут как бы двойной смысл. С одной стороны, способность не забывать позволяла дедушке прервать работу в любой момент. С другой стороны — удивительная организованность. Он работал почти как человек, ходящий на службу. Завтрак — в десять. Сразу после завтрака он уходил в кабинет и писал до обеда. В три — обед. Потом он неизменно спрашивал бабушку, любящую «теории пользы и вреда»: «Тамара, после обеда спать вредно?» — «Конечно, вредно», — отвечала та. «Ну, я пойду посплю». И весело уходил спать. Час сна — и опять работа, до восьми вечера. Потом — ужин. Послеобеденное спанье было единственное, что отличало деда от человека, который ходит на службу. Впрочем, оно входило в его режим. Спал он смешно. Всегда положив подушку

на голову. Это была привычка, оставшаяся с юности, когда невозможно было уснуть, не укрывшись от шума общежития или даже ночлежки. За вычетом прогулок и послеобеденного отдыха дедушка работал целый день. Исключение составляли воскресенья и семейные торжества, когда наш большой дом, начиная с утра, наполнялся гостями. Гости появлялись как бы сами собой. Многих никто не звал, но они словно чувствовали свою нужность и приходили. По воскресеньям дед становился виночерпием. В другие дни он позволял себе нарушить рабочий режим, только если «оторвет» кто-нибудь приехавший издалека или я «прорвусь» в кабинет.

II

После ужина начинались наши игры с дедом. Первым моим требованием после того, как дед отодвигал стул от обеденного стола, было: «Поехали в Якутиву». Так я интерпретировал слово «Якутия». Игру придумал дед. Он садился в качалку, я — к нему на колени. Это был самолет. Мы раскачивались. Дед имитировал работу двигателя самолета. Дед был человек грузный. Несмотря на это, скорость нашего «полета» была столь велика, что качалка трещала и скрипела. Она как бы выражала свою полную готовность сломаться, прекратить нашу роскошную «поездку» в Якутию и вернуть нас с облаков на землю — на пол нашей переделкинской столовой. И мне совсем не странно вспоминать сейчас, что я при этом бурном раскачивании не испытывал ни малейшего чувства страха. Стоит заметить, что я не был храбрым ребенком. Помню, например, какой панический ужас я испытал, когда какой-то гость поднял меня на вытянутых руках в воздух. Я орал от страха. До сих пор не могу без ужаса думать об этом случае. Но с дедом все было по-другому. У меня просто не возникало никаких мыслей об опасности. Я знал, что раз развлечение придумал дед, об опасностях и подвохах речи быть не может. Будет лишь интересно — и все.

Это была его особенность — вселять в людей доверие к себе. Дед был фантазером, человеком, который, как одержимый, загорался иногда самой странной идеей, только что пришедшей ему в голову, и жаждал ее немедленного осуществления. Часто идеи эти были рискован-

ными. Но дед как бы зажигал своими планами окружающих, и никто не думал о риске. Быть может, это происходило оттого, что сам он не чувствовал опасности — не рассчитывал на нее. Моя мать мне рассказала, как в детстве она и два моих дяди пошли с дедом за грибами. По пути дед сказал вдруг, что надо поспеть на место до того момента, когда придут другие грибники, а для этого надо идти не вокруг, а прямиком — через болото. А болото оказалось трясиной. Дети с легкостью шли по ней не проваливаясь, под дедом трясина колыхалась, готовая вот-вот поглотить его. Он, смеясь, говорил, что это очень интересно — чувствовать себя неустойчиво на земле в буквальном смысле слова. И только когда они выбрались из болота, мама увидела, как дед, совершенно бледный, вытирает пот со лба. Видимо, ощущение опасности придуманной им забавы пришло к нему в середине пути, и он был рад благополучному исходу, в то время как его спутники — дети — иного исхода и не предполагали.

Меня он однажды — уже много позже «поездок в Якутиву» — подбил пройти ночью сквозь переделкинское кладбище. Было мне одиннадцать лет. Мы заговорили о привидениях, и вдруг дед сказал: «А ты знаешь, привидения-то иногда появляются ночью на кладбищах». Я, естественно, ответил: «Не может этого быть, дедушка». — «А ты попробуй, — возразил он, — пройди ночью через кладбище. Иногда на старых могилах появляются очертания силуэта покойника».

Было это сказано с загадочной интонацией в голосе. Мне стало и страшно и любопытно. Накануне — ночью — я прочел «Вия» Гоголя. Читая, стучал зубами от страха и потом видел во сне кошмары. Как было не поддаться искушению, когда вымысел мог стать реальностью. И я поддался. Поддался еще и потому, что дед обещал пойти со мной, довести меня до кладбища и потом ждать на другой его стороне. Сознание, что дед будет ждать меня у выхода, снимало большую долю страха. Я верил, что если он будет рядом, все кончится благополучно.

И мы пошли. Была июльская ночь. Бабушка уехала по каким-то делам в Москву с ночевкой. Если бы она не уехала, нашему предприятию был бы, как я в то время любил говорить, «капец». Бабка не ценила таких прогулок. Но, повторяю, она мирно спала в это время в го-

роде и думала, что я также мирно сплю в своей комнате в Переделкине. А мы, тем не менее, шли по направлению к кладбищу. По дороге дед рассказал мне историю о человеке, который на спор решил пройти ночью по кладбищу и вбить гвоздь в крест свежей могилы. Человек был не робкого десятка. Он спокойно дошел до могилы, вбил гвоздь и сделал шаг к выходу. Но вдруг почувствовал, что его кто-то держит... Наутро приятели нашли его мертвым, лежащим на могиле. Оказалось, что он случайно прибил гвоздем к кресту полу своего плаща. От страха, что его держит рука покойника, у него сделался разрыв сердца...

Нетрудно догадаться, как я себя почувствовал после этого рассказа.

— Ну что, сдрейфил? Может, повернем обратно? — спросил дед.

«Сдрейфил» — было его любимое слово. Вопрос был высказан столь лукаво и весело, что вызвал во мне честолюбивые чувства. Стыдно было бояться чего-то, в чем дед не видел никакой опасности.

Мы подошли к самому кладбищу. Дед сказал, что со мной вместе идти не может, — если он пойдет, мы не увидим привидения, которое появляется только перед одиноким путником. Он сказал, что пойдет вдоль кладбища и как раз поспеет к противоположному концу, когда я выйду. Мы расстались, и я вошел в мрачное царство усопших. Конечно, было страшно. Страх усиливало и то, что над кладбищем светила луна совершенно красного цвета. Но я скрепя сердце шел по тропинке между могилами. Почти дойдя до конца, я вдруг увидел зеленое мерцание на одной из могил. Покосившаяся ограда и старая эта могила промелькнули молнией в моем сознании. Я побежал и у выхода буквально врезался на полном скаку в деда.

— Видел привидение! — закричал я.

— Неужели действительно? — изумился дед.

В его голосе был восторг. Выяснилось, что он прочел какую-то книгу, в которой рассказывалось о возможности появления фосфорического очертания человеческого силуэта на могилах. Так я и не знаю до сих пор, видел ли я привидение в ту ночь или нет. Знаю лишь, как одержим был дед желанием проверить на практике все, что казалось ему интересным. Чем таинственнее

было явление, тем больше в нем появлялось одержимости, которой он как бы наэлектризовывал других людей. Конечно, в случае с кладбищем основная дедушкина цель — воспитание во мне смелости. Но вот что примечательно. Когда мне было восемнадцать лет, я решил повторить прогулку по тому же самому кладбищу. Я пошел туда, но, пройдя два метра, повернул обратно. Я не чувствовал себя в силах пересечь это жуткое для меня пространство ночью. Дед не воспитал во мне отсутствия страха перед могилами, объятыми тьмой. Страх прошел лишь однажды, благодаря вселившейся в меня увлеченности деда необыкновенной гипотезой какого-то ученого, а также и благодаря уверенности, что дедушка выручит меня из любой беды.

III

В детстве во мне жил гигантский дух противоречия. Как-то совершенно инстинктивно, без всякой задней мысли, я старался делать все наперекор тому, что мне говорили. Причем я не просто не слушался взрослых, я делал это азартно, как игрок в покер, который, безнадежно проигрывая, бросает в блюдце все новые и новые фишки. Помню случай с телевизором, который привезли на дачу. Мне было тогда три года, и бабушка мне сказала, что в телевизор ни в коем случае нельзя ничего бросать — иначе я разобью экран. Стоило ей выйти из комнаты, как моя рука нащупала молоток, лежавший на подоконнике, и — коварная, не ведая, что творит, — занесла его над экраном телевизора. В это время в комнату вошел дедушка и быстро сказал: «Валяй, разбей эту штуковину! Мне она надоела до смерти!»

Сразу после этих слов молоток почему-то выпал из моих рук, и я совершенно не хотел его поднимать. Так был спасен телевизор, спасен благодаря деду, который — единственный в семье — понимал, что из всех вещей на свете мой дух противоречия более всего не приемлет классического воспитания.

Я очень жалел, что дед был в каком-то очередном путешествии и не мог сказать своего обычного «валяй», когда я взял ножовку и распилил свой новый велосипед пополам. Зато, когда он вернулся, я ему показал оставшиеся обломки. Я думал, что он меня осудит, как осу-

дили все домашние, но вместо этого дед воскликнул: «Поразительно, как сил хватило! И, главное, какая точность! Распилил велосипедную раму на равные части!»

В случае с моим велосипедом деда восхитила не только точность, но и трудолюбие, которое было проявлено мной, не пожалевшим ни сил, ни времени для достижения симметрии. Когда дед увидел, что его восторг не находит во мне отклика, потому что мне жалко велосипеда, он сказал:

— Ты напрасно расстраиваешься. У тебя был один велосипед, теперь их два. Неужели ты хуже клоуна в цирке? Учись кататься на одноколесном велосипеде.

Идея мне понравилась, и я стал учиться искусству балансирования на одном колесе. Если вспомнить, что искусство требует жертв, то последние были налицо — в виде ссадин на моей физиономии, коленях и прочих частях тела. Не появилось лишь самого искусства катания на одном колесе. Видно, жертвы, принесенные мной, были признаны слишком скудными, мне же было достаточно больно, и потому я решил прекратить свои мучения. Все кончилось тем, что дедушка подарил мне новый двухколесный велосипед.

Иногда восторги деда были совсем неожиданны. Немного позже того, как я научился читать (было мне тогда пять лет), дед мне принес пишущую машинку и сказал: «Попробуй попечатай». В два дня я научился быстро и ловко печатать. Парадокс заключался в том, что, печатая на машинке слова и даже предложения, писать от руки я не умел. Печатал я почему-то лесенкой, так что графически мои писания очень напоминали стихи Маяковского, и это очень удивляло деда. Как-то, когда мне было уже лет восемь, он, рассматривая лист бумаги с напечатанным мной совершенно бессмысленным набором фраз, сказал:

— Послушай, Антон, а не написать ли тебе рассказ?

Я согласился и пошел к себе в комнату, чтобы, уединившись по всем правилам и законам творчества, приняться за работу. Рассказ назывался «Что случилось с хвастуном». Выбор темы подсказала сказка «Кот-хвастун». К тому же сам я в то время был не чужд хвастовства, так что сюжет моего «произведения» был автобиографичен. Сказку я модернизировал, введя элементы

того, что сейчас называют научно-технической революцией. Я безмерно увлекался автомобилями и страшно завидовал мальчику, жившему по соседству с нашей дачей, которого папа-шофер научил ездить на машине, — о чем я тогда мог только мечтать. Вот я и написал историю о двух мальчиках. Один был из рабочей семьи, у другого (как я почему-то до сих пор дословно помню написанное собой) «родные были писателями да художниками». И этот-то отпрыск «писателей да художников» сказал своему приятелю, что умеет водить машину. А грузовик, на котором работал папа второго мальчика, находился рядом с «хвастуном», и он сел за руль и поехал, и остановиться, конечно, не мог, потому что не знал, как это делается. Спас его, естественно, сын шофера, мужественно вскочивший в кабину несущегося во весь опор грузовика и остановивший машину после того, как «хвастун» торжественно поклялся, что никогда не будет «хвастать».

Писал я вдохновенно и создал рассказ в срок, которому бы позавидовал любой газетный репортер. Я был очень горд написанным и поспешил дать рассказ на суд деда. Тот углубился в чтение, потом вдруг начал трястись от смеха, когда же немного овладел собой, радостно закричал бабушке, которая находилась в другой комнате:

— Тамара! Я наконец понял, как можно писать такие произведения, как пишет N... Надо просто находиться на уровне развития восьмилетнего ребенка. Значит, есть надежда, что N... еще вырастет!

До сих пор помню, как я был расстроен. Я решил, что никогда в жизни больше не напишу ни одного рассказа. Я, увы, не мог тогда понять радости деда. Понял ее много позже.

Дело в том, что в то время у деда произошел крупный и неприятный конфликт с одним писателем, имя которого называть здесь ни к чему. Имя его совершенно не важно — важно, какой это был писатель. Он сочинял сверхсхематичные книги. По его писаниям можно было с самого начала догадаться, какой герой положительный, какой нет.

Дед сказал ему, что книги его безобразны и что он не понимает, как можно такое писать. Но дед всегда любил докопаться до сути явления. Восторг его был вы-

зван тем, что, прочитав мой рассказ, он понял, как можно писать такие книги и какой широты интеллект писателя, их создающего. В этой истории вскрывается важная черта деда — оптимизм. Ему хотелось всегда больше верить в лучшее, чем в худшее. Деду больше хотелось верить в то, что этот писатель вырастет, чем в то, что он безнадежен. Над оптимизмом деда все семейные часто подшучивали. У деда был барометр, который показывал при любой погоде на «ясно». Мы все считали, что барометр заразился дедовым оптимизмом.

IV

Я написал, что дедушку было нельзя бояться, потому что это был человек, который не мог внушать чувства страха. Однако тут следует оговориться. Его нельзя было бояться как человека, но я буквально трепетал, когда он мне рассказывал страшные истории. Он мог — словно волшебник — превратить на время таких рассказов простые и отнюдь не страшные явления в образы, из всех пор когорых смотрят на тебя мистически чудовищные вещи. Причем чем больше детали такого рассказа действовали на слушателя, тем больше дед расходился, озарялся вдохновением. Это уже был творческий процесс — с той только разницей, что истории эти, к сожалению, не фиксировались на бумаге. У меня сохранилась фотография, где я — лет в шесть — снят с дедом во время рассказа им такой истории. У меня глаза полны ужаса, лицо же деда — воплощение радости, творческой радости. Фотография мне и объяснила это творческое вдохновение, — сам я его заметить тогда не мог, слишком был мал, да и увлечен самими рассказами. Один из них я помню.

Мы часто гуляли с дедом по Переделкину. Как-то во время прогулки, в зимние сумерки, я обратил внимание на дачу серого цвета — единственную среди многих других, покрашенных в яркие тона. Я спросил деда, чья она. Дед таинственно, шепотом объяснил:

— Это дача страшного человека. Тут никогда не зажигается яркий свет. Этот человек освещает комнаты только светом часов с фосфором. Смотри, как тускло светятся окна.

Я посмотрел на окна. Они действительно светились тускло, как-то мерцающе тускло. Дед, видно, почувствовав, что эффект произведен, с увлечением и тем же таинственным шепотом, делая акцент на середине каждой фразы, продолжал:

— Фосфорных часов у него очень много. Он их снимает с людей, которых заманивает в лес позади своей дачи. У него есть дар заманивать людей в свой лес. Это дар слова. Ночью он выходит из дачи и начинает говорить о том, что люди ошибаются, думая, что его дача стоит в лесу. «Посмотрите, — говорит он, — это же не лес, это заросли роз, и розы необыкновенные — они излучают свет». И людям, проходящим мимо, действительно начинает казаться, что вокруг дачи необыкновенный цветник. И они заходят посмотреть на него.

Я записал эти два отрывка в прямой речи, потому что действительно помню их дословно. Остальное пересказываю своими словами — мозг зафиксировал лишь само течение фабулы. Дальше дед сказал, что, заворожив прохожих воображаемым цветником, страшный хозяин дачи заставляет их отдавать часы с фосфорным циферблатом, тех же, у кого нет светящихся часов, он убивает. Причем убивает тоже словом, а не каким-нибудь обычным орудием уничтожения.

Сумерки сгущались. Мне казалось, что таинственное мерцание в серой даче увеличивается. Дед сказал, что нам пора уходить, потому что сейчас страшный человек выйдет заманивать людей и мы тоже можем поддаться, а светящихся часов у нас нет. Уговаривать меня идти домой деду долго не пришлось. По дороге я спросил, как зовут хозяина серой дачи.

— Вольдемар Лидинг. Страшный пришелец из Скандинавии, — ответил дед.

После этого еще года два я обходил стороной серую дачу. А потом дед меня познакомил с ее хозяином — очень интересным, милым и совсем не страшным человеком, писателем Владимиром Германовичем Лидиным. В истории, рассказанной мне дедом, лежит его стремление превратить знакомое, лишенное тайны в непонятное, таинственное. Он как бы сам делал то, что приписывал таинственному «Лидингу», — он старался придать несвойственные черты предмету. Чем больше лес был

не похож на цветник, тем больше была радость деда, если слушатель видел клумбы со светящимися растениями.

Интересно, что истории деда имели на меня силу воздействия и в том возрасте, когда я уже сознавал совершенно четко нереальность существования ведьм и волшебников. Секрет был в том, что дед ни на минуту не забывал о характере слушателя. Нетрудно на примере приведенной мной истории убедиться, что арсенал образов, которые создавал дед, абсолютно реален. Фигурировали вполне привычные и правдоподобные для меня вещи. Искусство в том, что вещи эти дед необычно сталкивал друг с другом, — этим и создавался мистический колорит, в который можно было поверить, даже и не веря в волшебство.

V

Русский алфавит, как уже писал, я изучил довольно рано, но до семи лет предпочитал заставлять других читать себе вслух. Было это вызвано элементарной ленью, нежеланием утруждать себя — тем более что всегда находились желающие прочесть мне книгу любой величины, не жалея своих голосовых связок. Во время очередной нашей прогулки дед начал мне рассказывать историю про мальчика, который остался сиротой и попал в притон воров, где его заставляли угонять автомобили. В рассказе деда фигурировали погони полицейских за грабителями, жестокость этих грабителей и многое другое. Развязки рассказа, к моему удивлению, не последовало. Дед остановил течение своей истории как раз тогда, когда мальчик был ранен и было неизвестно, останется ли он жив.

— Ну, а дальше что? — спросил я.

— Дальше все было довольно сложно и интересно. Но я сейчас устал и рассказывать тебе больше не буду. К тому же мне надо идти работать. Ты, впрочем, мог бы прочитать это все в книге... Нет-нет, тебе рано читать эту книгу. Мал еще, — закончил свое объяснение дедушка.

Учитывая мой дух противоречия, лучшего способа заставить меня читать самому придумать было нельзя. Тут

все было рассчитано до тонкостей. Во-первых, начало увлекательной истории, конец которой угадать было невозможно. Я же не терпел неразгаданных тайн, и дед прекрасно знал это. Во-вторых, что характерно для каждого ребенка, — болезненнее всего я воспринимал разговоры о том, что мне еще чего-то нельзя из-за малого возраста. Эти два компонента, соединенные вместе, возымели на меня моментальное действие. Я пристал к деду, чтобы он сказал мне название книги. После долгих отнекиваний дед наконец «сдался»:

— Ладно уж, так и быть. Только не проболтайся, что это я тебе сказал, а то меня бабка убьет. Это книга Чарльза Диккенса, называется она «Жизнь и приключения Оливера Твиста». Но искать ты ее на книжных полках будешь сам. Я просто не могу тебе ее дать — это уж будет совсем непедагогично...

Когда мы пришли домой, я сразу кинулся в дедов кабинет, к полкам с книгами, которых была уйма. Расставлял дед книги самым причудливым образом. Большие собрания сочинений почему-то рассортировывались им так, что одна половина находилась, скажем, на нижней полке слева, в то время как другая лежала справа и наверху. Причем, я тут привел наиболее простую комбинацию. Иногда книги располагались дедом в куда более сложных сочетаниях. Самое странное было то, что в своей гигантской библиотеке дед мог моментально найти любой том. Это был определенный порядок, который понимал только он сам. Были и такие книги, к которым дед никого не допускал. Если кому-нибудь из нашей семьи срочно требовалась какая-нибудь книга, а деда не было дома, несчастный начинал безуспешно рыться в недрах открытых стеллажей, а потом, махнув рукой, бежал в библиотеку.

Я же нашел книгу довольно быстро. Роман был в двух небольших и красивых серых томах с золотой надписью. Старое, дореволюционное издание сочинений Диккенса, на которое до сих пор не могу смотреть спокойно. Каждый раз, как на даче — теперь уже строго расставленное по томам подряд — оно мне попадается на глаза, я вспоминаю свое первое знакомство с великим английским писателем. По тому, что оба тома «Твиста» лежали рядом и на нижней полке, нетрудно догадаться, что дед заранее положил их так, чтобы они неизбежно

попали в поле моего зрения, но я тогда расценил это как личную удачу и, показав деду язык и сделав хитрую рожу, понесся к себе в комнату — читать.

Осилил я «Оливера Твиста» в немыслимый срок для человека, не имеющего практики чтения, в три или четыре дня. Правда, я ничего не делал, кроме того, что читал да выходил обедать, ужинать и завтракать. Когда я сталкивался в столовой с дедом, он смотрел на меня, и глаза его из-под очков горели каким-то радостным и лукавым огнем. Как он, наверное, был счастлив, что его «интрига» возымела действие! В первое же наше свидание за ужином я сказал деду, что книга очень интересная, но странно, что там люди ездят не на автомобилях, а в экипажах, запряженных лошадьми, и Оливера заставляют воровать носовые платки, а не автомобили.

— Да что ты говоришь! — воскликнул дед. — Значит, я ошибся. Очень давно читал эту книгу! Но ты знаешь, тогда ведь действительно не было автомобилей. Люди ездили в каретах — они для них были тем же, чем для нас машины.

В «ошибке» деда был заложен громадный смысл. Он заметил, что я не могу воспринимать книг, в которых нет типичных атрибутов нашего века — автомобилей, самолетов и прочего. Мне казалось, что раз всего этого не было, люди тоже были другими и неинтересными. Я был тогда типичным «дитем века». И вот дед, чтобы примирить меня со старой литературой, ввел в пересказ романа Диккенса автомобили. В книге я их, понятно, не нашел, но я уже был увлечен самой историей. Присутствие автомобилей мне уже было не важно. С тех пор я стал читать Диккенса, а потом Толстого, Гоголя и многое другое, и мне уже не казалось, что герои их книг — другие, не похожие на окружающих меня людей. Наоборот, я искал и с радостью находил их прототипы вокруг себя. Случай с «Оливером Твистом» — один из примеров влюбленности деда в литературу. Бывают писатели, которые к чужим произведениям относятся равнодушно. Дед же обожал великих мира сего — обожал активно, стараясь передать свое преклонение перед любимыми писателями всем, кому мог.

Литературную «забывчивость» дед проявил по отношению ко мне еще однажды. Было мне десять лет, я

приехал, как обычно, в одну из зимних суббот на дачу, чтобы провести там выходной. Днем гулял, пришел домой лишь к ужину. После ужина играли с дедом в маджонг. Он и научил меня играть в эту сложную китайскую игру. Научил на свою голову, потому что все время мне проигрывал. Около десяти часов мы наконец собрали со стола фишки — надо было идти спать. Вот тут-то дед и сказал мне:

— Слушай, хочешь, я тебе дам прочесть на сон грядущий феноменально смешной рассказ?

Я ответил, что хочу, и мы отправились в кабинет — искать книжку. Дед порылся на одной из полок и вскоре достал тоненький сборник рассказов Джека Лондона. Дед пробежал глазами по оглавлению, потом раскрыл книжку на середине и сказал:

— Вот! Будешь хохотать до потери сознания.

Я взял книгу и, пожелав дедушке спокойной ночи, пошел к себе в комнату, предвкушая удовольствие от рассказа. Я уже писал о том, что, пересказывая фабулу какого-нибудь произведения, дед мог кого угодно заставить этим произведением увлечься. Но иногда он мог увлечь литературным творением и не пересказывая его. Он мог сказать всего одно-два слова, и уже невозможно было не прочитать то, о чем он говорил. Трудно понять, почему это происходило. То ли дело было в интонации, то ли в словах, но дед умел как бы гипнотизировать литературой. Так вышло и с Джеком Лондоном.

Я лег в постель, устроился поудобнее и с удовольствием принялся читать; прочел первую страницу, вторую, третью и был очень удивлен — ничего смешного не происходило. Это была история о человеке, который поехал на Север, чтобы нажиться там на спекуляции куриными яйцами. Человек ехал на собаках, по дороге у него сделалась цинга, началась гангрена ноги, а когда он наконец еле живой доехал до места, оказалось, что яйца, которые он вез, протухли. Человек заперся в комнате и повесился. Так кончался этот рассказ. Я отложил книгу в сторону и, наверное, с очень глупым видом уставился в потолок, размышляя об отсутствии в себе чувства юмора. Поразмыслив так минут пятнадцать, я все же понял, что ничего смешного в этом рассказе

нет, и тогда я встал и направился с книжкой к деду. Мной двигало чувство страшной обиды и разочарования от несостоявшегося удовольствия. Дед уже погасил свет и, наверное, засыпал, но это меня не остановило. Я вошел к нему и громко сказал:

— Послушай! Что ты мне подсунул? Это рассказ не смешной, а мрачный.

— Как не смешной? — удивленно отозвался дед из темноты.

Я свирепо объяснил ему, почему рассказ не показался мне веселым. Дед в ответ на это громко расхохотался, что меня вконец вывело из себя. Дед же, все еще смеясь, объяснил, что перепутал том, что хотел дать мне не Джека Лондона, а рассказ Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». После этого он встал с постели, зажег свет и, протянув мне том Достоевского, выставил меня вон, сказав, что хочет спать. Рассказ этот действительно очень смешон, так что я был вознагражден за свои страдания. Конечно, никакой ошибки со стороны деда не было. Было желание проверить мои собственные суждения о прочитанном. Проверить от противного, зная, что он меня может настроить на любую волну. Когда он мне дал рассказ Джека Лондона, я уже заранее готов был зайтись от смеха. Дед не только хотел увлечь меня литературой. Он хотел, чтобы я как можно раньше научился оценивать произведения искусства сам — без подсказок.

VI

Так получилось, что последние три года жизни деда я реже виделся с ним. В это время он много путешествовал — ездил в Японию, в Индию, а в конце каждого лета уезжал обычно в Сибирь, охотиться. Из путешествий по Сибири привозил груды камней. Это была дедова страсть — камни. Носильщики на Внуковском аэродроме надрывались, таща тяжелые дедовы ящики. Носильщикам, вероятно, и в голову не приходило, что владелец камней, человек, которому далеко за шестьдесят, откалывал их мотыгой высоко в горах и тащил вниз в рюкзаке на собственной спине. Да и мало кому это могло прийти в голову.

В сократившемся общении с дедом был виноват и я сам, — вернее, мой возраст, когда постепенно начали появляться интересы и привязанности, центр которых лежал, так сказать, вне дома. Появилось много приятелей в Переделкине, так что, даже когда я жил там и дедушка не был в отъезде, чаще всего я проводил время где угодно, но не дома. Тогда мне казалось, что с дедом я еще поговорить успею множество раз. Если бы я мог предвидеть, что этому «множеству» суждено быть строго ограниченным...

Твердо держится в памяти наша единственная совместная с дедушкой поездка к морю — в Нижнюю Ореанду. Поехали мы туда вчетвером — дед, бабушка, моя мама и я, — поехали на время моих зимних каникул.

В Ореанде мы много гуляли с дедом. Мы очень любили ходить из Ореанды к Ливадийскому дворцу. Путь шел по роскошной Царской тропе, проложенной через горы. Дед мне рассказывал о последнем царе России, который имел обычай здесь прохаживаться. Рассказывал дед так образно, что я живо себе представлял Николая Второго, шествующего в солдатской форме, с винтовкой наперевес, в окружении большой свиты. Хочу туда поехать и проверить: встанет ли снова эта фантастическая картина прогулки императора у меня перед глазами без голоса деда? Боюсь, что нет.

Однажды во время прогулки по Царской тропе дед вдруг отошел в сторону и быстро начал карабкаться на высокую гору. Я остолбенел от изумления. Такая скорость была в этом восхождении, что немыслимо было подумать о возрасте и грузном сложении деда. Он добрался до вершины и начал махать мне оттуда, призывая последовать его примеру. Выглядел он очень живописно: развевающаяся красная куртка, трость, далеко отставленная вперед, и восторженный взгляд, который не могли скрыть даже стекла очков. Я полез в гору, но, не дойдя до середины, запыхался так, что продолжать пути не мог. «Устал!» — крикнул я деду. Дед ответил, чтобы я подождал, пока он спустится. Я стоял и ждал. Он дошел до меня и опять сказал, чтобы я стоял на месте. И, только очутившись на Царской тропе, он скомандовал:

— Ну, теперь валяй спускайся. Только не беги. Старайся идти как можно медленнее.

Я начал медленно спускаться, потом решил чуть-чуть ускорить шаг. И вдруг на спуске меня понесла вниз какая-то стремительная сила, которой я до этого никогда не ощущал. Будто я несся по не зависящим от меня обстоятельствам — как бывает во сне, когда летишь в глубокую бездну, сам не зная, почему и зачем. Ускорение было так велико, что я, конечно, перелетел бы Царскую тропу и дальше уже катился бы кубарем. Но дед подоспел вовремя.

— Дурак, — сказал он мне, — если не знаешь, что такое горы, слушай по крайней мере, что тебе говорят.

Это, кажется, был единственный случай, когда дедушка меня обругал. Потом мы почти каждый день поднимались с ним на какую-нибудь гору, но уже без приключений. Первый урок на меня хорошо подействовал. Однако угнаться за дедом я ни разу не смог, несмотря на страстное мое желание. Он всегда меня обгонял и оказывался на вершине первым.

Время моего пребывания в Ореанде пролетело очень быстро. Начиналась учеба в школе, и мы с матерью уехали в Москву. Дед же с бабушкой остались еще на месяц. Вскоре после того, как они вернулись в Москву, дед улетел в Индию.

VII

В конце лета 1962 года дедушка поехал в Сибирь. Вернулся осенью, очень оживленный. Смеясь, рассказывал, как со своими друзьями — сибирскими писателями — спустился на резиновых лодках по горной реке с множеством порогов. Когда они после этого, придя в парикмахерскую, рассказали, где плавали, женщина, которая стригла деда, закричала: «Боже мой! Да как же вы живы-то остались? Там же столько людей погибло!» Глядя на деда, когда он это рассказывал, невозможно было подумать, что вскоре он заболеет. Увы, это случилось. Он неожиданно слег. Врачи нашли камни в почке, сказали, что надо срочно ложиться на операцию.

Меня взяли к дедушке в загородную «Кремлевку» перед самой операцией. Впятером — дед, бабушка, моя мама, друг деда Микола Бажан и я — медленно про-

гуливались по большому больничному парку. Дед был философски спокоен, вспоминал, что в последний раз в больнице лежал тридцать лет назад, когда сломал руку; говорил, что ему даже интересно посмотреть вновь на этот непривычный для него больничный колорит, говорил, что его к тому же окружают какие-то интересные люди. Не чувствовалось у деда никакой боязни за себя, — то ли он хорошо скрывал ее, то ли, что скорее всего, не верил, не хотел верить в плохое со свойственным ему оптимизмом.

Операция прошла удачно. Дед как-то опять посвежел и поздоровел. Зимой много гулял по Переделкину, написал сценарий «Бронепоезда» — по нему на Мосфильме собирались ставить фильм. Весной 1963 года дедушка с бабушкой опять поехали в Ореанду. Оттуда мне дед прислал письмо. Оно потерялось, но я запомнил из него одну фразу: «Тут цветет всякая дрянь», — писал дед. Наверное, фраза врезалась в память как что-то очень не характерное для деда. Теперь понимаю, что вызвана она была плохим самочувствием. Вернувшись в Переделкино, дед все время жаловался на сильную боль в костях. Помню, как за столом у него настолько заболела рука, что он выронил чашку с кофе. Но дед старался не обращать внимания на боли. Он работал, ходил на прогулки, принимал гостей, был весел, приветлив. Быть может, поэтому никто не мог предположить скорого страшного исхода. А он наступил.

В начале июня, после обеда дед опустился в большое, просторное кресло, стоявшее в гостиной, и вдруг неожиданно вскрикнул:

— Тамара, плохо!

И, качаясь, поддерживаемый бабушкой, пошел в кабинет.

Вызвали неотложку, которая примчалась минут через пятнадцать. Врач, осмотрев деда, сказал, что у него гипертонический криз. Деда решили везти в больницу. Около крыльца дачи я подошел к носилкам. Лицо деда было бледным, видно было, что ему очень плохо, но он посмотрел на меня каким-то своим привычным и вполне здоровым взглядом и сказал:

— Не забывай поливать фикус в столовой. Я скоро вернусь.

Это были последние слова, которые я от него слышал. Большой фикус в нашей столовой дед всегда поливал сам, когда же деда не было, эта обязанность переходила ко мне.

Вскоре в доме поселилось страшное слово «рак». Да, у него оказался рак мозга — надежды на выздоровление не было. И все же я не верил, что он умрет. И когда пятнадцатого августа, утром, я услышал, как моя мать сказала, что дед умер, мне это показалось совершенно немыслимым.

Я не мог решиться поехать на похороны. Хотелось оставить воспоминание только о живом человеке, каким я его знал. Я никак не хотел поверить, что деда нет. И еще долгое время по утрам смотрел на закрытую дверь кабинета, и мне казалось, что сейчас дед выйдет и скажет свое обычное. «Приветствую вас! ..»

1974

Каюм Мухамедханов

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — ВЕРНЫЙ ДРУГ КАЗАХСКОГО НАРОДА И КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Человек и писатель с большой буквы, наш земляк Всеволод Вячеславович Иванов нам, казахским литераторам, особенно дорог. Мы любим его и с какой-то редкой, нескрываемой гордостью произносим его имя.

Даже беглый взгляд на его творчество объяснит эту нашу приязнь к русскому писателю, который так много творческих сил отдал казахской тематике. Начиная с рассказа «Киргиз Темербай», написанного в 1921 году, и кончая последним автобиографическим романом «Мы идем в Индию», написанном в 1956—1959 годах. В течение почти сорока лет Всеволод Иванов не терял Казахстан из поля своего зрения. В 1921 году им созданы «Рассказы о себе», «Дитё», «Лога», в 1922—1923 годах — повесть «Голубые пески», «Бык времен», в 1924-м — «Лощина Кара-Сор», в 1925-м — «Встреча», в 1930-м — «Путешествие в страну, которой еще нет», в 1935 году — «Разговор с каменотесом», в 1946-м — «Медведь», в 1947-м — «Джунгарский цветок» и другие.

Конечно, не только увлечение экзотикой вдохновляло писателя на создание этих произведений: Вс. Иванов прежде всего не мог не видеть и не сострадать трудной, полной лишений и горя дореволюционной жизни национальной окраины. Его привлекали в то же время и свободолюбивый дух казахского народа, его порыв к борьбе за лучшую долю и питаемые им дружеские чувства к русскому народу, ко всем другим революционно пробужденным народам. Вольное дыхание наших гор и степей, овевающее многие произведения Всеволода Иванова, дает

нам право с полным основанием называть его писателем-казахстанцем.

Да и родился Всеволод Иванов на территории Казахстана, в селе Лебяжьем, Семипалатинской области. Наконец, личные контакты Вс. Иванова с видными деятелями казахской литературы и искусства были на редкость постоянными и прочными. Чтобы представить себе меру участия писателя в культурной жизни республики, вспомним, например, что 26 мая 1936 года Всеволод Иванов присутствовал на вечере встречи с участниками первой Декады казахского искусства и литературы в Москве. Вместе с поэтами А. Жаровым, М. Бажаном, Н. Сидоренко, М. Тарловским он читал на вечере переводы произведений казахских писателей. 12 августа 1936 года Всеволод Иванов приехал в Алма-Ату и в соавторстве с Беймбетом Майлиным и Габитом Мусреповым приступил к написанию сценария первого казахского художественного фильма, посвященного легендарному батыру-большевику, ленинцу Амангельды Иманову. Этот фильм вышел на экран 14 декабря 1938 года. 26—30 апреля 1937 года Всеволод Иванов вместе с Леонидом Соболевым принимал участие в работе первого расширенного пленума правления Союза писателей Казахстана. 3 декабря 1938 года Ивановым опубликована статья «Джамбул» в «Правде», 12 июля 1946 года в «Известиях» напечатана его вторая статья о Джамбуле — «Торжество песни».

Братскими узами многолетней дружбы был связан Всеволод Вячеславович Иванов с Мухтаром Омархановичем Ауэзовым. О том, что юношу Всеволода, отправляющегося индийским факиром в сказочную страну Востока со сказочно неосуществимой мечтой, знал молодой Мухтар, говорит собственными устами писатель Вс. Иванов в прологе своего романа «Мы идем в Индию». Из этого маленького пролога, предпосланного роману, становится очевидным, что импульсом к созданию романа послужил доверительно дружеский разговор с Ауэзовым.

Хочу рассказать о том, как родилась у Вс. Иванова статья об «Абае» М. Ауэзова. Это было в июне 1948 года. Всеволод Иванов вместе с Тихоновым, Симоновым, Луговским, Инбер, Бородиным участвовал в праздновании (проходившем в Ташкенте) 500-летнего юбилея Алишера

Навои. Мухтар Ауэзов, тоже находившийся там во главе казахской делегации, телеграммой из Ташкента известил меня о том, что на обратном пути Вс. Иванов заедет на родину — в Семипалатинск. Я тогда был уполномоченным Союза писателей Казахской ССР по Семипалатинской области и работал директором Литературного музея Абая.

Мы, группа местных писателей, поэтов, журналистов, сели в моторную лодку, которая отчалила от Семипалатинска и, плавно покачиваясь на волнах, взяла курс на левый берег Иртыша. На левобережье находится город Жана-Семей (Новый Семипалатинск). Там, где кончается городская черта Жана-Семея, расположен аэропорт. Мы едем туда, едем встречать дорогого гостя. А наш разговор сейчас только о нем. Мы говорим о его жизни, о его книгах, о том, что с этих прибрежных круч любовались могучим Иртышом Абай, Всеволод, Мухтар. Вспомнили и о том, что первый рассказ Всеволода Вячеславовича, с которым познакомил он Максима Горького, назывался «На Иртыше».

В аэропорт, как оказалось, мы прибыли довольно рано. В ожидании самолета время проводим в разговорах. Волнуемся. Я никогда не встречался прежде с Всеволодом Вячеславовичем. Среди нас Саду Машаков, опытный журналист, поэт. Он и по возрасту старше нас всех. Я обращаюсь к нему:

— Вы встречались с Всеволодом Ивановым?

Саду ответил:

— Нет, не встречался. Но узнал о нем давно. Это было двадцать один год тому назад, читал его на казахском языке.

Мы были удивлены. Жардем Тлеков не замедлил с вопросом:

— Значит, в 1927 году Всеволод Иванов был переведен на казахский язык?

— Да, в 1927 году четыре его рассказа отдельным сборником были изданы на казахском языке, арабским шрифтом, притом — в Москве.

Тут послышался гул мотора, и приземлился самолет.

Среди многочисленных пассажиров, спускавшихся по трапу, нам сразу бросился в глаза человек, которого мы

ждали. С этой первой встречи, с первого взгляда и на всю жизнь запомнились мне черты его лица, его широкие плечи, его высокий открытый лоб, его крупный, чуть вздернутый нос, особенно характерный для степных жителей.

Глаза Всеволода Вячеславовича, смотрящие сквозь толстое стекло очков, казались постоянно улыбающимися. Он здоровался с нами так, как будто знал нас давно, встречался с нами часто, а не впервые видел. Ему тогда было пятьдесят три года, но сколько в нем чувствовалось сил и здоровья: быстрые движения, энергичная походка, веселый нрав. В этот момент я вспомнил роман «Похождения факира». Отождествил его героя с автором. Не отрываю взгляда от Всеволода Вячеславовича. В душе — смеюсь. Это смех радости!

Знаменательна была встреча Всеволода Иванова с Иртышом. Он весь как-то преобразился и радостно сказал:

— Наш Иртыш. Великолепно.

Прибыв в гостиницу, Всеволод Вячеславович узнал о проходившем в городе областном слете животноводов, на который приглашены народные акыны Семипалатинской области. Это известие так взволновало писателя, что он, забыв о дорожной усталости, тут же отправился на слет — в парк имени В. И. Ленина. Председательствующий объявил о прибытии Всеволода Иванова. Это сообщение было встречено выражениями бурной радости. Собравшиеся долго аплодировали писателю-земляку и потом избрали его в президиум слета. Слово — Всеволоду Иванову. И он так начал свое выступление.

— Тридцать три года назад я отправился пешком из Семипалатинска до Алма-Аты, а из Алма-Аты до Ташкента. Я шел больше месяца. А теперь за несколько часов после юбилейного праздника Навои прибыл в Семипалатинск и попал на ваш праздник... Все это необыкновенно, товарищи, мои дорогие земляки.

Всеволод Иванов говорил о величии нашей эпохи, о достижениях советской науки и техники, поздравил участников слета с достигнутыми успехами в труде и выразил труженикам села пожелание новых успехов в их благородных делах.

Вечером того же дня по желанию участников слета и жителей города в парке состоялась встреча с писателем.

Выступление Всеволода Вячеславовича — это серия небольших рассказов. Не лекция, не доклад, даже не беседа, именно рассказы...

Содержательные, интересные, емкие по сюжету рассказы. Они каждому понятны, доступны, поучительны и эмоционально насыщены. Тематика их самая разнообразная: о встречах с М. Горьким, о событиях Великой Отечественной войны, о штурме Берлина. Живо встают перед глазами горящий рейхстаг, капитуляция фашистской Германии, фельдмаршал Кейтель, явившийся подписать капитуляцию. У нас, слушателей, такое чувство, будто мы смотрим интересный, захватывающий фильм. Едва писатель подходит к концу очередного рассказа, как публика требует еще и еще.

Всеволод Вячеславович прибавляет рассказ о Нюренбергском процессе, где он присутствовал в качестве специального корреспондента «Известий».

На следующий день Всеволода Вячеславовича пригласили на встречу коллективы двух семипалатинских областных газет — «Прииртышская правда» и «Екпинды». И тут опять состоялась запоминающаяся встреча. Писатель не любил говорить о себе, больше говорил о товарищах по перу.

Он рассказал о том, над чем работают московские писатели.

Вопросов было много. Ответ на каждый вопрос — это короткий интересный рассказ.

Во время пребывания Всеволода Вячеславовича в Семипалатинске я все время был рядом с ним. Особенно запомнился день, который он посвятил осмотру музея Абая, краеведческого музея и дома, где жил Ф. М. Достоевский.

Всеволод Иванов с большим вниманием, не торопясь, знакомился с каждым экспонатом абаевского музея и расспрашивал, какую работу мы здесь проводим.

В самом начале, подойдя к фасаду музея, Всеволод Вячеславович вслух прочитал вывеску:

«Государственный литературный музей Абая Академии наук Казахской ССР».

— Правильно. Великолепно, — сказал Всеволод Вячеславович.

Я ему рассказываю о том, что музей организован в 1940 году, что с 1947 года, по инициативе академика

К. И. Сатпаева и М. О. Ауэзова, абаевский музей передан в ведение Академии наук Казахской ССР. Последнее сообщение вызвало особенное удовлетворение у Всеволода Иванова.

— Правильно сделали, — сказал он. — А почему нет раздела Мухтара Ауэзова?

Объясняю это недостатком площади, малым размером помещения. Ответ явно не понравился ему. Но он промолчал. И тут же заговорил о романе Мухтара Омархановича:

— Роман об Абае — это знаменательное явление. Да, да, громадное явление. Я об этом буду писать. Между прочим, буду писать и о вашем музее. Не удивляйтесь. Начну именно с вашего музея.

Я, по правде говоря, был удивлен и даже растерян. Мне думалось, наоборот, что наш большой гость остался недоволен нашим музеем, нашей работой.

И вот через несколько месяцев, 8 ноября 1948 года, в «Литературной газете» была опубликована статья Всеволода Иванова «Роман о песне». Привожу два первых ее абзаца:

«...Прежде чем говорить о прекрасном и умном романе Мухтара Ауэзова «Абай», я позволю себе рассказать вам о Доме-музее Абая Кунанбаева в Семипалатинске, который я посетил летом этого года. Мне кажется, что даже беглый взгляд на музей Абая объяснит многое и в судьбе знаменитого поэта-просветителя казахского народа, и в судьбе романа об этом поэте.

Деревянный домик, где некогда гостил Абай, приезжая из Степи в Семипалатинск, невелик. В нем пять тесных комнат. Невелико и собрание вещей, принадлежащих собственно Абаю, хотя разыскания, производимые работниками Академии наук Казахской ССР, ведутся тщательно. Так, из рукописей Абая сохранилось несколько страниц, портретов его мало — две-три фотографии. Что касается печатных книг стихов Абая... О них стоит рассказать поподробнее...»

Мы были счастливы, что Всеволод Иванов, задумавшись над статьей о таком большом произведении, как роман Мухтара Ауэзова «Абай», не выпустил из поля зрения и наш недавно основанный, еще совсем неокрепший музей Абая. Это внимание известного писателя вдохновило нас на дальнейшую работу.

И, пожалуй, первым, кто выступил во всесоюзной печати и дал высокую оценку роману «Абай», назвав его великим произведением, был Всеволод Иванов. Он писал в своей статье о романе Ауэзова: «Перед нами громадное культурное явление. Я бы не побоялся назвать его великим».

В ответ на это мы сказали в то время:

— Рахмет, Всеволод-ага.

И сейчас говорим:

— Спасибо, старший брат по перу Всеволод.

Недолго мне пришлось побыть рядом с Всеволодом Ивановым. Но сколько нового, полезного дал он мне. Сколько знаний. Он никогда не поучал, не читал морали, назиданий. Каждый вопрос умел связать с каким-нибудь случаем, и получалось так, будто ты сам догадался, вспомнил, сориентировался.

Мы прибыли к дому, где жил Ф. М. Достоевский. Всеволод Вячеславович сфотографировался на фоне этого дома и затем обратился ко мне:

— Каюм, ты директор музея Абая. Ты не должен забывать и Федора Михайловича. Он же друг Чокана Валиханова. Федор Михайлович до самой смерти хранил память о Чокане. Ты же знаешь, Достоевский свои рукописи хранил в палисандровом ящике, подаренном Чоканом Чингисовичем в знак дружбы.

Признаться, я об этом не знал. На секунду растерялся и только смог сказать тогда:

— Да, они были большими друзьями.

Всеволод Вячеславович продолжал:

— В этом особняке надо организовать Дом-музей Достоевского. Я об этом поговорю с руководителями области.

О палисандровом ящике, упомянутом в разговоре с Всеволодом Вячеславовичем, я узнал позднее. Об этом ящике говорится в воспоминаниях Анны Григорьевны Достоевской. В задушевной, искренней беседе со своей будущей женой Федор Михайлович говорил:

— Видите этот большой палисандровый ящик? Это — подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова, и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям.

Да, у Всеволода Вячеславовича была хорошая память, все, что он однажды читал или слышал, запоминал

надолго. После осмотра дома Достоевского и других домов, где он бывал, мы направились на телеграф. Прежде чем дать телеграмму, Всеволод Вячеславович заметил мимоходом:

— Телеграфная линия между Омском и Семипалатинском была проведена еще в 1872 году...

Однажды Всеволоду Иванову предстояла поездка на левый берег Иртыша. С мясокомбината имени М. И. Калинина, куда мы направлялись, прибыл специальный катер. И здесь, на катере, мой уважаемый спутник рассказал несколько интересных историй, связанных с Иртышом. Спустя два-три дня на том же Иртыше зашел разговор о поездке вверх по течению, в Усть-Каменогорск. Всеволод Вячеславович с непринужденной улыбкой вспомнил:

— В 1863 году из Семипалатинска в Усть-Каменогорск и дальше, к озеру Зайсан, поплыл первый пароход. И название его было «Ура». Удивительно. «Ура».

И его улыбка перешла в смех. Мне приходилось встречаться с некоторыми «большими» людьми, которые без конца задают тебе вопросы, стараясь показать свою осведомленность, ученость, широту знаний. Не дай бог, ударишь лицом в грязь в каком-либо вопросе. Невольно хочется держаться подальше от таких «больших» людей. А с Всеволодом Ивановым каждый чувствовал себя просто, непринужденно. И мне всегда хотелось видеть его, слышать его.

...Стоял жаркий день. Июньское солнце палило нещадно. Мы возвращались с мясокомбината, изрядно уставшие. Я пригласил Всеволода Вячеславовича отдохнуть к себе домой.

В этот вечер Всеволод Вячеславович много говорил о казахской литературе. Он вспоминал о своей совместной работе с Беймбетом Майлиным и Габитом Мусреповым по созданию киносценария фильма «Амангельды». О своем стиле работы он сказал:

— Я не умею писать о том, о чем имею смутное, поверхностное представление. Я родился и вырос здесь, в Семипалатинской области. Много бывал в казахских аулах. В детских играх моими друзьями были казахские ребятишки. Верите, я в детстве свободно говорил по-казахски. Хорошо знаком с восстанием 1916 года. Встре-

чался с участниками восстания. Разговаривал. И даже в то время начал книгу на эту тему. Амангельды Иманов мой такой же любимый герой, как, скажем, Александр Пархоменко.

Затем разговор зашел о переводах произведений казахских писателей на русский язык. Всеволод Вячеславович слово «подстрочник» высмеивал. Он с большим одобрением говорил о Маршаке-переводчике, отмечая, что для него не существует подстрочников, потому-то его переводы Шекспира, Беранже и Бёрнса так естественны на русском языке. И все это Всеволод Вячеславович говорил в связи с вопросом о том, почему стихи Абая, большинство из которых положены на музыку Абаем и самим народом, в переводе на русский язык теряют свою музыкальность и, мягко говоря, менее популярны.

Много еще интересных рассказов и фактов о А. В. Луначарском и Сергее Есенине услышал я от Всеволода Иванова в этой нашей последней беседе.

Я сообщил Всеволоду Вячеславовичу, что готовится экспедиция по сбору материалов для музея Абая, намечается поездка во многие районы Центрального Казахстана и Академия наук Казахстана выделяет для этой цели специальную автомашину.

Всеволода Вячеславовича это очень заинтересовало. Он выразил желание участвовать в экспедиции и сказал:

— Это прекрасно. Я мечтаю с фотоаппаратом поездить по Казахстану и выпустить своеобразную иллюстрированную книгу. Если будет такая экспедиция, обязательно сообщи. Я приеду.

На следующий день Всеволод Иванов выехал на пароходе в Усть-Каменогорск. Перед отъездом мы с ним сфотографировались, и он мне оставил свой домашний адрес.

Результатом всех этих поездок писателя по Казахстану явилась книга очерков Всеволода Иванова «Лето 1948 года».

Мне хорошо известно, что есть люди, которые в тысячу раз больше и лучше меня знают Всеволода Вячеславовича Иванова, мне известно, что они писали и будут писать о нем. Но, однажды встретившись с удивительным человеком, простым, как сама природа, и, как природа,

великим, я сохранил о нем воспоминание на всю жизнь. И я чувствую, что не поделиться им для меня просто невозможно.

Помню, в беседах со мной М. О. Ауэзов говорил:

— Всеволод Вячеславович — друг казахского народа, друг казахской литературы. И жизнь его, и творчество его знает весь мир. Он самый любимый ученик и друг Максима Горького. Его достойный наследник. А какая человечность! Велик, скромен, честен и чист, как ребенок...

1974

Александр Крон

БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ, БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

Не помню, кто и при каких обстоятельствах познакомил меня со Всеволодом Ивановым. Забыл — и не потому, что мне, тогда еще начинающему, было неинтересно познакомиться с маститым писателем, а потому, что это было одно из тех формальных знакомств, каким связаны почти все люди, бывающие на одних и тех же заседаниях. Вероятно, в прошлом веке знакомству с метром предшествовали волнующие хлопоты: писались письма, затем некто связующий вез куда-то трепещущего юнца на извозчике, наконец происходило представление, и юнец приглашался в дом. В данном случае ничего похожего не произошло; встречаясь в общественных местах, мы стали здороваться — и только. Садились мы почти всегда врозь, и первое время я изощрял свою наблюдательность, разглядывая, как В. В. долго усаживается, с тем чтоб потом долго не менять покойной и естественной позы: руки сложены на коленях, голова слегка откинута назад, — поди угадай, целиком поглощен происходящим или полностью отсутствует. Вообще все мои тогдашние представления о В. В. отличались крайней противоречивостью, он казался старше своих лет, а при этом проглядывало в нем что-то совсем младенческое, было в его лице нечто жестокое — и кроткое, чопорное — и простодушное, трезвое — и мечтательное; с одного боку — половецкий хан, с другого — скандинавский пастор, — все это никак не совмещалось. Уставши от этих несовместимостей, я отказался от дальнейших попыток составить окончательное суждение, и в течение многих лет для меня раздель-

но существовали два Всеволода Иванова: один — знакомый только по книгам и спектаклям автор «Блокады» и «Бронепоезда», «Партизанских повестей» и «Похождений факира», и другой — крепко, но рассеянно пожимавший мне руку при встрече в различных литературных кулуарах загадочно-молчаливый человек. С автором «Бронепоезда» я был в отношениях глубочайшей интимности, с тем, другим, — только в вежливых. В первые годы после войны к вежливым прибавились деловые, — работая в комиссии по драматургии Союза писателей, я стал получать от В. В. отстуканные на машинке коротенькие записочки почти стандартного содержания: надо оказать содействие некоему автору, вступившему на тернистый путь драматического искусства...

Заседания, на которых мы встречались, давно канули в Лету, а вот первая постановка «Бронепоезда» в Художественном театре, несмотря на тридцатипятилетнюю давность, жива в моей памяти и поныне. Это был период наивысшего расцвета МХАТа: качаловское поколение было еще во всеоружии, хмелевское — набирало силу. Я видел «Бронепоезд» трижды. Удивительно, но с годами спектакль не разваливался, наоборот — многие участники премьеры играли впоследствии лучше, ближе к автору. На первых спектаклях В. И. Качалов был излишне озабочен тем, чтоб казаться настоящим крестьянином, и именно поэтому выглядел ряженым, а Н. П. Хмелев, стремясь во что бы то ни стало уйти от ходких в то время штампов в изображении коммуниста, слишком уж подчеркивал интеллигентскую хрупкость Пеклеванова. Постепенно Качалов обрел необходимую для Вершинина характерность, а Хмелев отказался от полемических излишеств, и на творческом вечере В. И. Качалова, происходившем в один из понедельников сезона 1936/37 года, многие москвичи были свидетелями поистине совершенного исполнения сцены «На берегу», где происходит первая встреча Никиты Вершинина с руководителем подпольного ревкома Пеклевановым. Оба артиста были без грима, в модных пиджаках и даже зачем-то с орденами. Но это не очень мешало, я до сих пор слышу знакомый качаловский голос, с какими-то совершенно новыми, неожиданными,

пленительно-лукавыми интонациями: «Ну, кого я буду прятать? Никого я не буду прятать. Одно дело... если мимо заимки бродяга какой пройдет или странник божий, пожалею, пущу, кормить буду и жалеть буду...»

Столь же ярко запомнился Н. П. Хмелев. Сценическое мастерство Хмелева достигло к тому времени такой виртуозной точности, что каждое движение актера приковывало к себе, как «крупный план». У Листа есть фортепьянные этюды высшей трудности, носящие название «трансцендентных», такой вот «трансцендентный этюд» показал Хмелев на качаловском вечере.

Пеклеванов беседует с Вершининым. Он весь внимание, и только руки бессознательно бродят по бокам, ощупывая карманы. Зрители улыбаются. Они раньше, чем сам Пеклеванов, догадались: хочет курить. Наконец желание становится осознанным, Пеклеванов достает из кармана смятую пачку, вынимает папиросу, но в этот миг что-то в словах собеседника привлекает его особое внимание, и папироса остается незажженной. Взгляды зрителей прикованы к незажженной папиросе, как к палочке гипнотизера, но это совсем не мешает слушать диалог, а лишь подчеркивает значительность того, что говорится. Пауза. Присутствующий при разговоре матрос Знобов (его играл Андерс) зажигает спичку. Пеклеванов торопливо разминает папиросу и прикуривает от спички, при этом он ни на секунду не теряет контакта с Вершининым, его жесты и мимика лучше слов говорят: «Да, да, продолжайте, я вас слушаю». Он с наслаждением затягивается, но проходит несколько секунд, и по еле уловимым беспокойным движениям Пеклеванова зрители догадываются, что какая-то сторонняя мысль мешает ему полностью сосредоточиться на предмете беседы. Еще несколько секунд, и зрители — опять-таки раньше, чем персонаж, — начинают понимать, что́ беспокоит Пеклеванова. Оказывается, этот безупречно деликатный в отношениях с товарищами человек забыл поблагодарить матроса. Он находит глазами Знобова, коротко кивает, и с этого момента его внимание уже более ничем не нарушается...

В этой фигуре высшего актерского пилотажа было все — и потаенное озорство виртуоза, и взыскательность большого художника, для которого филигранная техни-

ка — это прежде всего способ передачи глубинного содержания, заключенного в образе. К сцене «На берегу» я еще вернусь, но до этого я должен рассказать сцену в купе.

Время действия — осень 1954 года. Место действия — вагон скорого поезда Москва — Феодосия. Мы с женой уже заняли свои места, когда в коридоре раздался звучный голос Т. В. Ивановой, командующей носильщиками. Выглядываю из купе и вижу В. В. в светлой курточке на «молнии» и с гигантским рюкзаком за плечами. Наши соседи соглашаются на обмен, мы объединяемся, и через минуту прозаическое купе превращается в каюту дальней экспедиции. Войдя, В. В. скинул рюкзак и начал раскладывать свое имущество, — по-видимому, его мало интересовала судьба чемоданов, но он тщательнейшим образом проверил свою коллекцию молотков и топориков, назначение коих было мне в то время еще неизвестно. Убедившись, что молотки и топорики на месте, он расстегнул дорожную сумку — не какую-нибудь пошлую авоську, а настоящую провиантскую сумку, достойную куперовского Следопыта, — и извлек оттуда плоскую флягу, складывающийся на манер шапокляка металлический стаканчик и охотничьи колбаски. Колбаски были самые обыкновенные, но выглядели особенно вкусно от того, каким веселым и предвкушающим взглядом смотрел на них В. В. Он отвинтил крышку фляги и посмотрел на меня с видом заговорщика:

— Ну, хорошо. А нож у вас есть?

Я протянул свой дорожный нож — разборный, со штопором, вилкой и ложкой. Нож был одобрен, и прежде чем выпить, мы обстоятельно и со знанием дела поговорили о ножах. В это время наши жены разговаривали про свое, а на нас посматривали ласково-снисходительно. Однако В. В. относился к разговору в высшей степени серьезно — он прощупывал сообщника. Весь его вид говорил: не мешайте, в кои-то веки удается поговорить с человеком о настоящем деле... Удостоверившись, что я кое-что понимаю в ножах, и попутно убедившись, что во мне еще не умер мальчишка, он заговорщически подмигнул, мы хлопнули по чарочке и с этого момента вступили в увлекательную игру, которая продолжалась вплоть до приезда в Коктебель: мы

уже не просто ехали в Крым, мы путешествовали. Каждая остановка поезда превращалась в событие, мы соревновались в географических и этнографических познаниях и в добывании на пристанционных базарах различной снеди. Мы покупали яблоки в Понырях, попахивающих браконьерским душком копченых рыбцов на приазовских станциях и крошечные дыньки на пыльных перронах крымских полустанков, мы ели чебуреки в ночном шалмане на станции Джанкой и пили мутное разливное вино. Наши жены оказывали нам ровно столько сопротивления, сколько нужно, чтоб игра не потеряла интереса; они ахали и всплескивали руками, когда мы вваливались в купе уже расходившегося вагона, журили за сомнительные приобретения, но делали это больше для порядка, в глубине души они сознавали, что отдыхать надо от всего, даже от регулярного быта и добротной, гигиенической домашней пищи. В. В. отдыхал с яростной энергией, в промежутках между вылазками мы разговаривали, В. В. подробно расспрашивал меня о моих детских годах, и я сам удивился тому, какое, оказывается, у меня было интересное детство. Несколько раз мы принимались закусывать, раза два в течение дня В. В. крепко засыпал, но через полчаса просыпался и, приговаривая: «Ах, хорошо соснул, ах, отлично...», начинал готовиться к очередной вылазке.

В Коктебеле мы опять оказались соседями — Ивановы внизу, а мы на втором этаже. Дверь комнаты Ивановых выходила на просторную террасу, по вечерам терраса превращалась в клуб, где обсуждались предстоящие экскурсии, рассказывались всякие забавные истории и разыгрывались традиционные для коктебельского дома театрализованные шарады. На протяжении многих лет неизменным режиссером и ведущим актером шарадной труппы был художник М. В. Куприянов; многие коктебельские старожилы до сих пор вспоминают «Умирающего лебедя», которого М. В. исполнял с неподражаемым юмором. Труппу Куприянова составляли самые разные люди — писатели и члены их семей. В том году состав труппы был особенно удачен, в нем блистали такие звезды, как В. С. Кеменов, — работники Министерства культуры были бы, вероятно, потрясены, увидев своего несколько чопорного замминистра с картонной тиарой на голове, в роли папы Александра Борджиа.

Не меньшим успехом пользовались муж писательницы Н. Кальмы — В. Л. Герье, крупный инженер, который при желании мог бы стать не менее крупным комическим актером, и заразительно веселая Вера Острогорская. Ивановы в шарадах никогда не играли, но принимали самое заинтересованное участие, предоставляя труппе почти неограниченное право пользоваться всем наличным гардеробом и реквизитом. Сам же В. В. был, кроме того, судьей, арбитром и главным зрителем — самым строгим, самым отзывчивым, самым доброжелательным, никто так не хохотал, как он; когда получалось что-нибудь по-настоящему забавное, он заставлял повторять для отсутствовавших. Например, живую картину «Неравный брак», где жениха и невесту представляли А. В. Кеменова и В. Л. Герье, а моя жена в тяжелом облачении, сооруженном из казенного бобрикового одеяла, с бородой из собственных распущенных волос, изображала попа. Несколько раз для разной аудитории игралась импровизированная сценка «Яд», изображавшая ужин в семействе Борджиа. Папу играл Кеменов, Цезаря и Лукрецию — я и Вера Острогорская. В костюмах мы, по возможности, старались соблюсти эпоху, лексика же была вполне современной: Цезарь и Лукреция разговаривали на ужасающем арго московских стиляг, а непогрешимый папа изъяснялся при помощи столь же ужасающих бюрократических штампов. К концу ужина все трое лежали без чувств, отравленные друг другом. Все это было не совсем верно исторически, но, вероятно, смешно, потому что В. В. каждый раз покатывался со смеху.

Во всякой большой отдыхающей компании всегда есть люди, обладающие неожиданными для окружающих талантами, — кто-то знает наизусть много хороших стихов, кто-то удивительно поет блатные песни, третий имитирует разных известных людей, четвертый успешно соревнуется с Вольфом Мессингом в отгадывании мыслей. Через несколько дней после приезда в Коктебель В. В. уже знал этих людей наперечет и умело эксплуатировал на благо общества — ласково и требовательно. Он ободрял застенчивых и умерял меры не знающих; будучи сам отличным рассказчиком, он предпочитал режиссировать, тем самым как бы подхватывая эстафету от Максимилиана Волошина, основателя коктебельской

традиции, величайшего затейника и потешных дел мастера. И тут для меня впервые открылось еще одно удивительное и не так уж часто встречающееся среди пишущих людей качество Всеволода Иванова — талант слушателя. В. В. умел слушать как-то так, что если люди и не становились от этого талантливее, то, во всяком случае, раскрывались с самой лучшей стороны. Каким-то чудом он извлекал из людей наружу способности почти угасшие и познания почти забытые, и люди всегда были благодарны ему — не за свой мимолетный успех, а за то, что они сами открывали в себе нечто такое, о чем ранее не подозревали. В. В. искренне считал, что неинтересных людей не существует в природе и, если человек неизвестен, это совсем не значит, что он неинтересен. Если ему и приходилось скучать, то чаще всего с людьми слишком хорошо известными.

Я знавал и других людей, обладавших этим редким талантом. Таким человеком был покойный М. Я. Шнейдер, один из пионеров и энтузиастов молодой советской кинематографии; его крохотную, забитую книгами до самого потолка комнатушку в Серебряном переулке вряд ли можно было назвать салоном, но через эту комнату прошли десятки людей, признанных мастеров и робких дебютантов, они входили туда засветло и выходили на рассвете; там читались пьесы и сценарии, стихи и теоретические статьи, там рождались свежие мысли и оттачивались смелые замыслы, и все это происходило потому, что никто не умел так слушать, как Михаил Яковлевич, — пытливо, восторженно, гневно, самозабвенно. Он заслужил благодарную память многих выдающихся деятелей кино, которым помогал своей блестящей эрудицией и бескорыстными творческими советами. Он тратил себя щедро и умер, почти не оставив печатного наследия, — написанные им незадолго до смерти две книги отличных эссе так и остались неизданными.

Таким же талантливым слушателем был безвременно скончавшийся В. В. Гольцев, редактор «Дружбы народов» и пламенный пропагандист братских литератур. Его многолетним усилиям мы обязаны тем, что сокровища грузинской поэзии стали достоянием русских читателей; он сумел привлечь к переводам крупнейших

мастеров стиха — Антокольского, Асеева, Пастернака, Тихонова... Делалось все это не в служебном кабинете, а за дружеским столом, сначала на Сивцевом Вражке, а затем на Беговой, — там встречались многие писатели Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси, читали стихи и говорили о поэзии, а хозяин в своей несколько торжественной манере председательствовал за столом, более всего следя за тем, чтобы никто, у кого есть что сказать, не был забыт и чтоб каждому было воздано должное.

Но и Шнейдер и Гольцев были критиками, которым по самой природе их профессии должно быть близко «стасовское» начало. У писателей слух не менее развит, но он, если можно так выразиться, более эгоистичен, писатели любят слушать людей других профессий, а в своей среде предпочитают говорить сами. Разительным исключением, способным опровергнуть наспех выведенное мною правило, был Всеволод Иванов. В его присутствии люди удивительно расцветали; забегая вперед, мне хочется сказать о том, как много и хорошо рассказывал при Иванове Ираклий Андроников, как радостно-доверчиво читал Б. Л. Пастернак, каким оживленным и интересным собеседником бывал сдержанный П. Л. Капица.

Если в шарадах на долю В. В. выпадала роль судьи и арбитра, то в экскурсиях он был командармом. К такой, казалось бы, нехитрой прогулке, как восхождение на Карадаг, он начинал готовиться загодя, тщательно проверяя людей и снаряжение; в колонне, которой В. В. предводительствовал, не бывало отстающих — стыдно жаловаться на усталость, когда впереди идет без малого шестидесятилетний писатель с набитым до отказа рюкзаком за спиной, с саперной лопатой и молотком у пояса и с толстой суковатой палкой в руках. К тому времени я уже знал о назначении молотка — В. В. был страстным петрографом, петрологом и петрофилом, другими словами — знатоком и любителем камней. Редкий завсегдатай Коктебеля не увлекался собиранием камешков; одних привлекала фактура, — в прибрежной полосе попадались очень красивые агаты и сердолики, других — причудливая форма, почему-то особенно ценился «куриный бог», то есть камешек с естественным путем

образовавшейся сквозной дырочкой. Для Всеволода Иванова коллекционирование «куриных богов» и «фернампиксов» было давно пройденным этапом, он не унижался до ползания по пляжу, а вырубал свои сокровища в горах. Однажды он даже возымел намерение купить у некоего уходящего на покой кустаря полное оборудование гранильщика. Люди, имеющие хотя бы приблизительное понятие о том, как визжат абразивные диски, легко поймут, в каком ужасе была вся семья.

Разумеется, В. В. вел нас к вершине не по исхоженной дороге, а известными лишь ему, затерянными в колючем кустарнике крутыми тропочками; он безжалостно заставлял доверившихся ему доморощенных альпинистов карабкаться по почти отвесным склонам и даже проползать на животе сквозь пещеры. Зато привал был устроен в какой-то неведомой, почти девственной лощине, где журчал ручей и открывался необыкновенной красоты вид на море. В довершение всех чудес В. В. снял с себя рюкзак и с ухватками настоящего факира извлек оттуда огромной величины арбуз — такой, что его хватило на всю компанию. Был раскинут бивак, объединены запасы, и ни в каком ресторане так хорошо не пилось и не елось, как под открытым небом. Возвращались уже в сумерках, усталые, исцарапанные, но счастливые; после этого путешествия авторитет В. В. стал магическим, весь сентябрь был как бы окрашен в особые ивановские тона. Когда Ивановы уезжали, у автобуса, несмотря на ранний час, выстроились почти все обитатели дома, одетые в матросские тельняшки (по капризу торговой сети этими тельняшками был завален соседний промтоварный ларек). Всеволоду Вячеславовичу были оказаны адмиральские почести и поднесен ценный дар — «куриный бог» весом в пуд.

Я потому так подробно рассказываю о Коктебеле, что именно там сложилось мое представление о характере В. В. и рассеялись многие кажущиеся «несовместимости». Вопрос решался неожиданно просто: Иванов был настолько крупен, что все вмещал. В его просторном теле и емкой душе было место для всего, он был прост и сложен, в нем отлично умещались трезвый реалист и необузданный фантаст, замкнутость и общительность, величайшая скромность и люциферова гордыня, житейская беспомощность и многоопытность старого

скваттера, наивность ребенка и мудрость аксакала, яркая национальная самобытность и органический интернационализм. В нем жили, не тесня друг друга, ученый книжник, интеллектуал, философ — и сибирский мужик, таежный охотник. В его характере как бы слились черты двух, ставших классическими, образов «Бронепоезда» — добрая мужицкая сила партизана Вершинина и острый, проницательный взгляд образованного революционера. Возвращаясь к спектаклю Художественного театра, мне хочется поделиться одним давним наблюдением: чем дальше углублялись в созданные ими образы Качалов и Хмелев, тем более приобретали сходства с Всеволодом Ивановым. Впоследствии я часто вспоминал обоих, глядя на мирно сидящего за чайным столом писателя. Иногда у В. В. был совсем хмелевский испытующий взгляд поверх очков, а иногда совсем качаловская, как бы прячущаяся в бороде лукавая усмешка — та самая, с которой тот говорил: «Ну, кого я буду прятать? Никого я не буду прятать...»

После возвращения из Коктебеля мы стали регулярно видеться, реже в Москве, чаще в Переделкине. Встречались мы также на заседаниях приемной комиссии в Союзе писателей. Заседания были длинные, и, покончив с делами, мы обычно шли в клубное кафе, чтоб подкрепить свои ослабевшие от бесконечных словопрений силы чашечкой кофе с коньяком и бутербродами. Пост председателя комиссии по приему в союз В. В. занимал в течение многих лет, до самой смерти, и был, на мой взгляд, идеальным председателем — доброжелательным и строгим, беспристрастным и неравнодушным, его авторитет был достаточно велик, чтоб не быть непререкаемым; он не чувствовал себя оскорбленным, оставаясь в меньшинстве, и уважал чужое мнение почти так же, как свое собственное. Ему сразу удалось создать ставшую традиционной и сохранившуюся при всех составах комиссии несколько академическую, чуточку церемонную и в то же время не лишенную юмора атмосферу заседаний, столь отличную от резковатого стиля, свойственного многим писательским сборищам. В. В. всегда помнил, что за каждым поданным заявлением стоит живой человек, писательская судьба, и старался избегать случайных, непродуманных решений.

Бывало, что мнения рецензентов круто расходились и возникала опасность, что при голосовании будет много воздержавшихся. Тогда В. В. со вздохом протягивал руку к лежащей на столе стопочке печатного и говорил: «А что, если я тоже почитаю?» И на следующем заседании рассказывал о прочитанном так просто, точно и зримо, что колебавшиеся сразу обретали необходимую уверенность.

При всей щепетильной добросовестности по отношению к общественным обязанностям, В. В. не скрывал своей нелюбви к заседаниям, временами у него бывал совершенно отсутствующий взгляд, и можно было поручиться, что в этот момент его мысли блуждают где-то далеко за пределами старого особняка на улице Воровского, где мы обычно собирались. У меня сохранилась посланная мной во время заседания записка с резолюцией В. В. В записке я просил разрешения уйти пораньше, я ждал к обеду приехавшего с Камчатки друга, и мне не хотелось опаздывать. Получив записку, В. В. долго ее разглядывал, затем вздохнул и написал: «Я вам завидую, т. к. сам бы с ним пообедал». И пообедал бы, если б его не удерживал долг председателя, — В. В. принадлежал к тем людям, которых хлебом не корми, а дай поговорить с бывалым человеком. В данном случае «хлебом не корми» выражение не совсем точное, — более всего В. В. любил именно застольную беседу, большинство встреч и разговоров происходило не в рабочем кабинете, а на превращенной в столовую просторной, теплой веранде переделкинской дачи, где стоял большой, почти всегда накрытый стол, за этим столом обедали, пили чай, иногда выпивали, но всегда разговаривали. Здесь можно было встретить самое разнообразное общество — гостей и домочадцев, москвичей и приезжих, гости были отовсюду — с берегов Сены и с берегов Иртыша; всех сажали за стол без чинов и угощали тем, что было в доме. Не помню, чтоб к чьему-нибудь приходу как-то особенно готовились, чтоб кого-нибудь както особенно усаживали или потчевали, все сидели вперемежку — свои и заезжие, знатные иностранцы и забежавшие на огонек дачные соседи. Шел общий разговор, говорили обо всем на свете: чаще о жизни, реже о литературе и совсем редко о делах окололитературных. В последние годы В. В. проявлял живой интерес к со-

временной науке, немалую роль тут сыграла его дружба с академиком П. Л. Капицей и научные успехи младшего сына Вячеслава в новой и увлекательной области знания — кибернетической лингвистике. Прочитав интересную книжку, В. В. становился ее страстным пропагандистом, из его рук я получил только что вышедшие в русском переводе «Кибернетику и общество» Норберта Винера и «Предвидимое будущее» Дж. Дж. Томсона. Невозможно хотя бы приблизительно перечислить все темы, возникавшие за столом у Ивановых, считалось, что хороши все материи, кроме скучных, и, вероятно, именно потому там очень редко сплетничали.

В свой кабинет В. В. приглашал гостей редко, на его рабочем столе всегда было не прибрано, громоздились растрепанные кипы рукописей, лежали раскрытые книги сплошь в пометках и межстраничных закладках, и писатель стеснялся не беспорядка, конечно, а разверстости, обнаженности, интимности этого зрелища, неостывших следов творческого акта. Вообще ко всему связанному с литературным творчеством Иванов относился до крайности целомудренно, нужны были исключительные обстоятельства, чтоб заставить его заговорить о том, что он пишет, написал или собирается написать. О своих успехах и огорчениях В. В. неохотно рассказывал даже самым близким друзьям. Возвратившись из поездки по Югославии, где в трех театрах страны с триумфальным успехом прошел «Бронепоезд», он так ничего толком не рассказал и только мешал Тамаре Владимировне. Помню, всех очень удивляло, что наша театральная пресса никак не откликнулась на успех пьесы за рубежом, — ведь это был успех не только драматурга, но и всего нашего советского искусства, — но В. В. отнесся к этой теме без всякого интереса и при первой возможности перевел разговор на другое. Еще решительнее он уклонялся от обсуждения своих огорчений, а их было немало. Многое из написанного В. В. в послевоенные годы отклонялось редакциями, и даже великолепная книга «Мы идем в Индию» претерпела немалые мытарства, прежде чем нашла приют в журнале «Советский Казахстан» (ныне «Простор»), где и была впервые напечатана пятитысячным тиражом. Мало кто знал, сколько неизданных рукописей хранится в недрах рабочего кабинета писателя. В. В. почти никогда об этом не заговаривал и

неохотно давал читать неопубликованное. Как-то он сам предложил мне взять для прочтения недавно законченный вариант своей коктебельской повести «Вулкан» («Хочу посоветоваться со старым коктебельцем...»), но затем стал тянуть, ссылаясь то на отсутствие удобочитаемого экземпляра, то на желание что-то дописать и доделать. Кончилось тем, что он уехал в очередную экспедицию, а вернувшись, заявил, что «Вулкан» читать незачем, лучше он даст мне роман «Мы идем в Индию». С романом повторилась та же история, и в конце концов я получил не рукопись, а связанную веревкой пачку номеров «Советского Казахстана». Роман я прочел в два дня, после чего состоялся разговор, поразивший меня своей серьезностью: В. В. увел меня в свой рабочий кабинет и там, с глазу на глаз, потребовал от меня откровенного разговора, и в первую очередь о том, что мне *не* понравилось.

Положение у меня было не из легких. Роман мне не только понравился, но пленил своей сочной словесной живописью, временами я почти физически ощущал цвет, вкус и запах описываемого; в этой прозе поразительно соединялась густота письма, делавшая героев зримыми и объемными, с будившей мою читательскую фантазию поэтической недоговоренностью. Я читал роман, как читают только в юности, жадно впитывая открывшееся и принимая на веру неясное, по-своему заполняя «белые пятна» на карте той прекрасной страны, куда меня ввел автор. А «белые пятна» были, художественная логика романа была, несомненно, сильнее бытовой, — увлеченный полетом своей фантазии, писатель не слишком заботился о последовательности и взаимосвязи событий. Мне лично это не очень мешало, у меня довольно сильное воображение, в юности я даже любил читать романы не по порядку, а начиная с середины, но я хорошо понимал, что существует другой, более дотошный и порядливый читатель, который не любит никакой невнятицы, с ним у писателя могло и не получиться контакта.

В игре всякого большого драматического артиста соседствуют вдохновение и самоконтроль, основанный на выработанном благодаря опыту чутком и непрерывном ощущении аудитории, на безошибочной расшифровке поступающих из зрительного зала сигналов. Мне ка-

залось, что в последние годы у В. В. вдохновение подавляло самоконтроль (чаще бывает наоборот), он напоминал мне большого артиста-трагика, в силу тех или иных причин все реже появляющегося на сцене; творческая мощь и вдохновение не растрачены и временами потрясают, но тот безошибочный контакт с залом, который достигается привычным общением, иногда теряется, и тогда... Все это я, как умел, изложил В. В. Он слушал внимательно, не перебивая, но и не помогая мне говорить. Наконец сказал — не очень дружелюбным тоном:

— Послушать вас, я нечто среднее между камлающим шаманом и тетеревом на току...

Затем улыбнулся:

— Да нет, что там, вы правы... Бормочу.

И потянулся к журналу:

— А ну, покажите — где? Отметили в тексте? Нет? Напрасно...

Мне не пришлось пожалеть о своей откровенности, после нашего разговора отношение В. В. ко мне не только не изменилось к худшему, но стало даже доверительнее. Когда роман вышел отдельным изданием, при ближайшем свидании В. В. вручил мне книгу со следующей надписью: «Ответным подарком желаю получить от милого А. Крона новый роман, такой же толщины, как этот. Елизавете Алексеевне — читать тот роман с еще большим удовольствием, чем этот. Настроение у меня отвратительное, но, взглянув на свою книгу, мне делается легче. Чего и Вам, дорогие друзья, желаю. Уезжающий в Ялту — Сочинитель. 16 мая 1960 г. Переделкинская дыра».

Сейчас уже трудно восстановить, чем было вызвано настроение, в котором была сделана эта шутливая, но невеселая надпись. Думаю, что основная причина коренилась в длительном несоответствии между количеством сжигаемого в реакторе горючего и тем, что в технике называется КПД — коэффициентом полезного действия. Не в характере В. В. было возлагать ответственность за свое душевное неблагополучие на других людей или обстоятельства, винил он чаще всего себя, отчего, как известно, не становится легче.

Существуют люди, которым ничего не стоит быть сдержанными, поскольку им, если разобраться, нечего

сдерживать. Сдержанность В. В. восхищала меня прежде всего потому, что за нею всегда угадывался сильный и страстный характер. Сдержан он был во всем: в разговорах о себе и о своей работе, в отношениях с людьми. Людей, которые ему были неприятны, он сторонился, и нужно было уж очень расстараться, чтоб вызвать его на резкость. Но и в изъявлениях приязни он был также сдержан, ласкательных слов, комплиментов и пышных тостов не произносил, превосходных степеней не употреблял, интимностей и фамильярностей не терпел, его доброе отношение проявлялось не в словах, а прежде всего во внимании. В отличие от довольно распространенной породы людей, бурно радующихся при встрече с тобой и немедленно все забывающих, как только ты вышел за дверь, В. В. встречал даже тех, кого давно не видел, так, как будто расстался с ними вчера. Но ничего не забывал. Я неоднократно имел случай на собственном опыте убедиться в его внимании. Он никогда не упускал случая сообщить мне то, что, по его мнению, могло меня интересовать. В трудные для меня периоды, когда особенно отчетлива грань между поведением друзей и так называемых «светских» знакомых, внимание В. В. не только не ослабевало, но становилось активнее, он беспокоился, если я пропадал, а во время моей тяжелой болезни Ивановы навещали меня в больнице и дома и всегда были готовы прийти на помощь. Но, пожалуй, самым памятным проявлением внимания В. В. для меня останется следующий эпизод.

Летом 1962 года я переживал тяжелый кризис. Многолетняя работа над романом зашла в тупик, я устал, изверился в себе, все написанное вызывало у меня отвращение, попытки переписывать заново ни к чему не вели, я не улучшал, а портил. Настроение у меня в связи с этим было не из важных. Не могу понять, каким образом В. В. дознался до того, что меня гложет. В одну из наших встреч (летом мы виделись часто) он без всяких околичностей спросил:

— Когда будем читать роман?

Я опешил:

— Роман? Как это — читать роман? Он же не кончен.

— Знаю, что не кончен. В следующий раз принесите несколько глав по собственному выбору и прочтите. А мы послушаем.

Неделю я отлынивал, но ничего не вышло — пришлось читать. Я отобрал две главы, казавшиеся мне наиболее подходящими, и пришел к Ивановым, рассчитывая прочесть какую-нибудь одну. Увидев в моих руках папку, В. В. позвал Тамару Владимировну и скомандовал: «Читайте!»

Я прочел ту, что была поменьше. Читал минут сорок. В. В. слушал внимательно. Когда я дочитал последнюю страницу, он кивнул головой:

— Так. Дальше.

Тон был решительный, и я не стал отнекиваться.

— Больше нету? — осведомился В. В., когда я, совершенно выдохшийся, закончил чтение. — Что ж так мало захватили? В следующий раз приносите побольше.

Затем говорили о прочитанном. В. В. не хвалил, не критиковал и не давал советов, а только расспрашивал настойчиво и заинтересованно, так расспрашивают человека, видевшего фильм, который еще не скоро появится на экране. В заключение спросил самым деловитым тоном:

— Ну, хорошо, когда читаем дальше? На будущей неделе — условились?

Больше я не читал. И не потому, что не поверил в искренность слов В. В. — он несколько раз напоминал мне о своем предложении, — просто в этом уже не было нужды. Толчок был дан, мертвая точка пройдена, я сел переписывать роман, и мне уже не хотелось показывать В. В. то, что для меня самого было уже вчерашним днем.

Всякий раз, возвращаясь из поездок — по СССР или за границу, В. В. приглашал: приходите, буду рассказывать... В литературном поколении, к которому принадлежал Всеволод Иванов, было много превосходных рассказчиков, признанных мастеров устной новеллы. Как рассказчик В. В. был не похож ни на кого; в отличие от большинства златоустов, рассказывающих обыкновенное как чудесное, он рассказывал чудесное как обыкновенное. Я ни разу не заметил у В. В. желания как-то «дожать» жизненный материал, придать ему завершен-

ность аттракциона. Фантазер, выдумщик, он не любил неточности, то, что в тиши рабочего кабинета определяется глаголом «домыслить», за чайным столом значило бы «приврать», а В. В. относился к лжи брезгливо, к бескорыстной еще хуже, чем к вынужденной. Я не буду пересказывать сохранившиеся в моей памяти отрывки рассказов В. В. о его путешествиях по белу свету — пусть расскажут те, кто ему сопутствовал, они сделают это лучше; мне же хочется привести только один хорошо запомнившийся мне рассказ — о человеке, который умел делать гульгульмин. Эту историю В. В. рассказал 1 января 1960 года в Переделкине, во время новогоднего обеда. Кроме Л. Ю. Брик, В. А. Катаняна и нас с женой, никаких гостей не было. Зашел разговор о Пикассо. В. В. поначалу почти не принимал в нем участия, затем оживился:

— А вы знаете любимую сказочку Пикассо про человека, который умел делать гульгульмин?

— Не знаем, — сказали мы дружно.

— И что такое гульгульмин, не знаете?

— Не знаем.

— Тогда слушайте. В стародавние времена, когда корсары существовали не только в балете, а были грозой южных морей, один корсарский корабль взял на абордаж большой купеческий бриг и после недолгой схватки захватил богатую добычу. Добычей в те времена считались и пассажиры — за богатых можно было взять выкуп, а бедных продать в рабство. Дороже всего ценились красивые женщины, а из мужчин те, кто годился для тяжелой работы или знал какое-нибудь полезное ремесло. Не мудрено, что перед дележом грозные корсары во главе с атаманом осмотрели и ощупали каждого пленника и в заключение подвергли всех строгому допросу: кто таков, есть ли родственники, способные заплатить за тебя выкуп, и если нет, то что умеешь делать. Был среди пленников немолодой уже человек, лицом он походил на философа, а руками на каменотеса, и даже опытный глаз атамана не мог определить, что это за птица. На заданные вопросы человек ответил, что имущества у него нет, но он умеет работать.

«Что же ты умеешь делать?» — спросил атаман.

«Я умею делать гульгульмин».

«Гульгульмин? — удивился атаман. — Никогда не

слыхивал. Что это — можно есть? Или из этого стреляют?»

«Нет».

«Так что же это такое?»

«Это невозможно рассказать словами. Если б я мог рассказать словами, что такое гульгульмин, зачем тогда его делать?»

«Сделаешь мне гульгульмин, — распорядился атаман. — Что тебе для этого нужно?»

«Чтоб развязали руки».

«Развяжите, — приказал атаман. — Еще что?»

«Хорошее дерево и немного свинца. Мои инструменты — их отобрали твои люди. И главное, чтоб мне не мешали и не торопили...»

Атаман был, по всей вероятности, незаурядным человеком, он оставил странного пленника за собой, велел дать ему все необходимое и не беспокоить попусту. Пленник с охотой принялся за дело, от зари до зари просиживал под мачтой, орудуя ножом и сверлом. Из-под его рук выходило множество гладких дощечек с просверленными в них круглыми дырочками; наблюдавшим за работой корсарам казалось, что все дощечки совершенно одинаковые, но пленник держался другого мнения, и, когда расстояние между дырочками получалось слишком большим или слишком малым, он без всякой жалости выбрасывал дощечку за борт и начинал сверлить снова. Во время работы он часто пел, голос у него был глухой, но приятный, матросы с любопытством прислушивались к незнакомым напевам, а затем, постепенно, стали понимать и слова.

В свободное от авралов время они подсаживались к человеку, делавшему гульгульмин, и слушали его рассказы, в конце концов они привязались к нему и даже гордились тем, что на их корабле есть человек, который умеет делать гульгульмин.

Так шло время, недели превращались в месяцы. Бесконечно это продолжаться не могло, всегда находятся злые и завистливые люди, которым обязательно нужно посеять раздор и подозрения. Они стали говорить, что пора бы уже всем посмотреть на этот самый гульгульмин и что, вероятней всего, никакого гульгульмина на свете не существует и пленник попросту дурачит всех,

в том числе и атамана. Разговоры эти вскоре дошли до атаманских ушей, и так как никому, а тем более атаманам, неохота ходить в дураках, атаман рассердился и приказал передать пленнику, что ему надоело ждать — через месяц будет корсарский праздник, соберется много гостей, к празднику гульгульмин должен быть готов и показан. Узнав о требовании атамана, пленник улыбнулся и сказал, что очень хорошего гульгульмина за такой короткий срок изготовить, конечно, нельзя, но он сделает все, что в его силах.

Праздник удался на славу, съехалось множество старых соратников; прежде чем сесть за пиршественные столы, корсары соревновались в силе и ловкости, боролись и лазали наперегонки на мачты. Наконец наступила очередь гульгульмина. По знаку атамана мастер сдернул парусину, прикрывавшую гульгульмин, и все увидели удлиненной формы снаряд, состоящий из дощечек со множеством дырочек, в нижнюю, заостренную часть снаряда был залит для тяжести свинец. Это и был гульгульмин.

Мастер подал знак, четыре матроса подняли гульгульмин и, раскачав, бросили за борт. Снаряд тут же затонул, но, утопая, он издал необыкновенной красоты музыкальное бульканье, похожее на слово «гульгульмин» или даже «гульгульгульгульмин».

«Как! И это все?»

Наступило недоуменное молчание, сменившееся взрывом ярости, и только потому, что над головой человека, который умел делать гульгульмин, было занесено одновременно три десятка кривых сабель, его не зарубили сразу. Но, наверно, зарубили бы, если б не нашелся один старый и умный корсар, который сказал: «Остановитесь, друзья, мы ничего не выиграем, если убьем этого человека. С тех пор как он с нами, нам всегда сопутствует удача, мы реже ссоримся между собой и реже предаемся бессмысленному буйству. Нам будет скучно без его песен и рассказов. Короче говоря, он нам нужен. Пусть его сидит под мачтой и делает свой гульгульмин».

И странного человека пощадили. И не только пощадили, но разрешили делать гульгульмин, и со временем многие стали думать, что гульгульмин в самом деле для чего-то нужен людям...

Прелесть всякой хорошей сказки в том, что она допускает самое широкое толкование. Этим-то сказка и отличается от притчи, которая всегда однозначна. Для меня не будет неожиданностью, если найдется человек, который скажет, что рассказанная В. В. сказочка сочинена специально для защиты абстрактного искусства или еще что-нибудь в таком же духе. Но я так не думаю. Наоборот, мне кажется, что сказочка Пикассо в интерпретации Иванова говорит о чем-то большем, чем место художника в человеческом обществе. Мне думается, что это сказка о том, что такое талант и поиск. И запомнилась она мне потому, что в герое рассказа я увидел много общего с рассказчиком.

Болезнь, более свирепая, чем корсары, не пощадила Всеволода Иванова. Те, кто был на его похоронах, помнят, как больно отозвалась его смерть в душах людей. Я должен был говорить у открытой могилы — и отказался, не смог. По написанному не хотелось, а иначе — не отважился. Недавно, перебирая ящики письменного стола, я нашел набросок своей непроизнесенной речи, всего несколько абзацев. Ими я и закончу.

Большой писатель не только автор книг. Он еще и друг, советчик, судья, заступник, нравственный образец. Нельзя быть большим писателем и маленьким человеком. Большой писатель узнается по тому излучению, которое присуще крупной человеческой личности, оно пронизывает не только книги писателя, но и все, что с ним соприкасается. Известны случаи, когда ситуация или мода возносила на вершины славы людей второстепенных, но не было случая, чтоб удавалось подделать нравственный авторитет.

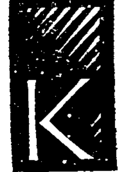
Влияние личности Всеволода Иванова было огромно, оно не зависело от его официального места в писательской иерархии. Иванов был не из тех людей, которых красит место, наоборот, его имя украшало любое место и любое начинание. Он не стремился к власти, но если уж он соглашался брать в свои руки людские судьбы, то все знали, что нет рук более чистых и более бережных, чем руки Всеволода. Гуманизм, интернационализм, демократизм были для него не религиозными догматами, а органическими свойствами натуры. Непреклонный в своих убеждениях, он был добр, как бывают добры только очень сильные люди.

Всеволод Иванов был человеком богатырского здоровья — физического и духовного, человеком могучей жизненности, такие люди рассчитаны на долгую жизнь. Тем трагичнее для нас его гибель. Ошеломленные ударом, мы еще не до конца сознаем всю невозместимость нашей потери. Трудно говорить «он был» о человеке, который еще как живой стоит перед нашими глазами, и невыносимо говорить «я любил его», когда хочется сказать «люблю».

1965

Гунар Цирулис

ХОЗЯИН ГОР


октебель, ранняя весна 1952 года.

Откровенно говоря, я был разочарован в своих лучших представлениях о солнечном юге, позаимствованных из туристических проспектов. Дул леденящий ветер. Не встречая ни малейшего сопротивления ни на голых склонах гор, ни на пустынных просторах, он долетал до каменистого пляжа и устраивал там такую свистопляску, что неуютные, серые воды Черного моря вскипали, как в ведьмином котле.

Обитатели Дома творчества тоже вызвали у меня легкое разочарование. Дело в том, что в эту несезонную пору в прославленный курорт Восточного Крыма понаехали либо зеленые новички вроде меня, которому Литфонд чуть ли не силой в последний миг всучил «горящую» путевку со скидкой, либо заядлые почитатели традиций, которым в дни молодости посчастливилось создать тут вдохновенные стихи, хороший рассказ или роман и теперь они надеялись, что в привычной обстановке воспрянет былой творческий дух.

Столовая напоминала студенческую кухню — в одном ее конце обосновалась шумная молодежь, которая с жадностью поглощала замаскированные разными псевдонимами котлеты, в другом конце восседали седые знаменитости, придавленные грузом титулов и заслуг, и расплачивались за гастрономические прегрешения молодости диетическими похлебками и отваренным в пресной воде окуневым филе.

Прямо посредине зала стоял стол, накрытый на четыре персоны, но до конца обеда за ним никто так и не появился.

Мариэтта Сергеевна заболела, объяснила подавальщица. Дочь уже второй день носит еду ей в комнату. А Ивановы, как обычно, задержались в горах.

В саду я чуть было не столкнулся с черноволосой женщиной. Раскрасневшись от натуги, она тащила вместительный бельевой таз, до краев наполненный галькой, которой, как я уже приметил, был усеян пляж.

— Даже воспаление легких не излечит Мариэтту Шагинян от хронической каменной болезни, — с явным восхищением заметил кто-то у меня за спиной.

Так я узнал, что существует еще и третий контингент коктебельцев — коллекционеры сердоликов. На берегу, в заливчиках, упрятанных среди горных ущелий, можно найти разного рода полудрагоценные камушки — уже упомянутые красные сердолики, лиловые агаты, сверкающие горные кристаллы. И целая плеяда отдыхающих, подобно собирателям нашего курземского янтаря, дни напролет одолевает километры берега, не отрывая пристального взгляда от гальки, среди которой в лучах солнца изредка блеснет желанная находка. Страстный коллекционер, Мариэтта Шагинян даже во время болезни не может отказаться от удовольствия просеивать камни, поэтому ее дочь (которую я встретил с тазом, наполненным камнями) поставляет к постели больной сырье — вдруг в нем да и сверкнет золотое зернышко.

Загадка двух отсутствующих за столом, казалось, была решена. Оставалось лишь выяснить, кто такие альпинисты Ивановы.

До вечера в доме царила тишина. Затем вдоль моей стены стали подниматься вверх по лестнице тяжелые шаги. Мгновение спустя над головой у меня что-то загрохотало, словно упала и прокатилась свинцовая гиря. Затем снова воцарилась тишина. Совсем как в анекдоте про рассеянного соседа, который, бросив первый сапог на пол, спохватывается и второй кладет осторожно на ковер, я ждал, не раздастся ли еще один стук. Но так и не дождался. Тогда я решил, что этот раскатистый звук следует рассматривать как акустическую визитную карточку, которой один из представителей огромной армии Ивановых Советского Союза подтверждает свою принадлежность к коллекционерам сердоликов

высшей квалификации и заявляет о том, что принес с гор полный рюкзак уникальных камней.

Эти умозаключения, конечно, могли возникнуть только в полудремотном состоянии, в коем я пребывал после длительного путешествия в поезде, а затем в автобусе. Лишь потом я вспомнил: еще в конторе мне сказали, что я буду жить под комнатой классика советской литературы, автора романа и пьесы «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова и его супруги Тамары Владимировны. Словом, загадка одержимых альпинизмом Ивановых разрешилась.

Знакомство состоялось после ужина. В столовой нас разместили спиной друг к другу, и только зычный смех, временами долетавший до нашего столика, свидетельствовал о том, что Всеволод Иванов человек веселый и жизнерадостный, а не памятник собственной славе, каким, чего греха таить, его рисовало мне воображение.

— Надеюсь, чувствуете себя как дома? — спросил Всеволод Иванов и первым протянул руку, хваткую руку рабочего человека. — Тут ведь такой же холод, как у вас в Дубултах... Почту за хозяйский долг предложить вам что-нибудь согревающее.

Он подмигнул, зажмурился, а когда раскрыл глаза, то в синеве под круглыми стеклами очков подрагивал лукавый смешок. Улыбалась и Тамара Владимировна.

— С самого утра твердит, что вечером не мешало бы выпить рюмочку, и смотрите, нашел уважительный повод.

— Не повод, а хороших людей, — недовольно пробурчал Всеволод Иванов и широким шагом пошел вперед, показывая дорогу в свою комнату.

Как только люди не пьют! Всеволод Иванов и в этом не походил ни на кого. Он пил уникально. С явным наслаждением. Всегда переставал пить в тот же миг, как ощущал, что его «мера» принята. В тот вечер у меня возникло ощущение, что передо мной человек монолитного характера: делает лишь то, что приносит удовлетворение, и ничего не делает лишь потому, что так «принято». Десять лет знакомства подтвердили верность этого первого впечатления. Он мог и выпить, когда это было в удовольствие, и не пил просто так, ради компании. Он и курил с наслаждением (иногда присланные из далеких краев трубки, иногда экзотических

марок папиросы), а затем вдруг, без каких бы то ни было усилий, месяцами воздерживался: просто табак для него утрачивал вкус. С огромным внутренним удовлетворением выступал на совещаниях, когда хотел выразить свои мысли, и молчал, когда понимал, что пришлось бы повторить общеизвестные истины. С увлечением читал рукописи друзей, а также еще не ведомых никому литераторов, и если удавалось обнаружить проблески таланта, восторг его не знал границ. Приятно было наблюдать, с каким творческим накалом он работает, внутренне ликуя, радуясь каждому удачно найденному слову, метко схваченной детали, яркому сравнению, ненавязчиво изложенному выводу. Да, сочинительство и сам процесс писания доставляли ему великую радость, не похожую на всем известные муки творчества, ибо работа полностью соответствовала его призванию, в ней он выражал себя. Трудности и недовольство сделанным начинались после того, как была закончена первооснова, когда начинался этап тщательного редактирования, совершенствования, переписывания, перестановки целых глав. Но в начале работы Всеволод Иванов целиком отдавался творческому наслаждению, возгораясь от внутреннего удовлетворения, иногда ободряюще похлопывая самого себя по плечу, а то и сообщая без ложной стыдливости, что, дескать, снова сочинил «конгениальную» страницу. Слова «гениальный» он избегал, не хотел никого выделять среди других. Приставка «кон» казалась самой подходящей, чтобы оценить свой вклад, ориентируясь на достижения лучших мастеров советской литературы и требования времени.

Но наибольшее наслаждение Всеволод Иванов получал от путешествий. В наше время туризм стал криком моды. Люди путешествуют группами и индивидуально, на общественном транспорте, в туристических поездах, в лодках, машинах, на велосипедах, лазают по горам или пересекают неосвоенные пространства. Лет двадцать назад этот способ открытия новых просторов еще не стал массовым хобби. Туризм был не легким, а порой весьма опасным увлечением отдельных путешественников. Всеволод Иванов всегда шагал в первых рядах этих пионеров-смельчаков, хотя к тому времени

уже приближался к порогу шестидесятилетия, да и перенес тяжелую болезнь сердца.

С его страсти к путешествиям и началась наша дружба, точнее говоря — зачисление меня в круг потенциальных спутников.

* * *

За завтраком я увидел на столе несколько коричневых кульков. Собрался было полюбопытствовать, что в них, но подавальщица остановила меня:

— Это обед для вас и вашей жены. Сухим пайком.

— Разве на кухне проводится инвентаризация? — недоуменно спросил я.

— Всеволод Вячеславович заказал. Вы ведь собираетесь на Карадаг.

— Надеюсь, у вас нет возражений? — услышал я неизменно уютный голос Всеволода Иванова. — Если погода будет теплая, искупаетесь в бухте контрабандистов. — Тут он критически оглядел наши рижские теннисные тапочки и покачал головой. — Первую прогулку выдержат, но для следующих походов придется купить кеды.

Я понял, что программа нашего отпуска жестко определена.

...Первые километры мы шли по пляжу. Поднятые прохладным ветром волны, обгоняя друг друга, набегали на берег, пытаясь дотянуться до наших ног. Местами приходилось карабкаться через каменные глыбы, поворачиваться к морю спиной и пересекать острые мысы, которые далеко вдавались в залив. В однообразном ритме ходьбы перед глазами все время маячил большой рюкзак на спине у Всеволода Иванова. Чтобы не заболеть морской болезнью, я опустил глаза. Тотчас последовал отеческий совет:

— Не стоит. Галька здесь как через сито просеяна. И вообще нечего торопиться. Через три недели будете ломать голову над тем, какие камни везти с собой в Ригу, какие оставить.

Утоптанная тропинка повела в горы, незаметно становилась все круче и круче, но Всеволод Иванов не сменил ритма, лишь чуть подался вперед, словно решил телом одолеть сопротивление ветра. Я остановил-

ся, чтобы перевести дыхание, и с надеждой оглянулся назад. Но не тут-то было — Тамара Владимировна тоже не думала сбавлять шаг. Поддерживая честь семейной школы альпинизма, она бодро поднималась в гору, и, глядя на ее уверенную поступь, мне ничего не осталось, как поверить в мое собственное альпинистское будущее.

Приморская гряда Восточного Крыма не высока, однако ей дано все, чем обычно обладают «настоящие» горы, — высокие кручи, глубокие ущелья, даже альпийские пастбища. Ведь мы шагали по склону потухшего вулкана, чей кратер в доисторические времена опрокинулся в море, образовав нечто похожее на крутую, почти непреодолимую стену. В древности этим воспользовались скифы и построили на Карадаге неприступную крепость, против которой набеги греческих завоевателей оказывались неизменно бессильными.

Все это, разумеется, куда более красочно изложил нам по дороге Всеволод Иванов. Природу он никогда не пытался комментировать, лишь молча указывал на своеобразие тех или иных мест. Вон слева на высоту пятиэтажного дома поднимается «Чертов палец» — исполинский осколок скалы, на котором не видно ни кустика, ни малейшего клочка травы. Метров на четыреста ниже раскинулось Черное море, отражая серое небо. Оно лежало спокойно, как застывшая ртуть. Потом мы добрались до хребта, за которым открылся вид на самый высокий пик массива. Вокруг него кольцом тумана вились облака. Набежал ветер, облака стали медленно разбредаться.

Мы перешли через горное пастбище, где ноги утопали в сочной траве. Его сменили выгоревшие на солнце красные мхи. Наконец из-под подошв посыпалась галька, с нарастающей скоростью покатилась вниз. Мы взошли на вершину.

— Перекур! — объявил Всеволод Иванов, не без иронии оглядывая наши вспотевшие лбы. Выбрал большой камень и положил на него рюкзак.

Затем вынул термос, отвинтил пластмассовую крышечку, налил, первым отведал напиток и недовольно поморщился. Тут же отвернулся и смачно плюнул. Когда я опять увидел его лицо, на нем собрались морщинки неудержимого смеха.

— Видимо, они кофейные зерна через мясорубку пропустили. — Предположение показалось ему самому настолько комичным, что он от души расхохотался. — Ну ничего, будет хотя бы что пожевать, так сказать, по русскому обычаю: вместо сахара вприкуску — кофейные зерна, а запьем их этой желтоватой водичкой.

* * *

Сердитым Всеволода Иванова за эти недели я видел, но раздраженным — ни разу. Мелкие житейские неурядицы, которые многим другим писателям отравляют настроение и надолго выбивают из рабочей колеи, как-то не задевали его. Он, пожалуй, даже не замечал их или сознательно сваливал на плечи жены, которая с поразительной легкостью и без суеты ликвидировала любые недоразумения, сглаживала все назревающие конфликты. Единственной семейной обязанностью, — а ее Всеволод Иванов ни за что не позволял с себя снять, — были покупки, не столь уж частые в условиях курорта, где живешь на всем готовом.

Почти каждое утро мы, — разумеется, одни мужчины, — отправлялись на базарчик. Не успевал Всеволод Иванов там появиться, как сразу взлетали цены. Местные колхозники уже знали, что не поторговавшись он не купит и пучка зеленого лука. Не потому, что ему жаль было денег. Нет, конечно. Ему доставлял удовольствие сам словесный поединок, сопровождаемый притворным равнодушием покупателя и отчаянной мимикой и жестами прибеднявшегося продавца. Наконец, довольный собой, он покупал овощи, какую-нибудь копченую рыбешку или другой деликатес по нормальной базарной цене, шел к ближайшему колхозному винному ларьку, чтобы отметить удачную покупку, а заодно и попробовать кислятины из урожая еще незнакомого ему горного склона.

Столь же регулярно Всеволод Иванов посещал местный сельмаг. Когда я в первый раз спросил, что он там собирается покупать, он удивленно пожал плечами.

— Сам еще не знаю, у меня все есть, но в мире существует столько интересных вещичек, которые произ-

водят специально для продажи. Уж что-нибудь да найдем. Если мне не пригодится, подарю доброму другу.

И действительно, он почти всегда находил что-нибудь по душе, если и не нужный, то по меньшей мере оригинальный предмет: карманный нож новой конструкции, с ложкой и вилкой, вместительную пепельницу с крышкой, удобный фонарик, на редкость безвкусную пластмассовую статуэтку, ручку на длинной ножке, чтобы чесать спину, приспособление для ловли мух и множество других столь же необходимых вещей. Покупки с триумфальной торжественностью преподносились стоически улыбающейся Тамаре Владимировне. И, к счастью, тотчас предавались забвению, что в свою очередь давало ей возможность незаметно освободиться от всего этого хлама.

* * *

Когда закончился очередной период интенсивного писательского труда, Всеволод Иванов явился в полном обмундировании альпиниста и с большим мотком каната на плече.

— Сегодня спустимся по откосу в Сердоликовую бухту, — шепнул он мне заговорщически. — А там выстрелим в воздух пробкой шампанского.

Благодаря трехнедельным тренировкам подъем на этот раз никому не показался слишком трудным, а поход по гребню хребта воспринимался как обыкновенная прогулка. Солнце тем временем поднялось к зениту. Где-то глубоко внизу разлилась первозданная синева моря. Огромными чернильными пятнами ложились на нее темные тени облаков. Кое-где из воды торчали могучие глыбы скал, причудливое каменное сооружение, похожее на ворота, через которые могло бы проплыть даже небольшое суденышко. Ближе к берегу вода светлела, отливала прозрачной зеленью.

Такой выглядела сверху цель нашего путешествия. Надо было начинать спуск. Но откос был крут, почти вертикален. Местами, правда, на нем проглядывали зеленые пятна, но они пропадали в общей серой массе вулканических пород.

Не радовали и покатые коричневые полосы. Я знал, что это всего лишь сыпучие обломки, которые срыва-

лись с места при легчайшем прикосновении и лавиной устремлялись вниз.

После первых же шагов стало ясно, что торопиться не следует. Ноги то и дело соскальзывали, дважды я упал и больно ободрал руку. Сердце колотилось, поднималось куда-то к горлу. А галька сыпалась на меня сверху, свидетельствуя, что остальные следуют за мной. Я уцепился за какой-то выступ и оглянулся.

Трудно описать связанный веревкой караван, медленно и смело приближавшийся ко мне. Я понял только, что Всеволод Иванов, взвалив на себя вес двух женщин, метр за метром опускает их вниз, пользуясь чем-то вроде системы блоков, опорой которым служили его широкие плечи...

Мы были щедро вознаграждены за все испытания. Небольшая бухточка казалась заколдованной. С трех сторон ее опоясывали высокие скалы, подъехать со стороны моря мешали каменные глыбы, только в одном месте они образовали узкий проход. Здесь были гроты, в которых могли бы бросить якорь даже парусники. Возникало впечатление, что до нас тут не ступала нога человека. То сжимая, то распуская зонты, по поверхности теплого моря медленно плыли прозрачные медузы. Кромка берега, которую, отступая, обнажала волны, мерцала всеми цветами радуги. Темно-красным светом горели сердолики, обточенные и отшлифованные в течение веков соленой морской водою. Тут же лежали дымчатые топазы, темные, почти черные агаты. Камни, расписанные причудливыми узорами, напоминали выставленные в витрине «скаты».

Всеволод Иванов показывал нам эту сказочную пещеру разбойников с гордостью хозяина гор. Когда сумки были набиты камнями доверху, настал черед шампанского. Мы подняли стаканчики из провощенной бумаги. Но он разрешил нам выпить только до половины. Впереди был самый большой сюрприз дня — проект, за осуществление которого мы осушили наши стаканчики до дна.

— Торопиться домой никогда не нужно, — глубокомысленно проговорил Всеволод Иванов. — Кто знает, когда мы опять сюда попадем. — Это относилось только к нам, ведь супруги Ивановы регулярно ездили в

Коктебель, Всеволод Вячеславович бывал здесь в те времена, когда центральное здание Дома творчества принадлежало еще покойному поэту Волошину. — Нельзя ограничиваться только этими горами, когда неподалеку ждет незавоеванная вершина Ай-Петри, — продолжал между тем Иванов. — Я договорился с директором, он даст нам грузовик для поездки в Ялту, а там — домик Чехова, винные погреба Массандры, порт, откуда корабли могут нас доставить в столь дорогую сердцу каждого литератора Одессу... Ну как, молодые люди, нет возражений?

Материальных трудностей, как мы уже выяснили за недели, проведенные с ним, Всеволод Иванов не признавал, и через два дня мы все вскарабкались в кузов грузовика. В кабину к шоферу никто сесть не хотел — наверху можно было играть в «маджонг».

* * *

Воспоминания о времени, проведенном в Крыму, были бы неполными, если бы я обошел молчанием игру, которая скрашивала нам вечера, а также и ненастные дни.

Не помню уже теперь, из какого дальнего путешествия привез Всеволод Иванов эти сто сорок четыре косточки в черной лакированной коробке. Каждая косточка была миниатюрным произведением искусства — кубик из слоновой кости, покрытый тонкой, ярко раскрашенной резьбой. Зная характер этого писателя, осмеливаюсь предположить, что первоначально это было одной из его обычных покупок: изящная вещица, красивый, хотя и чрезвычайно дорогой сувенир, который хорошо смотрелся бы в кабинете восточного стиля на первом этаже его переделкинской дачи. Любознательность заговорила позже. Он освоил правила игры, а потом принялся обучать членов семьи, друзей. Наконец сам загорелся не столько страстью к игре, сколько к изобретательству, и даже сочинил краткий беллетризованный курс обучения игре в маджонг на десяти машинописных страницах. Название «маджонг» Всеволод Иванов раскрывал подобным образом: это древняя игра китайских морских разбойников, если кто-нибудь из них проигрывал последнюю золотую монету, то ему

оставалось лишь крикнуть «мама» и прыгать за борт джонки, прямо в акулью пасть.

Творческий подход к обучению проявлялся и во время игры. Почти каждый вечер возникали новые дополнения к правилам, которые на следующий день он, конечно, забывал или же пробовал обернуть в свою пользу. И не ради выигрышей — играли мы на спички. Кому, однако, не хочется блеснуть эффектной и сложной комбинацией, которая поразила бы партнеров и сломила бы их волю к сопротивлению? Да и стоит ли вообще играть, если не стремишься к победе?

Итак, под стук костей мы въехали в Ялту, где Всеволод Иванов в течение трех дней показывал нам все, что следовало увидеть, а то, что не успел показать, описал так зримо и наглядно, что я долгие годы боялся ходить в те места, дабы не испытать разочарований.

Да, Всеволод Иванов был выдающимся рассказчиком, притом он никогда не повторялся. Если хотя бы один из присутствующих слышал какую-либо историю раньше, он излагал ее по-другому. Причем стеснялся повториться даже перед женой, ибо к устному рассказу относился так же, как к серьезной творческой работе. Преследуя творческие цели, можно было, однако, легко вступить в противоречие с фактами...

Всеволод Вячеславович мотивировал обычно свой отказ рассказать еще раз о любом всем известном случае словами: «Я не актер».

Но актер мог бы позавидовать вдохновению, с каким Всеволод Иванов рассказывал нам о людях, показывал здания Одессы и Киева. В этих городах, как и повсюду, где ему доводилось бывать, тотчас появлялись его старые знакомые. Однако мы ни разу не почувствовали в его поведении и в его отношении к нам того, что могло бы напомнить пословицу: «Старый друг лучше новых двух». Когда пришло время расставаться — сам Всеволод Иванов и Тамара Владимировна остались в Киеве, — он настоял на том, чтобы мы в Москве прямо с вокзала поехали на его квартиру. А туда уже была послана телеграмма, лаконичная, но выразительная: «Примите, накормите, дайте ночлег, откройте неограниченный кредит».

* * *

До самой смерти Всеволода Иванова не прерывалась наша связь. Я бывал у него в гостях в Лаврушинском переулке, на даче в Переделкине, иногда мы переписывались. Я даже осмеливался представить на его суд русские переводы своих первых книжек. Отзывы его всегда были доброжелательны, пожалуй, даже слишком. Лишь одного он никогда не прощал — отсутствия живописных картин природы, уголков города.

— Вы же обкрадываете читателя! — упрекал Всеволод Иванов. — Действие происходит в сказочно красивой Риге, а вы скупитесь на детали. Если самому лень, с удовольствием отдам в ваше распоряжение свой дневник с рижскими впечатлениями. Пользуйтесь на здоровье.

Поворчал, пожурил, но, оказывается, успел предложить книгу издательству, о чем сообщил мне письмом, которое в заключение мне хочется привести целиком, ибо в нем, на мой взгляд, проявляется и отношение Всеволода Иванова к людям, и его неповторимая личность:

«Дорогой!

Я потерял Ваш адрес.

Месяц тому назад я получил из «Молодой гвардии» письмо с благодарностью за хороший подарок издательству и сообщением, что редакция издательства посылает, вскорости, Вам пожелания по поводу доработки Вашей повести.

Тогда я ринулся в справочник писателей и Вашего адреса там не нашел. Я начал вспоминать его и, как мне показалось, вспомнил. Тогда я написал Вам краткое письмо и, вложив его в конверт вместе с письмом «Молодой гвардии» ко мне, отправил по адресу мною вспом... тьфу!.. по адресу, который я вспомнил.

Письмо вернулось обратно с наклейкой: «Адресат не обнаружен».

Хорошо-с. Я не успокоился и передал Коме[1] письмо с приказанием отправить его в адрес латышской газеты «Литература и искусство», где, как говорит Кома,

---

[1] Сын Всеволода Иванова Вячеслав Всеволодович, по-домашнему Кома.

Вы работаете. Кома носил письмо мое в кармане две недели и наконец отправил.

Сегодня получил от Вас фототелеграмму, в которой ни слова о моем письме.

Получили Вы его, наконец, или нет?

Прислала Вам редакция «М. гв.» свои пожелания или нет?

Или это была только улыбка с их стороны?

В общем, как только накоплю денег, я приеду в Ригу объясняться с Вами лично и также для того, чтобы получить Ваш адрес!

Вс. Иванов»

Октябрь 1973

Цырен-Базар Бадмаев

У КОСТРА

Впервые близко познакомился я с Всеволодом Вячеславовичем летом 1957 года в иркутской гостинице. У меня была командировка от журнала «Байкал» (тогда «Свет над Байкалом») на строительство Братской ГЭС, а Всеволод Вячеславович как раз собирался туда. Но главной целью его поездки, как я понял чуть позже, были те девственные места Илимской тайги, куда не ступала нога человека. И вот он попросил меня составить ему компанию. Собравшиеся было ехать с нами товарищи дальше Братской ГЭС не двинулись, и я оказался единственным спутником Всеволода Иванова по тем местам, которые интересовали его больше всего.

— Ну что ж, Бадмаев, поехали со мной, побываем в таких местах, где не ступала нога человека, — обратился ко мне Всеволод Вячеславович. — Вы ведь ничем не обременены?

Я весело ответил:

— Да, я ничем не обременен, разве что договором с Министерством культуры: обязался написать пьесу о молодежи.

Заметно оживившись, Всеволод Вячеславович сразу заинтересовался, писал ли я раньше пьесы, каков сюжет, давал ободрительные советы, а его советы были для меня, тогда совсем молодого литератора, разумеется, неоценимой помощью. Он советовал, когда я закончу пьесу, подготовить подстрочный перевод, обещал помочь в переводе на русский язык. Впоследствии, когда мы встречались

и в Москве и в Улан-Удэ, он частенько спрашивал об этой пьесе, а я ему показывал тоненькие книжки своих стихов. Но он не переставал интересоваться пьесой. Вот одно его письмо, которое я, пожалуй, приведу целиком:

«18/XII 1957 г.

Дорогой Цырен-Базар, где Вы?

Или Вы так углубились в свою драму, что забыли своего спутника по ангаро-илимской тайге? *Пьесу-то, по крайней мере, окончили?* (Курсив мой. — *Ц. Б.*)

А я живу старыми драматургическими делами: на днях вернулся из Югославии, где смотрел «Бронепоезд» в двух столицах, в третий город не попал, а в четвертом готовятся к постановке. Поездка была интересная: у костра, на Илимпее, расскажу подробности.

Да, дорогой мой! 1957 год кончается, и в начале следующего я примусь за хлопоты, чтоб попасть на реку Илимпею. Хотелось бы в июне.

Как Вы?

В Югославии я беспардонно хвастался, что убил в тайге трех соболей. Охотник есть охотник: всегда врет. Да и если люди верят, почему не врать?

Живу сносно: все здоровы, Собрание сочинений начнет выходить в 1958 г. (первые четыре тома), а остальные четыре — в 1959 г. («Мы идем в Индию» в средине или к осени тоже 1958 г.). Старший сын, художник, собирается со мной на Илимпею, а младший, похоже, уезжает на год в Индонезию.

Пишу Вам на редакцию, так как адрес Ваш потерял. Привет Бальбурову, Киму, Рыбко и всем, всем — привет и поздравляю Вас всех с наступающим Новым хорошим годом!

Вс. Иванов»

Человек уже в годах, который в течение целого лета скитался на разных видах транспорта, начиная от стремительного «ТУ», кончая тряской лошадкой, по самым непроходимым таежным дебрям, болотам и топям, неделями ночевавший под открытым небом, исхлестанный дождями, после всего этого поездил по Югославии и еще затевает поездку на затерянную где-то у черта на куличках тунгусскую реку Илимпею. Да, бодрость духа, неутомимость, богатырское сибирское здоровье и всегда не-

утолимая жажда неизведанного и широта его творческих дерзаний были прямо-таки неисчерпаемы. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в последние годы своей жизни Всеволод Иванов жил Сибирью. Сам сибиряк, он находил все новые и новые места, интересные своим прошлым, настоящим и будущим. И, главное, писал об этом. Как-то в Переделкине, у него на даче, за чаем у Тамары Владимировны, я сказал ему:

— Читал я ваши очерки, иногда мне было неудобно: зря там вы пишете о моей персоне.

На это Всеволод Вячеславович ответил:

— Что очерки, я пишу большую книгу, многое там будет использовано из того, что мы с вами видели и узнали.

Не знаю, успел ли он написать эту книгу? («Хмель» не об этой поездке.) Он рассказывал, что затевает роман, герой которого должен пройти по некоторым из тех мест, что мы посетили. Так говорил Всеволод Вячеславович мне и читателям на встрече. А посетили мы многие места, лето было у нас на редкость насыщенное. Новый, современный город Ангарск и мрачно знаменитый Александровский централ, строящаяся Братская ГЭС и Кыренск, некоторые колхозы и далекий таежный Нижне-Илимск (куда тогда можно было добраться только самолетом), где царские палачи томили автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, острова вверх по Ангаре, куда мы добирались на пароходике, — вот неполный перечень маршрутов нашего лета.

Помнится, мы стояли на огромной скале Пурсей, внизу копошились разные машины, а напротив, на том берегу, взрывали изумительно красивую скалу с чудесным названием Журавлиная Грудь. Между ней и скалой Пурсей строители начали сооружать будущую плотину ГЭС. Всеволод Вячеславович долго смотрел на окрестности, бурную Ангару, скалу Журавлиная Грудь, где то и дело раздавались взрывы и поднимался столб пыли, земли и камней. Ему, ветерану советской литературы, свидетелю рождения нашего строя и непосредственному участнику битв за власть Советов, радостно было видеть, как новые поколения совершают новые чудеса. Но в то же время его очень огорчало, что губят красоту.

— Какое-то издевательство над природой, — сказал он раз после очередного взрыва у основания скалы. — Та-

кую красоту губят. А название-то какое! Журавлиная Грудь!

Еще одна деталь. Мы сидим у председателя горсовета старого Братска. В то время старый Братск только собирался перекочевать на новое место, предстояло перетащить нужные объекты на возвышенность, к вновь строящемуся поселку строителей под названием Постоянный, а башню, где томился в свое время протопоп Аввакум, собирались перевезти не то в Иркутск, не то в Ленинград. Собирались перевезти даже старое кладбище, ибо трупы, как нам объясняли, оказавшись в воде (ведь мы были на дне будущего Братского моря), всплывут, отравят воду, и вообще это неэтично, негигиенично, да и вряд ли людям приятно оставлять на дне моря останки родителей, дедушек и бабушек...

До этого мы порядком походили по Братску, и Всеволод Вячеславович не мог наглядеться на старые дворы с замысловатыми постройками, резными ставнями и наличниками. Это были и впрямь чудесные строения, выполненные руками людей, понимавших не только хозяйственное назначение постройки, но и ее эстетическую сторону. И вот в беседе с молодым председателем горсовета Всеволод Вячеславович спросил:

— А что будете делать с этими старыми постройками? — и показал на юго-восточную окраину города.

Молодой мэр, долго не думая, спокойненько, как ни в чем не бывало, буркнул:

— А эти? Возьмем да и сожжем.

Тут мой спутник сразу изменился в лице, помрачнел и не стал продолжать разговор. Холодно попрощались мы с мэром. Пошли. Всеволод Вячеславович был очень подавлен.

— «Сожжем»! — повторял Всеволод Вячеславович слова молодого председателя, хмурый от возмущения. — «Сожжем» — и ни малейшей эмоции на лице! — Он сердито говорил о том, как некоторые люди не понимают красоты, губят природу. Досталось и леспромхозам, сплошь уничтожающим лесные массивы, не выполняющим указания государства о восстановлении леса.

Наше путешествие в глубь знаменитой Илимской тай-

ги описал сам Всеволод Вячеславович. Но он человек скромный и чрезвычайно мало написал о себе. Я же хочу воскресить в памяти некоторые детали, относящиеся к Всеволоду Иванову.

С нами был проводник — местный охотник Иван Николаевич, житель деревушки на реке Туба, в тридцати примерно километрах от Нижне-Илимска. Наняли трех лошадей и стали пробираться в глубь тайги, которой, казалось, нет конца и края. Мошки видимо-невидимо расплодилось в здешних краях. Хотя мы были снабжены разными сетками, пропитанными мазью, мошка досаждала нам основательно. Достаточно сказать, что жители Тубы держат коров днем в хлевах, а пасутся они только ночью. Там стар и млад ходят в сетках, детишки играют во дворе в сеточках, наподобие шлема газосварщика. Я спрашиваю Всеволода Вячеславовича, как же молодые парни и девушки целуются в таких условиях.

— Попробуй сам, — смеется он. — Конечно, не пришлось мне испытать этого, но тогда я был совсем молодой и, человек не унылый по природе, помню, страшно интересовался этим. И все из-за крохотной мошки, до того надоедливой, что спасу нет. Обычно комар укусит и был таков, а эта мошка норовит проникнуть за ворот рубахи, в рукава... На Братской ГЭС из-за мошки люди не могли работать, приходилось опрыскивать леса с самолетов, специально присланных для этой цели.

Всеволоду Вячеславовичу приходилось пробираться по тайге около десяти дней в очень трудных условиях, но он не унывал, был всегда весел, и мы с Иваном Николаевичем удивлялись его энергии. К привалу выяснялось, что чувствует он себя не хуже, чем я, годившийся ему в сыновья.

С нами была собака (сначала две, но потом одна куда-то исчезла). Всеволод Вячеславович говорил, что никогда не видел собаки умнее, чем наша Тигра. Она лаяла на разные лады: на человека — по-одному, на лося — по-другому... Залает где-то далеко от нас, а хозяин кричит: «Тигра, брось!» И она перестает лаять, ибо кому нужен бурундук. А на него у Тигры тоже свой собачий лай. Однажды Тигра залаяла как-то совсем по-особому. «Возьми! — крикнул в тайгу Иван Николаевич и оборачивается к нам: — Соболя посадила». Мы проби-

раемся сквозь чащу на лай. Глядим, сидит на ветке большого дерева зверек, уставился на Тигру, которая до хрипоты тявкает на него, стоя внизу, у ствола, а на нас мало обращает внимания. Я таскал с собой ружье «Олень» и зарядил мелкокалиберный ствол.

— Товарищ профессор, стреляйте,— говорю Всеволоду Вячеславовичу. (С легкой руки одного товарища, мы еще в Иркутске стали называть его профессором; впрочем, в Литературном институте ему действительно было присвоено это звание.)

Но профессор стал доставать бинокль, ружья он с собой не возил.

— Стреляй ты, а я буду наблюдать,— сказал он и немного даже отъехал назад.

Я выстрелил неудачно, соболь, падая, зацепился лапкой за ветку и повис в воздухе.

— Какой вы Чингисхан! Стрелять не умеете,— говорит профессор. Ему, видимо, жалко зверька, который мучается.

А тут еще Иван Николаевич, стреляющий соболя непременно в глаз, в худшем случае в голову (иначе в сельпо не примут шкурку или оплатят по уцененному тарифу), кричит:

— В лапу! В лапу стреляй! И он упадет!

Куда там! Стреляю еще и еще, и наконец-то зверь падает на землю. Тигра пулей набрасывается на него, но не кусает — тоже, видать, шкуру бережет.

Всеволод Вячеславович долго расспрашивает охотника о тайнах соболятников, о повадках этого драгоценного зверька, которого не захотел застрелить сам. Не захотел он стрелять и во второй, и в третий раз, когда Тигра «сажала» соболей на дерево. Так за все время нашей стихийной охоты он ни разу не выстрелил.

Мы с Всеволодом Вячеславовичем понемногу начинаем понимать язык Тигры и, услышав очередной ее лай, угадываем четвертого соболя. Но профессор говорит: «Хватит!» Да и охотник склонен к этому: ведь летом шкура соболя неважная. Дай мне волю — с помощью Тигры я, пожалуй, смог бы добыть этих соболей несколько десятков. Ну что ж, запрет есть запрет, да и Ивана Николаевича я, очевидно, обокрал бы, ибо в предстоящем сезоне он наверняка раздобыл бы меньше. А он живет только охотой.

Разделав шкурки, Иван Николаевич вручил их мне, — по его охотничьим неписаным законам, они принадлежали мне. Я был холостяк, не думал о женских туалетах и тут же подарил их своему прославленному спутнику. «Посидеть бы у костра, пострелять соболей!» — сказал он как-то в Москве, когда мы сидели с ним за чашкой кофе в буфете Колонного зала во время Первого съезда писателей РСФСР.

Всеволод Вячеславович не переставал восхищаться нетронутой, девственной тайгой, настроение у него было самое прекрасное, несмотря на комаров и на то, что иногда в чащобе нам приходилось пробивать себе дорогу с невероятным трудом. Колючие ветки нещадно бьют по лицу, падают сетки, а комары тут как тут, земля местами болотистая, и кони вязнут в грязи, спотыкаются.

Мы ехали цепочкой, сначала хотели, чтобы Всеволод Вячеславович ехал в середине, между нами, но он почему-то захотел быть последним. Однажды я услышал крик, обернулся — боже мой! — профессор упал, но не просто свалился на землю, а висит, зацепившись ногой. Конь споткнулся, а Всеволод Вячеславович не успел выдернуть ноги из стремени. У нас в агинских степях человек именно так погибает, если конь не смирный — побежит он от испугу, раздавит человека задними ногами, волоча по земле. Хорошо, что у Всеволода Вячеславовича конь был смирный. Когда я, не помня себя, подскочил к месту происшествия, конь спокойно пощипывал траву, а классик висел на одной ноге. Да еще смеялся. В ужасе высвободив стремя, набрасываюсь на него:

— Что тут смеяться? Ведь вы могли запросто погибнуть!

А он только посмеивается. Это повторилось и еще раз, и опять я вне себя спешил к нему на выручку. Но Всеволод Вячеславович не унывал, был весел, будто так и должно быть. После очередного падения с коня, выйдя на поляну, он даже запел песню с замысловатыми, незнакомыми мне словами. «Алла-верды...» — только и осталось у меня в памяти.

Очень нравился ему наш спутник, охотник Иван Николаевич, в нем он просто души не чаял. Вообще же я заметил, что встретить хорошего человека для него столь же радостно, сколь тягостно и оскорбительно знаться с человеком плохим. Всеволод Вячеславович очень огор-

чался, когда какой-нибудь товарищ, сначала казавшийся хорошим человеком, вдруг показывал себя с неприятной стороны. «А я думал, он хороший человек», — несколько раз мрачно повторял Всеволод Вячеславович, когда молодой председатель горсовета в старом Братске так спокойно пообещал сжечь старинные постройки. В Нижне-Илимске мы шли к одному из руководителей района; подходя, видели, как он стоял у двери. Выйдя от него, Всеволод Вячеславович сказал:

— Ведь он видел, что мы идем к нему. А он, вместо того чтобы по-человечески встретить нас, пошел в кабинет, уселся в кресло.

Действительно, когда мы зашли к нему, он величественно сидел за большим столом, даже не встал. А Иван Николаевич, человек удивительно добрый и так хорошо знающий тайгу, не мог не полюбиться Всеволоду Вячеславовичу. «... А я порой мучаюсь, что все еще не написал охотнику Ивану Николаевичу, хотя уже купил ему отрез на костюм и очень хороший. Послать все нет времени», — писал он мне однажды. На прощание он подарил ему свой дорожный ножик, рыболовные снасти, попросил у него фотоснимок.

Во время привалов, вечерами, спасаясь от мошки, мы разжигали огромные костры. Всеволод Вячеславович очень любил костры, вспоминал Горького, который, как известно, очень завидовал Пушкину, так искусно описавшему пожар в «Дубровском». Говорили мы о многом. Мы договаривались было не касаться литературных тем, но разве это возможно, когда два литератора (один из них — ветеран, а другой — только начинающий, жаждущий узнать у первого как можно больше) сидят у костра, а то и между несколькими кострами, вдали от телефонов, заседаний и прочих забот. В этой неторопливой беседе Всеволода Вячеславовича передо мной оживали картины бурной литературной жизни первых лет советской власти, и непременно в его рассказах присутствовал Горький.

Но всего чаще речь шла о природе, об охоте и охотниках. Всеволод Вячеславович сам не был заядлым охотником, но его интересовали жизнь, нравы, язык охотников, повадки зверей. Я просил Ивана Николаевича во что бы то ни стало устроить встречу с медведем. Всеволод

Вячеславович вспомнил своего друга-казаха, председателя сельсовета и бывалого охотника, жившего где-то, если не ошибаюсь, у озера Ала-Куль.

— Как-то я у него спросил, — говорил Всеволод Вячеславович, — как быть, если окажусь лицом к лицу с медведем? И он ответил примерно так: «Положи левую руку ему в рот; пока будет жевать, режь его правой рукой».

Как я понял потом, в словах охотника была правда. Некоторые так и делают: суют руку в пасть медведя до самой гортани, — говорят, при этом медведь не может свести челюсти и теряется. К сожалению или к счастью, нам тогда не довелось сунуть руку в пасть медведя: собака наша, видно, отпугнула его. Тамошние медведи, случается, нападают на людей. А мы бывали в самых что ни на есть непроходимых чащах, могло случиться все. Но Всеволод Вячеславович ходил без ружья, и, как мы ни уговаривали его, он шел по тайге, замыкая наш маленький караван. Неподалеку от деревни Иван Николаевич показал нам могилу.

— Тут лежит один наш охотник, — сказал он, как бы наставляя нас быть осторожными в тайге. — Много медведей убил, знал все их повадки. Хороший был охотник, а все-таки задрал его медведь, подкараулил.

Домашние его не зря беспокоились, когда Всеволод Вячеславович отправлялся в такие путешествия. Еще когда мы собирались в тайгу, он из гостиницы позвонил домой. Видно, Тамара Владимировна очень тревожилась, потому что я слышал, как он говорил, что с ним едет надежный человек, всячески расхваливая мои несуществующие охотничьи способности. Вообще он каждый раз, если имелась на то возможность, звонил, а еще чаще телеграфировал в Москву домой, давая знать, где он и как идут дела. Позже, когда я стал другом его чудесной семьи, Тамара Владимировна рассказывала, что раньше сама ездила с ним в такие отчаянные странствия. Его сын, ученый, Вячеслав Всеволодович, однажды ездил с ним в бурятские края, собирался с ним и другой сын, художник Михаил. Часто Всеволод Вячеславович вспоминал своих, тогда еще маленьких, внуков.

Много мы говорили о буддизме.

Не зная, что он разбирается в буддизме, я сначала

даже хотел его вроде просветить, стал рассказывать об основах буддизма. Но Всеволод Вячеславович проявил столько познаний в этой области, что я устыдился своей «лекции». Он рассказал, что даже писал о буддизме, что однажды пригласили его на конгресс буддистов в Америку, но он не поехал.

— Много буддийских храмов в Бурятии? — спросил он.

— Большинство разрушено, — ответил я.

В связи с этим он сказал, что и с русскими церквами обходились не лучше. Позднее он посетил буддийский храм, был очень доволен. А приехав к нему на дачу, я обнаружил в кабинете множество будд, собранных хозяином за годы своих странствий по белому свету. Он говорил, что в буддизме много ценного и поучительного. На память об этих наших разговорах он подарил мне одну из своих книг с надписью: «Один Будда являлся в многочисленных видах, и в каждом из них являлся один Будда».

Как-то, говоря об иконах, он рассказал случай с Роменом Ролланом. Собрался Роллан в Третьяковскую галерею, его сопровождали репортеры. Зашел Роллан первым делом в отдел иконописи. Сидит долго-долго, а репортеров все меньше и меньше. Потом Роллан встал, сказал, что теперь ему понятно русское искусство, и ушел, так и не зайдя в другие залы.

Вместе с Всеволодом Вячеславовичем посетили мы печально знаменитый Александровский централ. Стены этого здания видели несколько поколений узников. Не буду описывать, как устроено это огромное мрачное здание. Об этом хорошо рассказано в многотомном труде профессора Гернета. Всеволод Вячеславович ходил по камерам сумрачный, взволнованный, редко задавал вопросы.

Вскоре после отъезда из Александровского централа мы встретили агронома, который оказался прямым потомком одного из известных декабристов, но кого — я запамятовал. Перед нами стоял красивый человек в годах, с правильными и благородными чертами лица. Всеволод Вячеславович оживился, расспрашивал его о работе.

Всеволод Вячеславович, как известно, был собирателем камней, и в то лето он все искал в тайге какие-то

редкие камни. Часто мы копались в галечниках, рассчитывая найти хоть маленький кусок яшмы. Он знал столько о цветных камнях, сколько не знает и опытный геолог. Искали мы все втроем. Мои находки он неизменно браковал, говоря: «Булыжник». Когда позже я писал ему в Москву, что нашел редкий камень, он ответил: «Спасибо за припасенные камни, хотя, признаться, я опасаюсь, что они окажутся булыжниками, но — «мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь. . .».

Я заметил, что Всеволода Вячеславовича не очень радовало, когда ему дарили найденные другими камни. В Иркутске секретарь обкома партии товарищ Щербина, узнав о слабости Всеволода Вячеславовича к камням, подарил ему почти полную коллекцию камней, встречающихся в тех краях. Коллекция была богатейшая. Я тщетно ожидал, что это приведет Всеволода Вячеславовича в восторг. Не тут-то было. Зато он, как ребенок, радовался, когда сам находил кусок яшмы. В результате рискованных вылазок в самые неожиданные места у него накапливалось множество разных камней. В Москве у него их было уже множество, но запасы не росли: хозяин любил дарить. С нескрываемой гордостью рассказывал он о том, как подарил одному французу кусок какого-то камня, и тот, приехав домой, обработал, огранил его, и жена щеголяла в Париже, вызывая зависть у тамошних модниц. Вообще Всеволод Вячеславович любил делать подарки. Мне он преподнес книгу, трубку, рыболовные снасти. А во время бурятской декады в Москве он подарил мне ружье редкой системы «Зауэр-мужичок». На ложе он сделал надпись: «Милому другу Цырен-Базару Бадмаеву в память о тайге 1957 года. Всеволод Иванов». Так он дарил людям книги, вещи, какие-нибудь диковинки. Щедро дарил людям частицы своего большого, истинно русского сердца, тепло которого имел счастье ощущать в последние годы его жизни и я.

Всеволод Вячеславович не делил людей на «именитых» и «неименитых». Когда я не решался выступать вместе с ним, он говорил сердито:

— Вы представляете литературу целого народа.

Я дописываю эти страницы о человеке, которого полюбил как родного отца, в Ялте. Гляжу на деревья в здешних парках и вспоминаю те девственные таежные дебри, Байкал, горы. И думаю: вот будь Всеволод Вяче-

славович жив, мы бы сейчас бродили где-нибудь там. Трудно представить себе, что этого сибирского богатыря, удивлявшего людей своей выносливостью, неутомимостью, оптимизмом, и такого богатыря художника нет среди нас. Остались его книги. Он оставил, как говорит бурятская пословица, имя на бумаге, след на земле. Люди из поколения в поколение будут приобщаться к чудесному миру его книг.

Май 1966

Василий Никонов

«ВЕЧНОЕ ЕМУ СПАСИБО»

В 1958 году я учился в Читинской партийной школе, сдавал экзамены, и когда Всеволод Иванов приехал к нам, не мог ездить с ним по области. А поездки его были удивительны: агинские степи, бурятские дацаны; тысячные стада овец и табуны скакунов; гордые верблюды и таинственный Онон — родина Чингисхана. Всеволода Иванова влекли Шерловая гора и Одун-Чолон — кладовая камней-самоцветов. И конечно же нравились люди, волнующая новь, необъятная, своенравная страна — Забайкалье. Он красочно рассказывал об этих поездках, в которых его сопровождали писатели Борис Костюковский и Оскар Хавкин. Когда я с ним разговаривал по его возвращении из этой поездки, удивлялся: рассказы были смешными, а он грустил. Я видел это по умным, проницательным, многознающим глазам его.

Потом, когда мы познакомились поближе, он сетовал на это путешествие, и вот почему: его возили не туда, куда он задумал, знакомили не с теми, с кем бы он хотел видеться. На мой взгляд, была какая-то недоговоренность с организаторами. Но в любом случае он был, как говорится, не в своей тарелке. «Как бычок на приколе, — усмехался Всеволод Вячеславович. — Мне надо на Шерловую, а меня везут на пикник. Разумеется, я не против, но только после настоящего дела».

До конца своей жизни Всеволод Вячеславович писал мне письма в Сибирь — в Забайкалье, в Читу. Их много, более пятидесяти, они разные по описываемым событиям, по настрою, по взглядам на происходящие события, большие и малые. Но все, что он писал, было человечно, трогательно. При всей его мудрости в нем всегда оставалась

удивительная, я бы сказал, детская чистота... В этой подборке выдержек из писем я выделяю одну сторону — литературную. Это не значит, что все другое неинтересно. Отнюдь нет. Но в данном случае я ограничусь этой стороной.

* * *

Первое наше совместное путешествие было длительным: от Читы на Борзю, на Кичку, на Нерчинский завод. Многое видели мы поражающее ум и сердце. Штольню декабристов в Благодатке — в ней Мария Волконская целовала кандалы мужа, могилу поэта Михайлова в Кадае, знаменитые аргунские заставы. И, разумеется, Одун-Чолон с его «камешками», большими и малыми. Странно, что никто из нас толком не описал это путешествие, хотя бы дневниково, шаг за шагом. Ленились мы не в меру, степная дрема завораживала, усыпляла. Уставали все безбожно, едва хватало сил залезать в спальные мешки. Говорю это не в оправдание себе, а сожалея об отсутствии таких записей.

В следующем году, уже будучи секретарем читинской писательской организации, я послал телеграмму Всеволоду Вячеславовичу с просьбой похлопотать о путевке в Дом творчества нашему писателю Виктору Лавринайтису, человеку скромному и весьма даровитому. И Всеволод Вячеславович ответил:

«Относительно Лавринайтиса я позвонил: чин, который ведает путевками, куда-то уехал, я ему постараюсь позвонить в понедельник, авось устрою.

Я в этот месяц, да и в прошлый, усиленно работал. В «Похождения факира» вписал 20, если не больше, печатных листов, да выкинул 30, — представляете, какая работа? Но она мне нравилась, и хотя я ее писал через силу, много часов в день, все же я этими днями доволен. Через два-три дня кончаю работу, сдаю том, кое-что делаю для 8-го, и — в путь, в Читу-у! — на самолете, — хотел поездом, время не позволяет».

И в том же году, на три месяца раньше, в ответ на мое письмо с просьбой прислать отрывок для альманаха получаю:

«Дорогой Василий Григорьевич!

Послал сегодня приветствие Балданжабону (агинский

бурятский писатель). Ваше письмо получено. Отрывок? Нет отрывка.

Пишу сценарий «Сибиряки», который хотя и не написан, но уже принят к постановке и уже назначен режиссер. Режиссер этот сидит у меня на шее и торопит, т. к. хочет в этом году снять картину. Однако опасаюсь, что, получив сценарий, оный режиссер раздумает... И так бывает.

Но поскольку сценария еще нет, то нет и отрывка.

Остальная моя работа — редакторская: над своим Собранием сочинений (вышло четыре тома) и над дипломами студентов Лит. института».

Всеволоду Иванову в то время было шестьдесят четыре года. Завидная работоспособность даже для самых выносливых.

В конце декабря 1959-го мы послали Иванову шутливое письмо с серьезным приглашением в очередное путешествие. Он отвечает незамедлительно — 5 января 1960 года.

«Спасибо Вам и всей Междуречной Компании за веселое письмо и веселую карту.

Карта превосходна! Моя, как известно, хранится у Балданжабона. Эта вполне заменяет ее. Время от времени на карту приятно взглянуть и кое-что вообразить насчет будущего лета.

Лето — летом, а зимой-то, по санному пути. Вы в Москве будете? Когда? За мной поездка в Ростов-Великий».

Мы привлекали Всеволода Иванова не только к участию в альманахе. Однажды решено было написать книжку очерков о наших путешествиях по Забайкалью. Всеволод Вячеславович откликается на эту мысль.

«По поводу Ваших соображений о книжке «Путешествие по Онон-реке и далее». Мысль недурна, но мало осуществима, если про меня говорить. Я очерки или рассказы писать не собираюсь и не скоро соберусь. У меня лежит отлично обдуманный роман, и мне его хочется написать. Кроме того, множество романов и прочее, что надо отредактировать. Не делаю я этого из-за отсутствия нервных сил; истощен. Но это когда-нибудь, рано или поздно, пройдет. Значит, я, как писатель, выпадаю. Я только собираю материал для романа. И еще — камни.

Кроме того, задуманная книга потребует другой распланировки маршрута, чем сейчас... А имея в мыслях книжку, надо останавливаться в типичных местах и искать типичных людей и обстоятельств. Это тоже не лишено прелести, но это уже другая прелесть, и у меня, лично, например, нет даже для этого времени.

Прочел новую книгу В. Шкловского о художественной прозе. Там, между прочим, описывая 1921 год в Петрограде, он описывает меня с рыжей бородой. Я никогда бороды не носил. Но раз человек видит бороду, пусть. Хорошо, что хоть не написал — крашеная».

У нас ли Всеволод Вячеславович, в Москве ли, всегда на столе его лежат книжки наших авторов. Ему интересны и «Встреча с дедом» Ильи Лаврова, и «Глухая Мята» Виля Липатова, и «Лесная быль» Виктора Лавринайтиса, и стихи Юния Гольдмана и Николая Савостина. «Что ваши нового настрочили? Пришлите. Любопытно, знаете ли» — такие вопросы нередки в его письмах.

Всеволод Вячеславович любил ясность и все доводил до логического конца.

Он читает наши книги в рукописях, разговаривает мягко, дружелюбно. Мнения своего не навязывает, а как бы советуется: «Посмотрите, подумайте, кажется, так будет лучше».

Он знает всех наших писателей, их книги и замыслы. И с меркой — надо поддержать — подходит к каждому из нас.

В 1952 году, будучи еще в армии, я поехал во время отпуска на Петровско-Забайкальский металлургический завод. Хотелось написать роман о рабочих — людях тяжелой, но очень нужной профессии. Поступил в цех подручным сталевара, чтоб лучше были видны народ и производство. Про это — особый рассказ. Семь лет неимоверных мучений, тягостных раздумий, горестного отчаяния. Но вот роман готов, привожу его в Москву — Всеволоду Иванову. Ночь не спал, ходил вокруг гостиницы «Украина». Любому писателю знакомо это нервное состояние.

Он позвонил мне утром и сказал: «Прочел Ваш роман. По-моему, отличная вещь».

Всякий на моем месте удивился бы такой оперативности. Рукопись, ни много ни мало, шестнадцать печатных

листов в изданном виде. А тогда была — все двадцать. Сколько же сил потрачено за одну ночь?

При встрече Всеволод Вячеславович сказал:

— Буду рекомендовать роман в «Новый мир».

Всеволод Иванов не знал — и так и не узнал, — что я знаком был с Твардовским по Чите, по Хабаровску, по Москве. Я никогда не говорил ему об этом, сам не знаю почему. Может быть, потому, что Александр Трифонович очень сурово относился к моему поэтическому творчеству. И когда мы встретились в Москве втроем — он, Вс. Иванов и я, — Твардовский сказал: «Смотрите-ка, а вы еще и романист». Всем известно, что А. Твардовский суровейший критик.

1961 год был удачным для Всеволода Иванова в литературном отношении: он пишет «Хмель, или Навстречу осенним птицам» — книгу, жанр которой весьма трудно определить. Книга, безусловно, талантливая, в ней мастерство писателя сверкнуло новыми гранями. Это, я бы сказал, обновленное творчество. Если бы он пожил еще лет десять—пятнадцать, кто мог бы предсказать, как бы сложилась его новая литературная судьба?

В этом, в 1961-м, он впервые сообщает о своем замысле.

«...Ну, что ж! Собрались из поездок, курортов, пишем, пишем, всем домом. Я написал пять (да, да!) печатных листов — «Хмель, или Навстречу осенним птицам», не то очерк, не то рассказ, выдумка и правда перемешаны, иначе не могу, — о нашей поездке: Онон — Шерловая гора — Чара. На днях сдаю это в «Литературную газету» и «Новый мир». Ручаться не могу, что получилось. М. б., обругают так же, как и Вас за повесть, скажут — подражание В. Шишкову!

Между прочим, прежде чем отчаиваться, почему Вы не послали повесть мне? Я бы прочел с удовольствием. Ну, и уж, во всяком случае, не сказал бы, что подражание В. Шишкову. Привезите повесть с собой, когда поедете на пленум».

Судя по всему, Вс. Иванов придавал если не особое, то большое значение своим очеркам. В конце 1961 года он пишет:

«...Я приехал из Индии дней пять назад, и большие впечатления уже затягивает паутина обыденности. Писать очерки вряд ли буду: масса встреч, масса наблюде-

ний, да, но и при всем том — мало. Хотелось бы еще расспросить, разузнать, и это уже не для очерков — лучше бы роман. Так оно, наверное, и будет.

Мои же очерки о читинских чудесах все еще путешествуют по редакциям; положительного ответа (почти месяц) нет, и я перестал надеяться. Такова жизнь...

Мое семейство здорово, работает с прежним энтузиазмом, а я надеюсь с 1-го декабря приняться за роман «Художник», навеянный мне моими путешествиями.

Живем мы не на даче, а в городе: мало денег и решили поэкономить, очень много средств уходит на машину, а еще больше нервов на заботу о ней, будь она проклята!

Январь думаем провести в Ялте».

Письмо писалось 1 декабря, но почему-то не было отправлено до 8-го. А 8-го такая вот приписка:

«Письмо, В. Г., как видите, пролежало долго неотправленным, словно дожидаясь конца «Хмеля». А он пришел, — и довольно благополучный: позвонили из «Нового мира», страшно хвалили, сказали, напечатают в ближайшем номере, — но... снимают главу, которую я считал лучшей (вставной рассказ, в котором еще Т. В. сомневалась по прочтении: ей бы быть редактором «Нового мира»). Мне это снятие неприятно, отравляет всю радость печатания, но что сделаешь: я беден, мне нужны деньги, да и никто другой не напечатает... Я соглашусь, авось удастся напечатать в отдельной книжке?

Так благополучно закончилась наша поездка по Читинской области».

Взволнованный радостной вестью, он делает еще одну приписку:

«Ездили Вы поредактировать свой роман в Хабаровск? И вообще, что написали?

У меня читинские очерки — «Хмель» получились $6^1/_2$ печатных листов. И все, преимущественно, пейзажи!

Начал помечтовывать «об осенней поездке».

В 1962 году Всеволод Вячеславович живет еще успехами «Хмеля». Думаю, это от большего голода к тому, чтобы печататься, а не только переиздаваться. Успех «Хмеля» вдохновил его, взбудоражил, придал новые силы. Это может понять в полной мере только тот, кто сам пережил подобное.

Его письма теперь мне кажутся бодрей, оптимистичней, хотя и в них есть тяжкие раздумья, сомнения, горечь. И самое неприятное — первые признаки болезни.

«...Спешу Вам ответить, пока Вы не уехали в Петровск-Забайкальский.

Я пролежал три недели: спазмы головных сосудов — два обморока; все это — последствия гриппа. Теперь чувствую себя нормально, т. е. гуляю, пишу, однако в Японию врачи ехать не советуют...

«Хмель» вышел в 3-ей книжке «Нового мира». Никаких особенных изменений, кроме снятия вставной новеллы, которую жаль, но ее снятие не изменило рисунка книги. Среди писателей «Хмель» имеет успех (выйдет в «Молодой гвардии»)...

Я пишу тем же стилем, что и «Хмель», очерки об Индии. Написал рассказ «Генералиссимус» — об Ал. Д. Меншикове, денщике Петра Первого, — и так далее...»

Недавно я прочитал в «Литературной газете» выдержки из дневниковых записей Всеволода Вячеславовича. В одной из записей говорится: «Тайное тайных». Я считаю эту книгу лучшей. Письмо Горького. Я с ним согласен не потому, что он воодушевленно, по своему обыкновению, перемахнул и поставил меня выше И. Бунина, а потому, что я в этой книге хотел и смог описать душу самых простых людей, всю сложность их мыслей, всю ясность — для них самих неясной трагедии».

Это вот «перемахивание» и мне отчетливо видится в оценках Всеволодом Ивановым моего творчества. Не берусь судить, откуда оно и чем диктуется. Вижу только и знаю, с какой силой, верой, убежденностью звучат его слова. Говорю совершенно откровенно: голова не кружится от таких слов, а крылья вырастают.

К несчастью, еще одна моя повесть не была напечатана в альманахе. Не злой рок, разумеется, висел над моими произведениями. Скорее всего, с точки зрения редакторов, они не были по-настоящему готовы к печати. А у Всеволода Иванова, видимо, был на этот счет свой взгляд на вещи.

События же развивались своим чередом. В мае этого же года Всеволод Вячеславович отвечает на письмо, посланное мною из города сталеваров — Петровска-Забайкальского.

«Получил Ваше письмо — от жарких печей, плавящих металл, и от Вас, пытающегося переплавить свое дарование на провинциальное... хм... скажем, бытописание. Во времена РАПП'а это называлось — «социальный заказ», сейчас называется по-другому — иногда кое-что выходит, и дай бог, чтоб у Вас вышло. Вообще-то, мне кажется, Вам следует писать мужицкие — романы — пьесы — рассказы — стихи, что хочется, — т. е. ближе к земле, к исконному крестьянскому быту, к запаху навоза и пота».

В это время мы собирались в Чары — чудесный северный уголок Забайкалья, с удивительно красивыми хребтами — Кодаром и Удоканом. Ну, и сама речка с тайменями, ленками, хариусами. Геологический край, экзотические люди. Все это было описано Ивановым в «Хмеле». Но пока — новое приглашение и рассказы, распаляющие не только писательское воображение.

И он спешно собирается к нам, о чем извещает в середине июля.

«...Три дня тому назад послал предложение в «Литературную газету» о командировке. Думаю, не откажут, а откажут — найду деньги в другом месте. В общем тороплюсь — оканчиваю свою работу, — чтобы выехать после 20 июля. Работа идет сносно.

«Хмель», — надеюсь, к нашему взаимному удовольствию, — имеет успех, меня удивляющий и радующий, ибо это успех всех нас, говоря высокопарно. Я уже писал Вам, что в Москве он печатается на четырех языках. Сегодня получил из Парижа письмо от известной писательницы Натали Саррот: «Хмель» выйдет в издательстве «Галимар» и там же «Мы идем в Индию», т. е. двумя отдельными книгами. А статью в «Литературной газете» читали? Вы там превращены в литературный персонаж, и выйдет, что я поеду в гости к героям своей книги... Но, право, это приятно. Кстати, уж если писать о своих книгах — а о чем ином мы, несчастные литераторы, можем писать? — сообщу Вам, что получил перевод «Цветных ветров», довольно замысловато написанной повести из цикла «Партизанские повести», — на чешском языке, — очень милое, приятное издание т. н. «Всемирной библиотеки».

В этом же году Всеволод Иванов делает еще одну попытку «показать» мое творчество, теперь уже киностудии имени Горького. Он пишет туда письмо, полное добра и света ко мне, довольно неудачливому автору.

В заботах Всеволода Вячеславовича о моем творчестве есть для меня неизъяснимая радость. Как гуси-лебеди в трудный час поддерживают телами, крыльями молодого собрата, несмышленого, неокрепшего, так и меня поддерживал зоркий и мудрый писатель. И за это вечное ему спасибо!

* * *

Глядя на Всеволода Вячеславовича, я часто ловлю себя на мысли о том, что только он мог написать «Похождения факира». Так много в этом человеке буйной фантазии, житейской веселости, юмора, неистощимой выдумки. Так много любви к странствиям, философского спокойствия, до конца осознанного отношения к событиям. Только ему вполне удавался этот грустный юмор сквозь бури и слезы века...

* * *

Я написал о нем очень дорогую мне книгу «В горах мое сердце».

Я взял эпиграфом стихи Бёрнса, которые часто слышал из уст Всеволода Вячеславовича:

В горах мое сердце... Доныне я там,
По следу оленя скачу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Как-то на привале в горах Всеволод Вячеславович рассказал нам забавный эпизод из своей жизни.

Было это в давние годы в одном из южных городов. Работник горсовета решил повозить писателя по городу. Цвели сады, пахло весной, по улицам ходили красивые девушки. Начальник то и дело останавливал машину, просил Всеволода Вячеславовича выйти, взмахивал руками, темпераментно спрашивал:

— Скажи, красиво?

— Великолепно!

— Значит, некрасиво! Едем дальше!

— Позвольте, зачем же? Я в гостинице... Вполне удобно...

— Значит, некрасиво! Едем дальше!

Так ездили они довольно долго, пока не стало очевидным, что писатель положительный приверженец гостиниц. Расставаясь, Всеволод Вячеславович спросил, зачем все же ему так упорно предлагают дачу. Собеседник грустно повел глазами, вздохнул протяжно, ответил:

— Почему не поймешь? Умрешь — музей будет!

Мы сидели довольно долго, до вечерних сумерек. Летучая мышь смело спикировала на башмак Иванова. Он не сгонял ее, удивленный смелостью зверька.

Кто-то из нас предложил назвать скалу, на которой мы сидели, скалой Иванова.

— Это что, вместо дачи? — смеясь, спросил он. А смеется Всеволод Вячеславович аппетитно, заразительно.

* * *

Утром, как было задумано, поехали в Агинский дацан посмотреть на молебен. Вещей у нас много, и не все ладно получилось, когда мы увязывали их. Словом, нам не хватило небольшого куска веревки. А так как мы ехали мимо нашего друга Жамьяна Балданжабонова, то и решили добыть у него сей недостающий кусок.

Было не так уж рано, но друг наш безмятежно спал-похрапывал. Спросонья Жамьян никак не мог уяснить, чего мы от него требуем. Он кружил по двору, зачем-то наведался в кладовку и, вернувшись, стал спрашивать, что нам нужно.

— Бечевку, Жамьян Балданович! — крикнули мы хором.

— Так бы и сказали! — обрадовался Жамьян. Он вытащил из пижамных брюк крепкую тесемку и торжественно протянул шоферу: — Дарю на вечные времена!

Тесемка оказалась на редкость крепкой и служила нам всю дорогу. В ее честь Всеволод Вячеславович сложил походные стихи, которые кончались так:

И снова в путь!
Костыль, котомка,
Балданжабонова тесемка...

* * *

Вот мы подъезжаем к златоглавому дацану — красе и гордости монгольского зодчества. Даже в самой Монголии я не видел равных ему.

Много легенд ходит об этом храме. Говорят, что камни для него, весом в тысячи пудов, монголы возили на лошадях за сотни километров.

Хамба-лама, настоятель дацана, хитрющий старик с подкупающим голосом, принял нас ласково. Он человек начитанный и, конечно, знает писателя Всеволода Иванова.

Кланяясь с достоинством, он спрашивал нас о здоровье, о дороге, о том, хорошо ли нам путешествуется. И, кроме всего прочего, не нужна ли нам какая помощь.

— Нужна, — шутит Всеволод Вячеславович. — Отслужите молебен за нас, даруйте нам ясную, недождливую погоду на весь месяц.

Агинский дацан хорошо известен в этих местах — от китайской границы до Улан-Удэ. О хамба-ламе знают в Японии и Индии. Это подтвердил Всеволод Вячеславович: будучи там, он слышал о дацане и его настоятеле.

По восточному обычаю, нам сначала подают чай. Мы пьем его маленькими глотками, разговариваем.

Двенадцать лам, упитанных, бритоголовых, со смуглыми каменными лицами, с обнаженным левым плечом, собираются для службы. Они в позолоченных балахонах, в желтых шапках с высокими гребнями, на манер пожарных касок. Степенно, с достоинством входят они в зал, рассаживаются строго по старшинству. И вот уже звучат трубы, мелодично звенит огромная морская ракушка, начинается пение. Вначале тихое. Потом оно разрастается, ламы поют вдохновенно, посматривая на нас хитрыми глазками...

Кто знает, о чем поют они? Молитвы сложены на тибетском языке. Сам хамба-лама не понимает их. А что поймут верующие, которых, к нашему удивлению, не так уж мало? Некоторые из них приехали за сотни километров.

Не спеша движутся они мимо лам, почтительно склонив голову, подходят к хамба-ламе, кладут перед ним деньги — по «грехам» своим. Настоятель, подпевая хору, деловито подгребает деньги и легонько прикасается чем-

то вроде пресс-папье к голове молящегося, — видимо, так отпускаются грехи. Отпущенный грешник обходит храм по кругу и неожиданно встречается взглядом с Ивановым. Всеволод Вячеславович сидит на почетном гостевом месте, скрестив ноги по-восточному. В круглом спокойном лице его есть что-то буддийское. Верующий низко кланяется Иванову и задом-задом выходит из храма.

И так — каждый. Всеволод Вячеславович отвечает им вежливым наклоном головы.

После службы вновь начинается чаепитие.

Хамба-лама преподносит нам почетные подарки· ходаки — шелковые прозрачные шарфики. Как выясняется, это знак высокого уважения...

* * *

От Читы на северо-запад лежит дорога на суровый Витим.

Витим в наших путешествиях со Всеволодом Вячеславовичем на особом счету. Где-то, километрах в четырехстах от Романовки, есть древние вулканы Обручева, Мушкетова, Потанина. На редких картах обозначены они. Добираться до них сухопутно — дело не из легких.

Но ему захотелось побывать на вулканах. «Может быть, и камушки там есть?»

Камушки — это халцедоны.

В Романовке мы заправляем машину и обедаем.

Столовая почему-то закрыта. От нечего делать идем в ближайший магазинчик. Именно в таких небольших магазинчиках попадаются иногда нужные для путешествий вещи.

На этот раз не попались. На прилавке назойливо торчит картонная коробка с позолоченными кольцами. Дешевизна их поражает — что-то по две копейки за штуку.

— Дайте, пожалуйста, четыре кольца, — просит Иванов у продавщицы. — Мне самое большое, видите, какие пальцы.

И, повернувшись к нам, говорит:

— Примерьте, кому какое.

Мы еще не понимаем, что к чему. Всеволод Вячеславович торжественно поднимает руку с кольцом и не менее торжественно начинает речь:

— Отныне мы есть витимские братья. Други мои! Клянемся путешествовать вместе до конца дней своих!

— Клянемся! — отзывается хор.

— Клянемся не покидать друг друга в любой беде!

— Клянемся!

— Клянемся никогда не снимать эти кольца — добрый знак нашего товарищества!

— Клянемся!

— Отобедаем же, братья, во славу новорожденного союза. Аминь!

— Аминь!

Бедная продавщица! Она так и не поняла нашей шутки. Ей показалось, что на ее глазах рождается новая секта.

* * *

Сколько я бывал в Москве, столько — в Переделкине, на даче Ивановых. Мне у них легко и просто. Если я что-нибудь пишу, они поселяют меня в комнате на втором этаже, ссужают машинкой и бумагой, создают «творческие условия». Только Петя, любимый внук Всеволода Вячеславовича, трижды в день тревожит меня. Он поднимается наверх и звонко оповещает: «Василий Григорьевич! Завтракать! Дедушка в столовой!»

Я спускаюсь в столовую — Всеволод Вячеславович уже что-то подогревает в замысловатом стеклянном чайнике. Мы садимся за стол и наслаждаемся пахучей свежестью чая или кофе.

Чай, для себя, завариваем по-таежному — чтоб ложка стояла. Его называют по-разному: и «жеребчик», и «чифирка», и еще как-то.

По этому поводу в тайге у нас с Гошей всегда бывают острые конфликты. Он заваривает чай «по-белому», я — «по-черному». Смена чаев происходит точно по графику.

Я постепенно втягиваюсь в ивановский ритм труда: утренняя работа, дообеденная прогулка, сон после обеда и снова работа до вечернего гуляния.

Иногда мы приходим на могилу Пастернака, садимся на скамеечку, смотрим на холм цветов и молчим.

Всеволоду Вячеславовичу есть что вспомнить. Кое-что из жизни Пастернака он рассказывает мне.

Летом тысяча девятьсот шестьдесят первого года я жил у Ивановых, и мы задумали новое путешествие, назвав его «операцией «Летучая мышь».

* * *

Мы ходили по улицам Москвы, не пропуская ни одного магазина. «Нет, — отвечают, — фонарей»; «Не бывает»; «Зайдите через недельку».

Мы берем такси, едем в другой район. Та же история. «Нет»; «Не бывает»; «Заглядывайте».

— Черт те что! — возмущается Всеволод Вячеславович. — Придется завтра приехать. Без фонаря нам не жизнь.

Вечером в гости к Иванову приезжает из Москвы Владимир Познер, бывший «Серапион», а теперь французский писатель, живущий в Париже. Приходит Константин Федин.

Познер рассказывает, как он жил в Алжире, как писал книгу и как оасовцы бросили бомбу в его парижскую квартиру. Бомба контузила Познера и разворотила лестничную клетку. Он уже больше месяца живет в Москве — лечится.

Жена его Ида, маленькая француженка, дополняет рассказ мужа деталями.

Федин упрямо чистит трубку, хмурится, склонившись над столом.

— Слушай, Володя, — говорит Всеволод Вячеславович, — я вступил в новое братство — Витимское. Сей молодой человек из него же. Если ты желаешь — присоединяйся. Мы прокатим тебя по Забайкалью. И ты увидишь, что Франция, как говорят, типичное не то.

Познер, улыбаясь, переводит разговор жене.

— О! — восклицает она. — Очень хорошо!

Всеволод Вячеславович рассказывает о Сибири, о наших путешествиях.

— Представьте, стремительно-кипучая река льется между веселых, нарядных гор. По реке несется плот с двумя рулевыми веслами. На корме горит костерок, а на палубе, под тентом, — мы, людоеды в трусиках, готовим уху и пьем карымский чай. А вокруг — ни души на сотни километров. Одни медведи, кабаны и лоси. И — тишина. Стойкая, звонкая тишина...

Надвигается вечер. Гремит команда: «Зажечь огонь на мачте!» Плот наш, освещенный фонарем «летучая мышь», покачиваясь, мигая, летит во тьму-тьмущую, на громаду гор, на море тайги. «Гляди, рулевые, погля-я-ды-ва-а-а-й!»

Иванов потирает руки, хитренько смотрит на Познера.

— Выдумываешь, Всеволод! — не верит Познер.

— Что ты! Совсем бледная картина, — уверяет Всеволод Вячеславович. — Только знаете что, друзья? Как всегда, чего-нибудь да не хватает для полного счастья. Фонаря «летучая мышь» не можем найти. Да-с!

— Заманчиво, — раздумчиво говорит Познер. — Как бы, в самом деле, прокатиться на таком плоту?

Ночью мы со Всеволодом Вячеславовичем провожаем Федина.

— Как же насчет плота? — спрашивает Иванов. — Не отважишься?

— Нет, Всеволод, — глуховато покашливает Константин Александрович. — Ты еще можешь, я — нет. Разве тут где, поблизости.

* * *

На карте Менза, текущая из Монголии по китайской границе, весьма заманчива. Река быстрая, селения редкие, горы красивые, пороги...

Пороги не знаем какие.

Мало кто знает, какие пороги на Мензе.

А лодки у нас резиновые.

— Пашка Гамов знает эти пороги, — вспоминает Гоша. — Возьмем его лоцманом?

Аэропорт предоставляет нам два маленьких «ЯКа». Один самолет готов, другой еще чинят.

Целый день мы сидим на аэродроме, выглядывая чистое небо. Но где его взять? Черные овчины ползут над нами — медленно-медленно, по-черепашьи. Нет никакого просвета, ни единой дырочки... Мы думаем, что это надолго — дня на три-четыре.

Всеволод Вячеславович и я ночуем на аэродроме.

А утром — ура! — голубое, стираное небо без тучек и два готовых воздушных лимузина. Минуты на сборы, минуты на запуск и прогрев, и мы — в воздухе.

Мчимся на Мензу.

* * *

Менза — обычный забайкальский поселок среднего размера, среднего достатка. В поселке — колхоз, сеет пшеницу, выращивает скот. Живут не бедно: тайга — вот она, рядом.

Горы вокруг Мензы будто специально вылеплены — одна с другой не схожи. Рельефны они, переливчаты. Дальние — в синей дымке с миражами; ближние — в лохматой бархатной зелени. Долины широкие, с пологими увалами.

Посадка в Мензе — луговой «пятачок» у прясла, с тощей колбасой на шесте. Как в любом отдаленном поселке.

Мы приземляемся почти одновременно. Из ближних домов высыпают ребятишки, охотно помогают нам выгружать имущество.

И опять тот же надоевший вопрос:

— Дяденьки, вы геологи?

— Космонавты, — отвечает Паша. — Сейчас на Луну рванем.

Вскоре приходит председатель сельсовета. Он уже знает о нас. Где расположиться? Вон тот домик, совсем близко, хозяин хороший, изба просторная. Тут у нас раздолье. С месячишко поживете, осмотритесь, отдохнете. После умственного труда очень полезно...

Лицо у председателя сумрачное — озабочен чем-то. Говорит, а про свое думает.

— То есть почему с месячишко? — спрашивает Всеволод Вячеславович. — Мы, знаете ли, завтра плыть намерены.

— Плыть-то плыть... — Председатель сдвигает брови. — Тут, понимаете, такая история. Дожди идут — Менза взыграла, из берегов прет. Вчера на среднем пороге четверо утонуло. На моторе шли. И люди опытные...

Неприятная история. Значит, в самом деле строгая река. Главное, разбухла — вот что плохо. Течение бешеное, — по нашим подсчетам, километров десять в час, или сто шестьдесят метров в минуту.

— Так что не советую, — говорит председатель. — Из района звонили, из области предупреждали. Отсоветовать велели плыть-то.

Что сказать ему, милому, заботливому человеку? То,

что мы целый год мечтали об этом путешествии? Что каждый день каждый из нас взглядывал на карту, считал дни, готовил походное имущество? Именно по этому поводу Всеволод Вячеславович писал: «Боюсь, что когда читинские краеведы, — через сто лет, — обнаружат нашу переписку, у издательства не найдется бумаги, чтоб ее напечатать: так она будет объемиста...»

И вдруг все псу под хвост!

— Мы обсудим ваше предложение, — говорю я дипломатично. — Спасибо за заботу.

Тут я вспоминаю просьбу Тамары Владимировны, жены Всеволода Иванова: «Надеюсь, вы не будете безрассудны. Я верю вам. Берегите Всеволода».

Да, но как?..

Брожу по берегу. Ничего не придумав, возвращаюсь домой. Все уже на ногах, веселы, разговорчивы. «С кем гуляли, синьор? Красива ли? Не лишимся ли мы одного члена экипажа?» И все в таком же духе.

Вчетвером стоим мы на том же берегу. Паша смотрит на Мензу равнодушно: «Чего тут волноваться?» Гоша не знает еще, как отнестись к ней. Всеволод Вячеславович щурится на солнце и говорит уверенно:

— Ни-че-го! Плыть можно.

— Можно, — подтверждает Гоша.

Решение единогласное. Значит, плывем.

По пути заходим в магазин. И... вот он — фонарь «летучая мышь».

— М-да! — жует губами Всеволод Вячеславович. — История, знаете ли. Пожалуйста, фонарь «летучая мышь». — Всеволод Вячеславович протягивает деньги. — Самый лучший.

— У нас есть свечи, — рекомендует продавец, — они удобнее.

— Нет, нет! Именно фонарь.

Теперь, кажется, все. Да, хлеб еще. Пышный, душистый, деревенский хлеб! Из него хозяйка насушит нам сухарей на всю дорогу.

* * *

Все чаще и чаще попадаются камни, омуты, перекаты. Скоро появятся пороги, надо быть начеку.

Лодка наша загружена плотно: два спальных мешка,

палатка, топоры, кастрюли, одежда, рюкзаки с провизией. В одном из них полпуда фиников — затея Всеволода Вячеславовича.

Это — все та же идея: «Кто мешает нам жить роскошно?»

Мы ели их всю дорогу, когда ехали из Москвы в Читу. Кроме того, Всеволод Вячеславович, как истый гурман, любит сыр рокфор — неприятно пахучий, видимо на очень тонкого любителя. Когда мы садились завтракать, сырный дух плавал по всему вагону. Деликатные пассажиры (мы ехали в международном вагоне) терпеливо помалкивали. Но проводник, простоватый мужчина, спросил однажды:

— Что вы такое смрадное едите, Всеволод Вячеславович?

И финики и недоеденный сыр плыли вместе с нами.

Знакомство с порогами происходит не сразу. Сначала ухо ловит тихий, далекий, очень неясный шум. То ли ветер в лесу шумит, то ли перекатик небольшой. Но вот порог все ближе, ближе. Растет, ширится, гремит-грохочет, взлетает брызгами, волнами. Кипит вода, пенится, вьется воронками. Камни прошивают реку наискось. И в полую воду они выставляют острые клыки, черные ребристые бока — ждут нас, хмурые, воинственные.

Авангард наш спешивается. Мы тоже пристаем к берегу: надо посовещаться — как быть?

Решение единогласно. порог обойти берегом.

Мы спускаем лодки на длинных шелковых шнурах. Всеволод Вячеславович идет по тропинке, тропинка круто лезет на скалу, он вырезает палку и с ней карабкается наверх.

Но — странно устроен человек: неведомая сила несет его навстречу опасности. Обойдя менее грозное место, мы решаем проплыть по самому страшному порогу.

Садимся в лодки, отталкиваемся. Могучий поток подхватывает нашу «резину» и прет, конечно, на камни. Мы с Ивановым отбиваемся в два весла. Но камней много, они так и летят на нас... Ширкаем о камни дном, боком... Ничего, целы. Удачно. Пока удачно!

Последний рывок выносит нас в тихую заводь. Мы еще не можем опомниться от стремительности, от грохота, от мелькания камней. Но мы живы и лодка цела.

* * *

По пояс голые, загорелые, мы дымим гаванскими сигарами. Они выданы нам Всеволодом Вячеславовичем после «жеребчика» — чая невероятной густоты. Сердца играют отчаянно.

Опять вдалеке неясный монотонный шумок. Мы смотрим на деревья — они мертвы от горячего зноя. Наверное, порог.

Решили и его не обходить.

Собственно, решили трое. Я был против.

Я был против потому, что не хотел рисковать. Я помнил наказ Тамары Владимировны.

— Ты должен покориться, — сказали они мне.

И ринулись мы в бурлящий поток.

* * *

Я, как обычно, сижу на носу, гребу справа и слева. В руках у Всеволода Вячеславовича — кормовое весло, он помогает мне больше всего с правой стороны. Выходит, справа два гребка, слева — один. Лодка поэтому все время влево забирает.

Я говорил Всеволоду Вячеславовичу. Он соглашался не грести, но, забывшись, чаще в минуту опасности, подгребал с прежней силой. Из-за несогласованности у нас уже были неприятности на мелких порогах и перекатах.

Перед этим порогом мы условились, что грести буду я один. Тут, собственно, дело не в гребле, а в направленности Лодку и так несет на всех парах. Важно, чтоб ее не поставило бортом к камню, — иначе она моментально опрокинется.

Порог длинный, с предпорожьем. Мы летим с приличной скоростью. И скорость эта нарастает с каждой минутой.

Я напрягаю зрение: в самом опасном месте нужно проскочить небольшие воротца. По бокам их — камни-громадины, за ними — еще два таких мастодонта. А там уж поменьше идут, безопаснее.

И вот я чувствую: лодку снова заносит влево. А влево никак нельзя — там гряда камней. Я оборачиваюсь и вижу, как Всеволод Вячеславович поспешно гребет веслом с правой стороны. Значит, та же картина: два удара — с правой, один — с левой.

— Стойте! — кричу я.

И снова смотрю вперед, работаю левым, левым...

Вот они, камни, вот они... Эх, гребануть бы сейчас слева, в два весла! Именно сейчас, сию секунду!

Неожиданно лодка ширкает дном о камень. Камень в воде, он совсем не виден. Именно поэтому мы и выбросились на него.

Прочно застряли мы на проклятом камне. А вокруг могуче катятся волны, хлещут в нашу лодку. Всеволод Вячеславович сидит на корме, положив весла на колени.

Неужели и сейчас он спокоен?

— Что будем делать, Василий Григорьевич? — спрашивает он обычным голосом.

Что за выдержка у человека!

— Попробуем сняться, Всеволод Вячеславович.

Я начинаю раскачивать нос. Это опасно — вода хлестко заливает лодку. Быстро меняю тактику: расшатываю вправо, влево. Так лучше, уверенней. Еще, еще! .. Ну-ну, пошла же, милая! ..

Она пошла. Сорвалась, ринулась. Мимо тех двух камней, мимо других. Летит к заводи, к песчаной косе.

Там нас ребята ждут.

— Рисково, — мотает головой Гоша. — Мы уж думали...

— ...Тятя, тятя, наши сети... — щурится Всеволод Вячеславович. — Ан мы тута! — Он вытаскивает из внутреннего кармана круглый флакончик с французским коньяком, наливает каждому по наперстку. — Причащается раб божий Егорий...

* * *

С утра мы прогуливаемся по окрестностям. Гоша и Паша рыщут по горам и распадкам. Приходят на табор грязные, изодранные и сочиняют невероятно «правдоподобные» истории.

Мы, конечно, им не верим, — сами врать горазды.

Вечером, при свете костра и луны, развалившись на траве, мы курим трубки, подсмеиваемся друг над другом — не зло, не обидно.

Юмор — наш пятый товарищ.

Трубки у нас разные. У меня, например, французская,

изящная и очень легкая. У Гоши и Паши отечественные. И тоже неплохие.

Трубки нам подарил Всеволод Вячеславович.

Табак мы курим не простой, а английский, «Король Альберт». Лучший табак на мировом рынке!

Кто нам мешает роскошно жить?

В эти удивительные вечера мы просим Всеволода Вячеславовича рассказать нам о писателях. Узнаем, что он был очень дружен с Сергеем Есениным. Есенин подарил ему сборник стихов с трогательной надписью: «Всеволоду — от Сергея по гроб жизни».

* * *

Лежа в спальных мешках, мы с увлечением рассуждаем о самом родном предмете — о литературе.

— Вы говорите о подражательстве. — Всеволод Вячеславович поворачивается в своем мешке на бок. — Вообще-то подражание вещь трудно обходимая и, возможно, приятная до определенного времени — пока на свои ноги не встанешь. А есть другая сторона дела, когда стригут одной косилкой на одном срезе.

— Вы говорите о редакторах?

— Не только. Предположим, сказано: «Такую-то книжку Всеволода Иванова выпустить в свет». Ее печатают, как я написал, не трогая ни стиля, ни композиции, ни образов. И тогда я остаюсь самим собой. И все другие писатели — тоже. То есть остаются все различия творческой индивидуальности: мысль, образ, стиль, композиция, язык и прочее. Случалось и другое: книга, к примеру, отвергается по политическим или художественным мотивам. Ну, тут уж не обессудь: садись, пиши новую или дорабатывай эту. Как нравится. Но — сам, пожалуйста, сам. Без мамок и нянек.

— Да, но для этого нужно быть сложившимся писателем?

— Разумеется.

— А как быть с теми молодыми, которым требуется помощь старших?

— Очень просто! — восклицает Всеволод Вячеславович. — Почему они, простите, вылупившись из яйца, сразу должны печатать свои упражнения? Ведь у них нет ни опыта, ни знаний, ни умения. А без этого писатель не-

возможен и при наличии таланта. Так будьте любезны поучитесь! Я, милостивый государь, всю Британскую энциклопедию испортил, пока мне Алексей Максимович похвальное слово сказал. Всю «Анну Каренину» в тетрадки переписал, несколько томов Чехова. И поразительно, знаете! Когда в поте лица классику переписываешь, потом в свои опусы ох как не хочется лишние слова вставлять! Будто прессом отжимаешь. Очень советую вам попробовать.

— Я пробовал.

— И что же?

— Терпения не хватает.

— М-да. Леность, знаете, не украшает человека.

* * *

Вот и конец пути.

Лодки разгружены. Всеволод Вячеславович долго стоит на берегу. В правой руке у него новая палка, в левой — неразлучный пыльник. Он грустит — мы это хорошо понимаем.

Мы еще увидим Мензу. Он — едва ли...

Всеволод Вячеславович поворачивается к нам:

И снова в путь!
Костыль, котомка,
Балданжабонова тесемка...

На Витим мы не попали — в горах выпал снег.

Всеволод Вячеславович уехал в Москву.

* * *

Печально заканчивался для нас 1962 год. В октябре я получил от Всеволода Вячеславовича письмо из больницы:

«Дорогой Василий Григорьевич!

Уже неделю лежу в больнице. Кровотечение кончилось давно, болей нет (болела, как выяснилось, левая почка), но когда выпишусь, еще неизвестно, и как будут лечить — тоже. Одно несомненно: болезнь давняя и поездка в читинские края тут ни при чем. Пишу это потому, что Вы, наверное, терзаетесь, что способствовали моим скитаниям и тем самым якобы моей болезни. Наоборот, я очень доволен, что съездил.

Вышел и получен мною № 10 «Советская литература на иностранных языках» — на каждом языке отдельный номер — на испанском, польском, английском и немецком — где напечатан «Хмель». Там напечатан мой портрет (на берегу Байкала) и карта, схематическая, нашего путешествия. Постараюсь достать Вам №№ и прислать (мне прислали четыре — каждый на своем языке, и жалко еще расставаться с комплектом): читать не будете, но мысленно пробежать по карте хотя бы наше путешествие и собирание камушков куда как приятно...

9/X—1962. Больница».

Ему сделали операцию. Вырезали почку.

Ничто еще не предвещало печально близкого конца. Следующие письма становятся бодрей, заинтересованней в событиях. В начале 1963-го он шлет оптимистически настроенное письмо:

«Вы меня обрадовали тем, что собираетесь к нам в Переделкино с супругой — отдыхать. Очень приятно, будем гулять и даже собирать грибы, — в окрестностях, если к тому времени будут! В добавление к этому я и Тамара Владимировна повторяем приглашение приехать Светлане вместе с Вами; Вы будете отдыхать в Доме творчества, а Светлана — у нас. Место найдется, машина ходит почти каждый день в город, она сможет осмотреть все музеи и все, что надо осматривать девицам в ее возрасте. Точка.

Вы меня огорчили тем, что не нравится роман. Дорогой мой! Чего Вам огорчаться? Прежде всего, автор не судья, а во-вторых, слава богу, что хоть это вышло — после всех манипуляций редакторов. Надеюсь, у Вас сохранился первый вариант, который и будет напечатан когда-нибудь. Когда будут печатать Ваше собрание сочинений; возможно, это будет не скоро, но что поделаешь — «Христос терпел и нам велел».

...Воскресает мой «Бронепоезд». Его ставит Художественный театр, ставит Мосфильм и даже хочет ставить какой-то знаменитый американский режиссер, который гостит у нас сейчас в России; так что будь я оптимистом, вроде Вас, я бы уже собирался на премьеру в Нью-Йорк».

Следующее письмо — в марте — опять же о литературных делах:

«...Вчера трудился весь день — сценарий «Бронепоезда» и рецензии на дипломы студентов Литературного

института. Сегодня утро свободно, — поеду заседать в Институт в 3 часа дня, — поэтому имею возможность написать письма.

Подготовка к постановке «Бронепоезда» идет вовсю. По-видимому, лето будет использовано для натурных съемок. Я предлагаю Байкал и Одун-Чолон; кинематографщики, по-видимому, более склонны к Владивостоку и побережью океана. Ну, то и другое интересно. Я даже, собрав последние стариковские силенки, собираюсь с ними поехать. А пока — 19 апреля, на 24 дня уезжаю под Ялту, в санаторий «Нижняя Ореанда». Там очень хорошо: превосходные прогулки, море рядом, да и горки есть; да и комнаты неплохие. Хочется отдохнуть: хотя от операции прошел срок большой, пять месяцев, все же хочется полежать и почувствовать себя больным, — тем более, что предстоит большая поездка в Сибирь — «Бронепоезд».

Кстати сказать, «Бронепоезд», пьеса усиленно репетируется во МХАТе и выйдет к Октябрю.

Работать? Работаю, вместе с режиссером фильма, над вариантом «Бронепоезда». Хотя темка и старенькая, но приятно погружаться — как говорится, «в другую специфику», представлять вещь движущейся. Это не роман, не пьеса — это что-то совсем другое и по-своему очень интересное...»

Я приехал к нему, когда он вернулся из больницы в Переделкино. Только-только начинал ходить. Он позвал меня в кабинет и после нескольких приветственных слов показал глазами на карту. Это была подробная карта Читинской области.

— Ну как? — спросил он. — В путь-дорожку?

— Готовимся, Всеволод Вячеславович.

— Я не сомневался, — сказал он. — Не забудьте Онон и Шерловую. Без них мы сироты.

Тамара Владимировна стала нас усовещевать. Мы только молча переглядывались.

Последний раз я видел его не больше часа. Он торопился в Художественный театр, на репетицию «Бронепоезда». Всеволод Вячеславович усиленно угощал меня вином, я отказывался — одному пить не хотелось.

Всеволод Вячеславович и Тамара Владимировна подвезли меня до гостиницы «Украина». Я не думал, что в последний раз видел его тогда живого.

* * *

И вот обжигающая записка — маленькая писулька карандашом на клочке бумаги. Нервный, неуверенный почерк, неразборчивые буквы. Адрес — больница. Опять больница.

Все перевернулось во мне, похолодело. Каюсь: надо было бросить все, вылететь к нему. Но меня сжимал тисками все тот же злополучный роман. Тот самый, о котором так сердечно пекся теперь уже больной Всеволод Иванов. Знаю, это не оправдание, — легкомысленная глупость, иного слова не подберу.

В середине августа я вылетел в Москву, а телеграмма о его смерти летела мне навстречу...

* * *

...Я стоял у гроба и смотрел на Всеволода Иванова неотрывно. Текли люди, медленно, беспрерывно. Подошел Федин. С глубокой печалью вглядывался он в лицо давнего друга, так звонко и памятно прошедшего по нашей земле.

Мне хотелось громко заплакать... Я вышел на улицу...

Много памятных вещей подарил мне Всеволод Вячеславович: два ружья, одно из них утопил Гоша под Хабаровском, и еще другое; немецкую фляжку — из нее мы пили на Одун-Чолоне; чистые записные книжки, сделанные его рукой; кайлу — с ее помощью мы отыскивали драгоценные камешки у «Чаши Чингисхана»; весла, выточенные по его заказу.

Фонарь «летучая мышь» висит в моей комнате.

Недавно я перебирал свое походное имущество и наткнулся на какой-то узелок. Я узнал большой клетчатый платок, ржавый от лопаты. Развязал его и увидел ивано́вские сапоги. Те, в которых он ходил по нашим забайкальским сопкам.

На них были комочки одун-чолонской глины, а в глине — тонкие травинки ононских степей.

Он хотел вернуться на Одун-Чолон. И на Онон. И на Витим.

1967—1974

Мария Прилежаева

«МИР БЫЛ ОГРОМНЕЙШИЙ, ВЕСЕЛЫЙ... ТВОРЯЩИЙ!»

Весна 1964 года наступала медленно, словно нехотя, долго из моего окна на переделкинской даче почти насквозь проглядывался простор березового сада Всеволода Иванова. Березки молодые, весенняя их неодетость слепит глаза чистейшей белизной стволов.

Я привыкла в любое время года видеть утрами Всеволода Вячеславовича, идущего березовой аллеей на прогулку куда-нибудь в поле или в лес, — перед работой он избегал людных проспектов поселка. Никогда я не замечала у него вялой, рассеянной походки, мне запомнился его энергичный шаг, плотная и прямая фигура. Казалось, не одно еще десятилетие назначено этому человеку шагать по земле.

Невольно получилось, что из моего окна я видела в последние годы жизнь Всеволода Вячеславовича больше, чем, может быть, он полагал. Утренние сосредоточенные прогулки. Иногда обратно он возвращался поспешно, и я понимала: что-то его тревожно торопит к столу, к рукописи, — неожиданно явившийся образ, вспыхнувшее в мозгу свежее слово, за работу, за работу, быстрее!

Под вечер той же березовой аллеей вдоль низенького забора в дом Всеволода Вячеславовича приходили друзья. Дом никогда не был одиноким. В доме шумели, спорили, росла, мужала юность. Воскресными днями Всеволод Вячеславович с женой, красивым и верным другом своим Тамарой Владимировной, окруженный детьми, семьями детей, товарищами детей, шел уже по-другому, в другую прогулку, — теперь он был почтенным главою большого, ладного, веселого семейства, вслушивался

в молодые вокруг себя голоса, любопытно и добро вглядывался в юность. Мне нравилась незатихающая, полная труда и творчества, острых умственных и художественных интересов жизнь в переделкинском доме Всеволода Вячеславовича, центром которой он был.

...Очень затянулась весна! Только в середине мая на березках распустились первые тонкие листочки, закурчавились кусты бузины, но сад непривычно долго оставался пустым. Раскрыты ворота. Грустно, когда раскрыты ворота, безлюден сад, тих осиротевший дом...

Всеволода Иванова я знаю давно, хотя знакома с ним была лишь последнее время.

Зима 1927 года. Я студентка, недавно в Москве. Как все провинциалы, разумеется, я влюблена в театр. Московский театр двадцатых годов поистине был удивителен! Были и Мейерхольд, и Вахтанговский, и Малый, и Камерный, но прекраснее всех (по крайней мере для меня), благороднее и возвышенней всех — МХАТ, Московский Художественный! Уже один вид скромного зеленоватого занавеса с летящей чайкой внушал волнение. Смотрели мы в МХАТе «Синюю птицу», «Вишневый сад», «Горячее сердце», «На дне», «Три сестры», и вот стало известно: к десятилетию Октябрьской революции пойдет наш, новый, советский спектакль «Бронепоезд 14-69»!

Толков, ожиданий было! «Партизанские повести» Вс. Иванова у нас, студентов тех лет, пользовались успехом необычайным! Нас бесконечно пленяла грубоватая, прямая, необыденная партизанская жизнь, с таким смелым знанием описанная в повестях, героика революционной борьбы и характеров, густой, пестрый, талантливый народный язык, — Всеволод Иванов был одним из любимейших наших писателей. Понятно нетерпение, с каким мы дожидались спектакля!

Конечно, на премьеру я не попала. Об этом нельзя было даже мечтать. В ноябрьские дни 1927 года мы выстояли много часов в очереди за билетами на «Бронепоезд». Помню, поднялись чуть свет; рискуя получить выговор от деканата, пропустили в этот день семинары и лекции; был неприютный осенний день, шел мокрый снег, сменяясь холодным дождем, и как чудесно было на душе! Нам повезло. Не зря простояли мы пять-шесть часов под ноябрьским дождем. Мы, наша студенческая компания, захватили самые дешевые билеты на места

в узенькие балкончики, повисшие, как кармашки, по стенам с той и другой стороны театра. Там приходилось стоять, перевалившись через перила, чтобы видеть и слышать, что на сцене. Ничего, у нас зоркие глаза и молодые уши.

Я с нетерпением жду этот день. У меня с утра праздничное настроение. И все же самые счастливые мои ожидания меркнут перед тем, что я увидела, пережила, испытала, когда зеленоватый занавес с чайкой медленно раздвинулся, и на несколько часов властью самобытного оригинального таланта я перенеслась в простую и романтическую, невыдуманную и близкую к высокой фантазии, всамделишную, неприкрашенную, народную, настоящую жизнь! Мы, мое поколение, застигнутое революцией в детстве и отрочестве, не воевавшие за революцию, с чувствами понятной зависти, благодарности и восхищения узнавали в спектакле «Бронепоезд 14-69», как и кем революция делалась. Мхатовский спектакль 1927 года явил зрителям блистательное содружество талантов. Мы видели Ваську Окорока, секретаря партизанского штаба, в исполнении артиста Баталова, и, скажу не преувеличивая, буквально дрожала от восторга душа, когда Баталов — Васька Окорок, в красной, немного выгоревшей рубахе, говорил великое, высокое: «Ленин!» Мы кричали, вопили, неистовствовали на своих балкончиках! Не только мы, весь театр. А Качалов — Вершинин, такой непридуманный, мудрый, ясный русский мужик, такая русская правда, такая русская сила! А Хмелев в роли большевика, председателя ревкома Пеклеванова, интеллигентный и мужественный, простой и необыкновенный! Хмелева, актера великого и несравненного, мы впервые узнали в «Бронепоезде». Ах, как много мы узнали в тот вечер, как много перечувствовали, как любили мы писателя Всеволода Иванова; наверное, он не догадывался даже, что сотворил с нами его «Бронепоезд», вдохновенно сыгранный МХАТом!

Затем прошло много времени, и обстоятельства свели меня с Всеволодом Вячеславовичем в жизни, на работе. Я жалею, что не рассказала Всеволоду Вячеславовичу о той давней удивительной осени, когда благодаря ему, его таланту и творчеству мы были счастливы, в наших умах бродили небудничные, патриотические мысли и возвышали нас.

Общественная работа, столкнувшая меня с Всеволодом Вячеславовичем, была в комиссии при Московском отделении Союза советских писателей по приему новых членов нашего союза. Авторитет Вс. Иванова в комиссии был велик, писатели — члены комиссии относились к нему с сердечным вниманием и трогательной бережностью.

А я через столько лет после пережитого когда-то на «Бронепоезде» МХАТа, встретив бесконечно почитаемого нами автора, признаюсь, убоялась: вдруг разочаруюсь? Вдруг когда-то созданный молодым воображением образ разрушится и будет обидно и больно разочарование? Я напрасно опасалась. Я встретила человека необыденного, человека не быта, не расчета, не практики, человека исключительной художественной чуткости. И вот что отрадно было в этом писателе, не отвлеченном, каким был для меня в двадцатые и тридцатые годы Всеволод Иванов, а в этом уже пожилом и утомленном человеке, несуетливом, но внутренне очень живом, — было отрадно, что он, зачинатель советской литературы, любимец Горького, так щедр и добр оказался к начинающим литераторам. Очень щедр! Настолько, что иной раз его доброта казалась мне снисходительностью, и мелькала мысль: не самозащита ли это, — ведь спокойнее сказать «да», чем «нет».

Но потом я поняла: Всеволод Иванов любил угадывать в человеке искру, и верить, и ждать, что из искры возгорится пламя. Или, выражаясь точнее, найдя в начинающем литераторе хоть что-то, хоть небольшое, он всегда надеялся, что из этого небольшого вырастет подлинное, и, кто знает, может быть, появится новый большой писатель, и наша литература станет еще богаче, еще славнее. Литературу он любил бескорыстно и самозабвенно, литература для Всеволода Иванова была служением обществу, исполнением долга перед родиной. Не мудрено, что при таком высоком, исключающем всякие практические расчеты отношении к искусству Всеволод Вячеславович и к товарищам по работе, старым и вновь приходящим, относился с доверием и уважительно. Но уж если случалось ему встретить в молодом литераторе нравственную нечистоплотность, меркантильность, делячество, он становился холоден, недоступен и замкнут. Я не помню, чтобы Всеволод Вячеславович произносил когда-нибудь громкие и высокие слова, но небудничность

его душевного строя ощущалась во всем — в поступках, отношении к людям, в оценках людей и событий. Реакция его на зло и добро была быстрой и безошибочной. Его уважали. Его художническая натура и неистребимая самобытность нравились людям. И потом — ведь он был свидетелем, очевидцем, участником всей истории советской литературы, сказавшей миру поистине новое слово, создавшей поистине бессмертные ценности, пережившей столько счастья и столько бед!

Для меня, как, конечно, и для очень, очень многих читателей, чудесной радостью была последняя из опубликованных повестей Всеволода Иванова «Хмель, или Навстречу осенним птицам». С первых строк этой повести вас охватывает очарование, вы входите в мир поэзии истинной, чем-то молодым, острым, нежным повеет на вас, словно запахом долетевшего из луга свежего сена.

Внезапно тревога кольнет сердце. «Да простят мои собеседники мою вечернюю службу, идущую, может быть, нестройно. Лемех мой спахан и истерт от долгой работы, ибо пашня была длинна».

Вы остановитесь в горечи. «Лемех мой спахан...» Точно предчувствие. Зачем это? Нет, не надо, не надо!

Но по мере чтения повести — замечательной яркостью ви́дения мира, свежестью чувств, необыкновенностью народного, русского, несравненного языка — забываешь, что «длинна была пашня»... Молодость повести захватывает, заражает, чарует. Хочется идти, идти, странствовать, видеть, чувствовать, действовать, жить!

«Хмель, хмель, хмель творчества...

Кудрявый и душистый пламень жизни!»

Таким удивительным и большим писателем и человеком был живший и работавший рядом с нами Всеволод Иванов.

Переделкино
30 июня 1964

Сергей Сартаков

«В СИБИРИ ПАЛЬМЫ НЕ РАСТУТ»

Эта крылатая фраза, принадлежавшая тогда еще никому не ведомому сибирскому писателю Всеволоду Иванову и произнесенная им несколько экстравагантно в кругу своих петроградских старших собратьев, помогла ему сразу же получить их полное признание и даже программно определила на будущее его некоторые особенности как великолепнейшего мастера слова.

Возможно, это непоколебимый факт, он подтверждается и другими участниками той, давней встречи «Серапионовых братьев» у нетопленной за отсутствием дров печи, а может быть, это и просто красивая легенда, сочиненная самим Ивановым и затем пущенная им в обращение. Для меня, например, это существенного значения не имеет. Вернее, имеет значение лишь в том смысле, что т а к а я фраза может принадлежать лишь Вс. Иванову и никому другому. Другому ее не придумать, не написать.

Итак, «в Сибири пальмы не растут». Поначалу вслушаемся в ритмику, в музыку этих слов. Случайно могла сложиться такая чеканная фраза? Иль вдохновенно? Или это результат долгого, кропотливого поиска? Тайна писателя! А для читателя — вершина музыкальности в словесном мастерстве прозаика.

Но забудем пока о ее звучании. Представим себе зрительный образ. Странно: он заключается в отрицании «не» — «не растут», их нет, этих пальм, а между тем именно их мы с удивительной отчетливостью видим. Сибирь, о которой говорится предметно — «в Сибири», затянута словно туманной дымкой, а пальмы, которых нет, хочется руками потрогать.

А теперь, пригасив зрительные и слуховые впечатления, вникнем в логический смысл этой фразы. Черт побери! Очень похоже на «лошади кушают овес» и «Волга впадает в Каспийское море». Ведь то, что «пальмы в Сибири не растут», истина тоже вполне тривиальная.

И, может быть, грустное разочарование так и закрепилось бы, если... опять: черт побери! — если бы в этой фразе не было завораживающей музыки и не было убеждающего зрительного образа. Соединившись вместе, они ей придали смысл! И смысл, принципиально отличный от знаменитых чеховских фраз. Как ни втискивай, в ряд с «лошадьми, кушающими овес» и с «Волгой, впадающей в Каспийское море» ивановские «пальмы» не вставишь. Читая Всеволода Иванова, я неизменно испытываю подобные ощущения.

Начиная с первого знакомства с его «Партизанскими повестями», когда я сам к перу литератора еще не прикасался, и вплоть до неопубликованных его рукописей, которые совсем недавно довелось мне прочесть, писатель Вс. Иванов всегда оставался для меня загадкой. Казалось, он мог превращать деревья в облака, облака — в камни, а камни — в веселый табунок бегущих ягнят. Он мог из слов делать все, что угодно, и все ему удавалось.

Как читатель я люблю произведения Вс. Иванова. Люблю их и как писатель. Больше того — увлекаюсь ими. Но так писать, как он, я не могу и не стремлюсь к этому. Не потому, что боюсь впасть в подражание, — подражание кому-либо вообще самый худший путь для писателя, — даже продолжателем творческой манеры Вс. Иванова я не способен быть. Слишком разными инструментами привыкли мы, каждый, работать. Об этом я сейчас говорю потому, что при жизни Всеволода Вячеславовича я имел достаточно возможностей, чтобы общаться с ним довольно часто, а на деле почти не встречался. Точнее, встречался лишь в официальной обстановке.

Впрочем, однажды... Но об этом чуточку позже.

О Всеволоде Иванове я имел представление только по его книгам, по его внешности и по рассказам его друзей. Мне казалось, писательского, профессионального разговора у нас не получится. И не оттого только, что разными инструментами мы привыкли работать, не в инструментах главное, а оттого, что думалось — бит буду в любом с ним разговоре, бит быстротой его мысли и не-

ожиданностью аргументов. Он — фокусник, факир, иллюзионист и может на глазах у всех превратить меня в куст черемухи либо в стог сена. А как хотите, самолюбие...

Смешная мнительность? Но что было, то было. И мне приходится лишь с сожалением размышлять о многих несостоявшихся с Всеволодом Вячеславовичем беседах. Наверняка весьма интересных.

И я не должен бы занимать в этом томике место, если бы не та встреча с ним, о которой я упомянул выше.

Случай нас свел вместе в последний год жизни Всеволода Вячеславовича в одном из крымских санаториев.

Разумеется, виделись мы каждый день. Здоровались, обменивались новостями, вычитанными из газет. Подсмеивались над синоптиками, привычно ошибающимися в своих предсказаниях погоды. «Прокатывались» и на счет врачей, как раз к тому времени круто переменивших взгляды на полезность некоторых деликатесов. О литературе не говорили. Я замечал, что Всеволод Вячеславович больше тяготеет к обществу ученых и инженеров. Мне думалось: возможно, у него наступила творческая усталость. Вот и ищет человек, пахарь, не отдыха, а разнообразия, ищет новый массив целинной земли.

Но этот «массив» оказался совсем иным и совсем в другом месте, нежели представлялось мне. Не инженерные проблемы владели мыслями писателя в то лето.

— Хочу снова поехать в Читинскую область, поплавать на плоту да в легкой лодочке с молодыми друзьями по таежным рекам. Еще разок тряхнуть стариной, — сказал он однажды, прохладным утром, когда нам довелось оказаться рядом в ожидании, пока медсестра приготовит морские ванны.

И сквозь круглые очки на меня глянули озорные глаза, словно бы испытывая, как я к этому отнесусь: с доверием или начну пугать опасностями, дескать, второй раз подряд в его годы так рисковать не годится. Уж что-что, а коварный характерец таежных рек я знал досконально. Но пока я раздумывал, как мне отозваться на слова Всеволода Вячеславовича, он успел добавить:

— И в Индию еще раз поеду. Хотите, поедем вместе? Вам что ближе к сердцу — Онон или Ганг? Енисей или Брамапутра?

— Люблю Сибирь, Енисей, — ответил я. — Они не просто ближе к сердцу, они в сердце моем. Там и ды-

шится-то по-особому легко. А в Индии, на мой взгляд, испепеляющая жара.

Всеволод Вячеславович вдруг выдернул из кармана платок, стал обмахиваться. Шумно и восхищенно вздохнул.

— Да, да, это точно! Совсем как здесь. Вот эти джунгли, — он покосился на распахнутое окно, за которым немо застыли не очень-то плотные заросли тощего олеандра, — эти неоглядные джунгли, сырые, душные, уходящие в неизвестность и заполненные таинственными существами, охраняющими завороженные клады, к которым только прикоснись рукой и... — Он провел растопыренными пальцами по кафельной стене. — Прикоснись рукой, и ты превратишься в гранитную скалу! Ты будешь все видеть, и слышать, и чувствовать омерзение, если по тебе проползет маленькая скользкая ящерица, дыша зеленым животом и цепляясь за твою кожу острыми коготками; ты будешь для себя оставаться по-прежнему самим собой, а для всех других — только камнем. Ужасно! Камнем, живым, но который можно рубить зубилом, раскалывать на части и вытачивать из них амулеты. Представляете, на золотой цепочке маленький живой камешек висит на вашей шее, он что-то говорит вам, а вы понять не можете! Чудо? Но Индия вся полна чудесами! Не ездите в Индию, если вы не верите в чудеса. Вам будет там скучно, а скучать можно везде.

Он рассмеялся. И тут же сделался очень серьезным.

— На Мензе-реке, в забайкальской тайге, прошлым летом нам довелось преодолевать четыре страшенных порога. Два из них мы обошли по берегу, спуская лодки на бечеве, а еще через два бросились уже напролом. А знаете, какие два из них оказались особенно грозными? — Прищурился хитренько. — Ну? Угадайте. Вы — сибиряк!

Мне показалось, что я понял его игру.

— Конечно, те, которые вы обошли по берегу.

— Нет! — воскликнул он торжествующе. — Это были совершенно ничтожные пороги. Страх нас давил на воде, там, где вокруг дыбились угрюмые, острые глыбы, готовые пронзить словно ножом, а волны — шумящие, пенистые — перехлестывались через плечи, слепили глаза, и невозможно было понять, куда в следующий миг швырнет нашу тонкую резиновую лодочку осатаневший черно-

зеленый поток — в пучину, погибель, в холодный, мокрый ад!

Он играл беспроигрышно. Если бы я ответил иначе, он столь же темпераментно изобразил бы те пороги, которые пришлось обходить по берегу. Крыть мне было нечем. И я только пожал плечами. А Всеволод Вячеславович между тем продолжал вдохновенно:

— Почему меня вновь тянет сейчас не столько в Индию, сколько на Мензу? Мы должны лихо проплыть теперь и по тем порогам, которые миновали в обход, доказать, что люди ничего, никаких стихий, не боятся!

— Но ведь те пороги были совершенно ничтожные, — осторожно заметил я, — стало быть, и одолеть их окажется вовсе не трудно.

— Кто вам это сказал? Да разве стали бы мы канителиться с бечевой, если бы спускаться через них вплавь тоже не грозило смертельной опасностью? — И мягкая хитринка опять промелькнула за стеклами его круглых очков. — Нам рассказывали такую историю. Один из тамошних знаменитых охотников поблизости от порога встретил матерого медведя. По глупости выстрелил в него. Ранил легко и лишь озлобил зверя. Старое пожарище, бурелом, вокруг густой малинник, упади на него, словно в гамаке повиснешь — земли не достать. Убежать невозможно. А зверь стоит на задних лапах, орет, пасть распахнутая, багровая, белые клыки блестят. И не от боли орет, не от испуга. Он здесь владыка, его оскорбили. Он судейски читает обидчику своему приговор. Что сделали бы вы? Я пошел ему навстречу...

И живописно стал рассказывать о схватке человека с медведем, так тонко временами подменяя незадачливого «охотника» собою, что полностью стерлась грань между реальностью и свободной фантазией, а пороги и вообще исчезли куда-то, будто совсем не с них и начался рассказ.

Я слушал Всеволода Вячеславовича, слушала его и медсестра, приготовившая наконец ванны и совершенно забывшая объявить нам об этом.

Она стояла онемевшая, зачарованная сочностью красок, драматизмом событий, отнюдь не похожих на бесчисленные охотничьи байки; событий, в которых столкнулись две необычные гигантские силы, человек и зверь в этом столкновении лишь условности, символы, а настоящая

речь куда о большем, чем о сугубо таежном приключении. В глазах медсестры, по происхождению кубанской степнячки, горело восхищение не только мастерским рассказом Всеволода Вячеславовича, но и той неведомой ей Сибирью, которую он, точно фокусник-иллюзионист, лепил из жестов, мимики и обыкновенных слов в необыкновенном их сочетании.

Восхищался и я. Для меня Сибирь в этом его импровизированном рассказе была и знакома, и незнакома, достоверна и вымышленна, логично доказана и нелогично раскрашена. Это было непонятно что, и все же — Сибирь. Но какая? Какая?

И вдруг меня озарило. Да ведь это Сибирь, в которой, бесспорно, без всяких шуток, пальмы растут! На такую Сибирь писатель Всеволод Иванов имел право.

И, может быть, только он один.

И, может быть, только в тот единственный миг, который называется вдохновением истинного художника.

16 июня 1974

Давид Самойлов

ИЗ ТРЕТЬЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Первое воспоминание, — облик, второе — слова и поступки. Но все это отрывочно, разбросанно, и с чем-то перемешано, и принадлежит тебе одному, как дневник, пока не сложится в третье воспоминание — воспоминание о нравственном значении личности. И тогда внешние черты, слова и поступки, как стальные опилки в магнитном поле, вдруг расположатся по силовым линиям в некий чертеж. И тогда же вдруг обнаружится бедность первого и второго воспоминаний. Потому что они принадлежат лишь тебе одному, как дневник. А там, в силовом поле, другие совсем единицы измерения — масштабы общественные. И твои дневниковые воспоминания — лишь крупицы, обозначающие очертания чего-то более важного, того, что сразу и не прояснишь для себя, потому что память накапливает непроизвольно и случайно. А если с самого начала — произвольно и предвзято, то такому дневнику не хочется верить...

Третье воспоминание еще только рождается, потому что оно — дело коллективное, не то, что составляет память современников, а то, что отстаивается в памяти Современности. Это порой и не совпадает.

...И все же начать хочется с облика.

Круглое лицо, круглые очки в толстой оправе на мешковатом носу, волосы цвета, унифицированного сединой, причесаны на косой пробор. Набежит ветер и легко взбадривает их в веселый хохолок. И к сему — свободная блуза, и просторные штаны, и большие башмаки на толстой подошве. И в руке толстая палка. Все это округло, добродушно и свободно.

Свободно? Кажется, да, но так ли уж добродушно и так ли округло?

А глаза, узко прорезанные, за бликами очковых линз, — острая черточка монгольского Востока. И резко вдруг сошедшиеся брови, и поперечные складки на лбу. И хохолок уже не веселый, а колеблется задорным перышком.

Округло? Камень ведь тоже округлый, если его долго обтачивать водой. Но это его форма, а не состояние. А важно в камне, что он весом и надежен.

О камне Всеволод Иванов много мог бы порассказать. Он любил камни, привозил отовсюду, где бывал, и собрал огромное множество. Красоту камня он понимал, умел ею любоваться. Лежали на его рабочем столе зеленоватые и черные глыбы и белые полупрозрачные кристаллы. Он, однако, собирал, а не коллекционировал. Порой выбирал диковинный камень и дарил. Дарил, как дарят сюжеты. Наверное, с каждым камнем и был связан сюжет. А даренье — тема уже не такая простая. Ибо иные дарят то, что им не нужно. А иные (как Пушкин Гоголю сюжет «Ревизора») — то, что другому нужней.

Расточительство обаятельно, но бесплодно. Расточитель все профукает, потому что ничего не может обратить в свое дело. А в том, чтобы дарить то, что другому нужней, есть и самоотверженность, и ясный взгляд на себя, и проникновенный взгляд в глубь другого. И разочарование есть, и надежда.

Когда-нибудь, может быть, напишут, как Всеволод Иванов своего «Ревизора» дарил другому...

Умение дарить осмысленно есть часть таланта и потому глубоко свойственно было Всеволоду Иванову.

Он и мне однажды подарил небольшую гравюрку, она оказалась старинной и редкой. Я написал о Меншикове и прочитал ему. Тогда он и достал эту гравюрку. (И ведь среди множества всего помнил, где лежала, наверное, много лет!) Там изображен был гравером XVIII века Меншиков в Березове — дальний прообраз суриковской картины. Сам Всеволод Вячеславович Меншиковым интересовался и написал о нем рассказ, фантастический и лукавый. Но тут он решил, что гравюрка нужней мне, или хотел, чтобы она натолкнула меня на что-нибудь, чего объяснять не хотел.

Но возвратимся к камню. Мы однажды ходили за камнями в Коктебеле — он, Миша и я. Не то чтобы специально пошли искать сердолики или те, что хлесткие камнелюбы зовут «лягушки» или «фернампиксы». Я думаю, Всеволод Вячеславович специально за камнями не охотился, просто они придавали внешнюю и наглядную цель путешествию, обоснованному целями внутренними и тайными.

Он, с фляжкой на боку, с крепкой палкой, шел не торопясь, но упорно, неутомимо и обстоятельно. Взошли на Карадаг и стали спускаться в бухту. Знал он здесь каждую тропку и был по-домашнему радушен и безмятежен. И не казалось странным, что человек, коему больше шести десятков годов, цепляясь за выступы, спускается с крутого склона и, с виду грузноватый, ползком пробирается по узкой пещерке и вброд по скользким камням обходит скалу. Казалось, дело это для него обычное, домашнее. Просто гуляем, переговариваемся и натыкаемся на камешки — на розовые, сиреневые, зеленоватые. Ко мне они не шли, а к нему шли, наверное потому, что он их знал по именам.

Потом вдруг разразилась гроза. Мы поднимались по склону, совсем близко струилась туча. Мы быстро промокли и, оскальзываясь, медленно карабкались по горе, а вниз сыпались из-под ног камни и маленькие лавины земли. Впрочем, и это было по-домашнему просто и не казалось опасным. А в поселке было волнение, хотели уже звонить пограничникам.

Я года через два с моря узнал место, где мы спускались и где поднимались. Там двое альпинистов погибли в шестьдесят третьем году.

Но, конечно, Карадаг — гора невысокая и обжитая. Я бы не стал о ней писать, если бы не знал другого. Я краем глаза тогда подглядел, каков Всеволод Вячеславович бывал в тех обстоятельствах, в каких мы его не знали.

Мне рассказывал писатель Никонов, из Читы прилетевший с женой и с маленькой дочкой на похороны Иванова, как путешествовали они с Всеволодом Вячеславовичем по сумасшедшей таежной реке. Река вздулась от дождей, а надо было плыть через пороги, на что и старожилы не отваживались. А он вышел на рассвете из избы,

поглядел на реку, послушал и на вопрос, что делать, сказал: «Поплывем». И поплыли. Едва выплыли.

Я на фронте думал порой, что такое смелость. Иногда казалось, что это фатализм, иногда — безумная отрешенность от смерти. А сейчас мне кажется, что смелость — это умение быть самим собой во всяких обстоятельствах. Такая смелость кажется мне самой достойной. Такая и была во Всеволоде Иванове. И, неосознанно, мы именно это ценили в нем, может быть, более всего.

Когда я его узнал, обстоятельства его как будто давно уже сложились. Он жил как бы на покое. И виртуозно отточенные карандаши на его столе казались музейными пиками. И листки исписанной бумаги — привычно заполняемым досугом.

Но (ах, это «но», ожидаемое и часто принуждаемое!) — но в нем уже более четверти века происходил процесс складывания нового писателя Всеволода Иванова. Процесс, так и не завершившийся, прерванный смертью. Процесс этот был не вулканический, а геологический и потому приметный только при внимательном наблюдении. Но и тогда о характере глубинных реакций судить можно было лишь косвенно, потому что в глубину мало кто был допущен; может быть, не только из-за сдержанности или скрытности, а и потому, что сам Всеволод Иванов полагал или чувствовал, что еще далеко до итога, и суть происшедшего с ним в целом обозревать начал, только когда уверился в том, что умирает, — с весны 1963 года. Доказательств вышесказанному у меня мало, так мне казалось и кажется сейчас. И лишь третьи воспоминания это подтвердят или опровергнут.

Он был незаурядный характер, необычный талант и человек нашего времени, где история духовного становления мало еще изучена.

Облик Всеволода Иванова, его манера держаться и разговаривать, отрицавшие все внешнеромантическое и форсированное, часто заставляли забывать о том, что в нем постоянно работала фантазия. Мне казалось, что мощь этой фантазии (порой, впрочем, лукавой и спасительной) более всего придавала своеобразия его человеческой личности.

Мир этой фантазии, где вовсе не отрицался, а лишь преображался реальный опыт, был той писательской лабораторией, где ставился эксперимент психологический и

социальный, где порой отыскивалась мера происходящему и вырабатывались нравственные понятия, отнюдь не фантастические.

В сфере фантазии Всеволод Иванов жил так же спокойно и органично, как в горах и на таежных реках. Фантастичность его была естественна, и донкихотские ее начала глубоко скрыты.

В каждом фантасте живет и Дон Кихот, и Санчо Панса. Особенности личности и даже эпохи выражаются в различии взаимоотношений между первым и вторым. Понятия сервантесовского Дон Кихота те же, что и у Санчо Пансы. Они верят в одно и то же — в высокое назначение Дон Кихота. Их понятия — идеальные.

В донкихотстве Тартарена из Тараскона есть большая доля маниловщины, а в его Санчо сидит Собакевич. Это уже не трагедия, а фарс, где действует не вера, а самообман и где, в сущности, все кончается самообманом. Кончается тем, что действительность приспосабливает миф. Мифический подвиг начинает служить реальной прозе.

Дон-Кихот нашего века по-современному стыдится идеальных порывов своей фантазии. Он по-своему умудрен и лукав. Он не надевает доспехов. Он по форме предпочитает быть Санчо Пансой. И так вот, уже не един в двух лицах, а Дон-Кихот и Санчо в одном лице, думает о кибернетике и о покорении космоса и неторопливо шагает с палкой по горной тропе, все еще надеясь встретить снежного человека. Он думает, может быть, о необычной действенности фантазии, о реальности фантастического в наше время — от Тура Хейердала до атомного реактора. Но он все же не отдается целиком на волю фантазии, потому что опыт ему подсказывает, как опасны фантастические понятия в области социальной или нравственной, где лучше сперва проверить их практикой и рассудком, иначе они — предрассудок.

Я спросил однажды Всеволода Вячеславовича, прочитав его роман «Мы идем в Индию», есть ли книги, поминаемые и цитируемые там.

— Конечно, есть, — ответил он убежденно. И, помолчав, добавил: — А может быть, и нет.

Я очень хорошо запомнил интонацию этого ответа. Мы шли полем в Переделкине (тем полем, что зовется Неясной поляной). Он, наверное, думал о другом, смо-

трел куда-то вдаль. И оба его ответа были машинальны и естественны, словно не противоречили друг другу.

Я не помню, что подумал тогда. Сейчас мне кажется, что вновь приоткрылась для меня важная грань его существования. Это всем детским существом фантаста утверждаемое:

— Конечно, есть!

И отвергаемое зрелым опытом:

— А может быть, и нет...

Но в отрицании есть еще «может быть». Есть место надежде.

Может быть...

1965

Вяч. Вс. Иванов

ПРОСТРАНСТВОМ И ВРЕМЕНЕМ ПОЛНЫЙ

Художника самого можно уподобить его метафорам, по-разному открывающимся каждому новому читателю. Мне хотелось бы рассказать об одной черте, которая с детства казалась мне очень важной в моем отце (и сильно повлияла на меня самого), хотя она едва ли не более других была скрыта от постороннего взгляда. Мало кто знал, что в моем отце жил дух ученого — испытателя природы. Таким он был в работе, в путешествии, в чтении книг. Когда за пять лет до его смерти мы ездили с ним по Восточной Сибири и Забайкалью, я видел, что в тайге, на больших плоскогорьях Азии, у ее великих рек, он по-прежнему как дома. Он знакомился с местными старожилами — любителями камней, через природу находил путь к сердцу людей, понимавших ее, как он; через этих людей находил путь к природе — старожилы указывали ему заветные места в горах, а то и дарили ему камни-самоцветы. Помню, как жена одного из сибирских собирателей камней, увидев неразумное, по ее мнению, разбазаривание камней из коллекции мужа, пошла даже на хитрость: заперла камни и, взяв с собой ключ, ушла по хозяйственным делам как раз к нашему приходу. Но уловки не помогали, камни стекались к отцу отовсюду — от собирателей-любителей, от геологов-профессионалов; в диких местах он сам вырубал куски породы геологическим молотком. В Коктебеле, в Доме творчества писателей, он для этого, как на службу, ежедневно уходил в жару на Карадаг.

Когда он возвращался домой, к московской размеренной жизни, не по его покрою сшитой, он окружал себя образами природы — кусками горных пород, глыбами

камней (привезенных им из Крыма, Средней Азии, Сибири), много ящиков которых стояло у него в кабинете, сотнями, тысячами географических и естественнонаучных сочинений, испещренных его заметками. Среди его бумаг сохранилась тетрадка «Камни Забайкалья» — на каждой странице портрет камня (картинка, вырезанная из книги и приклеенная им самим) и пометки, где, в каких горах, отец встречал того или иного «знакомца». Геологи, как-то приехавшие к отцу, поразились его осведомленности в минералогии.

За звездами, муравьями, пчелами, растениями, морем он наблюдал с зоркостью первобытного человека, — этому не мешало чтение природоведческих книг. Мальчиком я слышал его увлеченные пересказы книг Фабра о беспозвоночных и Джинса о строении вселенной, потом он давал мне читать эти книги. Позднее, в годы войны, когда мы вернулись из эвакуации и большая часть любимых им книг погибла на сгоревшей даче, отец просил меня взять для него у одного моего знакомого «Жизнь растений» Тимирязева, которую он давно не перечитывал. Он проглотил эту книгу за несколько дней. Каждый день он взахлеб делился со мной новостями о чудесном строении растений и о хлорофилле — с таким азартом, с каким другой мог бы пересказывать по ходу чтения детективный роман.

Устремленностью к тайнам живой материи близки ему были книги Бергсона по теории биологической эволюции (к Собранию сочинений Бергсона, чей стиль ему был по душе, он возвращался не раз).

Природа для него была живой.

В своей книге «Похождения факира» отец описывает, как юношей он добивался слияния с миром леса. Каждую ночь приходил он на лесную поляну и долго на ней сидел. Звери привыкали к нему, барсуки и лисы подходили к нему дорожкой лунного света. Мне отец рассказывал, что в эти ночные часы он чувствовал, как на поляне растут травы. В ту пору своей юности отец начал увлекаться индийской философией, учением йогов, читал множество книг по психологии; часть их сохранилась в его библиотеке с пометкой, что эти книги были куплены на первые заработки юношей — бродягой, факиром и типографским рабочим. Сейчас, когда передача мыслей на расстояние стала темой специальных исследований, а о

йогах читаются научно-популярные лекции и показываются документальные фильмы, упражнения в телепатии, описанные в «Похождениях факира», могут показаться не такими уж фантастическими.

Интерес к психологическим книгам у отца не остывал никогда, хотя, как он пишет в той же заметке на полях, позднее он стал меньше принимать на веру то, что в них написано. В двадцатые годы он, как и все его поколение, читал Фрейда; на моей памяти он перечитывал (сразу же после войны) только «Остроумие в его отношении к бессознательному». Очень хорошо он знал книги по психиатрии, большое собрание которых у него было. Особенно много для себя нужного он нашел у Кречмера, чье имя не раз упоминал (сколько помню, и в каких-то житейских разговорах по поводу истерии у одного из знакомых). И из книг, не относившихся прямо к психологии, отец делал психологические выводы: он говорил, что первобытные люди еще большие неврастеники, чем современные горожане, ссылаясь на описание папуасов у Миклухо-Маклая (позднее я узнал, что так же думал и великий психиатр Давиденков). В детстве (перед войной), когда я много часов каждый день проводил в кабинете у отца, я увидел его большую психологическую картотеку, которую завел он, видимо, еще раньше: на больших листах плотной бумаги или картона выписывались главные психологические понятия и их толкования. Этой работой, следы которой я вижу и в некоторых набросках к его произведениям, он был занят много лет. Выписки по психологии, мне кажется, он делал для того, чтобы лучше понять и своих собственных персонажей.

С двадцатых годов литературные занятия моего отца сопровождались и чтением книг по теории литературы. Когда в конце войны отец узнал, что я пишу стихи, он сразу же принес мне читанные им (судя по сохранившимся пометкам) еще в двадцатые годы книги В. М. Жирмунского о метрике, рифме и композиции лирических стихотворений. Отец добавил, что у него самого писание прозы всегда сопровождалось чтением теоретических книг о литературе.

Искусство слова всю жизнь было для отца не только главным призванием, но и предметом изучения. Многие годы он собирал материалы для большой книги по теории литературы. Часть этих записей вошла в книгу «Из днев-

ников и записных книжек», многие записи (особенно выписки из книг с его разъяснениями) остались в его архиве; замысел отдельных частей можно понять и просматривая книги писателей-классиков из его библиотеки, чьи произведения он разбирал, делая пометки на полях. На моих глазах летом 1943 года он пришел к выводу, что для строения произведения очень важна ошибка, совершенная кем-либо из героев. После этого несколько месяцев он проверял эту свою мысль, читая пьесы, рассказы, романы разных авторов; я помню его одержимость этой литературоведческой гипотезой, на основе которой он строил целую концепцию сюжетосложения. Но когда через год или два по поводу какой-то вещи, в сюжете которой я увидел подтверждение его догадки, я об этой гипотезе вспомнил, он сразу даже не понял, о чем я говорю: отец, видимо, остыл к этой мысли, уже не казавшейся ему ключом к строению любого литературного произведения.

Он хорошо знал и ценил литературоведческие труды А. Веселовского (особенно по сравнительной поэтике и по истории итальянской литературы), Потебни (об одной из книг Потебни речь идет в его письме к Горькому); на его собственные теоретико-литературные изыскания, как мне думается, повлияли и работы Опояза, с членами которого — Ю. Н. Тыняновым, В. Б. Шкловским — он дружил многие годы (в годы войны, после эвакуации, в Переделкине он сблизился и с Б. В. Томашевским).

В набросках начала романа «Сокровища Александра Македонского», писавшегося в 1943—1944 годах, в уста одного из персонажей вложены мысли, близкие к идеям Шкловского о роли сюжета в прозе. Несомненное влияние ранней работы Шкловского о Стерне я вижу в том, как много этот писатель (когда-то чуть ли не главный любимец молодого Льва Толстого) значил для моего отца: и «Тристрама Шенди», и «Сентиментальное путешествие» он перечитывал не раз. Но, увидев у меня в руках одну из этих книг (мне было лет четырнадцать), он сказал, что я едва ли что в них найду, это литература для писателей.

В тех литературоведческих записях, которые отец делал на моей памяти — в сороковых годах и позднее, его занимало не только строение произведения, но и строение самой ситуации, которая в произведении описывается

(как в уже упомянутой теории ошибок). Нечто отчасти сходное можно увидеть в трудах таких его современников, как Эйзенштейн. Занимаясь позднее эстетическими рукописями Эйзенштейна, я иной раз удивлялся почти текстуальным совпадениям записей, сделанных в одно время им и моим отцом. При всем различии двух художников и характера их искусства общность времени, вкусов, теоретических устремлений, жажды «поверить алгеброй гармонию» разительны.

Для усвоения законов искусства отец считал совершенно необходимым читать классиков. Их он не только читал, но и переписывал собственной рукой, считая, что это лучше поможет ему понять их способ письма. Так, он переписал большие вещи Чехова, «Хаджи Мурата» Толстого.

В той заметке на одной из книг по психологии, где говорится, что она была куплена на первые заработки, упомянут и словарь Даля, с которым он не расставался всю жизнь. Но по поэтической нелюбви к излишней систематичности, сказывавшейся и в неупорядоченности его огромного архива, и в расстановке книг, он разрезал свой любимый словарь на отдельные полосы и читал слова врозь, как попало, как придется. У него были собраны и были им прочитаны, как можно было видеть по закладкам, пометкам, записям, собрания русских пословиц, загадок, книги по русской народной словесности и народным обычаям. Когда я начал всерьез заниматься русским фольклором и восточнославянским язычеством, уже после смерти отца, почти все, что мне было нужно, оказалось в его кабинете. Он увлекался старинными руководствами по красноречию и риториками, интерес к которым в науке оживился в самые последние годы. У него было много и диалектных, и отраслевых словарей (о них он пишет и в одном из поздних писем Горькому). Постоянным чтением был «Русский синтаксис в научном освещении» Пешковского, весь им размеченный, и «Синтаксис русского языка» Шахматова.

В декабре 1962 года, за полгода до смерти отца, он с интересом прочитал тезисы симпозиума по изучению знаковых систем и сказал мне: «Хорошо, что здесь сравниваются самые разные языки» (он имел в виду и языки искусства и науки, о которых речь шла на симпозиуме). Однажды он присутствовал при том, как Ю. В. Кнорозов

описывал свои наблюдения над звуковой сигнализацией у кур; отец потом не раз вспоминал об этом разговоре с удовольствием.

Еще в детстве, до того, как я стал лингвистом, а позднее увлекся лингвистическими трудами Е. Д. Поливанова и участвовал в их издании и комментировании, я слышал рассказы отца о его дружбе с этим замечательным ученым и диковинным человеком. Моего отца (который считал себя неспособным к языкам, хотя он с детства помнил казахский) Поливанов изумлял своим даром полиглота: когда они вместе шли Цветным бульваром — тогда китайским кварталом города, — Поливанов заговаривал с каждым встречным китайцем на его родном диалекте. Еще больше удивил отца Поливанов, когда он побывал в гостях у ученого. Придя к тому домой, отец заподозрил что-то неладное — соседка озадачила его встречным вопросом, когда он спросил, здесь ли живет Поливанов: «А вы его предупредили, что вы придете?» Отец ответил утвердительно и, постучавшись, вошел. Из соседней комнаты донесся голос Поливанова: «Всеволод, это вы? Садитесь в кресло у двери и не шевелитесь, пока я не приду. Я скоро добреюсь». Сев в кресло, отец в полумраке предвечернего часа разглядел двух больших кошек, которые подошли с двух сторон к его креслу и начали лизать ему руки шершавыми языками. Это были тигрята, вывезенные Поливановым из очередной поездки на Дальний Восток. Хозяин пришел в комнату вовремя, потому что от шершавости языка на руке выступила кровь, начавшая возбуждать хищников (вскоре Поливанов расстался с ними — когда они перегрызли всех собак в околодке). Отец помнил, какие странные книги о Востоке читал Поливанов. Интерес моего отца к востоковедению, быть может, поддерживался и памятью о его собственном отце — моем деде, студенте Лазаревского института восточных языков, чьи персидские и арабские тетради отец берег в своем архиве и не раз мне показывал в мои детские годы.

О Востоке, всегда его занимавшем, отец думал и читал особенно много. Восточные вещи, диковинно громоздившиеся в его кабинете, были не украшением, а продолжением его мыслей и образов. Книга нашего великого ученого академика Щербатского о буддийской логике была для отца настольной. В его библиотеке было собрано все,

что было напечатано по-русски о буддизме, — как можно видеть из эпиграфов к «Возвращению Будды», чтением этих книг он был занят уже в двадцатые годы, но возвращался к ним и позднее.

Не раз мне отец говорил о громадном воздействии, которое на него оказала «Поэма о поэте» Сы-кун-ту в переводе академика Алексеева (с очень обстоятельным комментарием). Заговорив о моих первых стихотворных опытах, отец мне посоветовал заняться восточными языками, чтобы попробовать перенести достижения восточных поэтов в русскую поэзию: как ему тогда казалось, все, что может быть перенято из поэзии на западных языках, уже исчерпано. Позднее я увидел чуть ли не те же мысли у Сэлинджера, объясняющего, почему его герой поэт Симур выше всего ставил китайскую и японскую поэзию. О китайской поэзии отец вспомнил и в один из наших последних разговоров в больнице — перед смертью. В то время его воображение создавало один за другим новые образы, как бы стремясь восполнить все, что не успело сделать раньше. В одном из таких видений или снов он увидел древнюю Грецию, которую так любил, хорошо знал (Гомера он читал в Коктебеле, где столько напоминаний о Греции) и описал в своем «Сизифе». Это был сон, который можно было понять и как видение о судьбе большого поэта, поздно находящего признание, — в этом сне ему привиделась А. А. Ахматова. Когда я пересказал ей этот сон, она узнала в нем свои недавние стихи об античности. Рассказывая мне этот предсмертный сон, отец сказал: «Придет время, и поэзия будет у нас в быту, на каждом шагу, в каждой вещи». И по этому поводу он снова вспомнил о своих любимых древнекитайских поэтах.

Мне думается, что поэзия и наука для моего отца были частями единого познания мира, суть которого — поэзия. Приехав после гражданской войны в Петроград, он узнал о теории относительности и, чтобы ее понять, изучил высшую математику. Стоявшая у него на полке книга Эддингтона «Теория относительности», вышедшая в русском переводе в 1934 году, была для меня наглядным свидетельством того, что эти интересы были достаточно прочными. О своих занятиях теорией относительности отец вспоминал в речи, сказанной в ноябре 1960 года по случаю 75-летия Хлебникова, которого он считал одним из

величайших поэтов (в архиве отца осталось собрание хлебниковских рукописей, полученных им от Крученых). Достоевского, Хлебникова, Джойса и Пруста он в разговорах со мной называл среди наивысших вершин литературы, добавляя, что он удивляется, как после таких взрывов можно писать по-старому. Если кто не понимает Хлебникова, пусть его изучит, сказал в речи о Хлебникове отец. Литература была для него не менее серьезным занятием, чем современная физика и математика,— на нее требуется затратить не меньше, если не больше, умственных усилий.

В двадцатые годы, в пору занятий точными науками, отец познакомился с П. А. Флоренским. Он мне рассказывал, что тот водил его по своей электротехнической лаборатории в наряде, так мало с ней согласовавшемся. Потом они поехали разговаривать с Флоренским на квартиру к тому — он жил у своих знакомых, кажется, на кухне, где в углу стояла койка Флоренского. Скромность обстановки его помещения запомнилась отцу. В библиотеке отца были собраны все книги и статьи Флоренского (в том числе и тома первого издания «Технической энциклопедии» с его статьями), как и многих других русских мыслителей начала века, его занимавших,— Федорова, Розанова. Когда в юности я слушал беседы отца с В. Ф. Асмусом, я мог бы дивиться тому, как осведомлен мой отец в философской литературе, если бы я не видел, сколько полок в его кабинете уставлено сочинениями философов — от Платона (всѐ русские издания которого, включая сверхредкие, старинные, были собраны у отца) до авторов десятых и двадцатых годов.

Не раз я слышал, как отец, любивший сам себе читать вслух стихи, повторял строки: «Одиссей возвратился, пространством и временем полный». Если путешествия отца, бывшего с детства неугомонным землепроходцем, продолжались им в чтении географических книг (сочинений самих путешественников — от Ливингстона и Стенли до Амундсена — и описаний стран и областей), то еще больше в своем московском и переделкинских кабинетах он занимался путешествиями во времени. Его занимала прежде всего русская история (особенно XVIII век, литература которого собрана в его библиотеке с большой полнотой); о ней он мог читать все время; для него это было не трудом, а отдыхом. Не только самих историков,

но и свидетельства очевидцев — эпиграф ко второму варианту «Вулкана» взят им из большого тома собрания источников о Смутном времени. Достоинства слога Ключевского он объяснял начитанностью того в древних русских рукописях. Уже незадолго до смерти он перечитал всего любимого им Костомарова; отдельные тома его сочинений, особенно поразившие отца, — например, с биографией-портретом Петра, — он настоятельно советовал мне читать. Труд отчима моей мамы Б. И. Сыромятникова о регулярном государстве Петра он прочитал за один вечер. Много лет отца интересовала история Византии, следы занятий которой (как и историей арабов, очень его занимавшей) есть в «Эдесской святыне»; влекла его к себе и история Рима (во время войны, в Ташкенте, да и позднее он перечитывал многотомные труды по римской истории Гиббона и Ферреро; в обоих авторах, как и в Маколее, чью историю Англии он знал хорошо, он видел и хороших стилистов). Меньше всего эти исторические занятия, преломившиеся и в пьесах (начиная с «Двенадцати молодцов») и в прозе, были тягой к экзотике: читая, например, жизнеописание Фуше у Цвейга, отец сопоставлял этого персонажа с более близкими нам по времени. В беседах с Тыняновым, прекрасно знавшим русскую историю, отца восхищало умение того выразить одним образом, высмотренным, казалось бы, в хорошо известных источниках, суть исторического явления. Я помню, с каким восторгом отец мне рассказывал, как он пришел к Тынянову и тот показал ему серию портретов русских царей и портретов шефов жандармов; при каждом царе шеф жандармов очертаниями лица, прической, бородой повторял черты царя.

Сплетение художественно-образного понимания истории с ее исследованием видно даже в рукописях исторических сочинений моего отца: так, часть черновика его пьесы «Двенадцать молодцов из табакерки» была намеренно написана в тетрадке начала XIX века (на титуле стоит дата — 1806 г.), содержавшей текст сочинения «Разговор в царстве мертвых» (об этом сочинении и других исторических документах, относящихся к эпохе Павла I и Александра I, со ссылкой на архив моего отца, пишет Н. Эйдельман в книге «Герцен против самодержавия»). Пьеса и ее источники здесь сплетены, как в коллаже современного художника. Это же можно видеть и

в библиотеке отца, где книги, содержащие как бы сырой материал для писателя-историка (например, многотомные своды решений Правительственного Сената и не менее многотомная Энциклопедия российской коммерции — сокровищница сведений о России XVIII века), усеяны пометками и записями о замыслах, вырастающих из этой питательной почвы. (Помню, как работа над пьесой «Канцлер» — о Берлинском конгрессе и князе Горчакове, лицейском товарище Пушкина, — началась с нашего совместного похода к букинисту за журналами того времени; для «Ломоносова» я приносил увесистые тома из Исторической библиотеки.) Отец бережно хранил в своем архиве и такие необходимые ему для работы исторические источники, как газеты первых революционных лет, большое собрание документов о биографии Блюхера, переданных ему самим Блюхером (сейчас, после смерти отца, эти бумаги находятся в отделе рукописей Ленинской библиотеки). Во время работы над романом «Кремль» была собрана целая уникальная библиотека по истории православной церкви, сгоревшая во время пожара на даче. В самом собирании архива, в том, как он ценил документ, к нему (иногда случайно, иногда благодаря его усилиям) попавший, отец проявлял себя как историк-исследователь.

Рассказывая мне о своих юношеских стихах (которые он никогда не записывал впоследствии, — видимо, не считал нужным их сохранить, — в отличие от верлибров, написанных году в 1936-м или 1937-м, к IV части «Похождений факира»), отец как-то процитировал строки, обращенные им к своему другу:

Ты бы мог быть великим ученым,
Перед которым Менделеев говорил с опаской,
А ты шляешься по игорным притонам,
Из жизни делая глупую сказку.

Последние две строки никогда не относились к отцу (даже в пору его молодых буйств и дружбы с Есениным), работавшему очень организованно и систематично (ежедневно он посвящал работе всю первую половину дня, а вторую половину дня частично отдавал чтению). Но первые две строки я не раз вспоминал, думая о скрытых в отце удивительных способностях исследователя, которые лишь частично сказались и в литературном его труде и потому, возможно, многим покажутся неожиданными.

1974

В. Ф. Асмус

ЧЕЛОВЕК

В этих строках не найти ни полной характеристики личности, ни характеристики литературных работ ушедшего от нас большого советского писателя Всеволода Вячеславовича Иванова. Будущие историки советской литературы подробно осветят редкую естественную оригинальность его дарования, силу художественной фантазии, гуманизм в изображениях человека и природы, врожденное чувство изящного, чувство формы, меры, прелесть языка — не вымеренного внешнепринудительными канонами школьной стилистики, но неизменно верного внутренним художественным нормам и глубоким народным истокам.

Но в первую очередь, быть может, следует говорить даже не об его искусстве — как бы значительно оно ни было, — а о том, кем был Всеволод Иванов как нравственная сила в нашем мире искусства и в общественной жизни.

В трудное, испытывающее всех нас время Всеволод Иванов принес с собой редкую любовь к жизни и к людям, точнее — к тому в жизни, в чем сказываются ее растущие и побуждающие к росту силы. Раз навсегда определив еще в юности свой путь художника как путь участника в строительстве новой жизни, Всеволод Иванов остался верен своему решению: ничто никогда не могло ни на йоту отклонить его от избранного им пути. В пределах огромного и широкого диапазона возможностей, очерченного вкруг писателя Октябрьской революцией, Всеволод Иванов естественно и непроизвольно сохранил способность личного художественного осознания жизни. Он не только не мог поколебаться в своей

вере в благотворность происшедшего, в благотворность строительства новой жизни. Он также не мог и не хотел глядеть на мир чужими глазами, называть и воспевать явления нашей общей жизни чужими словами.

На отношение к литературе он перенес лучшую черту своего нравственного характера — *доброжелательность*, способность видеть, подмечать, угадывать мощные побеги жизни, обещающие будущий расцвет. Он следил за появлением в советской литературе новых дарований — с интересом, равным такому же интересу Горького. Насколько мог, он проявлял деятельное обадривающее доброжелательство к начинающим и молодым силам литературы.

Я наблюдал проявления этого доброжелательства, работая вместе с ним в комиссии по оценке дипломных работ студентов Литературного института им. Максима Горького при Союзе писателей. Всеволод Вячеславович был председателем этой комиссии, я — ее членом. Некоторые из заканчивающих курс обучения в институте писали свои дипломные работы — по критике и литературоведению — под моим руководством, поэты, прозаики и драматурги — под руководством известных московских поэтов, прозаиков и драматургов, руководивших в Литературном институте творческими семинарами. В заседаниях комиссии авторы дипломных работ выступали с коротким рассказом об этих работах и о самих себе, затем читали свои отзывы руководители, затем начиналось обсуждение дипломов и предлагавшихся руководителями их оценок. Всеволод Иванов, как председатель комиссии, руководил всем обсуждением.

Меня поражала естественность и простота, с какой Всеволод Вячеславович умел снимать с этого обсуждения всякий налет формализма и официальности. В большинстве случаев все эти молодые люди были ему неизвестны, но он обязательно прочитывал сам их дипломные работы. Всегда приходил на обсуждение с заранее составленным собственным суждением о работе или давал согласие на предложенную руководителем оценку, или обоснованно против нее возражал. Конечно, вопрос в конечном счете решался большинством голосов комиссии, но в числе их голос председателя был очень авторитетным и весомым и зачастую ощутимо влиял на результат.

Как обаятелен был Всеволод Вячеславович во время этих обсуждений! Он пристально глядел на защитника дипломной работы и был весь — слух и внимание. Для него имело значение не только собственное мнение, составленное при чтении, но и речь дипломанта, и анализ его работы, развивавшийся рецензентами, и суждения о ней участников дискуссии, предварительно прочитавших ее и принявших участие в обсуждении. Из глубины председательского кресла на дипломанта глядели сквозь блеск круглых очков глаза, полные живого участия, доброжелательства и сочувствующего, подбадривающего понимания — в случае, если в работе дипломанта были налицо некоторые качества литературной одаренности. Это была оценка художественной работы старшим товарищем по искусству, который через всю жизнь пронес благодарную память о том, как его самого на пороге его писательской жизни встретил Горький.

Нигде цельность его натуры не сказывалась с таким пленительным изяществом, как в его отношении к *книгам*. Книга была для него не только типографским запечатлением мысли, но и произведением искусства. Именно поэтому, а не из антикварного эстетизма, он любил *старые* книги: по их близости к слиянию графики, живописи и поэзии, по большей гармонии материала и его художественной и живописной обработки.

Как все большие писатели, Всеволод Вячеславович был мастер языка. Он был превосходный рассказчик. Особенно хороши были его устные импровизированные рассказы-воспоминания, в которых его друзья-писатели изображались с удивительным добродушным юмором и внутренним сходством и в которых наблюдательная память художника запечатлевала драгоценные черты.

Его не коснулись, *не могли* коснуться никакие дрязги литературы и литературного быта. Ценя, призывая, ища только лучшее, он инстинктивно сторонился всего, что могло ослабить явление этого лучшего, помешать его торжеству.

Многие ощущали достоинство его характера и поведения, но далеко не все отдавали себе отчет в том, каким предельным случаем был этот его характер и поведение. На облике Всеволода Иванова, каким он останется в нашей памяти, нет ни малейшей тени, в нем не сыскать ни

малейшего нравственного пятна, не найти и следа какого-нибудь изъяна или срыва.

С нравственной чистотой души в нем соединялась другая редкая черта: он не только не выносил никакого злословия, никакого несправедливого осуждения. Он избегал даже обоснованного осуждения. Он поступал так вовсе не из равнодушия или безразличия к злу, а в силу своей инстинктивной нелюбви к той мелочности и эгоистичности, к мещанству, которыми часто подменяются даже справедливые осуждение и отрицание. Его умственный взгляд, обостренный огромным чтением, охватывал широкие горизонты будущего и глубокие дали прошлого. Он любил историческое чтение — не как средство ухода от современности, а как способ более глубокого ее постижения, более правильной и уверенной ориентировки в настоящем. Он ценил изучение прошлого и как средство к познанию неповторимых свойств, дарований, талантов, способностей родного народа. Он любил народ со стыдливой сдержанностью в проявлениях почитания, любил преданно, горячо, убѐжденно.

Своеобразным было его отношение к природе. Он любил природу скорее «первозданную», дикую, едва тронутую руками и орудиями человека: степь, пустыню, плоскогорья, широкие русла сибирских рек. Постоянный посетитель Коктебеля, куда он ездил со всей семьей, он признавался, что наибольшую радость ему доставили не недели, прожитые в комнатах Дома Волошина, а три дня и три ночи, проведенные вдвоем с сыном Мишей (Михаилом Всеволодовичем) в ущельях и на вершине Карадага. Ему нравились эти костры и ужины, точнее — чаепития в пустыне, среди громкой симфонии цикад, эти ночевки под крымскими звездами.

По возвращении из своих прогулок он не слишком любил рассказывать о виденном: за невозможностью рассказать о том, что можно только лично испытать: чувствовать, слышать, видеть. Так же скупы и как бы стыдливы были его отрывочные рассказы о плаванье с сыном Комой (Вячеславом Всеволодовичем) по рекам Сибири, о жизни на лодках и плотах и о быте рыбаков.

По его рассказам все же можно было составить ясное представление о нравственных качествах этого удивительного человека. Резко врезался в мою память рассказ о том, как однажды Всеволод Вячеславович, совершая

одинокий переход через среднеазиатскую степь в Казахстане, утомился зноем и заснул прямо на земле. Когда он проснулся, он с ужасом увидел, что на его груди сидит каракурт — «черный паук», укус которого ведет к быстрой и неминучей смерти. Но Всеволод Вячеславович был мужественный человек. У него хватило самообладания, чтобы не шелохнуться и не попытаться вскочить и бежать. Затаив дыхание, он дождался, пока паук сам сошел с его груди и удалился. Только тогда Всеволод Вячеславович встал. Вся его грудь и спина были совершенно мокры. Это был пот пережитого смертельного страха, который он поборол мужеством и самообладанием.

Путь Всеволода Вячеславовича не был легким. Всю жизнь он с увлечением — вдохновенно и усердно — трудился как писатель.

Всеволод Иванов был человек не только мужественный, но и скромный. Удивительны достоинство, терпенье, с каким он нес свою непростую и нелегкую судьбу в литературе. Он уважал свою современность и твердо знал, что придет время, когда современность будет знать его лучше и полнее.

16/VIII 1963 — 15/VIII 1968
Переделкино

Тамара Иванова

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ...

Весна. 1929 год.

Мы едем в поезде Москва — Кимры. Едем мы на «сбор материалов» для романа «Кремль». Роман «Кремль» не только задуман. Всеволод, набираясь впечатлений, побывал в Ростове и Ярославле. Уже набросан не один план всего романа и написан не один вариант пролога. Углич и Ярославль — вот где нужно ему походить, посмотреть, послушать. И в Угличе, и в Ярославле сохранились старинные кремли. Также интересует Всеволода и «Ярославская мануфактура».

В романе — борьба старого, отживающего с новым (начало нэпа), причем то и другое, скрещиваясь, полно противоречий.

В Кимрах Волга узенькая. Приехали мы удачно — ночью отходит пароход.

Ночь безлунная, беззвездная. Волга здесь так узка, что ее почти не видно, она прихлопнута темным небом, на воде едва поблескивают матовые круги мазута.

Все удачно. Пассажиров мало, и они как раз такие, как нужно: мужики, бабы — все для «Кремля».

Каюта тоже хорошая. Всю ночь уютно покачивает и поскрипывает. А утро неожиданно распахнуто в ясность, солнечность, птичий гомон и запахи молодой листвы. Так бы ехать и ехать, никогда никуда не приезжая. А мы уже торопимся сойти на берег и наглядеться не можем на показавшийся издалека красавец Углич. Скорее на берег, скорее в сердце этой красоты!

Гостиница оказалась старинной, как раз такой, как

надо, и трактир рядом, а по другую сторону — музей. И в нем богатый набор предметов, отображающих быт старинного провинциального города, и хранитель интеллигентный.

Углич так понравился, что твердо решаем: завтра же с утра искать помещение для летней жизни. Найти, дать задаток. Скорее в Ярославль. А там в Москву — за детьми. И на все лето сюда.

Но, бегло изучив город, я понимаю, что детей сюда не повезу. Всеволоду о принятом решении пока не говорю, — зачем заранее огорчать?

А он воодушевленно бегает по избам Зареченской слободы и радостно останавливается на самой неподходящей.

Хозяин облюбованной избы, чернобородый седой старик, видно, не промах: поняв, в каком ажиотаже наниматель, заламывает непомерную цену. Требует деньги вперед. Цена настолько непомерна, что у нас, если бы и вправду снимать, нет с собой такой суммы. Видя, что Всеволод огорчился, начинаю торговаться и, к крайнему его изумлению и великой радости, доторговываюсь до задатка в сто рублей. Это большие для нас деньги. Впереди огромные, в соотношении с реальными возможностями, расходы: переезд на новую квартиру, дача, роды, но я знаю, что всему (даже самой кратковременной радости) надо приносить жертвы, и не задумываясь одаряю чернобородого старика сотней, свалившейся ему ни за что ни про что с неба, — только потому, что его черная борода при седых волосах, на фоне темных бревенчатых стен, увешанных старинными иконами, привлекла внимание писателя, так и просится к нему в роман.

Теперь, когда дан задаток, Всеволоду не терпится уехать, чтобы поскорее вернуться обратно.

Пароходы ходят без расписания. На пристани мы сидим много часов. Там же, среди ожидающих, мается рожающая баба, которую не приняла местная больница (родильное отделение закрыто на ремонт), и ей надо теперь плыть вниз по течению. Окружающие щедро подают советы сопровождающей бабу старухе: одни говорят, что парохода все равно не дождаться, лучше лошадь до чугунки (60 километров) нанять; другие — что тут, в Угличе, хорошая акушерка есть, домой к себе иногда согла-

шается принимать. И т. д. Все это, конечно, тоже «материал».

Пароход наконец приходит, и баба благополучно погружается на него и благополучно сходит на той пристани, где есть родильный дом. Но покричать она таки покричала, пока доехала. И криками ее был полон весь небольшой пароход.

Эти крики проняли Всеволода, напомнили ему о том, что и меня это скоро ожидает, и мне уже не придется подготавливать его к разочарованию, он сам дошел в пути до нового решения:

— Знаешь, лучше мы вернемся в Углич на будущий год, а старик, несомненно, честный, он нам задаток и на будущий год зачтет.

Я говорю:

— Конечно, он старик честный, и я пошлю ему письмо, пусть он не ждет нас раньше будущего года. Этим летом он, возможно, сумеет сдать свою избу еще кому-нибудь.

— На такую избу желающих найдется сколько угодно. А откуда же взять его адрес?

— Разве ты не заметил, что я записала?

— Замечательно! Мы не пропадем с тобой. А старик все-таки великолепен!

Волга постепенно расширяется, и плыть по-прежнему приятно, а главное — приятно то, что царит между нами полное взаимное понимание, мир и покой.

Ярославль оказывается тоже очень красив, и его церкви и фрески на стенах притворов и папертей, которые Всеволод спешит показать мне, приводят нас обоих в полное восхищение. В Ярославле нам сопутствует ласковый старичок, знакомый Всеволода еще по Сибири, Иван Петрович Малютин.

У Ивана Петровича очень пестрая биография и обширная семья; большего оптимиста мне не привелось встретить за всю мою длинную жизнь.

Все превратности своей судьбы переносил Иван Петрович стоически и никогда духом не падал. Умер он, немногим не дотянув до девяноста лет, а в восемьдесят был принят в Союз писателей.

На восьмом десятке жизни потеряв последние зубы, писал: «. . .выпали у меня, Всеволод, наконец, все зубы. То-то хорошо! Сколько я с ними мучился. А оказывается,

совершенно они не нужны. Обхожусь без них превосходно, а болеть уже не будут!» Все члены его семьи тоже претерпевали непрестанные бедствия, но он сам никогда не унывал и окружающих не переставал убеждать, что «все — к лучшему!».

На второй день приятной ярославской жизни наступила жара. А ведь в Москве у меня остались дети, которых надо вывезти на дачу.

Мне ужасно не хочется так скоро прерывать поездку, да и нельзя ее прерывать из-за «Кремля», но надо искать какие-то компромиссные решения.

Я исподволь доказываю Всеволоду, стараясь изо всех сил не навязать решение, а самого его до него довести, что если я ему не помеха при осмотре церквей и пейзажной «натуры», то мануфактуры ему удобнее смотреть без меня, одному или с Иваном Петровичем. А если так, то мне незачем торчать в гостинице, а надо ехать без него в Москву и, пока он будет собирать материал на мануфактурах, найти дачу, а если повезет, то сдвинуть с мертвой точки и обмен моих двух комнат на квартиру.

* * *

Поиски квартиры продолжались уже несколько месяцев. И из этих поисков возник сюжет еще не написанного, но уже придуманного сатирического романа «У». В этом романе будет описан дом (Обыденский переулок на тогдашней Остоженке), в котором нам предлагали купить квартиру (вернее, предлагали купить весь небольшой двухэтажный особняк с мезонином). Самые разнообразные жильцы густо заселяли этот дом. Многие из них стали прототипами персонажей романа «У». Предложение купить этот особняк — чистейшей воды авантюра. Чтобы выселить жильцов, потребовалось бы построить для них по меньшей мере пятиэтажный квартирный дом. Но бывший бразильский консул, родственник бывшей владелицы особняка, решил, что только они идут в счет — их же вполне устроят мои обменные две комнаты в Чистом переулке, а от остальных обитателей этого ковчега «легко откупиться». Однако само существование особняка с «консулом» и всеми прочими диковинными личностями такой клад для писателя, что все настоящие поиски квар-

тиры надолго приостанавливаются. Мы ходили в особняк сначала вдвоем, потом, когда я окончательно уяснила себе всю несостоятельность этой аферы, Всеволод упрямо цеплялся за «свой особняк» и продолжал ходить туда уже один, выслушивая от консула и всех остальных обитателей дома неслыханные истории, одна фантастичнее другой.

А каких только тайн не сулят раскопки на чердаке и в подвалах этого дома!

Даже после того, как мысль о покупке была окончательно оставлена и возобновились нормальные поиски квартиры, гуляя, мы нет-нет да и проходили мимо «своего особняка».

* * *

Расставаться нам не хочется, но ничего не поделаешь. Еду в Москву одна.

Выдержки из писем:

«30.5.29 г.

Ярославль.

Дорогая Тамара, — встал в 9 час. утра, заснул в 12; съел яичницу и без удовольствия прочел местную газету, при чтении которой обжег язык горячим чаем.

Погода хорошая. Дует ветер.

Уезжаю на «Красный Перекоп» [1] в чаянии оптимистических сведений о жизни человеческой.

Переменил № — взял который подешевле — вот и вся моя жизнь...»

«31.5.29 г.

...вчера посетил много важных мест, необходимых для романа, а вечером выступал в Педагогическом институте. Иду опять на охоту в «Красн. Перекоп»...

Как твои делишки?

Погода хорошая, вчера был большой дождь, и нонче нет пыли. Сплю хорошо, и клопов нету.

Пиши и трудись, а я тебя целую».

---

[1] Новое название мануфактур.

«1.6.29 г.

...прости, что не пишу так подробно, как ты: не умею, а также не могу посоветовать тебе не пить воды из Москвы-реки!

Брожу по фабрике: видал много любопытного, по части быта, того, чего не придумаешь, — «жирок на вещь», так сказать: не совсем нужное, но для дураков и критиков убедительное.

Во вторник поеду утром в Ростов-Великий, что в 60 верстах от Ярославля, а в среду в Юрьевец, а оттуда в Москву.

Письмо твое получил: идут письма ровно один день. Чувствительно благодарю — и тебя и почту. [...]

Иван Петрович ласковый, но чрезвычайно утомительный старичок, но так как я сбираю «жир», то я отношусь к нему как к субъекту из книги — и примиряюсь.

Народу насмотрел я на пять романов...»

«3.6.29 г.

...Я по-прежнему хожу по людям. Должно быть, уже в Юрьевец я не поеду, а направлюсь прямо в Москву, по дороге заехав в Ростов и Переяславль-Залесский — все это на ж.-д. пути. Народу я здесь нашел интересного — тьму, не знаю, куда его и вместить только...

Погодка ветреная и холодная.

— Не пей воды — сырой!.....

Всеволод»

* * *

Общеизвестно, что в начале творческой биографии Всеволода очень большую роль сыграл Алексей Максимович Горький.

Всеволод упоминает об этом во всех своих автобиографиях.

Кстати сказать, на первых порах он писал каждый раз новую автобиографию, не похожую на предыдущую, и на вопросы, почему он так поступает, сбивая с толку настоящих и будущих исследователей, отвечал: «Я же — писатель. Мне скучно повторять одно и то же».

Но Горький присутствовал неизменно во всех его автобиографиях.

«Обрызгивала ли ваши ноги теплая зима 1920 года? Помните ли вы эти сизые глыбы ноздреватого льда, кото-

рый скоро перешел в лед кронштадтский? Первый же день приезда направил меня, через дикий ландшафт Марсова поля, к Максиму Горькому».

Или позднее:

«Советы Горького помогали мне в юности, — и не меньше, чем тогда, помогают теперь».

К тому времени, когда я вошла в жизнь Всеволода, у него были уже прочно установившиеся дружеские отношения с Алексеем Максимовичем, а на моих глазах эти отношения продолжали развиваться, и я тоже была принята в это содружество.

Однако надо сказать, что в процессе развития наших взаимоотношений с Алексеем Максимовичем все время возникали какие-то препятствия и затруднения.

Алексей Максимович долго жил за границей — звал нас туда, а мы не могли приехать.

По окончательном же возвращении Алексея Максимовича в СССР нашим встречам часто препятствовал режим, в котором он жил.

Распорядком встреч Алексея Максимовича ведал его секретарь П. П. Крючков, который мог отменить (и широко это свое право использовал) то или иное приглашение Алексея Максимовича.

В таких случаях Крючков неизменно говорил: «Только ничего не говорите «старику». Вы же знаете, как он болен. Врачи лимитировали все встречи, а уж особенно волнения. Если скажете о нашем разговоре, он от волнения может слечь».

Но даже несмотря на это, мы не переставали видеться с Алексеем Максимовичем. Правда, не так часто, как нам, да, по-видимому, и ему, хотелось бы. Даже и в год смерти Алексея Максимовича мы гостили у него в Тессели с половины января по половину февраля, и Всеволод еще раз вернулся туда в марте.

Но к захворавшему по приезде в Москву Алексею Максимовичу нас не пустили, и в Горки мы попали уже в день его смерти, и то только потому, что нас отвез туда на своей машине Александр Николаевич Афиногенов, имевший в Горки свободный доступ.

Тут я должна оговориться. При тех дружеских отношениях, которые существовали между Алексеем Максимовичем и Всеволодом, все «запреты» в отношении при-

ездов были бы немедленно ликвидированы, если бы Всеволод сказал Алексею Максимовичу о том, что такие запреты существуют. Но это было не в характере Всеволода. Он, человек простой (в смысле пренебрежения любым этикетом), был очень горд и никогда и никому не навязывал своего общества, доходя в этом даже до некоторого чудачества. Всем друзьям было хорошо известно — к Всеволоду можно прийти запросто и когда угодно, а к себе его без специального приглашения не заполучишь. (Отсюда при жизни рядом — на переделкинских дачах — в нашем архиве огромное количество пригласительных записок от Б. Л. Пастернака, К. А. Федина и А. А. Фадеева.)

Меня часто подмывало выложить Алексею Максимовичу «всю правду». В ответ, например, на его упреки: «Почему же вы опять меня обманули и не поехали, как обещали, вместе с нами по Волге? Ведь для вас и для детей были приготовлены каюты».

А не поехали мы потому, что Крючков повторил нам свою обычную формулу, Алексею же Максимовичу, тоже по установившейся традиции, сказал, что мы отказались.

Я так никогда и не осмелилась высказать Алексею Максимовичу эту правду, потому что знала, как ненавидел Всеволод подобные «выяснения отношений». Да и магическая крючковатая формула о здоровье Алексея Максимовича тоже на меня действовала.

Первый раз мы гостили у Алексея Максимовича в 1933 году (31 декабря 1932 года приехали к нему из Парижа в Сорренто встречать Новый год). Тогда был жив Максим, он находился при отце, и не Крючков, который жил в Москве, а Максим выполнял поручения Алексея Максимовича.

До этого, еще в 1930 году, Алексей Максимович пригласил нас к себе в Сорренто всей семьей, со всеми тремя детьми, и даже советовал: «...лучше, если бы вы захватили с собой какую-нибудь «соплеменницу»[1] — в каче-

---

[1] Письмо А. М. Горького В. В. Иванову из Сорренто от 14 сентября 1930 года. (Здесь и дальше письма А. М. Горького приводятся по книге: Вс. Иванов. Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969.)

стве няни для маленького Вячеслава» (по-домашнему Комы, которому был всего год от роду).

Поездка тогда не состоялась.

Уже без детей мы попали в Сорренто из Парижа, где провели декабрь 1932 года.

Алексей Максимович прислал нам в Париж письмо с категорическим приглашением: «...ожидаем вас ко дню Нового года и даже ранее» [1].

В Париж мы поехали на премьеру «Бронепоезда», который был поставлен Леоном Муссинаком.

Но мы так долго собирались и ехали, что не только премьеры, но и вообще этого спектакля нам не удалось посмотреть. Театр просуществовал всего две недели и был закрыт.

Вот что написал по этому поводу Леон Муссинак:

«Наша дружба зародилась в 1927 году, когда я приехал в Художественный театр на спектакль первой пьесы Всеволода Иванова, знаменитый «Бронепоезд», поставленный Станиславским. С первого взгляда становилось понятным, почему Максим Горький увидел в произведениях этого писателя совсем новое выражение идей молодой советской литературы. Когда я организовал в Париже театр «Интернационального действия», для ознаменования пятнадцатой годовщины Октября я решил поставить, к 7 ноября 1932 года, самую характеристичную из советских пьес — «Бронепоезд», в переводе Владимира Познера. С каким трепетом приступил я к реализации этого творения, к которому Натан Альтман создал декорации и костюмы. Конечно, с нашей стороны то была всего лишь попытка, и не вполне успешная, рассказать и показать истину о первых революционных годах, но наша страстная увлеченность превозмогала все трудности. Всеволод Иванов, по той причине, что тогда очень трудно было получить визу, приехал слишком поздно и уже не смог помочь нам, но за время его пребывания в Париже я сумел оценить его острый ум, любознательность и искренность, что создало между нами ту дружбу, которая крепла с каждой встречей» [2].

---

[1] Письмо А. М. Горького В. В. и Т. В. Ивановым 14 декабря 1932 года.

[2] Еженедельник «Летр Франсез», август 1963 года.

* * *

До поездки в Сорренто я присутствовала при встречах Алексея Максимовича и Всеволода всегда на людях, а тут мы проводили очень много времени втроем. При необыкновенно точном распорядке своего дня Алексей Максимович все же выкраивал для нас многие «индивидуальные» часы: засиживался в разговорах с нами за столом, после трапез, или шел с нами на прогулку, возил нас в Неаполь.

Все это описано Всеволодом в его книге «Встречи с Горьким», я же упомяну о том, чего Всеволод из присущей ему скромности не написал.

Алексей Максимович на этом этапе своих взаимоотношений со Всеволодом выступал уже не только в роли учителя, а требовал и от Всеволода литературных советов и критики.

В особенности это стало для меня очевидным, когда Алексей Максимович читал нам только что им тогда законченную пьесу «Достигаев и другие».

Как-то после обеда Алексей Максимович пригласил Всеволода и меня к себе в кабинет, сказав: «Хочу коечто вам почитать».

Дело происходило в январе, но не в Москве, а в Италии, и был такой ясный, солнечный день, что Алексей Максимович предпочел читать на балконе, с которого открывался широкий вид на море и окрестности.

Когда чтение было окончено, — а читал Алексей Максимович, как, впрочем, почти каждый автор, очень хорошо, досказывая интонацией то, чего не высказали слова, — мы принялись хвалить пьесу.

Алексей Максимович строго остановил нас и сказал Всеволоду: «Меня, сударь вы мой, многие хвалят, а от вас я жду критики в меру вашего огромного, сударь вы мой, таланта и помощи в объеме моей любви к вам. Все это позарез мне нужно».

К большому сожалению, я не вела дневника и не делала каких-либо записей, поэтому решаюсь пересказывать только то, что мне ярко запомнилось.

Вступление к литературной дискуссии на балконе, которое я привела выше, я помню, как мне кажется, дословно.

Дальше шел разговор о сущности реализма, об опасности впадания в натурализм и о необходимости романтической приподнятости — в особенности для театра.

Мне думается, что главным в обмене мнениями для обоих писателей была возможность высказать свои мысли тому, кто вполне способен понять мысль другого.

Присутствуя при этом и других разговорах Алексея Максимовича и Всеволода, я не могла не проникнуться убеждением, что оба они очень нужны друг другу.

Может быть, это происходило и оттого, что при всей их взаимной любви они — «разные».

Позже, размышляя о прожитом, Всеволод записал в своем дневнике (29 апреля 1943 года): «Горький ждал от меня того реализма, которым сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был совсем другой, и это его не то чтобы злило, а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в этом русле мне удобнее и тише бы плыть, я и пытался даже... Но к сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче говоря, я до сих пор все еще другой...»

А иначе и быть не могло. Конечно, «другой», и, по-моему, именно за то Горький так любил Всеволода, что он «совсем особенный», — это слова самого Алексея Максимовича, неоднократно повторенные им в разговорах со мной.

Несмотря на общеизвестность того, что Всеволод был любимцем Алексея Максимовича, стоит заглянуть в их переписку.

«...Вы изображаете так, как это делал Ив. Бунин в годы лучших достижений своих... Вы шагнули дальше Бунина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует бунинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим»[1]; «Похождения факира» прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки»[2].

Но даже после «письменного» подтверждения мнения Алексея Максимовича о Всеволоде мне представляется не совсем удобным повторять те чрезвычайно лестные слова, которые неоднократно говорил мне о Всеволоде

---

[1] Письмо А. М. Горького В. В. Иванову, 13 декабря 1926 года.
[2] Письмо А. М. Горького В. В. Иванову, июнь 1934 года.

Алексей Максимович, когда мы разговаривали с ним наедине.

И все же считаю необходимым отметить, что Алексей Максимович очень настаивал на особенности таланта Всеволода и на особенности его ярко выраженной индивидуальности.

Алексей Максимович настойчиво говорил мне об этом, желая, как мне теперь кажется, воспитать во мне должное понимание того, с кем я связала свою жизнь.

Авторитет Алексея Максимовича был для Всеволода огромен, но в последние годы жизни Горького Всеволод давал ему читать не все, что писал.

Причин было много. Конечно, на первом месте здоровье Алексея Максимовича и нежелание его утруждать, утомлять. А дальше шел сложный узел мотивов — соединение многих разноречивых причин.

«Пора быть совсем самостоятельным — ни на кого не оглядываться. Да и поймет ли «старик» мои поиски, когда я вступил на свой собственный путь и уже нельзя меня сравнить ни с Буниным, ни с ним самим — Горьким. И плох там я или хорош, но я такой, а не другой».

Это не запись высказанного Всеволодом, а попытка восстановить его тогдашние мысли.

Я пробовала уговаривать Всеволода, потому что я-то безоговорочно верила в гений Алексея Максимовича и в его способность *все* понять. К тому же я твердо знала, что Алексей Максимович считает Всеволода «особенным», — ведь он не уставая твердил мне об этом.

Но Всеволод в ответ на мои уговоры только сердился и оба больших своих романа — «Кремль» и «У» — не показал Алексею Максимовичу.

Тут само собой напрашивается примечание.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов Всеволод Иванов написал два романа — «Кремль» и «У».

При жизни он почти никому не давал читать эти романы. Отнес в «Красную новь» первые части «Кремля», прочел их и не одобрил лишь один тогдашний редактор журнала Канатчиков. А больше Всеволод никому не стал роман показывать.

Вот тогда-то я и начала уговаривать Всеволода показать Горькому, он заупрямился, не захотел. Сказал: «Хватит ходить на поводу!»

В набросках к «Истории моих книг» есть такая запись:

«Дополнить. Почему не печатался роман «У»? Давал ли я его в «Красную новь»? Не помню».

В начале тридцатых годов, в момент окончания работы над романом, Всеволод печатал в периодических изданиях отдельные отрывки и главы. А над целым продолжал работать, очевидно все еще считая роман незавершенным и потому не отдавая его ни на чей суд.

Объяснение, вероятно, в своеобразной «замкнутости», о которой он писал в одной из своих автобиографий:

«Жизнь моя — тема романа — борьба с замкнутостью, при страстном желании демократичности.

Это выражается не только в моем характере, что в конце концов дело мое и мало кого касается, но это выражается в моем творчестве, что уже представляет некоторый литературный интерес.

Критики этого не понимали. Кроме того, критики вообще, за малым исключением, мною не занимались.

А ведь странно, когда человек в одном году пишет «Партизаны», а в другом «Бронепоезд» или, того вычурней, «Цветные ветра».

Что это — поиски формы?

Только отчасти. Мне кажется — поиски демократизма, т. е. поиски того, чтобы возможно проще говорить с народом. Дело в том, что говорить-то хотелось».

* * *

Когда в год смерти Алексея Максимовича, в январе, мы гостили у него в Тессели, при всей обычной своей сердечности по отношению к нам он явно был чем-то огорчен. Вероятно, его тревожили какие-то мысли, которыми он не хотел с нами поделиться.

Тогда же гостили у Алексея Максимовича Самуил Яковлевич Маршак и Алексей Дмитриевич Сперанский.

Чтобы развлечь Алексея Максимовича, Маршак придумал игру. Игра эта состояла в следующем: «Тессели — столица «Байдарской республики» (Байдарские ворота видны там отовсюду, от них начинается серпантин, ведущий к Тессели). Алексей Максимович — президент этой республики; Маршак — министр просвещения;

Алексей Дмитриевич Сперанский — министр здравоохранения, я (Т. В. Иванова) — военный министр, а Всеволод — главный жрец (в республике восстановлены древние жреческие культы).

Был придуман «байдарский язык» и «байдарский церемониал».

Однако Алексей Максимович игры этой не принял, что было странным и удивительным для всех нас. Ведь он всегда любил театр «для себя». В итальянский период у него в доме выходил семейный сатирический журнал, обильно иллюстрированный сыном Максом. Все в доме Алексея Максимовича всегда назывались не по именам, а имели прочные шутливые прозвища: Иван Николаевич Ракитский звался «Соловьем»; Валентина Михайловна Ходасевич — «Купчихой»; Надежда Алексеевна Пешкова — «Тимошей» или «Тимофеем Госпланом» и т. д.

И вот, всю жизнь любя шутку и игру, Алексей Максимович сердито хмурился на шуточную затею Маршака. А мы уже вошли в игру, но играть стали только «потихоньку» от строгого «президента».

Алексей Максимович говорил мне тогда: «Всеволода я люблю, как сына, и не перестаю жалеть, что он не осознает меры своего таланта».

В последнем Алексей Максимович ошибался. При всей своей скромности и именно из-за нее внешне этого не показывая, Всеволод, как видно из его дневниковых записей, сознавал меру своего таланта и страдал как раз оттого, что не всегда мог проявить его в полную силу.

Ласковость и исключительное внимание Алексея Максимовича все же растворили замкнутость Всеволода, и ему опять захотелось делиться с Алексеем Максимовичем своими творческими трудностями.

Поехав в марте на рождение к Горькому, Всеволод повез новый вариант своей пьесы «Двенадцать молодцов», читал его Алексею Максимовичу и получил горячее одобрение.

Мы очень любили Алексея Максимовича, и его смерть — одно из тяжелейших потрясений нашей со Всеволодом жизни. Горе утраты мы переживали очень остро и долго не могли утешиться.

* * *

Самая прочная и длительная дружба была у Всеволода с «Серапионами».

В набросках к «Истории моих книг» Всеволод писал:

«Я любил и люблю поныне «серапионовых братьев» нежной, братской любовью. Эта братская любовь, может быть, и мешала мне спорить, и я часто спорил с ними лишь «в тайне», про себя. Теперь легко осудить мнимые заблуждения, но тогда они были остро необходимы. Борьба за высокое литературное мастерство и сложность его в те трудные дни поддерживала нас и укрепляла в борьбе не только за искусство, против мещанства и пошлости в литературе, но и в борьбе за жизнь вообще».

Установление отношений Всеволода с «Серапионами» и само образование кружка «Серапионов» происходили не на моих глазах. Я ведь вошла в жизнь Всеволода в 1927 году.

Но сразу же мне стала очевидной прочность серапионовских уз. Приезжая в Москву, бывшие участники кружка всегда к нам приходили. И до самых последних лет жизни Всеволода неизменно помнили и так или иначе отмечали серапионовскую «дату».

Пока большинство участников кружка жило в Ленинграде, они отмечали свою «дату» на квартире у Груздевых. Именно туда приглашает Всеволод (уже ставший к тому времени москвичом и ездивший на «дату» в Ленинград) приехать Горького: «В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполнится пять лет Серапионов. Приезжайте в гости к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы собираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо» [1].

О той встрече, когда «было очень хорошо», Всеволод любил рассказывать. Она запомнилась тем, что расшалившиеся, как мальчишки, писатели переставили в чинной груздевской квартире всю мебель — отвлекли каким-то образом хозяев и перетащили спальню на место столовой, а столовую поменяли местом с кабинетом и очень радовались изумлению и растерянности аккуратных Груздевых.

---

[1] Письмо В. В. Иванова А. М. Горькому, 30 ноября 1925 года.

Дальше, когда большинство бывших «Серапионов» переселилось в Москву, «дата» отмечалась то у нас, то у кого-нибудь другого.

Об одной такой «дате», отмеченной у нас, вспоминает Елизавета Полонская.

Привожу письмо К. А. Федина, касающееся все той же, до конца жизни Всеволода чтившейся и отмечавшейся, серапионовской «даты»:

«Курорт Гориш,
Саксонск. Швейцария
27 января 1961 г.

Дорогой Всеволод,

шлю тебе поклон и приветствую от души, памятуя, что близится 1 февраля, а на этот раз задумываешься над незабываемой датой больше обычного — 40 лет!

Обнимаю тебя крепко и прошу — если увидишь кого из друзей, в Переделкине или еще где, передать им мои добрые пожелания.

А тебе, старый и милый друг, желаю всего, всего хорошего на большое и славное будущее.

Все еще ничего нет по-настоящему написанного о Серапионах — никто не хочет или не может сказать о них то, чем они были и остаются в литературе. Но идет время, идут, уходят и приходят люди и... родится историк, который поймет, что такое 1 февраля 1921 года!

Обнимаю тебя.

Твой К. Федин

Поклон Тамаре Владимировне.

Я поживу еще в здешних местах — тихих и живописных. Нина[1] была со мной и сейчас уезжает в Берлин и скоро — домой».

* * *

Всеволод отличался редкостной трудоспособностью. Работал он неустанно. За пятьдесят лет писательского труда его произведения были опубликованы сотни раз. И тем не менее оставил он после своей смерти огромный архив, в котором хранятся и не опубликованные при его жизни произведения.

---

[1] Нина Константиновна Федина — дочь К. А. Федина.

Посмертно опубликованы первоначально в периодической печати, потом в двухтомнике избранных произведений (ГИХЛ, 1968) романы: «Эдесская святыня», «Вулкан», цикл фантастических рассказов: «Агасфер», «Опаловая лента», «Пасмурный лист», «Сизиф, сын Эола».

Издан сборник «Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек (изд-во «Советский писатель», 1969, составители К. Г. Паустовский и Т. В. Иванова).

* * *

Если у Всеволода не ладилось с очередной работой, он не унывая принимался за новую.

Обычно он говорил: «Ну что ж, будем писать что-нибудь другое. Силы есть».

Иногда, для разрядки, ехал куда-нибудь в глубь страны, чтобы «обновить», как он говорил, мысли.

Так поступил Всеволод и в тридцатом году, собрался с бригадой писателей — Тихонов, Леонов, Павленко, Луговской, Санников — в Среднюю Азию.

Привожу выдержки из его писем ко мне, написанных во время этой поездки.

«23.3.30 г.

Сызрань.

Милая Тамарушка, едем быстро (писать трудно, как видишь) и весело. Читаю и ем — вот и все мои «текущие» поступки.

Леонов просит тебя позвонить его жене, что все в порядке и что он кланяется.

Целую тебя, Комочку и всех прочих.

Не забудь об Гизе и моей книге».

«24.3.30 г.

Оренбург. ... едем в полном порядке и тишине! Поля уже полуосвободились от снегов; ходят стада, и все церкви в деревнях, мимо которых мы проезжаем, без крестов.

Бреясь, Леонов разрезал все ухо!

Вот и все новости!

А вообще рассказывают анекдоты! Особенно отличаются Тихонов и Леонов».

«26.3.30 г.

Ташкент. ... добрались и до града Ташкента. Все так же, как и тогда, когда мы с тобой здесь были раньше, только все зелено и нет пыли. Едем прекрасно, даже ресторан и тот сносен, что же касается твоих страхов, то это все чепуха и ерунда — здесь все спокойно. Через двое суток буду в Ашхабаде, — впрочем, я буду телеграфировать и писать. Бабы на станции почему-то продают блины [...]».

«31.3.30 г.

Ашхабад. ... вот только на четвертый день я смог кое-как выбрать время, чтобы написать. Нас страшно замотали, к тому же в городе жара и к тому же я ждал от тебя телеграммы, — но телеграф перегружен телеграммами о посевной кампании, и, как выяснилось, телеграммы теперь идут более медленно, чем почта. До сегодня я от тебя ничего не получал [...].

Как я и в Москве говорил, всяческие разговоры о «беспокойной» жизни здесь оказались ерундой, так же тихо и спокойно, как и тогда, когда мы сюда с тобой приезжали. [...]

На открытие Турксиба мы, скорее всего, не поедем, а возвратимся в Москву числу к 5 или 7-му, самое позднее. Причина та: жара (сейчас, например, 40°); отвратительная пища и отсутствие сносных жилищ, отчего мы устаем, как дьяволы, и вряд ли сможем совершить еще поездку вдоль Турксиба.

Сегодня по почте тебе отправлена посылка: 4 шкурки варана, это род крокодила — большой ящерицы — Кара-Кумов, из шкурок этих делают в Париже сумочки и туфли, что можно соорудить и тебе, только нужно найти в Москве соответствующего скорняка. Мишке я купил громадную туркменскую папаху, а Татьяне привезу живую черепаху и, может быть, если мне найдут, варана, так что в квартире у нас будет собственный крокодил!

Живу я в той же гостинице, где мы с тобой останавливались, и даже в том же номере!

Телеграммы мне лучше всего посылать спешные, авось скорее дойдут.

Увидим мы, должно быть, много. Вчера, например, ездили на машинах к персидской границе, и я, можно

сказать, побывал в Персии — сделал несколько шагов по ту сторону границы!

Сегодня местная труппа актеров показывает нам «Бронепоезд». Забавно?

Очень жаль, что ничего не знаю о нашем «финналоге»!..

Писать здесь едва ли буду и едва ли смогу, но попробую. Некогда.

На секретере лежит письмо М. Горькому, отправь его, пожалуйста [...]

Жара такая, что я даже загорел.

А фруктов никаких!

Конечно, я с радостью уехал бы в Москву, но долг и любопытство владеют мной, посему поеду дальше. Пожалуйста, не беспокойся, повторяю — едем мы с максим. удобствами и сопровождают нас важные лица: редактора обеих местных газет.

Ищи дачу и развлекайся, как можешь».

«3.4.30 г.

Ашхабад. [...]

Дела наши идут хорошо, оживленно, видим мы много, но утомляемся сильно от разных выступлений. ...

Видим мы много, но описать все это в письме совершенно невозможно, потому что все в голове спуталось и смешалось. Прямо и не знаю, как все это рассортировать! Публика здесь скучающая, и путешествие наше похоже на то, как говорил знаменитый персонаж, что и «почтмейстер хороший человек!» — вчера, например, в доме Кр. Армии нас встретили и провожали под «Интернационал» и говорились такие пышные речи, что и не рассказать и не описать невозможно. А на представлении «Бронепоезда» меня так качали, что порвали штаны и затем пришлось мне уйти в костюмерскую, где костюмерша дрожащими от волнения руками зашивала штаны любимого «автора» [...]».

«5.4.30 г.

Ашхабад. [...] Сегодня получил твой ответ на последнюю телеграмму мою, в оном ответе ты просишь, чтобы я телеграфировал тебе ежедневно. Дело в том, что нас так мотает из стороны в сторону, что спим мы не более

шести часов в сутки, и к почте не всегда удается подойти. Буду посылать, как смогу. . . .

Представление о крае мы получили полное. Мы видали и крестьянство и Кр. Армию и местный пролетариат — и все прочее. Отношение к нам местных работников замечательное и предупредительное елико возможно, из-за этой предупредительности совершенно нельзя работать.

Вчера только узнал, что варанов[1] тебе не послали — по ряду причин, главная из которых — леность Госторга. Скорее всего, я привезу их сам. Кстати, о покупках: купил я, по глупости, для детей, чуть не пуд кишмиша и прочих сухих фруктов, а теперь говорят, что послать их невозможно. [. . .] Придется их с собой привезти.

Целую крепко тебя, Комочку и всех.

Всеволод»

К письму приложена была вырезка из газеты:

«Литературный вечер в Гостеатре.

Отчет о вечере, на котором выступили: П. Павленко, Н. Тихонов, Л. Леонов, Г. Санников, Вл. Луговской, Вс. Иванов.

Вс. Иванов прочитал рассказ о том, как он был факиром. Рассказ не является типичным для такого талантливейшего мастера художественного письма, каким, бесспорно, является Вс. Иванов, автор крупнейших произведений, входящих в классику советской литературы. Но все же в этом рассказе находит отражение весь блеск замечательного писательского мастерства Вс. Иванова».

Всеволод не без удивления констатировал: «. . .мои произведения, за исключением наименее оригинальных, всегда признавались критикой «не типичными» или «не доработанными».

[1] За все тридцать шесть лет нашей совместной жизни из всех поездок Всеволода мне что-то должны были послать, но никогда обещанного я не получала. Потом Всеволод сам над собой смеялся по поводу этих «сказочных» своих даров и говорил, что я вся «в росомахах». Мех росомахи мне тоже должны были откуда-то выслать, но не выслали.

* * *

К критическим статьям Всеволод относился философски. Огорчался, конечно, если усматривал недоброжелательство или несправедливость, но старался никому не показать своего огорчения.

Он и успеху был склонен не доверять. Бурный успех на генеральной репетиции «Бронепоезда» во МХАТе, когда Всеволоду устроили настоящую овацию и качали его на сцене, он посчитал «розыгрышем», и стоило большого труда убедить его в подлинности успеха.

Всеволод никогда не переставал искать лучшего пути для выражения своих мыслей. Поэтому-то так долго работает он над рукописями, пишет множество вариантов.

Он прочитывал и досконально «прорабатывал» множество теоретических трудов, стараясь наметить законы и пути построения литературного произведения, исписывал толстенные тетради своими теоретическими раздумьями. Всеволодом оставлены многочисленные записи по теории сюжета и построения романа, рассказа, пьесы, а также характеров действующих лиц и поэтических образов. Размышлял Всеволод и над построением языка, оставил в своем архиве множество записей на эту тему, озаглавив их общим названием «Прямая речь». Среди этих записей встречаются такие утверждения: «Искусство есть анализ», а также «Писатель-экспериментатор».

У Всеволода было удивительное упорство в достижении намеченной цели. Его незыблемое представление о целостности литературного произведения, о его едином ритме заставляло Всеволода, вычеркнув или заменив одно только слово, заново переписывать всю страницу, а в пьесе даже и целую сцену. Нередко он заново полностью переписывал рассказы, пьесы и даже романы.

Тронув вещь, он зачастую изменял ее до неузнаваемости. Он абсолютно был неспособен что-то механически «исправить».

Законы искусства были для него непреложны. Искусство, в которое он, по его собственному утверждению, «был всю жизнь влюблен», определяло собою его жизнь.

* * *

Всеволод всегда говорил: «Пусть судит о произведении тот, кто способен понять и само произведение, и те задачи, которые ставил перед собой автор».

Когда я упрекала Всеволода (по поводу переделок): «Зачем ты портишь то, что тобою создано?» — он отвечал: «Первый-то вариант остается. Потом разберутся».

Эта же тема поднята Всеволодом в письме к его другу и спутнику по странствиям последних лет, читинскому писателю В. Г. Никонову.

В письме от 9/X—62 г. Всеволод пишет:

«...Надеюсь, что у Вас сохранился первый вариант, который и будет напечатан когда-нибудь. Когда будут печатать Ваше собрание сочинений...»

Всего больше огорчался Всеволод в тех случаях, когда у него не получалось творческого контакта с редактором.

Об этом в его дневнике очень много записей.

Тема редактуры затрагивается и Горьким в переписке со Всеволодом. Алексей Максимович пишет: «О тирании редакторов, а также о малограмотности оных — напишу статейку, материал есть, но буде Вы тоже имеете оный — давайте мне» [1].

* * *

На Первом съезде советских писателей Всеволод был избран секретарем Правления и председателем Литфонда. Он был очень увлечен общественной работой и теми перспективами, которые она открывала для конкретных улучшений писательского быта, а главное — условий для творчества. Эти чаяния Всеволода можно проследить и по переписке его с Горьким.

Но та же переписка отражает как возникшие трудности, так и неумение Всеволода настоять на своем перед другими секретарями [2].

* * *

Еще раньше Всеволод стал членом редколлегии и редактором отдела прозы журнала «Красная новь».

Об этой редакторской деятельности Всеволода рассказывают в своих воспоминаниях Н. И. Анов и Л. И. Славин.

---

[1] Письмо А. М. Горького В. В. Иванову, 10 января 1936 г.

[2] См. письма: В. В. Иванова А. М. Горькому, 17 июля 1934 года и А. М. Горького В. В. Иванову, 6 октября 1934 года.

Я помню этот период по тем очень интересным для меня (да, вероятно, и объективно интересным) вечерам, которые устраивались тогда в «Красной нови».

Помню чтение Андреем Белым глав из 2-й части книги его «Москва» и поразивший меня рассказ о том, как Белый работает. Я не записывала, так что передаю не буквальные слова, а смысл — как мне запомнилось. Белый сказал: «Сначала я пишу «как все» — грамматически правильно строю фразу и вкладываю в нее логически построенную мысль. Дальше я начинаю обрабатывать написанное — выбрасываю все лишнее, отягощающее образность, стремлюсь довести ее до обнаженности. Ищу первородность художественного образа».

Запомнилась и встреча в «Красной нови» с Горьким, в двадцать восьмом году, когда он приехал из Сорренто. Рассказывая о западной литературе того периода, Алексей Максимович сурово критиковал ее и выражал надежду на то, что наша, советская литература призвана оздоровить мировую.

Всеволод тоже хотел, чтобы советская литература своей человечностью и жизнеутверждением стала близкой и понятной людям любой страны, несмотря на резко выраженные национальные особенности, вызванные несхожими условиями жизни, исторического развития и традиций.

О литературе Всеволод думал всегда, даже смертельно больной, даже на больничной кровати делал он записи о сущности писательского труда.

Именно тогда (в 1962 году, в больнице) сделал Всеволод запись, показательную для всех его раздумий о литературе: о ее задаче вдохновлять «на добро, совестливость, поиски истины». «Я думаю, — писал он, — то же самое и в области литературы. Надо все-таки, чтобы чувствовалась боль — если она есть. А что она есть, это несомненно».

* * *

В воспоминаниях А. П. Потоцкой-Михоэлс «О Михоэлсе богатом и старшем» говорится о делении Михоэлсом всех людей на старших либо младших (не по возрасту, а по мере ответственности, каковую они возлагают на свои плечи, тем самым определяя себя «старше» или «моложе» других людей) и на богатых и бедных (не по

степени владения материальными благами, а по щедрому и широкому или же узкому, убогому отношению к жизни).

Всеволод по такому делению был *богатым.* Ему никогда не были нужны конкретные, вещественные блага. Воображение претворяло все окружающее, расцвечивая яркими красками его фантазии. Когда он по карте вычерчивал какое-нибудь свое предполагаемое путешествие, мысленно он уже был во всех намеченных местах, иногда воображая их гораздо ярче и интереснее, чем они потом оказывались в действительности. Еще не пустившись в путь, он неимоверно богато переживал поездку, а вернувшись, еще богаче вспоминал. Если же поездка оказывалась неудачной или даже мучительной, то через некоторое время он все же радостно говорил: «А теперь можно уже вспоминать и с удовольствием».

У Всеволода было любимое выражение — «отцветет[1] (в смысле — выцветет, обкатается временем) и будет в самый раз». Он как никто владел даром жить не для вещей, а претворяя их для себя и в переносном и в буквальном смысле. Обладал искусством всегда и всюду обставить себя особым, одному ему свойственным образом. Из тех же самых предметов никому не пришло бы даже в голову создать именно такую «декорацию», какую умел создать он.

Где бы Всеволод ни находился — дома, в санатории, в поезде, в каюте парохода, в походной палатке, — он тотчас же создавал вокруг себя особую, только ему присущую атмосферу.

Он очень редко писал, сидя за столом, разве только печатая на машинке.

Чаще всего он писал, пристроив на коленке специальную фанерку с прикрепленной к ней бумагой.

Вспоминая, как Есенин пришел к нему на новую, еще не обставленную квартиру, Всеволод записал слова Есенина: «Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты сидишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель. Поэт должен жить необыкновенно».

---

[1] Вначале это было сказано по поводу какого-то огорчившего меня своею яркостью платья, потом широко вошло в наш обиход, став поговоркой.

В кабинете Всеволода всегда было необыкновенное, непонятное непосвященному человеку скопление вещей. То было, так сказать, преемственное напластование аксессуаров, необходимых ему в процессе работы над тем или иным произведением. Так, от периода написания «Двенадцати молодцов» остался на стене портрет Павла работы Левитского и грамоты той эпохи, от «Эдесской святыни» — византийские предметы, от «Левши со товарищи» — лубки и т. д.

Такой же причудливой могла показаться непосвященному и огромная библиотека Всеволода.

Всеволод собирал книги всю свою сознательную жизнь, начал, еще будучи наборщиком в Сибири.

Подбор книг соответствовал его широким и разнообразным интересам и проблемам, которые он ставил перед собой, работая над тем или иным произведением.

Во время войны, в начале сорок второго года, сгорела в Переделкине арендуемая нами у Литфонда дача, где у Всеволода была собрана редчайшая библиотека, примерно 12 тысяч томов книг. Однако к концу жизни Всеволод вновь собрал большую библиотеку, огромное количество книг которой испещрено его пометками и размышлениями на полях.

В последние годы жизни Всеволод заказал для своего переделкинского кабинета особый, низкий и широкий деревянный топчан, на который был наброшен привезенный им из Болгарии пурпурный ковер, похожий на лохматую козлиную шкуру (тут опять не без реминисценций, — чтобы понять, стоит прочитать рассказ «Сизиф»).

Вокруг этого «ложа» были во множестве расположены камни, собранные, вернее, выдолбленные Всеволодом молотком и зубилом во время его путешествий в различных отдаленных горных районах нашей страны.

Стояли и комнатные цветы, за которыми Всеволод сам ухаживал.

Высились в разнообразных сосудах остро, как пики, отточенные самим Всеволодом карандаши.

Писал он карандашом, лежа, держа на коленке дощечку с блокнотом.

Потом правил и сам перепечатывал на машинке. Опять правил и давал машинистке. Еще раз правил и часто начинал весь процесс — от карандаша к машинке и обратно, по многу раз кряду.

Умение Всеволода претворять для себя вещи распространялось и на людей.

Он владел даром видеть в человеке и вызывать на поверхность именно те черты, которые его в нем заинтересовали или чем-то привлекли. Он проявлял неисчерпаемое терпение, раскрывая для себя человека (на посторонний взгляд ничем не примечательного). Зато если человек возмущал его, он обладал способностью вовсе перестать замечать его. Не желал засорять, *обеднять* свою жизнь.

Словом, он родился и прожил жизнь не просто богатым, а богатейшим.

Но вот «старшим» он никогда не был (хотя в семье своего отца он старший сын; в своей собственной семье — старший возрастом, талантом, занимаемым в жизни положением; в советской литературе — один из старейших писателей), — не старшим, а младшим прожил он свою жизнь.

И не потому, что бежал от ответственности. Нет, свое собственное творческое бремя он нес мужественно, искал, сомневался и, как писал в своих заметках, «был счастлив сомнением».

Именно в силу этого самого свойственного ему «сомнения» он всегда оставался «младшим» и никого «не поучал».

Чрезвычайно деятельный в организации «сказочного» (поездка верхом или в лодке к черту на рога), неутомимый в первооткрывательской своей творческой работе, он абсолютно падал духом под бременем чисто житейских домашних невзгод и, вместо того чтобы активно бороться (если, например, заболевал горячо им любимый сын), что-то предпринять, он ложился на диван, или кровать, или, наконец, на пол, на землю и закрывал глаза.

Что-то организовать, «строить» в жизни, своей или других людей, он был абсолютно неспособен, но зато воображением он мог преодолеть любые препятствия, унестись в несказанные дали и быть вполне счастливым там.

Он как никто владел до конца жизни способностью жить воображением и воображаемым.

Но этот суровый по виду человек наряду с неподдельным мужеством обладал нежной, доверчивой и очень ранимой душой.

С детьми, в особенности с обоими мальчиками — Мишей и Комой, он всегда, с самого их малолетства, был «на равных». И, вероятно, этому они обязаны своим ранним интеллектуальным развитием.

Именно потому, что он без какой-либо натяжки, совершенно естественно, был в глазах детей товарищем, научил их всех троих любить книгу, и не просто читать, а думать, рассуждать о прочитанном; видеть и любить природу; вполне осмысленно, но романтически воспринимать жизнь.

Младший, Кома, в пятилетнем возрасте говорил иногда отцу: «Папка, давай лучше не будем, а то знаешь, как нам от мамки попадет!»

Когда мальчикам было одному десять, а другому восемь лет, отец подарил им альбом для марок, на первой странице которого написал: «Филателист во имя приобретения марок должен идти на все, включая убийство и воровство».

Из педагогических соображений я (хотя мне всегда было ужасно неприятно огорчать Всеволода) подвергла этот альбом, вернее, его первую страницу с означенным изречением уничтожению. Страница была вырезана и сожжена, а детям внушено, что на убийство и воровство нельзя идти ни во имя чего бы то ни было, а папа-де просто пошутил. Папа особенно не протестовал против этих педагогических мероприятий, но все же пожурил меня за то, что я препятствую развитию в детях чувства юмора.

Чем старше становился Всеволод, а возраст сочетался у него с приобретением мудрости и мудрого, спокойного приятия жизни, тем более «младшим» ставил он себя по отношению к людям. Он органически был неспособен поучать — давить авторитетом, навязывать «свое» мнение — и спорить поэтому не любил. В семье всегда и во всем признавался авторитет Всеволода.

Но во внешнем мире, за пределами семьи, дело обстояло иногда иначе.

Некоторым из тех людей, с которыми писатель неизбежно вступает во взаимоотношения, — издателям, редакторам, режиссерам, — человек, не желающий подавлять их своим авторитетом, может показаться беспомощным, малосведущим. А тут еще эта непривычная особенность:

психологическая невозможность «спора» для гордого и легко ранимого Всеволода.

Всеволода и самого удивляла его полная неспособность «проталкивать, добиваться». В одной из дневниковых записей он пишет:

«Я, к сожалению, не могу подыскать убедительных слов, — да их и действительно нету, — что я «не могу».

Наверное, много причин неспособности Всеволода настаивать, добиваться; не на последнем месте тут и то, что он привык ценить и уважать чужое мнение. Но главная причина, несомненно, в его душевной деликатности, из-за которой он склонен был прислушиваться к любому мнению, если только оно не было явно бессмысленно или явно враждебно и не шло вразрез с его представлениями о должном.

Последние девять лет своей жизни Всеволод был председателем приемной комиссии СП СССР и дипломной комиссии Литературного института.

Защитить другого, в особенности молодого писателя, Всеволод считал своим долгом.

Вот почему, когда требовалось отстоять некоторых несправедливо «забракованных» дипломантов Литературного института, Всеволод проявлял ту твердость и непреклонность, которой ему так недоставало в отстаивании своих собственных произведений.

* * *

Всеволод не любил заседаний. Уважая чужое время, Всеволод приходил на заседания всегда загодя, но иногда так уставал, дожидаясь, если все намного опаздывали, что уходил, так и не дождавшись начала.

Но, не жалея своего времени, он прочитывал огромное количество рукописей молодых писателей.

Никогда не полагался он на оценки других рецензентов и особенно тщательно знакомился всегда с «забракованными» рукописями, добиваясь как приема в СП этих забракованных авторов, так и диплома с отличием для тех студентов, которые уже чуть ли не «на выгон» были зачислены.

Но в самих отзывах на произведения молодых авторов Всеволод всегда сохранял интонацию ненавязчивого совета, а отнюдь не непререкаемого внушения.

Вс. Иванов (слева) в Павлодаре. 1910 г.

«Серапионовы братья». 1921 г. Сидят (слева направо): М. Слонимский, Е. Полонская, Н. Никитин, Вс. Иванов, М. Зощенко; стоят: Л. Лун, Н. Тихонов, К. Федин, И. Груздев, В. Каверин.

Вс. Иванов. 1925 г.

Вс. Иванов (в центре), Г. Алексеев (слева), П. Жаткин (справа).
1925 г.

Вс. Иванов и Т. Иванова в кабинете писателя на Мещанской улице. Москва, 1931 г.

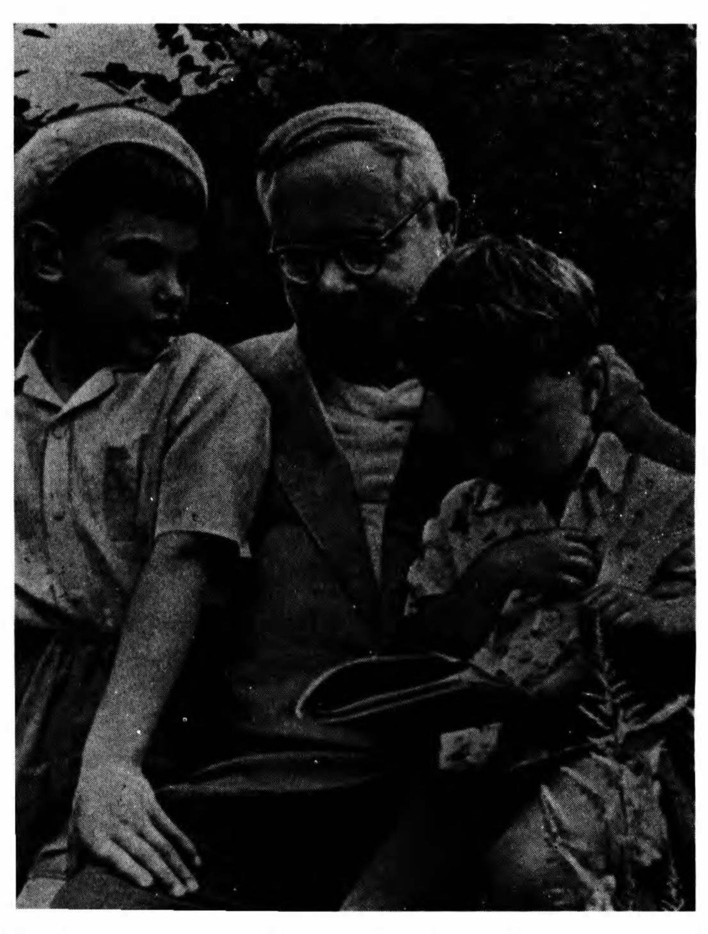
Вс. Иванов и Т. Иванова. 1931 г.

На даче В. Инбер в Переделкине. Слева направо: Н. Адуев, А. Ариан, В. Инбер, Вс. Иванов, А. Афиногенов, И. Сельвинский, Ж. Гауз-нер, Б. Сельвинская, Т. Иванова, Д. Афиногенова, В. Адуева. 1936 г.

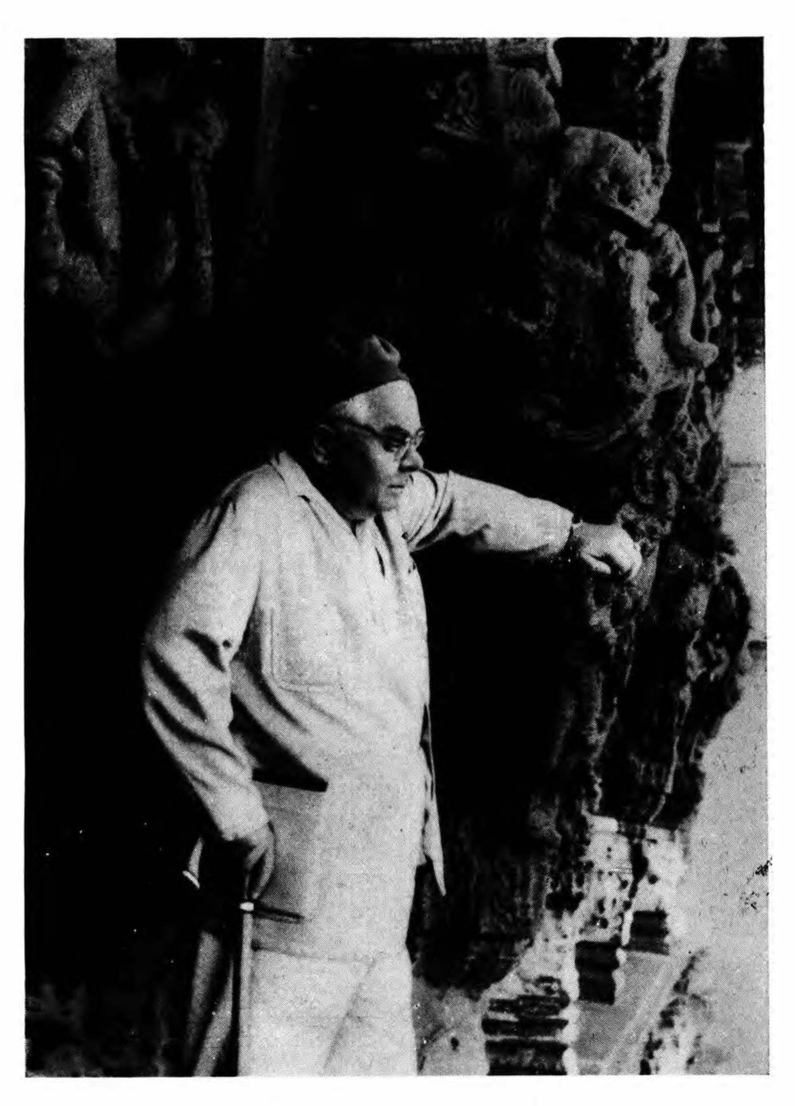
Вс. Иванов в своем рабочем кабинете. Переделкино. 1938 г.

Вс. Иванов и его любимая собака Чарли. Переделкино, 1939 г.

Семья Ивановых на даче в Переделкине. 1938 г. Сидят: Вс. Иванов, Т. Иванова Стоят (слева направо) дети: Михаил, Татьяна, Вячеслав.



Вс. Иванов с внуками Антоном (слева) и Петей (справа).
Переделкино, 1962 г.



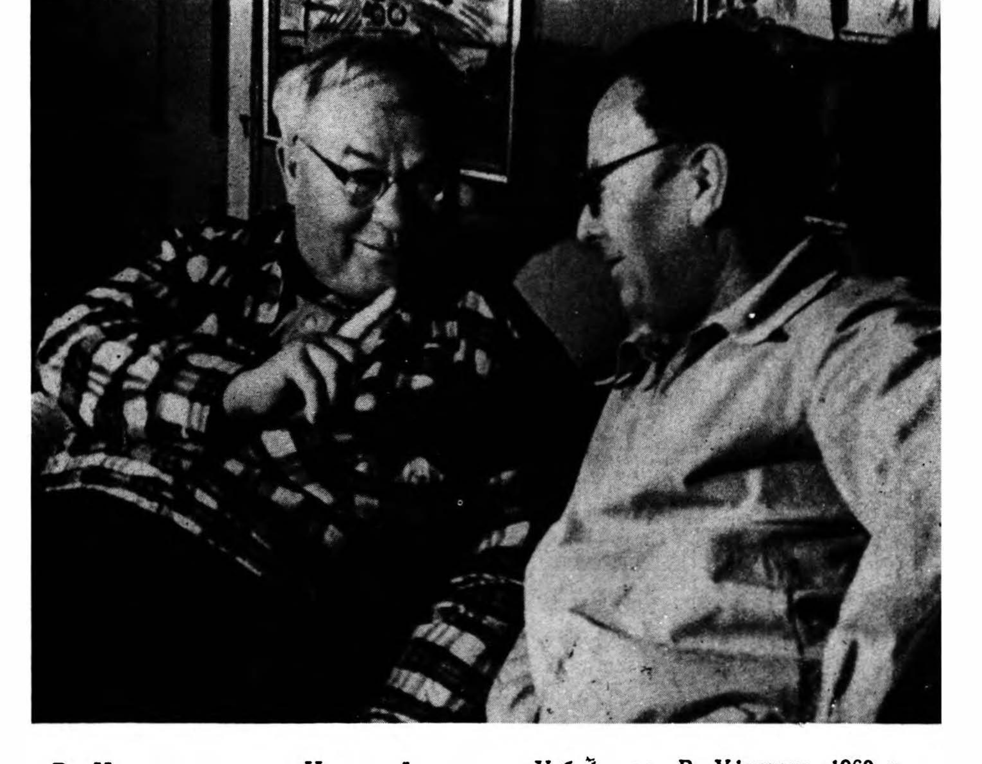
Вс. Иванов в Индии. 1962 г.

На заседании Государственной дипломной комиссии Литературного института имени Горького (слева направо): Вс. Иванов, Л. Климович, Б. Жгенти.

Вс. Иванов с сыном Вячеславом. Рижское взморье, 1948 г.

Вс. Иванов и академик П. Л. Капица, 1960 г.

Вс. Иванов в путешествии. 1958 г.



Вс. Иванов и его друг, Народный художник Узбекистана В. Уфимцев. 1960 г.

Вс. Иванов и К. Федин. Переделкино, 1963 г.

Слушая и читая воспоминания о нем преподавателей и студентов Литературного института, отчетливо представляешь себе его — разносторонне образованного, пусть и не окончившего ни одного вуза, но по полному праву получившего звание профессора и все же самого скромного и младшего среди всех.

Бывшие дипломники несут память о Всеволоде через все годы [1].

«Всеволод Вячеславович запомнился мне как добрый и серьезный защитник творческой молодежи от незаслуженных нападок», — пишет Ванцетти Чукреев.

«Всеволод Вячеславович, не будучи непосредственно моим творческим руководителем, прочитал все мои работы, как говорится, от корки до корки: и книжки, и рукописи, и прозу, и стихи; читал сам и читал внуку, как сообщил на кафедре в моем присутствии», — вспоминает Ефим Чеповецкий.

«Выступая, Всеволод Иванов заметил, что прочел мою книгу, не отрываясь, ночью, и уже одно это необыкновенно меня взволновало...» (Армен Зурабов)

«...первым по первой книжке моей (очень зеленой) увидел во мне то, что я сам только предугадывал, — и верой в меня заразил меня самого...» (А. Преловский)

«...вижу стоящего за столом председателя экзаменационной комиссии Всеволода Вячеславовича. Он задумчиво смотрел на нас, выпускников... И теперь он стоит таким в моей памяти, как бы говоря: творчество — дело строгое, оно требует всю глубину честности, силы — всю жизнь!» (горноалтайский поэт Эркемен Палкин).

«Всеволод Иванов — из племени одержимых искусством, — по натуре он был романтиком, человеком, верящим в святое. Только это святое было для него чисто земным, посюсторонним. Это прежде всего было литературой. Не знаю, много ли сегодня таких педагогов. Но уверен, что *одержимые необходимы.* Учитель не тот, кто учит тем или иным знаниям, а тот, кто *определяет судьбу.* Таким учителем был Всеволод Иванов. Он передал нам чувство, которое вечно жило в нем: веру в святость дела, которому мы посвятили себя. Это вытекало из его

---

[1] Приношу благодарность литературоведу Е. Л. Цейтлину, предоставившему мне возможность использовать его переписку с писателями — выпускниками Литинститута.

веры в жизнь, в человека, в прекрасное, доброе» (Асиф Эфендиев).

Анатолий Приставкин пишет:

«Вот что Всеволод Иванов сказал о «Записках моего современника», представленных как дипломная работа: «Я недавно побывал в Братске, проделав тот же путь, и должен сказать, что А. Приставкин очень добросовестный наблюдатель — он хорошо видит жизнь и не только любит ее, — любят многие, но и уважает, однако жизнь, пожалуй, им подслащена: в Братске обстановка гораздо суровее, но, по-видимому, молодость этого не замечает...» Этими словами он мне преподал урок серьезного, реалистического подхода к тому, что мы наблюдали в Братске. Сноска насчет моей молодости есть не что иное как снисхождение председателя комиссии к студенту-дипломнику, которому так или иначе необходимо защитить свой диплом. А вот упрек в подслащенном изображении жизни — это уже отношение, как я понимаю, большого мастера к своему молодому коллеге. Вот это суждение и было для меня важнее всего».

Дальше А. Приставкин приводит строки из законченной им повести, где есть глава «Урок Всеволода Иванова»:

«Писатель удивительный, глубоко порядочный во всех отношениях и почитаемый мною с юности, Всеволод Иванов производил на защите впечатление незабываемое. Он восседал в центре большого красного стола среди других членов комиссии — какой-то необыкновенно большой, массивный, похожий на старого льва. Как говорят, он прочитывал все дипломы выпускников Литературного института и писал на них лаконичные, в одну печатную страничку, отзывы. Но то, что мы знали друг о друге в течение пяти лет, он почти угадывал из немногих листов диплома и давал безошибочно точное суждение как о человеке, так и его способностях. Его отзывы были похожи на приговоры, в них можно было, при желании, увидеть и литературное будущее тех, о ком он отзывался».

* * *

Как я уже писала выше, Всеволод очень взыскательно и трудолюбиво отделывал свои рукописи, и архив его изобилует не только черновиками, но и вариантами.

На самых первых порах деятельности Комиссии по литературному наследству Всеволода Иванова было принято решение предлагать для печати (из не опубликованного при жизни) те варианты, которые автор довел до конца. Но есть случаи (например, роман «Вулкан»), когда автор довел до конца два варианта. Тогда члены комиссии читали оба варианта и большинством голосов решали, какой из них совершеннее.

Не завершенный автором роман «Сокровища Александра Македонского» насчитывает пять вариантов[1].

Тот вариант «Сокровищ», что частично опубликован, написан в сатирической манере; другой — в романтической; третий — в более реалистической; четвертый совсем фантастичен; пятый являет собой попытку сочетать реализм с фантастикой.

Всеволод не считал эпигонство литературой, а лишь ремесленничеством. Ему казалось чудовищным стремление писать, «как Толстой» или «как Достоевский», «как Чехов».

И, однако, он всю жизнь стремился постичь приемы, или, как он иногда говорил, «магию», их мастерства.

* * *

22 июня 1941 года Всеволод с утра работал, а когда он работал, у нас в доме не включалось радио.

Поэтому мы утренней речи Молотова не слышали, и о начале войны я узнала от Фадеева, встретив его и Степанову в поле, когда они поспешно шли на станцию железной дороги.

Я нарушила «табу» и ворвалась в кабинет к работавшему Всеволоду.

Дальше привожу его дневниковую запись от 24 июня 1941 года:

«Включили радио. Марши, марши и песни. Значит — плохо. А в два часа Левитан прочел речь Молотова. Весь день ходили друг к другу — с дачи на дачу.

Ночью приехали из «Известий». Я обещал написать статью и утром 23-го написал и затем поехал в Союз — заседать. Здесь выбрали комиссию и заместителей Фа-

---

[1] Один из них частично опубликован в журнале «Звезда Востока», 1967, № 1.

деева. Затем позвонили из Реперткома насчет переделки «Пархоменко».

25 июня Всеволод записал:

«... Позвонил Соловейчик из «Красной звезды», попросил статью, а затем сказал: «Вас не забрали еще?» Я ответил, что нет. Тогда он сказал: «Может быть, разрешите вас взять». Я сказал, что с удовольствием. В 12 часов 45 минут 25 июня я стал военным, причем корреспондентом «Красной звезды». Сейчас сажусь писать статью — отклик на события».

27 июня Всеволод записал в дневник:

«...Вечером — Войтинская звонит, говорит, что я для «Известий» мобилизован. А я говорю: «Как же Красная звезда»? Она растерялась. Очень странная мобилизация в два места».

В первые месяцы войны Всеволод был преисполнен деятельностью. Писал статьи в «два места» и более. Рвался на фронт, но его не пускали.

Переделывал с приехавшим из Киева Луковым сценарий фильма «Пархоменко» (хотя фильм больше чем наполовину был уже снят и Луков эвакуировался из Киева со своей съемочной группой и отснятой пленкой).

Кроме того, Всеволод кончал пьесу «Два генерала» и начал писать военный роман «Проспект Ильича».

В конце июня я уехала с младшими детьми в эвакуацию. Всеволод остался в Москве один. Потом к нему присоединилась старшая дочь Таня, которая вначале была со студенческой комсомольской организацией на уборке сена.

Устроив детей, я рвалась обратно в Москву, но Всеволод отговаривал меня. Он все время собирался поехать на фронт и писал мне: «Что ты будешь делать в Москве одна, без детей и без меня?»

В октябре я все же приехала из Чистополя в Москву, но через десять дней, взяв с собой Таню, уехала обратно с эшелоном отправляемых в эвакуацию писателей.

Всеволод опять отказался уехать из Москвы, но по моем возвращении в Чистополь, почти тотчас же, пришел вызов для меня и детей в Куйбышев, куда Всеволод был (хотя он и в этот раз не хотел ехать) вывезен с эшелоном Информбюро.

В Куйбышеве мы тоже недолго задержались, так как Лукову, находившемуся уже в Ташкенте и доснимав-

шему там «Пархоменко», срочно требовались новые переделки сценария.

Так мы попали в Ташкент.

Жили там очень трудно. Всеволод болел, но принимал участие в работе над фильмом «Пархоменко» и кончал роман «Проспект Ильича». Я все свое время отдавала общественной работе. Была председателем городской комиссии помощи эвакуированным детям.

* * *

Когда мы немного обжились в Ташкенте, начали отыскивать, по почте, друзей, раскиданных войной по разным городам.

Мне думается, что, приведя выдержки из полученных нами тогда писем и рассказав вкратце о том, что связывало Всеволода с каждым из корреспондентов, я дам хотя бы приблизительную картину дружеских связей Всеволода в тот период.

Хочется привести эти выдержки из писем друзей и потому, что многих из них уже нет и, следовательно, их голос может прозвучать в этой книге воспоминаний только в письмах.

Старейший «шеф» «Серапионов» Ольга Дмитриевна Форш, познакомившаяся со Всеволодом в двадцать первом году в Ленинграде, а со мной в тридцать первом году, в один из первых наших совместных со Всеволодом приездов туда, была большим другом нашей семьи до самой своей смерти и, приезжая в Москву, всегда останавливалась у нас.

Из Свердловска, куда ее забросила эвакуация, Ольга Дмитриевна писала нам в Ташкент 19 января 1942 года:

«...Очень радуюсь, что вы все вместе, это единственное сейчас счастье. Мы много всякого пережили и только недавно сносно устроились, т. е. у нас наконец тепло. Начинаю писать. Трудно, но думаю, преодолею. [...] Диму [1] перевели сюда на службу, оттого мы и приехали все в Свердловск. ... Здесь Финк, Ромашов, Верховенский (потерял дорогой весь чемодан и одну калошу), Гладков, Мариэтта [2]. [...] От Груздевых сразу несколько

[1] Д. Б. Форш — сын Ольги Дмитриевны Форш.

[2] М. С. Шагинян.

писем. Сидят у себя в квартире, как в окопе. Очень много работают по дому. [...] Илья тушит зажигалки. Живет часто на крыше...»

С Ильей Александровичем Груздевым и его женой Татьяной Кирилловной нас тоже связывала тесная дружба. Со Всеволодом дружба началась в двадцать первом году, а со мной тотчас же, как я стала женой Всеволода. Илья Александрович постоянно гостил у нас в Москве, а когда мы приезжали в Ленинград, устраивал нам пышные приемы, созывая к себе всех «Серапионов».

Ни Илья Александрович, ни его жена Татьяна Кирилловна не эвакуировались из Ленинграда, а прожили там всю блокадную зиму.

9 мая 1942 года Илья Александрович писал нам в Ташкент:

«Дорогие друзья, Всеволод, Тамара Владимировна, Кома, Миша, Таня! В первый раз я, приехав в Москву, в командировку, не вижу Вас, и Москва для меня словно пуста. Приехал я по делам наших организаций — просить помощь Ленинграду — и на днях лечу обратно — можно только воздухом. М. б., удастся «за кольцом» устроить подсобное хозяйство, что дало бы силы на лето и зиму. Вас, наверное, интересует Ленинград, но — как описать? За это время между нами прошли такие чудовищные глыбы, что как-то уже и не сообразишь, что написать, рассказывать можно было бы десять вечеров. Да еще на днях меня снарядом контузило, и от этого головные боли. Вообще — разваливаюсь. [...] Мне на работе в Ленинграде весьма и весьма досталось, да и сейчас все то же! Был в ред. «Лит. и иск.» в конюшнях Рябушинского, вышел на двор, посмотрел на заколоченный особняк, стоял и думал о Максимыче...[1] Сколько прожито, сколько видено! Пишите, пожалуйста, на Ленинград, если с летной оказией, то скоро м. б. доставлено. Обнимаю.

Ваш И. Груздев».

Прочные дружеские узы связывали Всеволода и с Константином Александровичем Фединым.

Живя в Ленинграде, Константин Александрович постоянно бывал у нас, когда приезжал в Москву, а пере-

[1] А. М. Горьком.

ехав в нее на постоянное жительство, стал частым нашим гостем. Мы дружим, так сказать, семейно.

Территориальная близость и на Лаврушинском, и в Переделкине еще укрепила давнюю дружбу Всеволода с Константином Александровичем. Константин Александрович дарил Всеволоду свои книги с такими надписями:

«Всеволоду с пожеланием счастья и жизни до ста лет!

Константин. 30/5 1930 г.»

«Милому Всеволоду с объятием.

Константин Федин. 1935 г.»

«Другу моему Всеволоду Иванову с любовью.

Конст. Федин.

Под новый 1958-ой год на дачах».

18 марта 1942 года Константин Александрович писал из Чистополя в Ташкент:

«Дорогой Всеволодушка, благодарю тебя за поздравление, за хорошее письмо, за телеграмму, за память! Не отвечаю тебе на поздравление с пятидесятилетием таким же поздравлением только потому, что твое пятидесятилетие — липовое [1]. Мое же — самое настоящее, и я сам к себе чувствую глубочайшее уважение, вступив в шестой десяток и вспоминая, как на третьем десятке постоянно думал о смерти и о том, что не доживу до двадцати пяти лет. И вот, дожил, и все еще живу, и все еще надеюсь, бог весть, что сделать.

Пока делаю пьесу! [2] Самую настоящую четырехактную пьесу для самого настоящего драматического театра. Работаю с небывалым увлечением, небывалым за последние годы. И думаю, что я вообще — драматург и что проза — моя роковая ошибка. Написал я покеда один акт, и мое зазнайство, моя заносчивость обратно пропорциональны количеству сделанного. Посмотрим, как буду я себя чувствовать на втором и третьем акте, кои считаю самым трудным местом пьесы, ее мясом, кровью и плотью замысла.

---

[1] По паспорту Всеволод Иванов родился в 1892 году, действительная дата рождения — 1895 год.

[2] «Испытание чувств».

Фадеев пишет из Москвы, что надо туда приезжать, а мне кажется — следует повременить. Я во всяком случае не поеду прежде, чем не кончу пьесу. Вот летом сделал я сценарий, и сейчас его ставят где-то в Сталинабаде. Все-таки какой-то прок от работы. А от повседневных статей и разных радиотерзаний ничего не осталось, кроме тягостных воспоминаний. Поэтому я и решил поработать над чем-нибудь пофундаментальнее.

Здешняя колония здравствует, и перемен особых в ней не произошло. Боренька Пастернак, такой же чудный и такой же м-м-мекающий, кончил перевод «Ромео и Джульетты», и все прослезились — так хорошо! С ним я встречаюсь очень часто и чувствую себя в его обществе вполне по-человечески. Ленечка Леонов приходит ко мне каждый воскресный день, дымит жутким горлодером, дергается, дергает меня, мятется духом и то скорбит, то ярится староверческой ярью. А в общем — мужичок разумный и крепенький. Старик Тренев отхворал воспалением легких, сильно постарел, и весь дом у него хворает. Асеев ходит с кошелкой на базар и посиживает, не сходя с места. Остальное человечество, мужское и дамское, борется с нуждою, которая здесь пока еще не предельная, однако все растущая и обещающая к началу навигации поравняться с худшими местами нашего отечества.

В начале пребывания моего здесь писал вторую часть воспоминаний о Горьком. Получается картина все более широкая, заключающая много портретов и размышлений. Наш путь, пройденный в замечательные годы, кажется мне сейчас зеркально ясным, и старики, и молодые идут по этому зеркалу бесшумно, гладко, с такой пластичностью, что я их ощущаю физически. Странная вещь воспоминание! Конечно, это — мать искусства.

Передай Пешковым, что я надеюсь сделать книгу о Горьком такою, чтобы Алексей Максимович предстал в ней великим не по произволу, а по необходимости. Этот человек научил нас понимать историю, и мы отточили свой взгляд в общении с ним и видим все очень далеко, очень остро и, по-моему, очень верно. Эпоха, которую я беру, необыкновенно увлекательна. Так как мы, наше поколение никогда не умело, не могло и поэтому не хотело переписываться, то из наших писем в будущем никто не поймет ничего, а это обязывает нас к тому, чтобы

вместо писем мы оставили воспоминания, в которых рассказали бы о самом важном для нашего поколения.

Передай привет Пешковым, Толстым, Погодиным. Поблагодари их за поздравление. Поблагодари Тамару Владимировну за память и нежность. Придет время (если оно придет), когда мы сядем за круглый стол и за бутылкой рислинга, да нет, за дюжиной бутылок рислинга, вспомним о том, что происходит сейчас. И наше время покажется нам таким же волшебным, каким кажется сейчас наш петербургский период, наша молодость. Поднимаю мысленно за тебя и за всех, кого я здесь назвал, страшный стакан, страшную посудину вина! Будьте здоровы! Так хочется выпить, ужас!

О Москве очень много знаем и очень много слышим, так же как о Переделкине. Всего не расскажешь. Все это в сфере каких-то надежд и ожиданий. Прошлое смешалось с будущим, и вера в будущее — наше главное утешение.

О Ленинграде приходит тоже много известий. Бедные земляки, тяжко им пришлось! Об этом ничего написать нельзя. Поговорим же мы когда-нибудь, в самом деле!.. Известно, что в Ленинграде остаются по-прежнему Илья, Вячеслав Яковлевич Шишков и сейчас вернулся туда же из Москвы Николай Тихонов, он же — Денис Давыдов. Умер Сергей Семенов. Союз писателей из Москвы послал ленинградцам грузовик посылок, очень хороших и сытных, и посылает еще грузовик. Словом — все понятно. ...

Знаешь, Всеволод, я до сих пор не могу добиться, где Иван Сергеевич[1] с семьей? Как я люблю этого человека и как мне больно за него! Само собой, и я вспоминаю пивную на Серпуховской площади, где мы с ним и с тобой распивали такое великолепное пиво. А разговоры, а наши ожидания, которые — увы! — вот и оправдались!

Будь здоров, обнимаю тебя, перестань хворать — это тебе не идет. Тамаре Владимировне целую ручку, детям старшим и младшим кланяюсь. Ниночка здорова, Дора Сергеевна похудела настолько, что больше уже не может худеть. Если ее положить в стопу бумаги, то она займет места не больше одного листа. После этого на

[1] И. С. Соколов-Микитов.

ней остается написать письмо и поставить кляксу. Что я и делаю.

Целую, обнимаю, друг!

Твой Константин Федин».

* * *

«9 мая 1942 г.

Чистополь.

Милый Всеволодушка, здравствуй!

Жив ли, здоров ли? Поправился ли после недавней хвори? Я все время недомогаю, исхудал и помолодел основательно, так что охотно начал бы жить по-новому, на какой-нибудь неизвестный лад, не по-чистопольски... Пишу усердно, кончаю пьесу. Право, хорошо получается! К июню надеюсь совсем кончить и уеду в Саратов, куда меня зовет МХАТ — читать ему пьесу. Из Саратова предполагаю в Москву. Зачем? — Неясно. Отчасти из-за пьесы, отчасти из-за невнятных надежд на нечто прекрасное. ...

Очень тяжко все, что я знаю о Ленинграде. Умерло много близких друзей, множество знакомых, у жены — пятеро родственников. Одних людей писательской профессии — 71 человек, по сведениям, только что привезенным из Москвы. ... Думаю, что в истории не бывало бедствия такого размера, как Ленинград. Будем ждать. Обнимаю тебя. Горячий привет Тамаре Владимировне и ребятам. Напиши. Чистополь остается моей резиденцией. Союз я рад бы забросить. [. . .] Устал предельно, вот-вот свалюсь.

Очень кланяюсь Надежде Алексеевне и Екатерине Павловне [1]. А также Алексею Николаевичу [2].

Хороша, знаешь ли, Кама сейчас — нету края... И воду пьем густотемную, как лауреатский шоколад.

Твой Константин.

Как и что пишешь?

Погодиным приветствия от всей семьи».

---

[1] Пешковым.

[2] А. Н. Толстому.

В Переделкине мы были ближайшими соседями не только с Фединым, но и с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Дачи расположены так: № 2 — Федин, № 3 — Пастернак, № 4 — Всеволод Иванов.

Постоянно сходились то у одних, то у других. Читали и обсуждали вновь написанное и еще не изданное.

В Ташкент Борис Леонидович писал нам из Чистополя:

«12/III 42. Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод! Удивительно, сколько времени лишаю я себя удовольствия написать Вам. Делал я это ради работы, и это стоило мне большой выдержки. Каждый раз, как тут являлось что-нибудь новое, мне всегда хотелось записать это для Вас, и попутно и для себя занести на память. От этого и отказывался.

Так, мне хотелось написать Вам о великолепии здешних холодов, которое все заметили. В ту войну я две зимы прожил на Урале и в Вятской губ. Всегда кажется, в особенности когда грешишь искусством, что твои воспоминания прикрашены и разрослись за тридцатилетнюю давность. Нынешней зимой я убедился, что гиперболизм в отношении впечатлений того времени был уместен и даже недостаточен.

Потом, когда сложилась наша правленческая пятерка, мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большой гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятерых объединили как по уговору.

... Все очень постарели и похудели, а здоровье Федина, — по-прежнему, моей старейшей привязанности, даже внушает опасенье, но нравственная новинка, о которой я говорю, праздником живет в нас.

Смело держится и интересно работает Асеев. К. А.[1] пишет дальше свою книгу о Горьком, причем что ни новая тема, то все лучше. Мы устраиваем по средам литературные собрания. Федин открыл их чтением своей книги, прошедшим с огромным успехом. На них с бесподобным блеском выступает Леонов, и т. к. в компании нет Ник. Федоровича[2], то иногда позволяю себе говорить и я.

... Наряду с оконченной «Ром. и Джул.», я должен

[1] Константин Александрович Федин.

[2] Н. Ф. Погодин.

буду приготовить избранного Юл. Словацкого. Когда я его окончу, я, может быть, повезу рукописи продавать в Москву. Мне хочется сделать это до навигации, потому что, не предрешая этим конечного исхода войны и судьбы Москвы, я думаю, что вместе с пароходным сообщением осенние волны на Восток повторятся и через месяц-полтора двигаться навстречу этому потоку будет невозможно. Разумеется, как бы ни сложилось мое пребыванье в Москве, если я туда попаду (я также хочу постараться попасть на фронт), я потом вернусь к Зине и детям. [. . .]

Что-то важное и интересное надо было сообщить Вам, но это-то именно я и упустил, но не могу вспомнить. От души желаю Вам всего лучшего.

Преданный и любящий Вас *Б. П.*

Кланяйтесь, пожалуйста, семьям Чуковских и Погодиных и, если известите меня о получении письма, сообщите, что и как Ахматова, а также приложите ее адрес...

И весь Чистополь кланяется Вам. Вам обоим и детям».

«8/IV 42 г. Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Сегодня я окончил вторую заказную работу (перевод избранного Ю. Словацкого) и, хотя это черновик, требующий отделки, решил отдохнуть и весь день доставляю себе удовольствие. Я расчистил дорогу к сараю, заваленному снегом до крыши, сходил на почту, отправил Алику деньги, прозевал раздачу хлеба и остался на бобах (какое неподходящее выражение!). Кто бы не согласился испытать его фигуральность в грубейшей дословности? Пока я не взялся снова за работу, я хочу написать Вам и Жене.

Повода два. Мне хочется сообщить Вам одну радость и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела. Итак, сначала первое.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу, неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немного казенного конца. Действие в городке за несколько часов до занятья неприятелем и во время занятия, угловатые и крупные характеры, предательства, «метаморфозы», странные и отталкиваю-

щие загадки с непредвиденно высоким разрешеньем, мертвецы, бывшие люди, немецкое командованье, все выпукло, близко, отрывисто и страшно, и какой-то не свой [. . .] конец, неправдоподобный не по благополучью победоносного исхода, а по душевной незначительности, которой он обставлен, в особенности после такой густой и горькой вязи, как в начале.

Между прочим, после чтенья, из отчета Живова в «Лит. и Иск.» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о толстовском Грозном. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношенье лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика звучащих и так резко противопоставленных Толстым и Иванов и Курбских [. . .] Но это у Вас все рядом, Вы, наверное, другого мненья, и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь. Я же нахожу это поразительным [. . .] и не перестаю поражаться.

. . . Но простите, это — пустословье, я заговорился.

Теперь другое. Вот о чем я хотел посоветоваться. Здесь становится голодновато. Время передвижений, произойдут перемены и перемещения. Может быть, следует подумать и что-то предпринять. Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. Прежде всего меня пугает переезд. Ничего ни в Москве, ни в Можайском направлении так не боялся, как железнодорожной сыпнотифозной вши. Во мне утвердилось представленье, что это нас не минует. Потом мне кажется, что каким-то ходом личных настроений и событий мы на лето будем так же разлучены с Вами, женами и семьями, как прошлый год, и при этом условии мне хотелось бы Зину и детей оставить в знакомом и изученном месте, благодаря множеству положенных усилий приобретшем характер лагеря или стана. Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существованье интерната и детдома, и все развалилось бы. Итак, нужно ли и мыслимо ли перевозить оба дома Литфонда в Таш-

кент, для того, чтобы я и Зина позволили себе это в отношении Стасика и Лени? Здесь довод личный и общий совпадают и делают этот вопрос в моих глазах праздным и неосуществимым. И хотя это так, все же, если у Вас будет время, напишите мне свои соображения на этот счет. [...]

Простите, что заканчиваю неряшливо и второпях. Если будете писать о Ташкенте, будьте трезвы и объективны, — простите за самонадеянность, но я верю, что с разной силой, но одинаково искренно Женя, Вы и Погодины были бы нам рады в Ташкенте, но дело не в этом.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марусе и всем знакомым.

Ваш Б. П.»

С семьей Кончаловских нас связывала многолетняя дружба, длившаяся до самой их смерти.

Петр Петрович дважды создал портреты Всеволода (до войны и во время войны); также создал он в 1940 году портрет нашего сына Комы. Всеволод любил творчество Петра Петровича и неоднократно писал о нем.

Привожу выдержки из письма Ольги Васильевны, жены Петра Петровича и дочери художника Сурикова:

«21/IV 1942 г.

...Мы живем в квартире Макс. Петр[1] (где газ — элект. и отопление), который эвакуировался в Куйбышев в декабре. Наша квартира на Конюшковской заморожена до весны. Мастерская ничего, работать можно, хотя стало холоднее. П. П.[2] написал там Юмашева, в очень красивом летном костюме: портрет в стиле Дениса Давыдова. Сейчас П. П. начал большую картину, но уже дома, т. е. можно работать и вечером. Жизнь в Москве кипучая, все сюда стремятся. Но все же страшно временами и тогда хочется уехать. [...]

У нас утром работа, потом обед в ЦДРИ — хочешь или не хочешь: но погода приятная и там «tont le monde» и все, все, все и даже весело. Потом какое-нибудь деловое собр. у П. П. и, наконец, дома — чтение огромного

---

[1] Максим Петрович Кончаловский — профессор медицины, брат П. П. Кончаловского.

[2] Художник Петр Петрович Кончаловский.

количества самых интересных книг: приходят вечером друзья иногда, но главное — это книги. [...] Мы так никуда и не ходим, хотя чудное газоубежище внизу, как-нибудь пойдем...»

Лидия Николаевна Сейфуллина, многолетний наш друг, тоже писала нам в Ташкент из Москвы 10 августа 1942 года:

«...Я работаю много, но неприметно. [...] Еле выкручиваюсь на свой заработок. Поэтому пишу для заграницы в Совинформбюро и Ин. секции радио безымянные листовки. Ездила в Муром Горьк. обл. Там читала лекции на курсах Усовершенствов. команд. состава (Кукс), потом на фронт. Была в полутора километрах от линии огня, но во время затишья. Шла только артиллерийская дуэль. И описывала медпомощь в медсанбатах и полковых пунктах медпомощи для Военно-Санит. Упр. РККА. Дома — грустно, одиноко и бедно. Друзей нет. Все живут своими кланами. Налетов нет. Отбивают далеко за Москвой. Писательское питание умеренное, но не плохое. Настроенье — общее в Москве весьма спокойное. Мне даже не нравится. [...] О своей даче Вы уже знаете — одни колышки остались, сгорела. Афиногенова и моя целы, но во всех дачах, даже у Афиног., живут не писатели, а военные. Я не была ни разу. [...] Жизнь летит, я не успеваю поворачиваться. Конечно, потому, главным образом, что сильно постарела, похудела вдвое, но это облегченье. Однажды попала под грузовик, осталась опухоль правой груди, но ребра целы. Пролежала всего десять дней. Вот что значит, об дорогу не расшибешь! Целую вас крепко, низко кланяюсь Всеволоду и всей Вашей семье. Очень прошу, напишите мне. «Пархоменко» — чудесная картина!

Л. Сейфуллина»

Мы жили в Ташкенте той же тяжкой эвакуационной жизнью, что и наши друзья в Чистополе, Свердловске и других городах.

Всеволод хворал в Ташкенте, но работы ни на один день не оставлял. За неполный год ташкентской жизни (с декабря 1941 по октябрь 1942 года), кроме переделок доснимавшегося «Пархоменко», он закончил роман «Про-

спект Ильича», пьесу «Ключи от гаража» или «Волшебный ковер», сценарий «Хлеб».

Часто уходил в странствия. Обычно его спутником был старший сын Миша. Они шли пешком в горы. Оставались там по нескольку дней.

6 апреля 1942 года Всеволод записал в дневник: «Окончил роман «Проспект Ильича». Испытываю живейшее удовольствие от этого события».

Осенью 1942 года мы уехали в Москву, оставив детей в Ташкенте.

Привожу выдержки из писем Всеволода — сперва детям, а потом мне, когда я уехала обратно, потому что дети заболели тифом.

«13 ноября 1942 г.

Дорогие ребятки Комка и Мишука!

В Ташкент едет Лидин, и мы воспользовались случаем переслать вам письмо, — подробное и ясное.

Ну, во-первых, — о моем романе. Положение более или менее прояснилось: роман, в основном, принят «Новым миром», я кое-что в нем подчищу — незначительные незначительности, которые надо уладить [...]».

«10/I 43 г.

Дорогая Тамара и дети! [...] В «Новом мире» роман отказались печатать, мотивируя тем, что роман «надуманный». Что же они думали, когда три месяца назад писали мне, что роман хороший? [...] Отдельное издание? Не знаю, редактора Военмориздата прочли роман и высказались за печатание. Решение, однако же, выносит гл. редактор, которому мнение редакторов будет доложено, — значит, все дело в том, найдет ли этот редактор возможным печатать у себя роман с тематикой не совсем морской. Дело вкуса и, наконец, дело его смелости. Во всяком случае, у меня надежд мало. «Комс. правда» мямлит, — и, видимо, не сегодня-завтра скажет мне — «спасибо за доставленное удовольствие».

А я недавно, через Совинформбюро, как дурак, дал интервью в английские газеты о своем романе, да еще напечатал в «Учительской газете» изложения, которые ты видела. [...]

Ну, извини, что посетовал, — что поделаешь, — есть склонность!..

Сетовать сетую, но писать я пишу Написал еще статью в «Гудок». [...]

Не огорчайся и не огорчай других. Я говорю о романе. Я бы не стал тебе писать, если б у тебя, в связи с печатанием романа (как и у меня), не возникли иллюзии. М. б. его в Ташкенте все-таки напечатают?

Все остальное, — кроме судьбы романа, — вполне благополучно. Целую.

Всеволод»

Уже по письму от 13 января 1943 года видно, что Всеволод преодолел горечь от неудачи, постигшей его роман, и опять полон творческими планами:

«...Интересно, вышла моя книжка «Матвей Ковалев»[1] в «Сов. писателе»? Возьми авторские. Там же возьми авторские «Рассказы бойцов» и тот юбилейный Альманах, который редактировал И. Лежнев.

Вот, кажется, и все мои пожелания.

Чаша весов искусства заколебалась!!! Меня опять потянуло к писанию романа «Кремль». А может быть, писать сразу два романа? «Кремль», скажем, четыре страницы, а «Сокровищ» — сорок в день? Ведь так возможно? [...]»

«*14/I 1943 г.*

Дорогой Миша!

Позавчера видел сон. Мы где-то в горах отдыхаем. Вдруг вылетает красивый фазан. Я стреляю, — и вдруг вспоминаю, что фазанов запрещено стрелять, — и от ужаса просыпаюсь. Что сей сон значит? Ты как мистик и скептик должен растолковать.

Я по-прежнему здоров и весел. [...]

Ну, Москва в инее, даже галки и те... впрочем, кажется, галки на зиму улетают? Словом, это были воробьи. Они катаются на салазках, и лапки у них, — от мороза чтоб сберечь, — завязаны тряпками. Из форточек, от времянок идет дым, похожий на туман, т. к. дрова в большинстве сырые. Я шел по улице Горького к Красной площади, от инея музей, Кремлевские башни (чуть было не написал куранты) и стены были словно в пуховой рамке. Бабы в стеганых штанах, куртках и солдат-

---

[1] Глава из романа «Проспект Ильича».

ских шапках чистили площадь, шли троллейбусы, и словом, была Москва как Москва.

А я шел и думал — к чему бы это мне фазан приснился? Наверное, к счастью, потому что неприятностей у меня и без того много.

Целую. Твой отец — Эклектик».

«*14/I 1943 г.*

Дорогой Кома!

Сегодня приобрел пять томов «Граната», все в хорошем состоянии. Так что моя библиотека пополняется значительно. [...]

Чувствую себя хорошо — физически. Окреп. Поздоровел. Помолодел. Ежедневно принимаю горячие ванны с мылом (мыло кусок — двести рублей уже), ем на завтрак бифштекс, пью какао и, взяв свою собаку, иду гулять. Но иногда выезжаю, для разнообразия, на лихаче... Впрочем, иногда для разнообразия обедаю и завтракаю в ресторане. Так что моя материальная жизнь бьет ключом. Ну, и духовная, конечно. Роман мой печатается сразу в семнадцати журналах и ста семидесяти газетах — не считая иностранных, конечно. Он выходит в сорока двух изданиях, одно из них на веленевой бумаге, с рисунками Густава Доре, отредактировано Оноре де Бальзаком и Г. Флобером. Консультировали Лев Толстой и Ал. С. Пушкин!

Чего и тебе желаю!

Целую — твой классик-отец».

«*17/I 43 г.*

Дорогая Тамара!

У нас все идет заведенным мною порядком. Телефон звонит по-прежнему только от меня. Я сижу дома, всунув ноги в мешок из волчьего меха, — подобно герою Джека Лондона, — и пишу статьи, поругивая редакторов журналов и издательств. Дуня ходит за жалкими обедами в Союз, по воскресеньям бывает роскошная еда с базара, а равно и выданная по карточкам. Вечером я читаю книги об Ал. Македонском и «Оправдание добра» Вл. Соловьева, которое, как выясняется, не есть оправдание добра вообще, а оправдание христианского добра, причем он вычеркнул даже буддизм и Платона, с чем я не согласен, и что, наверное, ужасно важно сейчас. Ко

мне не ходит никто, как ни странно, но тому причиною отсутствие телефона. Раза два забегала Н. П. Гусева, встревоженная тем, что я не иду к Романченко за пропусками. Но я не иду и потому, что больна Войтинская (она появится в редакции 18-го, и я тогда пойду туда со статьей), и потому, что ребятам, конечно, надо поправляться не меньше месяца. [...]

Но так как сегодня я получил телеграмму, что едет Таня, то надо думать, что дети действительно поправляются. Это меня успокаивает лучше всего. А что касается «Проспекта Ильича», то разве мало у меня ненапечатанного? Подумаешь! Ничего не стоит. Целую. Желаю всего хорошего! Всеволод.

Отправляете ли книги? Пора. Их так много. Привет всем.

Всеволод»

И дальше:

«26 января 1943 г.

... Собирался поехать на фронт. План был такой. Сесть в гор. Горьком в эшелон с танками и сопровождать его до фронта. Пробыть там дня три-четыре и вернуться поездом с ранеными.

Таков был план мой, предложенный «Гудку» и им вполне одобренный.

Но прошло уже недели две, как я предложил план и как его одобрили, хлопочут о пропусках, а дело все ни с места.

Даже возможно, что меня вообще не пустят.

Не потому, что я «шпиён», а потому, что опасаются (так надо полагать), что какая-нибудь шальная бомба убьет вашего отца и благодетеля.

Так, по крайней мере, сказала мне сегодня Войтинская, которая предложила мне поехать в Курск и которой я сказал в ответ на ее предложение:

— Очень хорошо. Давайте послезавтра я поеду.

— Нет, В. В., послезавтра вас никто не пустит. Мы за вашу жизнь отвечаем. Сейчас это еще фронтовой город, но вот недельки через две...

А через две недели, надо полагать (если дело пойдет такими темпами), возьмут Днепропетровск, и тогда она скажет:

— Не хотите ли вы поехать в Днепропетровск?

Я скажу:

— Да, послезавтра.

Она скажет:

— Нет, В. В., послезавтра вас никто не пустит. Мы за вашу жизнь отвечаем. Сейчас это фронтовой город, а вот недельки через две...

А через две недельки...

Но так как в нашей стране все удивительно, то не удивляйтесь, если получите сообщение, что я уехал.

Я, таки, могу уехать! [...]

Относительно моего состояния.

Писать пишу только статьи.

Для романа «А. Македонский» придумал много. Но написал кое-что. Не нашел еще стиля, как писать.

И не нашел особого желания.

К тому же устаю.

Даже настолько, что вот писать короткими строчками, как Влас Дорошевич или Виктор Шкловский, мне доставляет удовольствие.

Проработаю два-три часа, и в голове шум такой, как будто что-то из нее вылили, а нового не налили. [...]

Целую крепко и надеюсь, что скоро встретимся, и я вас порадую какими-нибудь сногсшибательными сообщениями, относительно нашей и всеобщей увлекательной жизни.

Всеволод»

* * *

В апреле 1943 года, когда я с сыновьями приехала в Москву, Всеволод был на фронте под Вязьмой.

Он оставил такое письмо:

«1/IV 1943 г.

Дорогая Тамара и дорогие дети, увы.

В последние минуты перед вашим приездом меня охватило раскаяние, и я бежал на фронт.

Пусть пуля варвара смоет с меня все грехи!

Мне иначе жить невозможно.

Я растратил все наши сбережения, вместо того, чтобы отдать их в фонд обороны. Пропил бриллианты и продал всех лошадей. Кроме того, — сознаюсь, — я проиграл Л. Никулину в банк 800 000 рублей, и все твои собольи

палантины, несчастная Тамара, и ваши фамильные бриллианты, мои драгоценные дети, тоже проиграны Никулину, и только отчасти пропиты.

Ну, как мне не бежать!

Как не стремиться к Днепру и прочим берегам нашей отчизны?

Эта причина, — позорнейшая страница моей жизни, — и увела меня от вас накануне вашего приезда.

Мишка! Марки на твоем столе.

Комка! Смотри словари, восхищайся и читай газеты. Но, и помимо газет, Таня может тебе объяснить кое-что на словах о том, что происходит в Германии. Дальнейшую информацию получите, когда приеду и сообща вызовем Никулина!

Старушка Пешкова [1] ждет с нетерпением мамку, чтобы совместно воспитывать деточек, которые без старушек склонны курить и выражаться словами, редко употребляемыми Совинформбюро. [...]

Больше недели ездить не собираюсь. Конечно, если командование предложит мне пост командира армии, я не откажусь и тогда вернусь не скоро. Но мне кажется, [...] такого поста мне не предложат. [...]

Меня лечили хвойными ваннами. Было прописано шесть, я принял три и уехал на Зап. фронт. И это хорошо, потому что, если б я принял все шесть, я бы мог уехать в Тунис. [...]

Спешу в машину. [...]

Поэтому надо набираться впечатлений.

Но сколько ни набирайся, на Союз пис. не угодишь. Мы пережили эвакуацию, бегство, голод, тиф, а в Союзе писателей, — на последнем совещании, — все еще говорят, что писатели мало знают жизнь.

Целую вас крепко».

Вернувшись в Москву, Всеволод написал в дневнике:

«10/V 1943 г.

Всю поездку на Западный фронт записал. [...] Два дня по приезде оправлялся от кошмара, который я видел, и вот ныне — опять мысли о «Сокровищах Александра Македонского».

---

[1] Екатерина Павловна Пешкова во время войны организовывала различные комиссии помощи детям, в работе которых я принимала участие.

* * *

Не писать Всеволод не мог. Творчество было для него необходимее воздуха; вернее сказать, оно-то и было тем воздухом, которым он дышал.

К материальным нехваткам Всеволод относился всегда совершенно беспечно. Он был в этом смысле крайне нетребователен, материальные трудности даже веселили его, обостряли иронию.

Лето 1943 года мы провели в Переделкине, на даче у Сейфуллиной.

Семья Сейфуллиной была еще в эвакуации, поэтому Лидия Николаевна и предложила нам занять временно ее дачу.

Денег у нас не было, и, соответственно, есть было нечего.

«*1943 г.*

Из Переделкина в Москву.

Е. В. П-ву Т. В. Ивановой.

От пребендария Всеволода.

Дорогая Тамара!

Здесь произошла крупная неприятность. Не знаю, как про нее и написать.

Дело в том, что грачи не дают мне покою. Они сожрали весь горох, выплывший на поверхность, и теперь требуют еще добавки. Я человек вежливый, понимаю, что такое голод, но гороха у меня нет, а грачи невероятно ругаются, обзывают меня всевозможными именами и вообще происходит черт знает что.

Помидоры принялись и уже выше человеческого роста. Горох на грядке, посаженный Николаем Владимировичем, догнал их и требует хозяина. Я боюсь, что это не горох, а хмель. Надо бы выяснить и пригласить ботаника. Пусть Комка там прочтет соответствующую литературу, пока у него есть время.

Остальные посадки в земле. Думаю, что к осени выяснится, что это за происшествие.

Спасибо за газеты. Я всецело согласен с рецензиями относительно «Нашествия», потому что нашествие Леонова на театр, слава богу, не немецкое нашествие и ничем нам не грозит, опричь плохих рецензий, которые завтра забудутся всеми, кроме благодарного автора, —

я знаю по собственному опыту, ибо до сих пор помню Авербаха, что на единственную рецензию по поводу моей пьесы «Компромисс Наиб-Хана» написал — «такие компромиссы нам не нужны».

Работа моя над повестью идет очень успешно. Я уже написал четыре строчки в начале и две в конце. Осталась середина — дело пустяковое.

Курица уже варится. Мишка внес ценное предложение — откопать спаржу и вкатить в суп. Я сказал, что если мы туда добавим дубовых листьев, — они, наверное, по вкусу похожи на лавровые, так как те и другие идут на венки победителей, — то будет совсем хорошо. Если в результате этого супа ты, подходя к дверям нашей комнаты, услышишь вонь, то знай, что не от наших протухших трупов, а от курицы, до которой мы не осмелились дотронуться.

Полы не мыты, и мыть их не будем! Хватит того, что мы умываем лицо по утрам. Пол не лицо, подождет.

Кроме грачей, меня никто не посещает. Тетка перерыла весь участок, насадила картофеля и уехала.

Я вас всех приветствую и остаюсь ваш покорнейший слуга.

Всеволод.

2/IV 43.

Стан в Переделкине.
У Сейфулихи».

* * *

Летом сорок третьего года Всеволод поехал на Орловско-Курскую дугу.

Уезжали большой группой — Серафимович, Федин, Пастернак, Симонов, Серова, Р. Азарх, Березовский. Набились в «додж» до отказа. Серафимовича посадили рядом с шофером, а Всеволод примостился около него — на крыле.

Письмо с фронта (Орловская дуга):

«*31/VII 1943 г.*

Ехали с трудом, ибо дорога избита, пыльна, а под конец пути — дождь. Мы были в гор. Черни, Мценске,

Орле, Карачеве и лесах Брянских, возле которых и живем.

Березовский, сверх ожидания Тамары, оказался вполне дельным человеком, я верил — армия дельна. С бытовой стороны мы живем идеально, говоря, конечно, об идеальности, возможной на фронте. Эти дни жили при штабе армии, видели очень многое, а увидим еще больше. Завтра с К. Фединым уезжаем в гости в дивизию, которая брала Орел. Кормят нас так хорошо, что и описать невозможно, но, во всяком случае, Комка был бы в необыкновенном восторге. Мишка был бы в восторге от пейзажей, — особенно с «У-2», на котором я сегодня катался, и собираюсь покататься подальше.

Ну, еще что?

Статью в «Известия» я напишу из дивизии, да и всю работу по книжке я думаю покончить здесь.

О быте расскажут Симоновы. Тебе, Тамара, ехать сюда незачем, так как дорога очень утомительна, хотя машина, нас везшая, «додж», крайне хороша, но все же ехали мы к месту назначения два дня.

Пишу перед деревенской избой, вокруг неубранные поля (не хватает рабочих рук), сижу на пружинной кровати — мы только что, вместе со штабом переехали на новое место, и кровать не успели внести в избу.

Серафимович оказался чудным старикашкой, очень бодрым, веселым и товарищеским. [. . .]

Такова моя жизнь. Думаю, что числа 15 сентября приеду в Москву, если не задержат события, которые мне хочется посмотреть — какой-нибудь хороший населенный пункт, только что освобожденный от немцев.

Привет всем! Поцелуй.

Всеволод»

В 1944 году Всеволод кроме газетных статей написал целый цикл фантастических рассказов и повестей, которые опубликованы посмертно: «Сизиф» («Наш современник», 1965), «Агасфер» (газета «Звезда Прииртышья», 1965), «Опаловая лента» («Волга», 1966), «Пасмурный лист» (Библиотека «Огонек», 1966).

В начале 1945 года Всеволод уехал на Западный фронт. Показательны для Всеволода дневниковые записи перед самой поездкой. Как всегда, как в любой момент своей жизни, он и тут думает о литературе.

«5 марта 1945 г.

...Мне предстоит совершить поездку на автомобиле до 1-го Белорусского фронта. Позавчера позвонил фотокорреспондент Самсонов, в машине которого я поеду, и сказал, что разрешение на мой выезд ПУРом выдано и что в понедельник нужно получить. [...]

Фотокорреспондент настаивал на отъезде во вторник. Я не возражал. Но вот уже второй час дня, а о нем ни слуху ни духу».

«6/III.

...Солнце. Тепло. Снег. Дым из труб стоит прямо, как стекло. Сижу и звоню Боеву в ПУР, пытаясь получить командировку. Фотограф звонит ко мне. Боев говорит: «Через часик» — и уходит. Я звоню ему подряд часа три, а в промежутки читаю «Путевые картины» Гейне. Он презирал мещан, восхищался пейзажами и торсами дам. Ум блуждающий и забывчивый. Н. Карамзин, которого я прочел недавно: «Записки русского путешественника», и возвышенней, и проще, а главное — не презирает земли, несмотря на то, что это занятие и достойное художника и недорого стоит».

Письма с фронта:

«25/III 1945 г.

Дорогая Тамара!

Лев Исаевич Славин расскажет тебе подробно о моем житье-бытье. От себя скажу, что я только что освоился с обстановкой и начал глядеть на все удивительное, окружающее меня, не столь широко раскрытыми глазами. Это обстоятельство мешало и писать. Сейчас ум мой отрезвел, и я надеюсь, что больше увидишь в печати моих наблюдений и выводов. Кстати, попрошу позвонить в «Гудок» и сказать, что я удален от железной дороги и на нее попаду недели через две и тогда только смогу написать им.

Товарищи по работе, среди которых я живу, относятся ко мне хорошо, и я вполне всем доволен. [...] Обмундирование я получил, а машина моя не хуже погодинской. Что еще желать смертному?

Славин скажет тебе номер нашей полевой почты, и ты сможешь написать письмо. Я пробуду здесь еще никак не меньше месяца, так как дело, которое я хочу описать, еще и не начиналось. Письма же сюда идут семь-восемь дней.

В Москву, если разрешат обстоятельства, думаю приехать машиной, заехав, кстати, в Минск и Оршу с тем, чтобы написать о Заслонове.

Вот и все, что могу сказать. Остальное надо описывать при встрече.

Вчера был на приеме у маршала [1]. Беседа продолжалась полтора часа. [...]»

«3/IV 45.

Польша.

...Хотя и видел многое, но это многое никак не уложить в письме. Придется перенести это к устному рассказу. Надо дать и пейзаж, и характеры, и общее настроение. Одно только скажу — все это необыкновенно, прекрасно и потрясающе! Не знаю, как удастся описать это, но видеть чрезвычайно любопытно и интересно.

Живу я по-прежнему в том же городе, кое-куда выезжаю. Может быть, Л. Славин сказал тебе, что накануне его отъезда я поехал к генералу Крюкову. Я провел у него неделю. Он принял меня необыкновенно хорошо и так радушно, что признаться, у меня от этого радушья, в конце концов, заболел живот, и по приезде домой я почти беспросыпно спал целые сутки. И вовсе не от водки: если я и пил, то только вино.

Помимо угощения, разумеется, я посетил части, — встречался с любопытнейшими людьми, и записал много. Сейчас думаю сделать очерк о кавалерии. ...

Работаю много. — Что еще? Все!»

«13/IV 45 г.

...Я по-прежнему нахожусь в полном здравии и благополучии.

Езжу и вижу много.

Видел много любопытных и замечательных людей. Равно как и замечательные места. Скоро увижу еще больше.

---

[1] Георгий Константинович Жуков, командующий фронтом.

Когда домой? Думаю, скоро. Наверное, в начале мая.

Очень меня огорчила и прямо ошеломила смерть Кити Шкловского[1]. Такой милый, чудесный парень! И бедный Виктор! Передай ему, пожалуйста, мой привет и соболезнования. Мне очень жаль его.

У нас здесь народу много. Журналистов собралось 33 человека, от разных газет, а кинематографистов, собирающихся снимать взятие Берлина, — свыше сотни. Настроение бодрое, приподнятое.

Весна. На каштанах уже листья, — хотя и небольшие, — и свечи. Много солнца. В доме — электричество, а в городе абсолютное спокойствие. Я по-прежнему живу в одной комнате с Кудреватых. [. . .]

С командармом мы справляли пасху: сделали куличи, сырные пасхи, поросенка, накрасили яиц, — но оказалось, что пасха была католическая! Вот тебе и на!.. Ошиблись. [. . .]

Ну, вот краткий, праздничный очерк моей жизни. Что же касается будней, то их в письме не опишешь. Сейчас, например, прослушал лекцию, на два часа, для корреспондентов: «Берлин — в промышленном и военном значении». Очень любопытно. Лектор — толковый, хотя и суховат несколько.

Написал вторую статью, пошлю ее завтра-послезавтра. Попытался суммировать хоть частицу того, что вижу. Если события, развертывающиеся, кстати сказать, с чудовищной быстротой, не помешают, статья будет напечатана. За ту статью получил благодарность от Ильичева[2], но жаль, дьяволы, они ее сильно сократили, выбросив все украшения, в частности.

Крепко целую. Не беспокойтесь обо мне. Целую. ...

Для Комы: английский язык учить полезно. Недавно в расположении наших частей упал «Либерейтор», подбитый немцами. Летчики сбросились на парашютах. Наши солдаты в течение 40 минут изловили их всех и так как приняли их за немцев, то кстати набили им морды. Но эти летчики все равно были очень довольны и отозвались о солдатах восторженно: «Теперь мы по-

---

[1] Сын В. Шкловского Никита Викторович убит на фронте в 1945 году.

[2] Л. Ф. Ильичев был в 1945 году редактором «Известий».

нимаем, какие у нас бдительные союзники!» А буть ты среди солдат, ты бы не набил, наверное, морды нашим союзникам.

Для Миши. Рад, что ты видел Третьяковку. Я побывал во многих брошенных немецких учреждениях, домах и был даже в замке какого-то фон Каммера, а также в охотн. доме фельдм. Макензена. Картины у них — дрянь. Но марки — не деньги, а почтовые, старинные, кажется, есть хорошие. Привезу тебе ружье и кинжал. А для Татьяны — радиоприемник.

Целую всех. Желаю здоровья и спокойствия».

«18/IV 45 г.

...Дела идут хорошо.

Я живу на берегу Одера, в квартире одного командарма, чудеснейшего человека, из тех людей, мягкость которых мог описывать только Чехов. Извиняюсь за литературное сравнение, другого, за недостатком времени, подобрать не могу, так как встретил Трегуба, приехал к нему в г. Пилепциг, чтобы повидаться и через него отправить это письмо, а затем вернуться на Одер.

Если я предполагал вернуться домой после взятия Берлина, то можно считать — до возвращения остались считанные дни: повторяю, дела идут хорошо. Но, конечно, я еще тут поживу, так как мой кошель наблюдений еще не полон.

Сегодня встретил друга детства — наборщика, с которым когда-то работал в Кургане в 1916 году. Вошел седой, морщинистый старик — на два года старше меня. Я посмотрел в лицо времени. И, трогательно, — он принес мне в подарок пачку карандашей. [...]

Добавлю еще, что здесь весна — цветут вишни, много тюльпанов и прочего. Одер шириной с Москву-реку возле Крымского моста; я катался по нему на лодке, а сейчас часто сижу на берегу и слушаю, как глухо, вдалеке, говорит тяжелая артиллерия.

Все остальное — в сводках и салютах.

Баканов — полковник из «Известий» — прислал телеграмму с просьбой — написать статью для первомайского номера. Наверное, напишу, если не оторвут от работы события, как говорится, мирового масштаба.

Пожалуйста, не беспокойся обо мне — все в порядке. Целую тебя и детей».

«24/IV 45.

...Сегодня написал статью для «Известий», ее везет летчик, в числе прочего материала, и я пользуюсь случаем написать несколько слов.

Как видите, дело приближается к счастливому для нас концу. Надеюсь, скоро увидимся.

В Берлине я еще не был. Поеду завтра. Все время я находился в армии, которая брала Франкфурт. Ну, видал я, конечно, много, и вот только что написал статью в 14 страниц, а изложил, может быть, сотую часть того, что видел, да и то едва ли. Все это материал для книги, романа, пьесы и я не знаю для чего еще.

Я аккуратно получаю от вас письма: и через товарищей, и по почте. Сам я по почте вам не писал, все пользуюсь оказией, да я и не знаю, как это писать по почте.

Поблагодари детей за письма.

Из Берлина я вернусь завтра — надо писать статью. Напечатание статьи примите, как мой поклон из этого города, который, говорят, сильно изменился с того времени, когда мы с тобой в нем были. Вряд ли я найду гостиницу, где мы жили.

Привет знакомым. Хотел послать Кончаловскому коробку сигар, но нет оказии: офицера, который везет это письмо и статью, я не увижу».

«5/V 45.

...Пишу возле здания рейхстага. Холодно, дождь. Мы приехали на киносъемку: хотели снимать журналистов у рейхстага, но так как дождь, то мы сидим со Славиным в машине и пишем письма, которые отвезет полковник Баканов, сегодня, через 1-й Украинский фронт, направляющийся в Москву. Думаю, что скоро за Бакановым и я поеду в Москву. Завтра буду добывать пропуск на машину, продукты и прочее. Мы поедем, если удастся, вместе со Славиным, на двух машинах — так веселее. Если же почему-либо не удастся поехать на машине, — всякое бывает, — и народ здесь, распоряжающийся машинами, капризный, то я полечу на самолете. В том и другом случае о дне выезда извещу телеграммой.

Живу я хорошо. Видел достаточно много и, как сказал перед отъездом, взял камень от рейхстага и имперской канцелярии. Чувствую себя превосходно, и

очень доволен, что поехал. И не менее буду доволен, когда уеду, потому что все-таки дома лучше, да и писать хочется».

«9/V 45.

Берлин.

...Итак, война окончилась. В Берлине — только салюты да экскурсии: машины едут к рейхстагу и по другим достопримечательностям.

Я просил режиссера Райзмана, с которым мы вместе были при подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о капитуляции, позвонить тебе. Не знаю, исполнил ли он мою просьбу. Я по-прежнему чувствую себя хорошо и думаю скоро выехать. ...

Дня через два я поеду погостить к своему другу — командарму Цветаеву, о котором шла речь в понравившейся вам статье «Великая битва». Затем опять вернусь в Берлин и оттуда — в Москву. Поеду вместе со Славиным. К сожалению, не на той машине, о которой я вам писал. Ту машину, во время боев, 1 мая раздавил танк. Раньше я не писал вам об этом, чтобы не волновать вас, а теперь это дело прошлое. Теперь вместо «Ханемага» я получил «Опель» — машина исправная, мотор новый, но кузов имеет следы пуль и прострелены стекла, которые, конечно, заменим.

Очень жалею, что не смог написать в газету описание акта подписания немцами капитуляции. До этого я не спал ночь: мы ездили в американскую армию, за Эльбу, к Гамбургу, и сделали 600 километров. Ночь капитуляции я тоже не спал — поэтому не было сил на другой день. Написали Л. Кудреватых и Л. Славин, — впрочем, Славин описал только приезд союзных делегатов на аэродром — этого я не видел, так как приехал позже в здание, где происходило подписание акта. Зрелище было удивительное и вот уже, верно, незабываемое. После акта был банкет, но я так устал, что не остался и уехал домой спать.

Я здоров и бодр по-прежнему.

Это письмо передаст или перешлет по почте кор. «Кр. звезды» Трояновский.

Целую крепко, поздравляю с победой и началом мирного строительства. Передай мой привет друзьям и знакомым.

Берлин разрушен, и узнать ничего нельзя. Но Зоологический сад цел и целы обезьяны, среди которых, как шутят здесь, и спрятался Геббельс.

Всеволод»

* * *

Война окончилась. Всеволод приехал домой обновленным, полным радужных творческих планов.

Тут же начал работать над романом «При взятии Берлина».

Работа была прервана командировкой на Нюрнбергский процесс.

«Ночь на 24/X 45.

Нюрнберг.

...Во-первых, извините, что посылаю письмо без конверта. Германия такая страна, что конвертов в ней не обнаружено, а из дома взять конверт я не догадался. ...

Что же касается впечатлений, то нет слов — насколько это интересно. Места у нас прекрасные, и вообще достаточно сказать, что в десяти шагах от вашего почтенного мужа и отца сидят — Геринг, Гесс, Кейтель и вся прочая шатия, а в комнату подсудимых их ведут — можно рукой дотронуться. И вообще обстановка необыкновенно любопытная.

Что же касается бытовых условий, то все хорошо. Живем мы в доме рядом с замком карандашного фабриканта Фабера, и в этом замке находится клуб Прессы — столовая, бар, читальня и все такое. Нюрнберг — разбит, поэтому мы живем в 5—6 км от города и ездим в город на автобусах. Пища отличная. В общем, жаловаться ни на что не могу. Но немцы живут здесь погано, и, судя по их газетам, у них туго: в немецких газетах напечатано воззвание к немецкому населению от их властей, что Нюрнберг еще никогда не переживал такой суровой зимы, которую ему предстоит пережить.

Письма все же, видимо, буду пересылать с оказией: никаких признаков почты не найдено; наши юристы жаловались, что живут уже здесь месяц и советских газет в глаза не видали.

Не знаю, слышали ли вы о том, что К. Федина помяла в Берлине машина? Мы вышли из столовой, он

хотел сесть в автомобиль, а из-за угла выскочил грузовик и прижал его к легковой. Но перелома нет, и в общем он приедет дня через три-четыре в Нюрнберг. Однако родным об этой контузии он просил не говорить, так что ты, пожалуйста, умолчи...

Живем трое в одной комнате, — без собаки: Кирсанов, Вишневский и я. В комнате печка-времянка, кровати и белье, но к утру очень холодно. Впрочем, зимы здесь нет, а так — нечто вроде глубокой осени.

Обед стоит 3 марки, и в общем в день можно израсходовать 20 марок, т. к. купить ничего нельзя или, как сказал один французский корреспондент: «Здесь все дешево, но ничего нет, а в Париже все есть, но ничего купить нельзя, так дорого». Впрочем, все это пустяки, и я пишу об этом только потому, чтоб описать быт.

Суд — наряден и очень своеобычен. Но это уже постараюсь описать в корреспонденции, а не в письме.

Долго ли это продлится?

Говорят — два месяца.

И так как мне уезжать всегда трудно, то я, наверное, и буду торчать эти два месяца здесь.

Возможно, что летчик подп. Денисов, который привезет это письмо, полетит обратно. Тогда прошу послать с ним весточку или с кем-нибудь другим, — мне думается, жена Вишневского будет знать — он дотошный и укажет ей пути узнавания. Целую вас крепко!

Все-таки жалко, что Татьяна не поехала сюда: это любопытно.

Всеволод»

* * *

Немедленно по возвращении из Нюрнберга Всеволод засел за роман «При взятии Берлина».

Роман был напечатан в «Новом мире» и тут же подвергся суровой критике.

«Гаванью отдохновения» стали для Всеволода поездки в самые дикие, нехоженые места, предпочтительно в горы, где он «долбил», то есть долотом и зубилом добывал понравившуюся ему породу. У Всеволода была страсть к камням, возраставшая с каждым годом.

Он — прирожденный путешественник.

«*13/V 46 г.*

Алма-Ата.

Дорогая Тамара и дети!

Я хотел сообщить свои обстоятельства жизни вчера по телефону, но слышимость была такая, что почти ничего понять невозможно. Я, например, не разобрал, против *каких* рассказов возражает редактор. Кажется, четыре? Хорошо хоть, не четырнадцать.

Живу в «Доме делегатов» — гостинице с тремя или пятью отдельными номерами: остальное — общежитие. Питаюсь в диетической столовой при здешней Кремлевке. Комната чистая, пища тоже.

Маршрут моей поездки тот же, что я и разработал в Москве: сначала в Джунгарский Ала-тау, затем — обратно в Алма-Ату, а затем — самолетом в Караганду, оттуда в Джез-казган, и уже из Джез-казгана, через Караганду, в Челябинск.

Теория теорией, а практика — суть практика.

Во-первых, сейчас немедленной поездке в Джунгарский Ала-тау препятствуют дожди, которые идут здесь уже целую неделю — утром и вечером, так что я жалею, что не взял непромокаемые резиновые сапоги, а плащ оказался самым подходящим. Вот сейчас светит солнце, но на горизонте уже тучи.

Во-вторых, препятствуют местная медлительность и множество обещаний, из которых, обычно, ничего не получается. Машину добыть быстро не так легко. Но, к счастью, здесь, в Алма-Ате, есть очень энергичный кор. «Известий», полная противоположность ташкентскому Крайнову. У этого корреспондента — он же и фотограф — есть даже своя машина «Опель», но она находится в таком состоянии, что способна ходить только по городу. Вот с помощью этого корреспондента, который на своей сломанной машине все-таки ухитрился встретить меня на вокзале, я думаю, мы и сможем уехать из Алма-Аты в Джунгарский Ала-тау в пятницу или четверг. Так что, если бог даст, когда вы получите это письмо, я буду торчать возле застрявшей где-нибудь в потоке машины перед грозными пиками Джунг. Ала-тау. Сопровождать меня будет опять-таки этот Махонин и еще один казахский писатель.

Вернусь я в Алма-Ату к 1 июня, так как в эти дни здесь предполагаются торжества — открытие Казах.

Академии Наук. Меня пригласили на эти торжества, которые продлятся дней пять.

После этих торжеств предположено, что я поеду в Караганду.

Затем приглашают вернуться в Алма-Ату к 1 июля, чтобы присутствовать на торжествах в честь столетья со дня рождения Джамбула. Торжества обещают быть пышные — приглашается 10 тысяч гостей, зарежут 500 баранов, будут скачки, всевозможные нац. игры; наверное, будет нечто эпическое. Но эпос — хорошая вещь, однако в Челябинск я не попаду, что ли? А попасть мне хочется.

Поэтому возможно, что на торжества Джамбула я не поеду, а отправлюсь прямиком из Караганды в Челябинск. Впрочем, — времени впереди еще много, и дела покажут, как поступить.

Вчера в «Казахст. правде» напечатано интервью со мной. Завтра-послезавтра будет напечатан отрывок из «Взятия Берлина», все тот же штурм рейхстага. Завтра я пойду к секретарю Каз. ЦК по пропаганде, чтоб обговорить все условия поездки (т. е. главным образом, хорошая машина и хороший шофер, а все остальное — пустяки). В четверг — мой творческий вечер для казахских писателей. [...]

Вчера было воскресенье, и я с С. Мукановым поехал в дом отдыха Совнаркома, за город. Это новый дом, расположенный неподалеку от того дома, где мы с тобой когда-то жили. ...Так как идут обильные дожди, то растительность — неимоверно пышная; я сам, из-за сырости, в горы не пошел, но видел, как ребятишки, с головы до ног мокрые, принесли с гор огромные букеты лилий, красных тюльпанов и еще каких-то громадных желтых цветов. Ну, а затем, вечером возвратился в город. В городе совершенно нет пыли, и вообще — чудеса. [...]»

«16/V 46 г.

Алма-Ата.

Дорогая Тамара! Дети! Друзья!

С поездками по Казахстану все устроилось хорошо. Вчера я был у секретарей ЦК Казахстана. Приняли меня превосходно. Я получил машину-вездеход, 300 кг. бензина продовольствие — и даже ящик яблок, кото-

рый, быть может, удастся переправить к вам, — еще не знаю, каким способом. [. . .]

Для поездки на Балхаш будет предоставлен самолет.

Как видите, — против всех твоих ожиданий, — я еду со всеми удобствами.

Мало того. Один из секретарей предложил мне найти дом в Алма-Ате, где я жил 35 лет назад, когда шел пешком из Семипалатинска, отремонтировать его — и передать в мое распоряжение. Если же дом снесен, то на этом месте будет построен новый. Из этого можете заключить, что мои мечты о возможности жизни в Дж. Ала-тау вполне осуществимы. Я еще не дал согласия на этот дом. Но почему бы мне не приезжать в А-Ату почаще?

Получил вашу телеграмму о рассказах. Надеюсь, ты заменила их другими, а если и не заменила, — не беда, книга и без этих рассказов имеет 50 печ. листов.

Сейчас прервал писание: приходили мои спутники и мы составили список на продовольствие. Список такой, словно я, действительно, еду в поиски «Сокр. А. Македонского». Между прочим, любопытно, что Джунгарские ворота, куда я еду, были древнейшим путем, по которому китайцы сообщались с Европой и во времена А. Македонского везли «в греки» — шелк. Путь так и назывался «шелковый путь». А на озере Ала-куль, куда я попаду, говорят, есть фламинго! То-то будет смеху, если я подстрелю. Охоты там, сказывают, прекрасные. А патроны я правильно сделал, что привез. Здесь нет. [. . .]

Целую и желаю здоровья.

Скоро у Комы начнутся экзамены? То-то, наверное, страдает. Хотелось бы мне, ко дню окончания экзаменов, доставить ему мой ящик яблок, который мне-то совершенно не нужен. М. б., с яблоками мне поможет кор. «Известий» Махонин, он очень милый и обязательный человек. Вс. И.».

«12/VI 46 г.

. . .Я проехал вдоль и внутри Джунгарского Алатау — 2000 километров; 1800 — на машине и 200 — верхом, по горам. Странствовал я 19 дней, и когда вернулся в Алма-Ату, то от усталости лежал недвижно три дня. Сейчас чувствую себя нормально и уже написал очерк

для «Известий», который и направляю с этим письмом, одновременно. Завтра буду писать очерк для «Огонька» — потому, что Махонин, кор. «Известий», — хороший фотограф и сделал превосходные снимки, которые и хочется напечатать. Очерк этот я пошлю на твой адрес, а ты его передашь (очерк, а не адрес!) в «Огонек».

Впечатления — замечательные! Я не даром стремился в Джунгарский Ала-тау. Мы были в таких девственных местах, куда газеты приходят на 20-й день, а чаще всего и совсем не приходят! Что же касается моих охотничьих трофеев, то я убил трех сайгаков — это антилопы, и притом настолько редкие, что рога такого сайгака ценятся в Китае — 300 баранов пара! Я везу с собой пару таких рогов, только не знаю — удастся ли их выменять в Москве хотя бы на одного барана! Кроме того, я убивал дроф. Одна убитая дрофа весила столько, что ее кушало 12 человек — и не могли съесть, а аппетит у казахов, ты знаешь, хороший. И, честное слово, это не охотничьи рассказы! Все будет подтверждено свидетелями и фотографиями!.. Мало того, я даже охотился на медведей. Но медведь, б. м. раненый (не мной), ушел, — к счастью, так как, оказывается, медведи в Джунг. горах весьма злые.

Был я и в глубине гор. Мы перевалили верхом горы и спустились в долину реки Кора — куда нет не только автомобильных дорог, но и колесных. Красоты необычайные!..

Здесь много дождей, но много и солнца. Ожидают большой урожай, — в том числе фруктов. Я каждый день ем землянику. Ящик яблок пришлось тоже съесть, так как они стали портиться, а отправить их я не сумел. [...]

Материалу, мною записанного, хватит на три романа. [...]

Отношение ко мне здесь по-прежнему хорошее... В г. Талды-Кургане, где я читал лекцию о Нюрнбергском процессе, мне поднесли целый сноп роз! А когда я въезжал в какой-нибудь аул или городок — немедленно резали барана, так что весь мой 2000-километровый путь усеян трупами несчастных баранов, которых, в конце концов, я не мог уже есть, подчас чувствуя себя чуть ли не Хлестаковым!

Отчего зачах журнал, не расцветши, — «Молодая гвардия», — и в каком номере «Новый мир» и в каком виде печатает мои воспоминания о Горьком? [...]

Боже мой, что я видал! Я даже искал в горах древние наскальные рисунки. Заехал черт знает куда, — и, вдруг, обнаружилось, что скала, на которой были эти никому не известные рисунки и надписи, — рухнула совсем недавно. Я выкурил большую трубку, сел на коня, и весь мой караван тронулся обратно. Целую. Всеволод».

* * *

Летом 1946 года на Рижском взморье Всеволод закончил роман «Эдесская святыня» (напечатан посмертно, в 1965 году, в издательстве «Советский писатель»).

Кончая «Эдесскую святыню», Всеволод неотступно сидел на балконе второго этажа Дома творчества в Дубулты.

Балкон тесно соприкасался с соседней территорией, где за забором был расположен детский сад.

Многие писатели с удивлением спрашивали Всеволода, как может он писать, когда к нему доносится столько писка и визга, на что Всеволод отвечал, что этот писк для него не помеха, а удовольствие, все равно что пение птиц.

Надо сказать, что это — результат возраста и мудрости. В молодости мне приходилось тщательно оберегать его от любого шума, даже и от детского крика. Хотя детей — своих, чужих, всяких — Всеволод всегда очень любил и предпочитал их общество обществу взрослых.

Тут тоже он свел дружбу с мальчуганом, который влезал на забор и кричал ему: «Дяденька, толстенький карапузик, что ты там стучишь, иди играть со мной!»

Писал Всеволод два месяца напряженно, неотрывно.

Следует добавить, что роман «Эдесская святыня» Всеволод не предлагал ни одной редакции. Долгие годы продолжал писать варианты и читал отрывки из них лишь домашним и близким друзьям.

Тогда, на Рижском взморье, Всеволод не мог не вспомнить, что в свое время лучшие его намерения были подвергнуты произвольному перетолковыванию рапповской критикой. Когда в 1928 году Всеволод опуб-

ликовал рассказ «Особняк», изобличающий мещанина-стяжателя, в журнале «На литературном посту» была помещена статья, в которой критик отождествлял самого Всеволода с выведенным им персонажем.

* * *

В доме у нас постоянно бывали писатели, в особенности молодые, почти изо всех республик Советского Союза, но чаще всего сибиряки и уральцы.

Вот что рассказывает о Всеволоде (в письме) В. Очеретин:

«Он был добр, щедр. Подарил автограф Мамина-Сибиряка... Его внимательность, восприимчивость, желание быть полезным, помочь, не считаясь со временем, отсутствие барства — все говорило о его принадлежности к той когорте писателей, которые не щадя себя отдали свои жизни становлению советской литературы. Что греха таить, сейчас такие писатели — редкость».

Всеволод неизменно стремился помочь начинающему литератору. Если он не всегда был в силах осуществить конкретную помощь, то хотел хотя бы ободрить молодого собрата. Так, например, писал он Валентину Филатову: «...Единственно, что могу Вам посоветовать (что себе тоже нередко советую), — мужайтесь, пишите, верьте, что своего добьетесь».

Последнее утверждение необычайно характерно для Всеволода. Невзирая ни на что, он был оптимистом и неколебимо верил в конечное торжество жизни, которое понимал как торжество правды.

У нас собралась целая библиотека из книг «молодых», с благодарственными автографами Всеволоду.

Даже больной, даже после операции читал он кипы рукописей и книг.

Всеволод горько сожалел, что очень часто принужден был довольствоваться только советами и рекомендательными письмами.

Так, Всеволод пишет Валентину Филатову об его пьесе: «Беда в том, что я не располагаю возможностями ни для такой постановки, ни для печатания».

И в других письмах: «Повторяю, я ничего сделать не могу ни с режиссерами, ни с театрами...»; «...труди-

тесь, пишите и не особенно обижайтесь, что я не регулярно Вам отвечаю. Я, во-первых, ленив, а во-вторых, не всегда могу быть полезен в той степени, в какой бы мне хотелось...»

* * *

Но не только автографами «молодых» изобилуют подаренные Всеволоду книги.

Он был любим и ценим многими (ныне уже покойными) писателями.

Ольга Форш написала на своем «Избранном» (1953 год):

«Дорогому факиру с благодарностью за новое чудо — воскрешение Ломоносова.

На добрую память Всеволоду Иванову от крепко

любящего автора — сиречь — *Ольги Форш*».

И раньше (27 апреля 1938 года) на книге «Современники»:

«Дорогому человеку и писателю Всеволоду Иванову, роман о его двух земляках (по Индии) от землячки же *Ольги Форш*».

(«Индию» Ольга Дмитриевна понимает здесь как творческую мечту, творческую фантазию.)

Сергей Есенин написал на книге «Персидские мотивы»:

«Другу Всеволоду с любовью по гроб.

Сергей.

19 20/XI 25».

Александр Оленич-Гнененко на книге «Стихи»:

«Всеволоду Вячеславовичу Иванову в память Красной гвардии с глубоким волнением и любовью.

19 10/XII 38 г.

А. Оленич-Гнененко»

Николай Асеев на книге «Избранные произведения»:

«Настоящему
Непреклонному
Постоянному
Неизменному
Всеволоду Иванову.

Ник. Асеев. 1953 г.»

Михаил Зощенко:

«Всеволоду Иванову с любовью и почитанием.

Мих. Зощенко»

5/VII 55:

«Прими этот мой маленький подарок и мое (прости!) запоздалое поздравление с твоим славным 60-летием.

Любящий тебя

Михаил»

Борис Пастернак:

«Всеволоду Иванову — торжеству жизни, ярко и фантастически вторгшейся в искусство и утвердившейся в нем, и, кроме того, другу моему

Б. Пастернак

10 апреля 1952 г.»

* * *

Преклонение перед талантом Всеволода и человеческим обаянием его личности отражено и в некрологах на его смерть, написанных некоторыми зарубежными писателями. Так, например, Луи Арагон, с которым Всеволода связывала многолетняя дружба, писал о нем в еженедельнике «Летр Франсез» в августе 1963 года:

«...Теперь, когда смежились его глаза, я не могу не сказать, что у этого сибиряка была необычайная ясность прозы: обязательно надо напоминать людям, что такое искусство прозы, о котором говорят все меньше и меньше... а я повторяю...

Что говорит имя Всеволода Иванова во Франции и в СССР? Во Франции оно связано с событием, ставшим фактом нашей истории: с тех пор прошло приблизительно (ведь у меня нет с собой книг) тридцать или сорок лет, я имею в виду переписку Ромена Роллана с двумя советскими писателями... Одним из них был Иванов. В этой переписке есть знаменательное место, где Роллан сравнивает тот момент, в который он писал, с шекспировским бдением в Актиуме, когда над лагерем Марка Антония несется с неба шум от пролета богов,

переселяющихся вместе с победой в лагерь противника... Письма Роллана отмечены его верой в то, что надежды человечества перенесены в тот лагерь, откуда писал ему молодой Иванов. Письма эти были опубликованы во Франции в то время, когда над нашими головами проносились уже не боги, а люди, превзошедшие все наши предвидения, и хотя дискуссия двух лагерей продолжается, никто уже не желает решать вопросы наподобие Актиума... [...]

Для людей моего поколения навсегда врезался в память «Бронепоезд», прочитанный в сборнике «Молодых Русских», изданном Н. Р. Ф., или увиденный в Интернациональном театре, которым в тридцатые годы руководил Леон Муссинак. Разве возможно написать историю советской литературы, и даже историю литературы двадцатого века, без «Бронепоезда»? Мне это представляется невозможным, немыслимым. Придет день, когда романтизм гражданской войны и последовавшего за Октябрем десятилетия, наисильнейших страстей нашего века, переданных литературой, станут столь же необходимы человеку — для самопознания, как жаждущему вода в пустыне. Придет день, когда то, что мы чувствовали тогда, читая Иванова, Бабеля, Вишневского, позднее Яновского, этот наш особый трепет передастся молодым людям, весьма несхожим с нами, какими мы тогда были. Невозможно представить себе, чтобы они поняли треть человечества, не считаясь с нами, которые, под иными знаменами, прислушивались к перелету переселявшихся богов, впитывая в себя музыку тех суровых дней...»

Другой французский друг, Жорж Садуль, многократно бывавший в СССР и неизменно навещавший нас, так же, как и мы его при поездках во Францию, вспоминал:

«Второй московский кинофестиваль только что кончился, и мы поехали, вместе с Анн Филип, на дачу к Всеволоду Иванову...

Он был в тот день, впрочем, как и во все другие дни, необычайно оживлен и весел. Какая сила жизни исходила от этого писателя, с ясным, метким языком. Он далеко перешагнул за шестьдесят, но только что вернулся из Сибири.

И не из Иркутска или Омска, одного из тех больших городов, куда теперь можно перелететь из Москвы за два-три часа, но из глубин тайги.

Он говорил нам о реках, в два раза превышающих длину Сены, но совершенно нам не известных; ему понадобилось принести карту, чтобы показать нам на ней притоки Енисея и Лены, в долинах которых он провел несколько недель, изъездил их почти девственные леса, иногда на лодке, иногда верхом и даже исходил пешком, зачастую ночуя в палатке, так как в этих обширных просторах не встретишь иногда ни селений, ни даже уединенной хижины.

Ничего он не любил с такой страстью, как сибирскую тайгу, куда ежегодно возвращался и где у него было множество друзей. Там он охотился на диких зверей, а также собирал редкостные камни, которые привозил с собой.

Мне почти не требовался перевод его слов, до такой степени их выразительное звучание обрисовывало людей и землю его родины во всем их богатстве, силе и разнообразии. И я и Анн Филип были совершенно покорены Всеволодом Ивановым. Мы договорились, что по окончании следующего фестиваля, в августе 1963 года, поедем вместе, все четверо, в тайгу, проведем там в стране якутов или тунгусов две-три недели...»

* * *

В сорок девятом году наступил «последний переделкинский период». На месте пожарища Литфонд выстроил нам новую дачу. Всеволод жил там постоянно — все то время, что не разъезжал по стране и за рубеж. Работал Всеволод всегда в Переделкине.

Иногда, когда меня дела задерживали в городе, Всеволод жил в Переделкине один. Отсюда записки:

«7 XII 1949 г.

Из Переделкина в Москву.

Дорогая Тамара!

Чехов написал повесть. Послал ее А. Суворину, издателю и редактору газеты «Новое время». Суворин ответил какой-то неопределенной телеграммой, из которой Чехов вывел заключение, что повесть никуда не годит-

ся. И он написал Суворину письмо, в котором зверски бранил свою плохую повесть и себя, исписавшегося. Суворин ему пишет, что, наоборот, повесть ему понравилась...

Эта повесть называется «Дуэль».

Ах, если б такой же случай, как с Чеховым и «Дуэлью», произошел бы и с моим, прилагаемым рассказом!.. На всякий случай посылаю его тебе, в трех экз. Если уж повезет, так пусть везет в тройном размере! Один экз. оставил у себя, если, в негодовании на мою бездарность, редактора съедят все эти три экземпляра.

Здоровье мое улучшается. Сегодня за обедом ел такое вареное мясо, которое и волк, голодавший три недели, не стал бы есть. Глазные капли, по-видимому, помогают. Но они обладают странным свойством: проливаться. Я совсем легонько уронил бутылку на пол, а они пролились. Хотел их собрать с пола обратно в бутылку, но вспомнил, что глаз не рот и пылинка может ему навредить. Поэтому (хотя капель осталось еще дня на три, кроме тех, которые высохли на полу, исцеляя его от конъюнктивита) прошу повторить рецепт, который и посылаю вам. — Писал сегодня четыре часа, и голова не болит.

Ходил гулять. Всю ночь и день шел снег; температура на нуле. В воздухе — мгла. Идешь, словно окруженный невидимым опаловым стеклом. Деревья и кусты в роскошном, как говорит бессмертная К., убранстве. Но под ногами скользко, гадко, и пока я обошел полянку, вышел к ж.-д. линии и спустился к дому по адмиральскому шоссе, я выпустил столько проклятий, что ими вполне можно вымостить аллею классиков.

В доме тихо. С одной крыши, как вчера и позавчера, каплет на другую. Каштанка, мокрый от снега, спит у лестницы. Пахнет мокрым бельем. Бабушка скучает, как Чехов (судя по его письмам), у себя на даче и ждет вас не дождется.

Я не скучаю, так как мечтаю в ближайшие два дня написать *три* статьи. У, какие сладкие мечты!

Между прочим, за одной из этих статей хотели прислать из Совинформбюро, в субботу. М. б. ты приедешь с этим посланным? [...]

Со всем тем пребываю рассказчик и публицист

Par Vsevolod Ivanov:

(Как напечатано в журнальчике на французском язычишке, привезенном мне сегодня совинф. мальчишками: моя статья о Бальзаке перепечатана. О, слава)».

Приписка на полях:

«Отправь письмо Уфимцеву!

В. М.[1] — привет! Сейчас самое красивое время — зря она отсюда уехала. Всеволод.

Нужно привезти кальсоны! Здесь таковых нет. Я хожу в майке, перевернутой вниз руками. И, однако, ноги голы. Ничего, пока на 0°. А если будет 50°, как в Верхоянске?»

1949 год (без даты):

«У Каштанки выявились новые качества: он ловит мышей. Честное слово! Он делает в поле вот так (ставит свое тело вертикально). Затем внезапно бросается в снег и вчера, к крайнему моему изумлению, поймал мышь, которая пищала в его зубах дискантом. Но тут в нем исчезли инстинкты лисицы, которая таким образом зимой «мышкует», и пробудились инстинкты той собаки, которой наш физиолог И. Павлов [...] поставил памятник: Каштанка схватил мышь и притащил ее домой, с явной целью устыдить ленивого и беззаботного рыжего кота.

Я написал статью для «Патриота Родины». [...] Статью писал с трудом, и оттого получилась длинная и, должно быть, скучная.

А что эти [...] из «Лит. газеты» с моей статьей сделали. Огрызки какие-то.

В Москву ехать, по морозу, не хочется. Буду переписывать пьесу[2]. Уже переписал 40 стр. С 50 стр. дело пойдет легче: там исправлять мало. Но вообще-то я исправил только сцену с академиками во 2-м акте, сделал кое-что в третьем и доделаю в 4-м (насчет показа будущего).

Мороз 22° с северным ветром, довольно сильным. Нижний этаж (защищает лес) оный мороз не трогает, но до верхнего, по-моему, дотягивает. Однако жить можно. При открытой двери в бак температура в Ком-

---

[1] Ходасевич Валентина Михайловна (художник).

[2] Пьеса «Ломоносов» была поставлена в Художественном театре.

киной комнате держится от 13 до 18° тепла! У меня около 18°. В общем заклейка окон весьма помогла, да-с!

Ходить в тужурке моей по ветру, при 22°, не особенно приятно: ноги мерзнут. Поэтому привези: а) белую румын. шубу, б) синие брюки под сапоги, в) замш. куртку для Комки, ходить на лыжах, г) две пары ботинок с голенищами — брезентовые и кожаные финские, лежат у меня в кабинете, на книгах, как войдешь, у дверей налево, — конечно, если поедете на машине.

Кома пусть захватит (налево, против письменного стола, второй шкаф, длинная сплошная полка внизу, где лежат газеты — над ней, — том сочинений Ломоносова, изд. Смирдина с его «Размышл. о божьем величии») и привезет на дачу.

Снегу много, ходить на лыжах будет хорошо, но я уж начну с Нового года. Вообще от 1950 года жду огромных событий, как внешнего, так и внутреннего содержания.

Как жаль, что Андрониковы уехали! А если не уехали, сообщи им, что я сегодня с завистью видел, что им делают *сплошной* [...] забор. А у меня последнюю, поганую, гнилую муру и ту мальчишки растаскивают! Боже, как гнусно быть не знаменитым!

Посмотри и сверь экз. для Кроля. Целую.

Всеволод»

«16/III 50.

Переделкино.

Тамара! Посылаю сочинения в пяти частях под названием «Ломоносов».

Я устал и поэтому пьесы не просматривал, всецело положившись на твой дар догадчика того, что я пишу, ибо там, наверное, есть совершенно непонятные слова. В углу каждого экземпляра есть цифра, цветным карандашом, на первом чистом листе (на обложке) — 1-й, 2-й и т. д. — 6-й экземпляр я оставил у себя.

Мне кажется, что первый или второй послать Фадееву, третий — Ливанову, четвертый — Кедрову или Флягину, дир. МХАТа, пятый — к черту на кулички! Привет!

Начинаю читать сочинения М. Горького!

В. И.».

* * *

В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов Всеволод много путешествовал — не только в пределах Советского Союза, но и за рубежом. Несколько раз побывал в Чехословакии.

В 1956 году, когда мы жили в Карловых Варах, к нам приехали Надежда Слабигудова, переводчица на чешский язык большого количества произведений Всеволода Иванова, и тов. Суукуп, тогдашний главный редактор издательства «Свет совету».

При дальнейших поездках (их было три) в Карловы Вары мы всегда встречались с Н. Слабигудовой, а она дважды по нашему приглашению побывала в СССР. После смерти Всеволода я переписывалась с Н. Слабигудовой, и она делилась со мною своими впечатлениями от встреч с ним. Переписка с ней продолжается и по сей день. Привожу выдержки из некоторых ее писем.

«...При первой встрече я очень волновалась, ведь Всеволод Иванов первый из «моих» живущих авторов, с которым мне предстоит встретиться. Для переводчика такая встреча очень важна. До тех пор я переводила главным образом классиков: Лескова, Достоевского, Горького.

Все получилось очень просто.

Раньше чем могли наступить неловкие минуты молчания, Всеволод Вячеславович, пригласив нас сесть, начал оживленно рассказывать о своей недавней поездке на Дальний Восток. Он был удивительный рассказчик! Как будто мы собственными глазами наблюдали дивные дальние края. — «Как необъятны просторы нашей страны и как мало мы ее знаем», — сказал со вздохом человек, который исходил почти всю Россию и знал свою родину, как немногие.

Всеволод Иванов как раз работал тогда над романом «Мы идем в Индию». Меня, конечно, очень заинтересовало это его новое произведение, и он обещал прислать книгу сразу после выхода в свет...

[...] Всеволод Иванов сообщает нам, что в ближайшее время начнут издавать его собрание сочинений. Зная его страсть заново переделывать старые вещи — ведь новый вариант «Голубых песков» просто нельзя

было узнать! — спрашиваю, до какой степени он намерен заняться обработкой ранее написанных произведений. «Да нет, — отвечает, — произведения, изданные лет двадцать, тридцать лет тому назад, не следует переделывать. Ну, конечно, если придет на ум какое-нибудь лучшее выражение, или там сравнение, почему его не использовать? Например, что касается «Бронепоезда́». Я как раз работаю над киносценарием и решил некоторые эпизоды немного переделать, например, сцену с американцем». (Увы, переработка повести оказалась столь громадной, что второй вариант повести почти новое произведение!)

В разговоре коснулись романа «Пархоменко», который я тогда как раз начала переводить на чешский язык для пражского военного издательства. Всеволод Вячеславович рассказал нам о своей работе над этим романом и о тех его героях, которые до сих пор еще живы...

[...] Всеволод Вячеславович принадлежал к числу тех немногих людей, внутренний мир которых столь богат, что они как будто излучают сияние. Если такой человек войдет в комнату, то она сразу становится светлее и уютнее. И поэтому, может быть, мне показалось, когда Всеволод Вячеславович впервые пожал мне руку в переделкинском своем кабинете, что в нем изобилие света, хотя солнца не было, а стояла мрачная ноябрьская погода. Кабинет поразил меня также своей странной обстановкой, наполовину европейской, наполовину восточной. С гордостью показал мне дорогую для него вещь — чайник Горького, и объяснил: «Этот чайник Алексей Максимович лет шестьдесят тому назад купил своей жене на первый гонорар, а она недавно подарила его мне». В его словах чувствовалось неизменно теплое отношение к Максиму Горькому.

[...] Переводить книги Всеволода Иванова не легко. У него очень своеобразная манера изложения, богатая лексика, насыщенная восточной, главным образом казахской образностью. Я намучилась с его произведениями, больше всего с романом «Голубые пески», с его третьим вариантом. Это было действительно мучение! Во время работы я часто злилась, мысленно спорила с автором, писала ему отчаянные письма и соглашалась

с Вами, Тамара Владимировна, Вы всегда утверждали при мне, что не следует переделывать ранее написанные вещи. Всеволод Вячеславович только ухмылялся в ответ, а мне говорил: «Раз вы переводили Лескова, то вы все сможете, никаких трудностей не должны бояться». Но я до сих пор считаю этот перевод одним из самых трудных в моей обширной переводческой практике. И была очень счастлива, когда все-таки удалось работу закончить и Всеволод Вячеславович написал мне: «Спасибо Вам и издательству «Свет совету» за превосходное издание. Я получил истинное удовольствие, держа в руках эту книгу, перелистывая ее». Всеволоду Вячеславовичу вообще нравились книги, изданные у нас. «Мне очень понравилось «Возвращение Будды», — писал он. «Передайте мою благодарность художнику и издательству — хорошо изданная книга — редкость в моей жизни, как в жизни и вообще».

[...] Переводить романы «Мы идем в Индию» и «Похождения факира» — это была для меня не работа, а сплошное удовольствие. Это был не перевод, а беседа с автором. Когда я об этом сказала Всеволоду Вячеславовичу, он мне ответил: «Это потому, что вы уже привыкли ко мне, вы уже много перевели моих книг»...»

* * *

В 1961 году Всеволод ездил с делегацией советских писателей в Японию. Там он встретился с профессором русской литературы токийского университета «Васседа» Массао Ионекава, который перевел на японский язык Полное собрание сочинений Достоевского, а также произведения многих советских авторов.

Первая встреча Всеволода с профессором Ионекава состоялась еще в 1927 году, когда тот приезжал по приглашению ВОКСа с писателями К. Осана и У. Акита на празднование десятой годовщины Октябрьской революции.

Уже после поездки Всеволода в Японию, в том же 1961 году, жена профессора Ионекава приехала в СССР как глава женской делегации Японо-Советского Общества дружбы и побывала у нас на даче в Переделкине. В следующем году я нанесла ей ответный визит в Токио.

Вскоре после смерти Всеволода у меня завязалась переписка с профессором Ионекава (он умер в 1968 году). В одном из писем Масао Ионекава рассказывал о своих встречах со Всеволодом:

«...Наша литературная встреча состоялась в 1925 году. Дело в том, что я случайно нашел в Токио небольшую книгу (альманах) под заглавием «Пчелы», изданную «Эпохой» в Берлине. Книга названа «Пчелами» по рассказу Ирецкого, носившему то же название и напечатанному на первых страницах. Но я был больше поражен маленьким рассказом В. В. Иванова «Полая Арапия», заключавшим альманах. Я не мог удержаться от желания познакомить японского читателя с этим потрясающим рассказом и напечатал перевод в журнале «Мировая литература». Потом я перевел «Дитё», «Как создаются курганы» и другие рассказы В. В. Иванова. Читал и его повести «Бронепоезд», «Партизаны», «Цветные ветра» и др («Бронепоезд» был скоро переведен моим другом Т. Курода), и мое уважение к Иванову как писателю все больше и больше углублялось, так что я чувствовал себя счастливцем, когда наконец удалось лично видеть его и говорить с ним...

Я прежде всего преподнес Всеволоду Вячеславовичу сборник рассказов советских писателей в моем переводе и в первую очередь заговорил о «Полой Арапии», помещенной в этой книге. Он спросил, не трудно ли мне было переводить этот рассказ. На это я ответил, что все в нем выражено так точно, что, несмотря на первую трудность при чтении, я мог понять сравнительно легко сюжет и мысль рассказа, но вообще его произведения трудны для понимания, если спешишь прочитать. Всеволод Вячеславович сказал с симпатичной улыбкой, почти всегда неразлучной с ним, с его мальчишеским лицом, что сейчас он пишет просто и ясно На мои слова, что «Полая Арапия» и «Дитё» такое совершенство, что невозможно выразить их в другой форме, кроме как в той, в которой они написаны, Всеволод Вячеславович ответил, что это само собой разумеется, он не намерен переделывать форму прежних своих рассказов.

[...] Вторая встреча с Всеволодом Вячеславовичем состоялась через 34 года в Токио, когда он приехал вместе с писателями Н. Н. Михайловым и Наири Зарьяном в Японию по приглашению Общества японских писате-

лей и журнала «Новая японская литература». Когда обе организации устроили прием для троих советских писателей, я увидел Всеволода Вячеславовича после долгой разлуки и в первую минуту не узнал его. Не удивительно, что волосы совершенно поседели, но меня удивило выражение его лица. Дикость и скрытая энергия зверя, пробегающего тайгу, которую я почувствовал в первую встречу, пропала бесследно; на его лице разливалась открытая добродушность. Я почувствовал в ту же минуту, что это знак душевной гармонии, усовершенствовавшегося художника. На этом приеме писатель С. Фунабаси рассказал о том, что 35 лет назад в Японии хотели поставить «Бронепоезд», но в конце концов это не удалось. В то время он участвовал в «Кокоро-за», театре нового направления. Прогрессивные элементы театра настаивали на постановке «Бронепоезда». Но в то время все более и более усиливалось давление на левый фронт, и Фунабаси не согласился с этим предложением, но большинством голосов оно прошло и была разрешена постановка пьесы. Начались репетиции, приготовили декорации и костюмы, но полиция запретила спектакль...

В третий раз я встретился с Всеволодом Вячеславовичем в следующем году в Москве, когда посетил СССР в пятый раз вместе с делегацией японских переводчиков русской литературы...»

* * *

Весной 1962 года Всеволод работал над составлением двух книг — сборника пьес и сборника рассказов.

Пьесы его в большинстве (не говоря о неопубликованных), даже те, которые ставились, имели только журнальную публикацию.

Сборник пьес Всеволод составлял для издательства «Искусство», а сборник рассказов — для «Советского писателя», в этот сборник он хотел поместить свои фантастические рассказы, написанные в 1943—1944 годах.

Именно тогда, просматривая ранее написанное, создал Всеволод новый вариант «Вулкана» (он и опубликован в 1966 году в журнале «Сибирские огни», № 6). Всеволод взглянул на пролежавшую свыше двадцати

лет вещь по-новому и «промшил», как он написал в предисловии, «эту старую избу».

Окончив новую редакцию «Вулкана», Всеволод уехал в последнее свое путешествие по реке Мензе, которое его спутник Василий Григорьевич Никонов описал в книге «В горах мое сердце», изданной в Новосибирске.

Всеволод был уже серьезно болен тогда, но не хотел признаваться в этом ни себе, ни окружающим.

Всеволод был очень мужественным, гордым человеком. Поэтому он всегда старался скрыть и душевную, и физическую боль. Терпеть не мог жаловаться. Когда сердце переполнялось, изливал свою скорбь в дневнике. Но дневник свой он никогда никому не показывал. Я тоже прочитала дневник Всеволода только тогда, когда его не стало.

* * *

Письма из последней поездки Всеволода в Читинскую область:

«*9 авг. 1962 г.*

Дорогая Тамара!

Качает вагон, поэтому и каракули.

До Тюмени поезд шел в проливном дожде; мир был во мгле и тумане, не говоря уже о грязи. За Тюменью, т. е. за Уралом, — солнце и довольно сухо. Я посмотрел в окно на Тюмень — вокзал тот же, что 48 лет назад, домишки те же и та же пыльная зелень. Прибавились высоковольтные столбы и трубы заводов, что тоже не мало.

В газете прочитал — местной, — что работает в городе цирк, наверное на том же месте и Городской театр, где я ставил «Позор Германии».

Затем проехали Ишим — здесь я выдавал себя за австрийского пленного и шил у венского портного визитки!

В поезде хорошо. Не жарко и не холодно; пьяных нет. Разносят — кефир, икру, лимоны, а на станции Никонов купил свежепросоленные огурцы.

Жизнь роскошна!

Подъезжаем к Омску, где я и сброшу это письмишко.

Всем привет! Целую. В. И.».

«Август 1962 г.

Дорогая Тамара и дети!

Пишу на Читинском аэродроме.

Утро, 7 часов, 14 августа. Вчера было светло и тепло, так что жарко было ходить по городу в пиджаке. Сегодня прохладно, туман, но говорят, туман рассеется, и мы полетим.

А летим мы над тайгой — в село Красный Чикой, оттуда, через хребты и реки, в село Менза, куда колесных дорог нет, только тропы. Из этого села, на двух лодках, мы будем спускаться вниз по реке Менза до Чикоя, откуда поедем на машине в Читу. С нами едет лоцман, человек, который месяц назад плавал по реке Менза, — очень хвалит тамошние места, заселенные — не очень густо — потомками раскольников. По-видимому, будет любопытно и поучительно, а пока сижу, ожидая самолета, на гранитных ступеньках порта. Поднялся ветерок, туман, по-видимому, разгонит, и мы сможем улететь. Груз огромный — с таким грузом я еще не летал: 140 килограмм!

После поездки на Чикой предполагаем съездить на рудники, в город, километрах в 300, на машинах, а там, дальше, на Онон. Название, — спросонья, — города вылетело у меня из памяти, но вчера я получил карту заброшенных рудников, где когда-то до революции добывались драгоценные камни, и среди владельцев копей топазов значится госпожа Пешкова... Надо съездить, рудники эти вблизи города — сейчас вспомнил: Балей. С нами поедет быв. директор рудников, ныне зам. председателя Совнархоза.

Пока я писал — посветлело, ветер усилился, но свежо по-прежнему.

Целую ребят и внуков.

Подходят автомашины, мотоциклы, против меня — клумба, за подъемной площадкой — фонари. Уже 7.20 утра, т. е. в Москве 1 час 20 мин. ночи. Сейчас подадут самолет.

В. И.».

«2 сентября 1962 г.

Чита. Дорогая Тамара и дети!

Сегодня — поездом — мы приехали в Читу, через го-

род Петровск-Забайкальский, куда явились на машине, через горы, из села Красный Чикой. Шесть или восемь дней из нашего 17-дневного путешествия была хорошая, солнечная погода, остальное время — дожди, ветры, пасмурность. Десять лет (описка: читай десять дней! — В. И.) мы плыли по реке, не имея возможности снестись с внешним миром ни по телефону, ни по телеграфу: письма и газеты приходят туда (в селения из пяти-семи дворов — охотники) через два месяца. Отойдешь от берега на полсотню шагов — все изрыто кабанами и медведями, словно перекопано. Проплыли четыре порога, два из них обошли возле берега, а через два перемахнули среди ревущих бурунов. Картины природы здесь, на Мензе-реке, изумительные: река течет как в коридоре, среди скал и гор, покрытых лесом, ревет в камнях, и стремительность ее такова, что нет ни одного старого русла, ни одной заводи. Летишь с быстротой 7—10 километров в час, и картины, одна величественней другой, сменяются непрестанно. Были замечательные встречи, но самая любопытная, пожалуй, была вчера, на хребте, когда мы ехали по тайге к ж.-д. станции. Была ночь, часов десять. Фара машины осветила зайца. Он сидел обалделый, поводя глазами. Пока Гоша доставал ружье, наш шофер выскочил и поймал его руками, а затем сказал:

— Сейчас я вам покажу удивительную вещь: вы узнаете, что такое заячья трусость. У меня это уже случалось. Я не буду его ни бить, ни давить, он просто умрет у меня на руках от страха.

И действительно, заяц умер через три минуты: я смотрел на часы.

Как это называется: инфаркт или инсульт?

Как я уже телеграфировал, я поеду дня через два на Онон, на машине, собирать камни. Думаю, поездка займет дней десять-двенадцать, после чего попытаюсь пробраться к вулканам на Витиме, куда мы когда-то пробирались с Комой, но это не надолго: дня три. В общем, самая сложная и трудная часть путешествия окончилась благополучно, — как со стороны физической, так и морально-политической. Я рассказывал в таежных селах об Индии — люди удивлялись не тому, что я был в Индии, а тому, что я попал к ним. Парикмахер-

ша, брившая меня в одном селе, узнав, что только что проплыл по Мензе-реке, воскликнула:

— Господи! И охота вам так губить свою старость. Там так страшно, что даже мы, здешние, боимся туда плавать.

Целую Вас! Мне подарили для Петьки[1] рога изюбра, но они весят килограмм 20, и я их не взял. Обещали послать по почте.

В. И.».

«*5 сент. 1962 г.*

Среда.

Чита.

Ждем машины. Погода вроде выправилась (шли дожди неделю), начальство торопит население с уборкой урожая. Мы были вчера у первого секр. обкома, который принял писателей весьма любезно и сказал, что все сделает. Ну, вот и делают. Думаю, что все же во второй половине дня мы выберемся из города. Вчера ночью была сильнейшая гроза, мы ехали из гостей — были у одного полковника за городом — молнии слепили глаза, и белый, действительно ослепительный свет так заливал дорогу, что ничего не было видно.

Мы едем на Онон, туда, где бывал и Кома: на Шерлову гору, на рудники и в степи. Надеюсь, путешествие будет приятным и поучительным, т. е. я буду в тех местах, где еще не бывал, — на озерах Бурул-Горей и на золотых рудниках.

Я от вас получил письмо и телеграмму, в Красный Чикой. С дороги телеграфирую — куда мне послать телеграмму.

Состояние духа хорошее! Тело тоже работает хорошо. Предполагаю, после возвращения с Онона, съездить на реку Витим, где мы тоже были с Комой, и добраться таки до вулкана. Надо полагать, удастся, так как хотят помочь нам военные.

Пришел шофер, явилась машина. Начинаем укладываться. Целую.

Всеволод»

---

[1] Внук от сына Михаила.

* * *

Через неделю, по возвращении Всеволода из этой поездки домой, разразилась катастрофа — почечное кровотечение.

Едва оправившись после операции, Всеволод начал писать.

Он записывал свои мысли о литературе, делал заготовки к рассказам. Набросал целый цикл, озаглавив его «Рассказы, придуманные на больничной постели».

Часть дневниковых записей Всеволода опубликована в книге «Из дневников и записных книжек» (издательство «Советский писатель», 1969), которую я составила с помощью Константина Георгиевича Паустовского.

Константин Георгиевич дал дневникам Всеволода такую оценку:

«...«Дневники» изумительны по какой-то «пронзительной» образности, простоте, откровенности и смелости. Это — исповедь огромного писателя, — не идущего ни на какие компромиссы и взыскательного к себе. Множество метких мест, острых мыслей, спокойного юмора и гражданского гнева. Это — исповедь большого русского человека, — доброго и печального. [...]

Многие куски «Дневников» написаны совершенно литой, лаконичной и как бы скульптурной прозой. И я думаю, что язык, самый стиль писателя коренятся в его огромном жизнелюбии».

* * *

Между операцией (конец 1962 года) и новым возобновлением болезни протекли счастливые полгода.

Всеволод быстро поправлялся.

Был в отличной рабочей форме.

Написал сценарий по мотивам своего «Бронепоезда» (напечатан посмертно, журнал «Простор», 1963, № 12).

Начал серию рассказов, кроме тех, которые придумал «на больничной постели».

* * *

На смену веселым датам приходят печальные.

При жизни Всеволода мы всегда торжественно отмечали день его рождения (24 февраля). Созывали

друзей, готовили подарки, заранее изготовляли всей семьей его любимое блюдо — сибирские пельмени, которые полагается загодя морозить (ведь надо было слепить не одну сотню).

Теперь, увы, отмечаем мы дату его смерти, 15 августа.

Друзья приезжают в этот день к нам в Переделкино.

Неизменно приезжают Анна Алексеевна и Петр Леонидович Капицы, крепкая дружба с которыми возникла у нас в начале пятидесятых годов (очень редкий, кстати сказать, случай, когда такая дружба завязывается на склоне лет).

Подружившись с Капицами, мы неукоснительно встречали вместе с ними Новый год, чередуя эти встречи — один год у нас, другой у них. Ездили вместе в автомобильные экскурсии по окрестностям Москвы: Боровск, Истра, Волоколамский монастырь, а также и дальние: Новгород, Таллин, Псков, пушкинские места. Исколесили вместе Чехословакию, отправившись в Карловы Вары, в пятьдесят восьмом году.

Петр Леонидович очень любил, когда Всеволод читал какое-либо неизданное свое произведение. Постоянно просил: «Почитайте» — и Всеволод охотно соглашался, расцветая от сочувствия и понимания Петра Леонидовича. А Петр Леонидович, сам обладая ярким чувством юмора, особенно ценил юмор и иронию в произведениях Всеволода.

* * *

О том, как Всеволод летом 1963 года вторично попал в больницу, я не могу писать — это выше моих сил.

Я была все время с ним, и то мое состояние еще длится, об этом рассказать нет слов.

Но слова есть о другом — о том, что Всеволод продолжает жить, и не только своими произведениями, и не только в сердцах и умах нас — самых близких к нему: его семьи и друзей.

В семье не могут не помнить того, кого горячо любят. Но важно, *как* помнят.

В писательской семье дети, в особенности маленькие, во всем подражающие старшим, обычно тоже пишут.

Так и в нашей семье. Заслышав о сборнике воспоминаний, внуки начали писать свои воспоминания о дедушке.

Старший внук Антон, который теперь написал свои воспоминания как взрослый, в тот год, четырнадцати лет, писал: «Когда я смотрю на дверь дедушкиного кабинета, мне так и кажется, что дедушка сейчас выйдет и я услышу: «С добрым утром, Антон». Дедушка так это скажет, что утро на самом деле сразу станет добрым». А маленький Петя, восьми лет, написал: «Дедушка даже с пьяными, которые забрались в сад и ломали сирень, мог справиться хорошим разговором. Он сказал мне: «Не надо обижать людей, тогда и они тебя не обидят».

Это написали о своем дедушке внуки.

Но его прямота и доброта, его жизнелюбие вспоминаются не только семейными и друзьями, но даже и теми, кто встретился с ним хотя бы мельком.

Защита диплома коми-пермяцкого прозаика В. Баталова состоялась в конце ноября 1960 года. Баталов срочно уезжал, подписать диплом его послали к нам, в Переделкино.

«...Мои опасения ехать на дачу, — вспоминает В. Баталов, — оказались напрасными. Очень тепло и гостеприимно принял меня Всеволод Вячеславович. Мы долго сидели перед топящимся старомодным камином... Он интересовался жизнью маленького народа, моими планами. Дочь писателя угощала нас крепким чаем. А потом Всеволод Вячеславович (с тросточкой, в коричневом берете) провожал меня... Я очень часто вспоминаю тот день. И мне еще сейчас бывает неловко от того, что он принял меня, вчерашнего студента, как старого знакомого, профессионального литератора. С тех пор у меня вышло более десятка книжек. Из них четыре повести — в Москве. И, конечно, в каждом из моих произведений есть горящий уголек доброжелательной, поучительной беседы и напутствий Всеволода Вячеславовича».

Валентин Филатов, переписывавшийся со Всеволодом, теперь пишет мне, свято чтя все даты, связанные с именем Вс. Иванова.

Он пишет: «Изнутри моей памяти облик Всеволода Вячеславовича встает так необыкновенно ярко, что даже

пейзаж нашего совместного путешествия по Иртышу, от Семипалатинска до Тополева мыса, окрашен для меня интеллектуальным общением с Всеволодом Вячеславовичем.

[. . .] Мы стоим на палубе. Беседуем.

— Как писать очерк? — отвечает он на мой вопрос. — Самое трудное — начало. Начните с описания чувств — это удачно... [. . .] Глядя куда-то мимо меня, В. В. говорит: — Писатель — человек, взбирающийся на гору. Трудно подняться, очень трудно удержаться — устоять на хребте. Только Горькому удалось простоять всю жизнь на вершине. — И вдруг неожиданно лукаво В. В. добавляет, глядя мне прямо в глаза: — Спускаться с горы — одно удовольствие... — И улыбается.

[. . .] За приветливостью, товарищеской обходительностью Всеволода Вячеславовича со мной, начинающим журналистом, которому семипалатинской газетой было дано задание сопровождать его, а также и в его разговорах с командой парохода и всеми встреченными нами людьми я не мог не разглядеть глубокую человечность, щедро излучаемую и изливаемую им в мир.

[. . .] В Усть-Каменогорске пароход стоял дольше, чем на других пристанях. Мы успели осмотреть крепость, старинный кирпичный форт, в котором одно время проездом находился сосланный Достоевский.

Вокруг простирались изумрудно-зеленые пойменные луга.

— Поставить бы вот здесь шалаш и жить! — рассмеялся Всеволод Вячеславович, с восхищением окидывая взглядом окрестность. — Вы согласились бы?

Я не ждал такого вопроса, никогда не думал о подобной возможности, оказался совсем неподготовленным к ответу.

— Не раздумывайте, Валентин, — прервал он мое молчание. — Это невозможно... Конечно, хорошо жить на лоне природы, но как бы ни было оно прекрасно, в наш век человеку мало созерцания. Очутившись хотя бы на год в одиночестве, оторвавшись от семьи, друзей, общественной жизни, легко впасть в пессимизм. Вообще принято прикреплять пессимизм к окружающему бытовому неустройству. Это тоже бывает... Жизнь при изображении ее художником требует исправления методами искусства [. . .]»

Заканчивает Валентин свое письмо так:

«Я пишу торопливо, но мне хотелось непосредственно выразить свое торжественно-благодарное отношение к такому событию, как канун 80-летия со дня рождения Вс. Иванова».

* * *

Со дня кончины Всеволода прошло уже одиннадцать лет.

Прошлого вспять не повернешь.

Но меня радует уже и то, что время не всегда фактор забвения...

Наоборот, с расстояния многое даже четче и ярче обрисовывается.

И всему приходит свой черед. То, чего не понимали вчера, делается очевидным завтра.

Август 1966 г. — декабрь 1974 г.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ВОСПОМИНАНИЙ

Анов Николай Иванович, писатель. Казахская ССР (р. 1891)
Асмус Валентин Фердинандович, философ (1894—1975)
Бадмаев Цырен-Базар, писатель. Бурятская АССР (р. 1928)
Жаткин Петр Лазаревич, писатель (1894—1968)
Иванова Тамара Владимировна, писатель-переводчик. Москва (р. 1900)
Иванов Антон Давыдович, студент Литературного института им. А. М. Горького. Москва (р. 1950)
Иванов Вячеслав Всеволодович, лингвист. Москва (р. 1929)
Иванов Михаил Всеволодович, художник. Москва (р. 1927)
Каверин Вениамин Александрович, писатель. Москва (р. 1902)
Крон Александр Александрович, писатель. Москва (р. 1909)
Кудреватых Леонид Александрович, писатель. Москва (р. 1906)
Малов Федор Иванович, писатель (1902—1972)
Марков Павел Александрович, писатель, театровед. Москва (р. 1897)
Мартынов Леонид Николаевич, поэт. Москва (р. 1905)
Никонов Василий Григорьевич, писатель. Чита (р. 1921)
Мухамедханов Каюм, писатель Казахская ССР (р. 1916)
Никулин Лев Вениаминович, писатель (1891—1967)
Петров Георгий Иванович, журналист. Кабардино-Балкарская АССР (р. 1892)
Полонская Елизавета Григорьевна, поэтесса (1890—1970)
Прилежаева Мария Павловна, писатель. Москва (р. 1903)
Раевский Иосиф Моисеевич, режиссер МХАТа (1900—1972)
Самойлов Давид Самуилович, поэт. Москва (р. 1920)
Сартаков Сергей Венедиктович, писатель. Москва (р. 1908)
Славин Лев Исаевич, писатель. Москва (р. 1896)
Слонимский Михаил Леонидович, писатель (1897—1971)
Судаков Илья Яковлевич, режиссер (1890—1969)
Уфимцев Виктор Иванович, народный художник Узбекской ССР (1899—1964)
Федин Константин Александрович, писатель. Москва (р. 1892)
Ходасевич Валентина Михайловна, художник (1891—1970)
Цирулис Гунар Ефимович, писатель. Латвийская ССР (р. 1923)
Шкловский Виктор Борисович, писатель. Москва (р. 1893)
Югов Алексей Кузьмич, писатель. Москва (р. 1902)

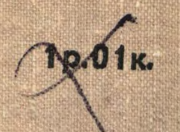
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — ПИСАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК

М., «Советский писатель», 1975, 448 стр. План выпуска 1975 г. № 72. Художник *Я. Г. Днепров*. Редактор *Р. И. Винонен*. Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*. Техн. редактор *М. А. Ульянова*. Корректор *М. Б. Шварц*.

Сдано в набор 28/I 1975 г. Подписано в печать 27/VIII 1975 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$, типогр. № 1. Печ. л. 14+0,56 вкл. (24,46). Уч.-изд. л. 23,28. А 02332. Тираж 75 000 экз. Заказ № 218. Цена 1 руб. 01 коп.

Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.


1р.01к.